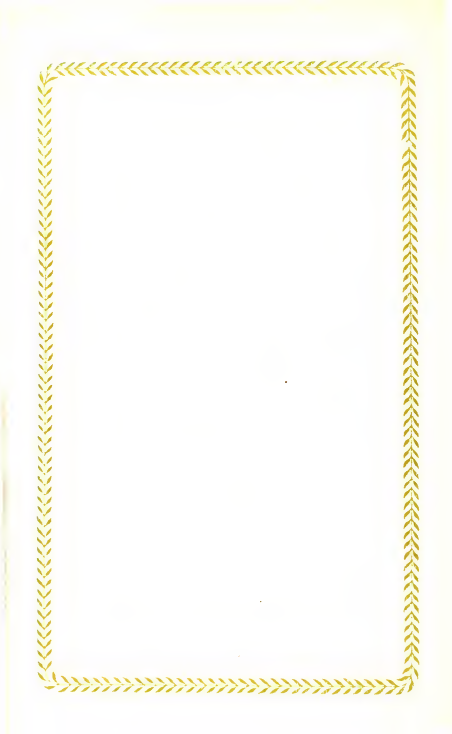

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ







ШЕСТИДЕСЯТНИКИ



БИБЛИОТЕКА
РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПУБЛИЦИСТИКИ

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

Москва́
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1984

Р1
Ш 51

Составитель и автор вступительной статьи
доктор филологических наук
Ф. Ф. Кузнецов

Примечания **В. С. Лысенко**

Художник **А. Денисов**

Ш $\frac{4603010102\text{-}217}{\text{М-}105\ (03)\ 84}$ 121-84

Шестидесятники

1

«Святыми» называл 60-е годы прошлого века А. П. Чехов.

Шестидесятники — слово это осталось в нашем общественном сознании как символическое обозначение социального типа людей, который олицетворял то время. «Удивительное время...— писал о нем известный публицист-шестидесятник Н. В. Шелгунов,— когда всякий захотел думать, читать и учиться и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко. Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порыв ее был сильный, и задачи громадные, не о сегодняшнем дне шла тут речь, обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России...»

Шелгунов вспоминает, что воздух тех лет был насыщен «политическим электричеством», «все были возбуждены, никто не чувствовал земли под собою, все чего-то хотели, куда-то готовились идти, ждали чего-то, точно не сегодня, а завтра явится неведомый Мессия», «...все, что было в России интеллигентного, с крайних верхов и до крайних низов, начало думать, как оно еще никогда прежде не думало».

Душой этого времени, главным его выразителем были журналы, и в первую очередь журналы «Современник» и «Русское слово», являвшиеся «властителями дум» молодежи всей второй половины XIX века.

Такова была отечественная традиция. «Журналистика в наше время все,— говорил Белинский.— Журнал стоит кафедры...»

Журнал в прошлом веке был единственной трибуной, с которой публицист, литературный критик, писатель мог обратиться к людям. Каждый из передовых русских журналов в течение ряда лет был теоретическим и практическим цент-

ром освободительной борьбы. Журналы содействовали формированию общественной и революционной мысли, направляли развитие литературы, воспитывали вкус публики.

И если мы сегодня говорим о небывало высоком духовном уровне передовой русской интеллигенции, традиции которой мы наследуем, то этот уровень определялся в значительной степени русской журналистикой, проповедью «Колокола» и «Современника», «Русского слова» и «Дела». Жизнь и деятельность тех, кто стоял у кормила передовой русской журналистики XIX века, являет собой примеры гражданственности, общественной нравственности и принципиальности.

Ведущую роль в «Современнике» играли Чернышевский и Добролюбов, основным критиком и публицистом «Русского слова» был Писарев. Рядом с ними работала целая когорта более скромных по масштабу таланта и известности публицистов и критиков: М. А. Антонович, Г. З. Елисеев в «Современнике», Н. В. Шелгунов в «Современнике» и «Русском слове», Г. Е. Благосветлов, В. А. Зайцев, Н. В. Соколов, А. П. Щапов в «Русском слове». Далеко не все их работы сохранили современное звучание, многое представляет собой чисто исторический интерес. Но бесспорна громадная популярность в ту пору не только Чернышевского, Добролюбова, Писарева, но и их более скромных коллег. В отношении этих имен не было равнодушных: их восторженно принимали или же поносили со скрежетом зубовным. Демократическая литературная критика и публицистика 60-х годов сыграли немалую роль в формировании передовой русской интеллигенции прошлого века.

В чем же заключена тайна того феноменального в истории мировой культуры явления, которое именуется русской революционно-демократической критикой и публицистикой? Что делает их явлением не только глубоко самобытным, но и непреходящим, вечно живым?

Очевидная и яркая талантливость ее главных творцов — Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, их сподвижников? Вне всякого сомнения. Но мало ли в истории литературы талантливых критиков и публицистов?

Оригинальный литературный слог? Конечно же. Манеру Белинского не спутаешь с манерой Чернышевского, а Добролюбова по нескольким строкам отличишь от Писарева. Но мало ли умелых и тонких стилистов подвизалось на ниве отечественной словестности?!

Литературный вкус? И это самоочевидно. Однако и помимо них немало найдется людей, наделенных острым и точным эстетическим слухом, высокой литературной требовательностью.

Так что же тогда?

В поисках ответа на этот вопрос вслушаемся, вдумаемся в то несколько необычное, даже парадоксальное определение литературной критики, которое давал Писарев. «Постоянное и последовательное проведение того или другого миросозерцания в оценке всех текущих явлений жизни, науки и литературы называется в наше время критикою» [1],— утверждал он, вновь и вновь подчеркивая ту мысль, что критик «вносит и обязан вносить в свою деятельность все свое личное миросозерцание, весь свой индивидуальный характер, весь свой образ мыслей, всю совокупность своих человеческих и гражданских убеждений, надежд и желаний» [2].

Такое понимание целей и задач литературной критики росло из традиции, основоположником которой был Белинский. В своей «Речи о критике» он писал, что искусство и критика вышли «из одного общего духа времени. То и другое — равно сознание эпохи; но критика есть сознание философское, а искусство — сознание непосредственное» [3]. Всей своей литературной деятельностью Белинский, так же как Чернышевский или Добролюбов, подтверждал тот факт, что критика есть прежде всего последовательное проведение в жизнь определенного гражданского миросозерцания в оценке всех текущих явлений жизни и литературы, то есть она обязательно является одновременно и публицистикой. Провести жесткую грань между литературой, критикой и публицистикой применительно к 60-м годам прошлого века практически невозможно.

Ни Белинский, ни Чернышевский, ни Добролюбов, ни Писарев, ни Антонович, ни Зайцев не были литературными критиками в чистом виде — прежде всего, пожалуй, они были общественными деятелями, деятелями русского освободительного движения, нашей демократической общественной мысли, публицистами, а уже потом — критиками. А точнее, именно потому — критиками; занятие литературой, осмысление литературы и стоящей за нею жизни было подчинено

---

[1] Писарев Д. И. Соч. в 4-х т. М., 1956, т. 3, с. 278—279.

[2] Там же, с. 433.

[3] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13-ти т. М., 1953—1959, т. 14, с. 271.

для них целям и задачам русского освободительного движения, борьбе за интересы родного народа, чему они и служили своим пером.

Осознание истинного соотношения между их литературно-критической и общественной деятельностью, понимание литературной критики и публицистики демократов как реального практического воплощения их общественной деятельности, их гражданского миросозерцания, социально-политических идеалов крайне важно для нас, ибо раскрывает самую суть революционно-демократической традиции.

Не случайна для большинства демократических публицистов и критиков 60-х годов прошлого века прямая, неразрывная связь с революционно-освободительным движением, с тайной революционной организацией «Земля и Воля».

«Всю силу организации,— писал один из лидеров «Земли и Воли» А. Слепцов,— мы видели прежде и больше всего именно в пропаганде», в силу чего «обращено было внимание на создание возможного взаимодействия с русской журналистикой, чтобы, помимо тайной пропаганды, читатель из разночинной интеллигенции... был взят кругом в определенный цикл понятий и интересов. Решено было остановиться на братьях Василии и Николае Курочкиных, Благосветлове, Г. З. Елисееве и А. Ф. Погосском... Все эти писатели вступили в общество».

Прямая, практическая связь публицистов-шестидесятников с революционным подпольем проявлялась, к примеру, в том, что Благосветлов был не просто членом «Земли и Воли», но и входил в центральный комитет этой организации, Соколов оказался в крепости за книгу «Отщепенцы», написанную им совместно с Варфоломеем Зайцевым, Шелгунов провел много лет вначале в крепости, а потом в ссылке за связь с революционными кругами. За публицистическим словом шестидесятников стоял поступок, готовность пострадать за свои убеждения, за счастье народное. Все, что они делали, все, что они писали, так или иначе, если не прямо, то опосредованно было связано с коренным вопросом той эпохи — освобождением крестьян, освобождением народа от гнета самодержавия и крепостничества.

Вот почему их публицистическая деятельность разворачивалась в непрекращающихся боях — с литературным «стадом» охранительной публицистики, с печатными органами русского либерализма и славянофильства. И когда мы сегодня всматриваемся в то далекое время и пытаемся его по-

нять, а тем более судить, мы обязаны помнить: русская общественная и литературная мысль прошлого века развивалась в двух руслах, в двух течениях, в двух направлениях — революционном и консервативном, которые находились по отношению друг к другу в состоянии очень сложной и глубокой идейной борьбы, трудного противостояния, споров, дискуссий.

Первая линия развития русской общественной мысли прошлого века, обладавшая огромным воздействием на литературу, была неразрывно связана с освободительным движением. Радищев, декабристы, революционные демократы-шестидесятники, народники и народовольцы, большевики-ленинцы — вот основные вехи этой борьбы, определившей главные этапы развития русской литературы XIX века, во многом сформировавшей идейное и эстетическое своеобразие русского критического реализма, давшего миру великое наследие. Неоспорим тот факт, что влияние на судьбы русской литературы XIX века идей декабризма, а позже — революционной демократии, представленной в истории отечественной мысли такими фигурами, как Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев и их сподвижники, огромно. Через сложный ряд связей это влияние распространилось не только на художников, внутренне близких освободительному движению, как, например, Некрасов или Салтыков-Щедрин, но и на таких великих реалистов прошлого, как Гоголь, Достоевский, Толстой, Тургенев, Гончаров, Островский, чьи взаимоотношения с революционной демократией были противоречивыми, а иногда и враждебными.

Как известно, перу критиков революционно-демократического направления принадлежат наиболее глубокие и точные разборы творчества этих художников.

Не Дружинин и не Аполлон Григорьев, не Страхов и не Хомяков, не Погодин и не Катков, а Белинский и Чернышевский, Добролюбов и Писарев были властителями дум своего времени; к их мнению прислушивались, с их мнением считались, их отзывами дорожили все, без исключения, русские писатели того времени, причем куда больше, чем мнениями и отзывами того же Дружинина, Страхова или даже Аполлона Григорьева.

Это был закономерный результат того, что никто, даже их противники, не мог отказать демократическим русским критикам и публицистам прошлого века в честности, искренности убеждений, в принципиальности их гражданских, глу-

боко патриотических позиций, в их сочувствии угнетенному русскому крестьянству, в их вполне законной и обоснованной тревоге за судьбы отечества, в их стремлении добиться добра и счастья для народа.

Нет спору, мы не можем относиться к революционным демократам как к иконе, это было бы оскорбительно прежде всего для них самих, поскольку все их творчество — непрекращающееся движение, динамика, полемика, спор.

Да, они ближе всех в свое время подошли к историческому материализму, но время и ограничивало их. Просветительство и антропологизм обуславливали подчас недооценку ими специфики литературы.

В одном из своих выступлений Леонид Леонов выразил глубокое уважение к просветительской, демократической критике, отвергавшей «развлекательно-беллетристический сервис», ставившей «генеральной целью творчества» «всемерное обогащение черной житейской руды, из которой в сплаве с человеческим трудом когда-нибудь должно образоваться поставленное на повестку дня с ч а с т ь е...» Вместе с тем писатель сказал и об объективных издержках этой критики (вспомним, например, того же Писарева, его оценку «Униженных и оскорбленных» Достоевского), подчас останавливающейся перед «постижением высочайших тайн бытия».

Осознавая и силу, и слабость наших литературно-критических предшественников, Л. Леонов вместе с тем подчеркивает значение корней, истоков, духовных традиций нашей социалистической идеи. «Идеи тоже имеют родословную, как люди и все явления,— утверждает он.— И корни той идеи, которая осуществляется сегодня у нас в стране и в мире, уходят очень далеко» («Разговор о теме дня».— «ЛГ», 1980, № 35).

Вопрос о родословной, о корнях осуществляемой сегодня в нашей стране социалистической, гуманистической идеи принципиально важен, и его нельзя трактовать узко и обособленно. Мы наследуем все лучшее, что выработано гуманистической мыслью человечества и, конечно же, отечественной гуманистической мыслью минувших эпох. Во всяком случае, мы не мыслим сегодня родословную «реального гуманизма» (К. Маркс) вне духовного наследия Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Тургенева, Достоевского и Толстого, Гончарова и Островского, вне гуманистического наследия всей русской литературы.

И свое особое, значительное место в родословной нашей

идеи, в истории русской и мировой общественной и литературной мысли занимают русские революционные демократы.

В. И. Ленин с полным основанием считал русских революционных просветителей, русскую демократию прямыми идейными предтечами, непосредственными идейными предшественниками революции и социализма в России. Общеизвестна ленинская оценка трех этапов русского освободительного движения, и в частности второго, разночинного, революционно-демократического этапа, его оценка роли и значения Чернышевского, Добролюбова для истории революции в России, для формирования революционных взглядов.

Наследие русской революционной демократии, как политическое, так и эстетическое, нравственное, духовное, его роль в идейной и политической борьбе прошлого и настоящего требуют самого серьезного и глубоко ответственного отношения к себе, выявления определенности собственной гражданской позиции. Отношение к этому наследию, как показывает весь опыт идеологической борьбы современности,— своего рода оселок, на котором проверяется отношение к идеям революции и социализма как в прошлом, так и в настоящем. Неужели сегодня необходимо доказывать, что неприятие революционных демократов, с равной страстностью проявленное в свое время как в «Вехах», у Николая Бердяева, Константина Леонтьева или Василия Розанова, у Льва Шестова или Сирина-Набокова, так и у современных советологов и «диссидентов», есть позиция политическая, классовая, позиция неприятия революционной, социалистической традиции, освободительного движения в принципе!

Наши идеологические противники и сегодня стремятся исказить, извратить и обузить гуманистическую традицию русской культуры, свести ее лишь к так называемой второй линии русской общественной мысли и философии XIX века, той линии, которая была связана прежде всего с охранительной тенденцией в русской жизни прошлого века, противостоящей освободительному движению, идеям революции и социализма, защищавшей самодержавный буржуазно-крепостнический правопорядок на Руси.

Сегодня нет нужды доказывать очевидную аксиому: революция и социализм были исторической неизбежностью, той закономерностью, которая обусловила не только небывалые социально-политические преобразования, не только сохранение и упрочение Россией национальной независимости (что

было бы под вопросом, продолжай она и далее управляться фактически выродившимся самодержавием Романовых), но и небывалое в ее истории государственное могущество, духовный расцвет социалистического общества.

С течением исторического времени все больше возрастает, все резче и глубже обозначается то неоспоримое нравственное, гуманистическое превосходство — в сравнении с бездуховной действительностью буржуазного образа жизни,— которое несет людям, обществу социализм. Но преимущество это не с неба свалилось, оно прорастает из прошлого нашей истории, из духовного наследия всего человечества. И конечно же, если искать истоки нашей современной социалистической духовности, то они прежде всего в традициях русского освободительного движения, в великой русской литературе, в наследии отечественного и мирового гуманизма, воплотившегося в конечном итоге в марксистско-ленинскую идею, в практику социалистического созидания.

Гуманистический потенциал развитого социализма дает нам сегодня возможность по-хозяйски осваивать как наше социалистическое достояние все проявления гуманизма минувших эпох, даже если гуманистическая мысль обнаруживала себя в незрелых социально-политических, философских или эстетических формах. Углублением нашего интереса к историческому прошлому, что особенно важно в обстоятельствах крайне обострившейся и усложнившейся идеологической борьбы в современном мире, и объясняется то возросшее внимание, тот в чем-то новый взгляд на некоторые явления и фигуры нашей отечественной истории, которые так или иначе связаны со второй линией русской философии и общественной мысли.

Внимание к этим страницам нашей истории чаще всего связано со стремлением нашей науки понять и осознать всю меру сложности духовных исторических процессов, постичь историю русской литературы и русской общественной мысли во всем реальном масштабе, в полном объеме и в разных формах проявления сложностей. Оно свидетельствует о понимании того, что отмеченное Лениным наличие двух культур в каждой национальной культуре — историческая реальность, которая сплошь и рядом проходила через сердца великих деятелей культуры нашего прошлого, что их творчество развивалось в обстоятельствах мучительных идейных исканий и внутренних борений, за которыми стояла борьба полярных социально-политических тенденций жизни действительной.

В нашем обращении к отечественной истории необходимо всегда учитывать эту идеологическую подоплеку, природу социально-классового противостояния двух линий в истории русской общественной мысли XIX века.

Нет спору, методологию современной критики надо строить, опираясь на все ценное в отечественном и мировом литературно-критическом наследии, с учетом, в частности, и всего доброго, что можно найти в трудах того же Аполлона Григорьева или Валериана Майкова, или даже Страхова и Дружинина. Но совокупность литературных и общественных идей, сама практика литературно-критической и публицистической деятельности русских революционных демократов по богатству литературно-теоретическому несопоставимы с общественно-литературной теорией и практикой русского либерализма и русского консерватизма. Большинство имен, представляющих либерально-консервативный лагерь в русской критике минувшего века, остались лишь в истории литературы, где каждое из них занимает свое место, подлежит изучению и даже переизданию в интересах историко-литературной науки. Пытаться же глядеть на сложный, переживший величайшую из социальных революций в человеческой истории мир современной нашей жизни глазами Аполлона Григорьева или Хомякова, Погодина или К. Аксакова — сверхутопия, поскольку их воззрения были консервативной, глубоко сентиментальной утопией даже для своего времени.

Утопичным было и их стремление к монополии на патриотизм, на любовь к России и ее народу, монополии, которая кое-кем и сегодня принимается на веру. Стремясь утвердить эту монополию, русский консерватизм в прошлом веке разработал и старательно стремился внедрить в общественное сознание легенду о мнимом западничестве русских революционных демократов, коль скоро сама идея революции в представлении консерваторов была иноземного происхождения, как будто не было на Руси ни Степана Разина, ни Пугачева, ни бунтов крестьян, как будто Россия объективными законами своего развития не двигалась на всех парах к революции. На этом основании консерватизм, а за ним и «Вехи» пытались лишить русских революционных демократов тех корневых начал, из которых и росло, собственно, их самосознание: чувства патриотизма, любви к своей родине и своему народу, гражданственного отношения к своей отчизне...

Русская революционная идея, наиболее полно воплотив-

шая себя поначалу в деятельности декабристов, из которых вышел, как известно, Герцен, а потом в деятельности революционных демократов, выросла из патриотической идеи, из глубочайшего чувства любви к своей отчизне и ее угнетенному народу. Только это корневое чувство, а не теоретические абстракции, способно, как известно, подвигнуть человека на жертвенную и трудную дорогу революционной деятельности, на путь духовного и физического подвига, сулящего не награды и чины, но кандалы и виселицы, во имя самого высокого — судеб отчизны.

Радищев был первым, кто в полный голос в России XVIII века сказал о позиции гражданина и патриота своей родины как самой первой, изначальной нравственной черте любого честного человека.

Декабризм, развив эту традицию Радищева, с огромной силой поставил вопрос о формировании гражданского, патриотического самосознания в русском обществе и дал этот нравственный заряд передовой русской интеллигенции последующих годов. Поэзия и литературная критика декабризма были наполнены духом гражданственности и патриотизма, идеей служения отечеству.

Революционно-демократическая идеология, через Герцена и Белинского, восприняла патриотическую традицию декабризма, воплотив ее в идее крестьянской революции. Революционные демократы были — вспомним Некрасова — заступниками народными, борцами за интересы трудового народа.

Патриотическая идея России XIX века утверждала себя в двух направлениях, двух противостоящих одна другой формах: в форме патриотизма активного, направленного на то, чтобы родному народу жилось лучше, нацеленного на развитие родной страны как необходимое условие ее независимости, самостоятельности, процветания, могущества, и в форме патриотизма консервативного, охранительного, направленного прежде всего на сохранение в неизменности всех привычных устоев и основ русского самодержавно-крепостнического общества, на укрепление существовавшего в ту пору правопорядка, на ограждение от угрозы революционных перемен интересов господствующих классов общества. Вспомним статью Варфоломея Зайцева «Наш и их патриотизм», где истинным патриотом отечества критик называет Добролюбова.

Наша духовная, идейная родословная немыслима без наследия великой русской литературы, революционно-демо-

кратической критики и публицистики, вне традиций русского освободительного движения,— в этом могучем древе нашей социалистической родословной свое скромное место занимает и деятельность тех, кто представлен в данной книге — русских публицистов и критиков 1860-х годов.

Если русский либерализм, выражая исторические интересы нарождавшейся русской буржуазии, проклевывавшегося российского капитализма, все в большей степени занимал космополитические, низкопоклоннические перед западом позиции и грезил, как, например, Боткин или тот же Дружинин, буржуазной Европой, европейским мещанским конфортом и западными «свободами», то русская революционная демократия с самого начала заняла антибуржуазные, антикапиталистические позиции, разобравшись как в относительных преимуществах, в сравнении с феодализмом, так и в абсолютных бедах капитализма, которые он несет трудящимся людям. Революционные демократы выступили глубокими и последовательными критиками капитализма и буржуазной демократии, поставив перед Россией иллюзорную, невыполнимую в ту пору, но высокую и благородную задачу: достижение социализма, минуя капитализм. Эта утопическая мечта об общинном социализме таила в себе стремление избежать «западный», то есть капиталистический путь развития страны, со всеми, на их взгляд, глубоко безнравственными, антинародными последствиями его для России. И вместе с тем эта мечта была вполне реальным воплощением крестьянского стремления к «земле и воле», воплощением чаяний и надежд русского крестьянства.

Революционные демократы были крестьянскими демократами. И вся деятельность этих титанов духа, великанов сердца была посвящена одной великой задаче: преодоление социального зла в жизни, страшного и унизительного зла — крепостного права прежде всего.

Сегодня, когда необходимо активизировать идеологические, мировоззренческие и социальные начала в нашей литературе, с особой остротой встает вопрос о революционно-демократических традициях нашей критики и публицистики.

Наша прямая обязанность: изучать, утверждать и развивать это великое духовное наследие — традиции русской революционно-демократической критики и публицистики, традиции русского освободительного движения, передовые традиции великой русской литературы XIX века. Историческая реальность такова, что практически все успехи русского

критического реализма, великой русской классики XIX века так или иначе, прямо или опосредованяю связаны с освободительным движением, с русской революцией, вначале с декабризмом, а потом с крестьянской революционной демократией. Вспомним в этой связи интегральную ленинскую оценку колоссального по своим масштабам и противоречиям творчества Льва Николаевича Толстого: «зеркало русской революции».

За последние годы, а тем более десятилетия, выявляя растущий гуманистический потенциал социализма, в нашем отношении к наследию мы проявляем мудрость и широту, стремясь включить в культурный оборот все гуманистически ценное в духовной жизни минувших эпох.

Нами освоены и осмыслены Достоевский, при всей глубине и разительности его противоречий, или, скажем, Тютчев и Фет — как паше духовное достояние, достояние развитого социализма. Стал более широким наш взгляд на ранних славянофилов, более глубоко и диалектично мы рассматриваем таких критиков, как почвеняик Аполлон Григорьев или либерал Дружинин.

Все эти перемены благотворны. Но они не должны идти за счет революционных демократов, а главное — за счет исторической истины, за счет утраты наших социально-классовых позиций, ибо историческая роль в отечественной литературе, культуре, скажем, Аполлоая Григорьева, Дружинина или Страхова — одна, а Белияского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева и их сподвижников — другая, несоразмерная с первой.

В этой связи яеобходимо самое пристальное внимание и к тем деятелям демократической критики и публицистики, которые в пору 1860-х годов, быть может, были яа вторых ролях, но тем не менее обладали своим и немалым влиянием в борьбе за умы. М. Антоянович и Н. Шелгунов, Г. Елисеев и Г. Благосветлов, В. Зайцев и Н. Соколов при всех своих непоследовательностях и ошибках, входили в то общественное направление революционно-демократических идей, которое оказало решающее воздействие на судьбы русской общественной мысли и русской литературы XIX века, воздействие, влияние и отзвуки которого живительны и для наших дней.

Слово Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова, Салтыкова-Щедрина и Писарева, их сподвижяиков по демократической журяалистике 1860-х годов оказало решающее воздействие не только на судьбы литературы, но

и на формирование общественного самосознания, того самого самосознания, которое явилось предтечей большевизма и в конечном счете привело Россию к Великой Октябрьской социалистической революции.

Мы не сможем закрыть глаза, скажем, на просветительскую ограниченность их позиций, на те или иные неточности их оценок, не всегда выдерживавших испытание временем, приводивших подчас к яростной, не всегда доказательной и уважительной полемике друг с другом. Если говорить о круге Писарева, круге «Русского слова»,— таких ошибок, причем — очень грубых, было особенно много, включая сюда неверную оценку творчества Пушкина Писаревым или тем же В. Зайцевым, идущую от упрощенного, примитивизированного представления об общественном предназначении литературы, искусства, грубейшие ошибки философского порядка, определявшиеся вульгарностью их материализма.

В этой связи вопрос о правомочности советского литературоведения вносить коррективы в те или иные литературные оценки революционных демократов, подвергать те или иные неточные их постулаты научной критике — вопрос риторический. Это и наше право и наша обязанность — в том случае, если спор с теми или иными позициями и оценками революционных демократов является подлинно научным спором. Однако внося те или иные коррективы в наследие революционных демократов, подвергая, скажем, очевидные ошибки В. Зайцева и Н. Соколова самой серьезной критике, мы не имеем права выплескивать вместе с водой и ребенка, должны предельно уважительно относиться к демократическому наследию, объективно разбираться в его противоречиях.

Будучи глубоко народной идеологией, самосознанием угнетенного крестьянства, наследие русских революционных демократов являет собой наше уникальное достояние, нашу национальную гордость и одновременно вечно живое наследие, наше сегодняшнее боевое оружие.

Как тут не вспомнишь вещие слова Чернышевского:

«...Надобно еще спросить себя: точно ли мертвецы лежат в этих гробах? Не живые ли люди похоронены в них? По крайней мере, не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми?.. Источник не иссякает оттого, что, лишившись людей, хранивших его в чистоте, мы по небрежности, по легкомыслию допустили завалить его хламом пустословия. Отбросим этот

хлам,— и мы увидим, что в источнике еще живым ключом бьет струя правды, могущая, хотя отчасти, утолить нашу жажду...» [1]

Эти слова великого критика в полной мере относятся как к самому Чернышевскому, Добролюбову, Писареву, так и к боевым соратникам по журналам «Современник» и «Русское слово».

2

И до сегодняшнего времени мы все еще не всегда рачительные хозяева, если говорить о том громадном культурном, общественном наследии, которое получили. Даже и в той эпохе, которая изучена, казалось бы, наиболее тщательно — в 60-х годах прошлого столетия,— немало белых пятен, немало интереснейших и значительных явлений, по поводу которых живут устарелые, неверные представления.

Благодаря ряду работ советских исследователей мы можем судить сегодня, чем был для русского общества XIX века «Современник», журнал Чернышевского и Добролюбова, ведущий орган революционной демократии первой половины 1860-х годов,— хотя подлинно научной, всеобъемлющей истории этого журнала до сих пор не создано.

А что представляло собой «Русское слово»?

Даже в отношении позиций Писарева, идейного вдохновителя этого журнала, до сих пор идет спор.

Ну, а В. Зайцев, Г. Благосветлов, Н. Шелгунов, Н. Соколов, А. Щапов? Их идейные позиции — в отношении к крестьянской реформе, крестьянской революции, утопическому социализму, тем пробным камням, на которых проверялись общественные убеждения в период 60-х годов?

Отношение к крестьянской реформе, оценка пореформенной обстановки в России делили русское общество на два непримиримых лагеря: революционно-демократический и либерально-охранительный. И начинать разговор о позициях публицистов-шестидесятников следует с вопроса о том, как в действительности относились они к крестьянской реформе 1861 года.

Не случайно в номере «Русского слова», вышедшем в свет в апреле 1861 года, когда вся либеральная пресса была

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т. М., 1947, т. 3.

заполнена песнопениями в адрес свершившейся реформы, нет буквально ни строчки о «Положениях 19 февраля», зато напечатана большая, имеющая принципиальное значение статья «Невольничество в Южно-Американских штатах» (за подписью: А. Топоров). Первые же страницы статьи поражают неожиданной, но исключительно важной для России 60-х годов мыслью: «...если невольничество назвать преступлением против человечества... то кого обвинять более в его существовании: плантаторов или негров?.. Справедливость требует сказать, что и невольником быть так же преступно, как и рабовладельцем,— и то и другое одинаково способствует злу. Если плантаторы употребляют для осуществления своих целей хитрость и силу, то кто мешает этим стадам ринуться за своими вождями-аболиционистами, чтобы разбить цепи, которые на них надеты? Позорное клеймо неволи прежде всего должен стараться смыть тот, кто его носит...»

Как же разрешить вопрос о невольничестве, если «сами негры не в состоянии себя освободить»? В этом случае «вопрос о невольничестве пойдет так называемым мирным законодательным путем и, по всей вероятности, остановится на полумерах, под видом обоюдных уступок и желания согласить несогласимые интересы обеих сторон: плантаторов и невольников».

Стоило подставить в статье «Невольничество в Южно-Американских штатах» вместо слова «невольник» — «крепостной», а вместо «американских штатов» — «Россию», и умудренный читатель 60-х годов приходил к последовательным революционно-демократическим выводам. Он убеждался, что единственный путь действительного освобождения крепостных — крестьянская революция. Но, быть может, статья А. Топорова не выражала направления журнала?

В следующей книжке журнала за 1861 год помещается «Современная летопись» — за той же подписью, что и статья «Невольничество в Южно-Американских штатах»: А. Т-ров (сокращенное от А. Топоров). Этот факт помогает установить, кто скрывался за псевдонимом А. Топоров. «Современную (с 1863 года — «Домашнюю») летопись» с мая 1861-го по 1864 год вел Г. Е. Благосветлов; следовательно, и статья «Невольничество в Южно-Американских штатах» была написана им. Эта «Летопись» — единственный материал в майской книжке журнала, который содержит отклик на реформу. «Вообразите,— пишет автор,— что вы владелец обветшалого, деревянного, деревенского барского дома, достав-

шегося вам по наследству по длинной нисходящей линии... Все стены вашего дома, полы, мебель,— одним словом, все, что помягче,— изъедено, подточено, испорчено и требует конечного, радикального возобновления; но вы скупы, вам хотелось бы все исправить, только не заново... и вот вы решились исправить покоробившиеся полы ваших комнат, но тут возникает вопрос о крепости стен; вы пробуете вставить несколько бревен, но тут возникает вопрос о гнилости углов, там далее оказываются сгнившими и крыша, и потолки, и т. д.». В действительности, делает вывод обозреватель «Русского слова», «весь дом не годится», и его следует перестраивать заново.

Главной задачей всякого честного и мыслящего человека пореформенной России демократические публицисты той эпохи считали решение вопроса о голодных и раздетых людях — вопроса, которого правительственные реформы, по мнению Писарева, не решили да и не могли решить.

В статье «Погибшие и погибающие», написанной Писаревым в 1865 году, в работе Шелгунова «Сибирь по большой дороге», в ряде «Домашних летописей» Благосветлова выразительно раскрывалась вся степень бедствий «освобожденного» крестьянства, показывалось, что условия жизни русского народа в пореформенную пору хуже каторжных.

Сарказмом и иронией пропитаны эти оценки эпохи «мирных реформ», когда в России «в один день возникла гласность, свобода слова, стремление к самоуправлению, политические убеждения, обличение и мало ли чего не возникло». «Гора» трескотни и фраз, по определению Зайцева, «благополучно разрешилась... от бремени... мышью».

Трудно представить более уничтожающую оценку реформ. «Кукишем в кармане» назвал реформу Благосветлов. «Мы гораздо больше накричали, чем действительно сделали. Заслуги наши не стоят еще и клочка сена»,— разоблачал он «дешевый лиризм» либерального общества в связи с юбилеем реформы в 1863 году.

Такова была единая точка зрения публицистов обоих журналов — «Современника» и «Русского слова» — Антоновича и Елисеева с одной стороны, Благосветлова и Шелгунова — с другой.

По их единодушному мнению, страна нуждалась не в паллиативных реформах «сверху», а в коренном изменении социальных условий жизни народа.

В их статьях неоднократно подчеркивалось, что и те ублюдочные реформы, на которые решилось правительство, вырваны угрозой народной революции. «По поводу кадастра и обнародования нового распределения податей,— писал Шелгунов,— Иосиф сказал канцлеру, графу Хотеку, считавшему всю эту меру несправедливостью относительно дворянства, замечательные слова: «Любезный Хотек, не лучше ли будет, если мы что-нибудь уступим крестьянам, чем ждать, что они не дадут нам ничего».

Подобные уступки, высказывал ту же мысль Зайцев, «могут быть вызваны только крайностью, а никак не сделаны добровольно». Раскрыв посредством иносказания побудительную причину реформ, Зайцев предостерегал читателя от «легкомысленной доверчивости» в отношении подобных преобразований и преобразователей. Верить преобразованиям правителей, сделанным под угрозой обстоятельств, нельзя. История показывает, что, проводя под угрозой революции реформы, правители «всегда держали камень за пазухой, чтобы поразить того, кто слишком увлечется розовыми надеждами», и в то же время «думали о том, как бы сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы, как бы в одно время и народ успокоить и все по-старому оставить».

Такова, выраженная в эзоповой манере, глубокая и справедливая оценка публицистами-шестидесятниками политики крепостнических реформ, которую проводило в 60-х годах правительство Александра II.

3

Реформа 19 февраля, несмотря на всю ее ограниченность, открыла широкие, по сравнению с дореформенным периодом, возможности для развития капитализма в России.

Демократическая публицистика 1860-х отчетливо осознавала тот факт, что в развитии страны намечается поворот. Зоркий наблюдатель пореформенной действительности Н. В. Шелгунов уже в 1863 году отмечал: «...экономический перелом так или иначе совершается в России, он застает нас врасплох, неприготовленными, среди глубокого невежества и еще более глубокой апатии». «...На развалинах крепостного права появился вольнонаемный труд, и затем в промышленности и торговле провозглашено свободное соперничество...» — раскрывал сущность «экономического перелома» Н. Соколов.

Публицисты-шестидесятники отдавали себе ясный отчет в том, что в стране начинается бурное развитие капитализма. Более того, Писарев в статье «Школа и жизнь» высказал догадку, что этот вопрос для России — «неизбежный и неотвратимый вопрос».

Шестидесятники — и в этом их заслуга — понимали относительную прогрессивность капитализма по сравнению с крепостничеством. Они видели ее в том, что с капитализмом приходит развитие промышленности, а по их убеждению — вне пути промышленного развития вопрос о голодных и раздетых людях не решить.

Однако в их статьях мы не встретим утверждения, будто капиталистический, эксплуататорский строй может решить социальный вопрос. Колоссальное развитие промышленности и техники при капитализме, при всех потенциальных возможностях, само по себе еще не приносит людям избавления от голода и нищеты.

Упорно и последовательно они разоблачали капиталистический строй, как строй эксплуататорский, ежеминутно и ежечасно увеличивающий число голодных и раздетых людей. Продолжая дело, начатое Чернышевским, они выступали беспощадными обличителями капитализма, критикуя его с позиций социалистических.

Совершенно естественно, что публицисты 1860-х не могли подняться до научной критики капитализма. Они критиковали капитализм с позиций утопического социализма, исходя из так называемых «естественных» законов человеческой природы и человеческого общества. Однако и с этих, ограниченных позиций Шелгунов, Соколов, Елисеев дали сравнительно глубокую критику, буржуазного «лихоимства» и буржуазной политэкономии, особенно мальтузианства.

«...Феодализм упал, абсолютизм упал; упадет когда-нибудь и тираническое господство капитала»,— пророчески прозвучали тогда слова Писарева. Собственно, вся деятельность Чернышевского, Добролюбова, Писарева и их товарищей была непрекращающейся борьбой за осуществление этой заветной мечты. Немало сделал для пропаганды идей социализма на страницах «Русского слова» Шелгунов. Его статья «Рабочие ассоциации» стоит на уровне лучших произведений Чернышевского, пропагандирующих социализм.

Шелгунов систематически рассказывал своим читателям о великих социалистах-утопистах Запада, о прогрессивных

промышленных ассоциациях Европы, воспитывая передовые слои русского общества в духе социалистических идей. Критикуя западноевропейский утопический социализм, в частности Фурье, за отрицание революционных методов борьбы, Шелгунов в статье «Рабочие ассоциации» писал: Фурье «ненавидел революции, как в частности, так и вообще. Последователи Фурье, или фурьеристы, заслужили упрек еще больший. Во времена Луи Филиппа был основан ими орган «Démocratie pacifique» и этим названием фурьеристы хотели показать, что они не имеют ничего общего *с революционными демократами...»* (курсив наш.— *Ф. К.*).

Так впервые был применен термин «революционные демократы» по отношению к людям, слившим утопический социализм с идеей народной революции. «Революционными демократами», исходя из контекста статьи Шелгунова, считали себя передовые публицисты 1860-х годов.

«...Справедливо можно сказать, что автор превзошел Фурье в коммунизме и фурьеристов в революционном направлении, мирные демократы, очевидно, не удовлетворяют требованиям и целям «Русского слова»...» — резюмировал цензор Скуратов статью Шелгунова [1].

Несмотря на очень жесткие цензурные условия, публицисты умели заявить о своей принципиальной приверженности к революционным методам борьбы. Ни в коей мере не случайно, что Благосветлов был так тесно связан с революционным подпольем 60-х годов и являлся одним из руководителей «Земли и воли» [2]. Не случайно и то, что почти весь круг сотрудников «Русского слова» и «Современника» так или иначе имели отношение к революционному движению того времени.

Публицисты 60-х жаждут революции, мечтают о ней, тоскуют по ней. И делают все, что они считают нужным и возможным, чтобы приблизить ее. Иначе как понять и объяснить тот огромный массив материалов, так или иначе пропагандирующих идею революции, который буквально заполняет в эту пору журнальные страницы.

По вполне понятным причинам вопрос этот ставился и решался, как правило, на материале европейских революций. Выступления, посвященные европейским революциям, в особенности Великой французской революции и английской ре-

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 161, гл. 26—31.

[2] См.: Кузнецов Ф. Журнальный эксплуататор или революционный демократ? — Русская литература, 1961, № 2.

волюции, войне Севера и Юга в Соединенных Штатах Америки, имели огромное принципиальное значение. В это время Писарев задумывает серию статей, посвященных Франции XVII—XVIII веков, чтобы глубже объяснить читателю причину и ход Великой французской революции.

Серию статей, в том числе такие значительные, как «Прошедшее и будущее европейской цивилизации», «Исторические очерки», где анализируются события реформации и Крестьянской войны в Германии, события Великой французской революции, печатает в «Русском слове» Шелгунов. О революционной борьбе народа Италии, об английской революции рассказывает читателям журнала Зайцев.

Демократическая журналистика 1860-х годов всеми доступными средствами проводит мысль о праве народа на революцию, о благодетельности революционных эпох в жизни народов, выражает свою искреннюю симпатию к борющимся народам, к революционерам, возглавляющим движение народных масс.

Но стремления эти оказывались в видимом противоречии с реальными фактами русской действительности, с тем спадом революционной волны, который начался в 1862 году.

Русская революционная демократия не была однородной, она объединяла различные течения в освободительном движении, включая и деятелей «Современника», и круг «Русского слова», революционное народничество 70-х годов. Следует видеть все реальное богатство, все отличия и индивидуальные особенности различных представителей революционной демократии 60—70-х годов.

Позиции «Русского слова» во многом отличались от позиций «Современника» Чернышевского и Добролюбова, который являл собой вершину революционно-демократической мысли, так как аккумулировал в себе высший взлет крестьянской революционности в период революционной ситуации 1859—1861 годов. Несколько иной взгляд на общину, подчеркнутый утилитаризм, налет механистичности в философии, повышенный интерес к позитивизму в социологии, гипертрофированное внимание к естествознанию, ставка на «критически» и реалистически мыслящих личностей — все это отличает «Русское слово» от журнала «Современник». Интересно будет сопоставить мировоззрение группы «Русского слова» с идеологией народников 70-х годов: многие идейные слабости семидесятников (позитивизм, механистичность в философии, учение о «критически мыслящих личностях») предчувствуются, когда читаешь «Русское слово».

Истоки различий «Современника» и «Русского слова» прежде всего в том, что, как справедливо замечал Шелгунов, «Современник» Чернышевского и Добролюбова принадлежал первой, а «Русское слово» — второй половине 60-х годов. «Современник» выразил время подъема, а «Русское слово» — время спада крестьянской революционности.

Два ведущих демократических журнала не сходились в главном — в своем взгляде на крестьянскую революцию. Особенностью «Современника» Чернышевского и Добролюбова, определявшей идейные, философские, социологические и эстетические позиции журнала, была вера в скорую крестьянскую революцию. Рассчитывались даже сроки ее. Публицисты «Русского слова» с не меньшей страстностью мечтали о народной революции. Но на страницах этого журнала звучали глубокие сомнения в революционных возможностях крестьянских масс. Эти сомнения вызывали боль, они осмыслялись как национальная трагедия.

Уже во второй половине 1861 года, сообщая о том, с какой легкостью подавляются крестьянские бунты в стране, журнал с иронией и грустью соглашается с «Русским вестником», что русский крестьянин «действительно добр и мягок». «...Но для полной и верной характеристики следует, по нашему мнению, к этим качествам прибавить еще одну крестьянскую добродетель: терпение»,— с горечью говорится в журнале. (Вспомним центральную мысль статьи «Невольничество в Южно-Американских штатах»: «Позорное клеймо неволи прежде всего должен стараться смыть тот, кто его носит»).

С полной очевидностью пассивность русского крестьянства выявилась для публицистов «Русского слова» в 1863—1866 годах, времени спада революционной волны. На страницах журнала мы находим немало свидетельств, с какой горечью воспринимали они, как и вся революционная демократия 60-х годов, этот тягостный факт. Журнал обрушивается на отвратительное «рабское чувство» в народе, которое «делается еще отвратительнее, когда стараются возвести его в идеал добродетели». Это-то «рабское чувство» и помогло крепостникам обмануть народ, когда «росса повели по пути мирных реформ, причем оказалось, что нет такого пути, по которому бы росс не умел ходить».

Крах революционной ситуации 1859—1861 годов заставил публицистов-шестидесятников искать теоретическое объяснение спаду революционной волны, новые пути освободи-

тельной борьбы. Горечь и разочарование в революционных возможностях крестьянства были так велики, что толкнули одного из самых молодых сотрудников журнала, Зайцева, на высказывание чисто бланкистского толка: о необходимости «насильственно» даровать народу свободу. Надо отдать справедливость, высказывание такого рода было единственным на страницах «Русского слова».

Журнал обращается к истории революционных движений Запада не только ради пропаганды идеи революции, но и в поисках ответа на вопрос: при каких условиях поднимаются массы на восстание, «до каких пределов доходит их терпение»? («Исторические эскизы» Писарева). Публицисты журнала пытаются найти ответ на этот вопрос, исходя из своей идеалистической, рационалистической философии истории, в основе которой лежал тезис: знание правит миром.

Истоки революционности народа — в уровне его умственного развития, в уровне сознательности масс. Эта мысль, связывавшая задачу пробуждения «ума», распространения знаний, сокрушения всех и всяческих креп, мешающих умственной деятельности и самосознанию человека, непосредственно с подготовкой революции, настоятельно проводилась в «Русском слове». В уровне сознательности народа журнал видел гарантию успеха революционного подъема масс.

Из-за недостатка сознательности в народных массах ни одно революционное движение не решило вопроса о голодных и раздетых людях. Бывали минуты, указывал в «Исторических эскизах» Писарев, когда в истории наступали «страстные взрывы надежды», но надежда, как правило, не осуществлялась, ибо «для осуществления ее необходим не минутный взрыв, а долговременная, напряженная и строго последовательная деятельность». До сих пор еще не было на свете такого народа, в котором большинство было бы способно к «сознательной коллективной деятельности».

XIX век принес с собой новое качество освободительного движения, являющееся гарантией его успеха,— идею социализма. Если внести ее в массы, она воодушевит революционные движения народов и сделает их действительно плодотворными. Вслед за Чернышевским, хотя и в иных исторических условиях, публицисты «Русского слова» пытаются слить воедино идеи народной революции и утопического социализма, разрабатывают теорию социальной революции, получившей дальнейшее развитие в мировоззрении револю-

ционного народничества 70-х годов. Однако, в отличие от народников 70-х годов, считавших крестьян революционерами по «натуре», по «чувству», публицисты «Русского слова» видели основу революционной активности народа в «знании».

Рационалистическая философия истории, присущая революционным демократам, в качестве ответа на столь больной для них вопрос: «Что делать, когда массы спят?» — подсказывала утопический выход: повышать уровень умственного развития масс.

Но ведь уровень умственного развития масс зависит от уровня материальной жизни народа — такова была одна из важнейших историко-материалистических догадок публицистов «Русского слова». И мысль рационалистов-просветителей попадала в неразрешимое противоречие. «...Мы бедны, потому что глупы; мы глупы, потому что бедны... Змея кусает свой хвост и изображает собой эмблему вечности, из которой нет выхода»,— выразил это противоречие Писарев.

В статье «Реалисты» (1864) он предложил весьма своеобразный практический план преодоления этого противоречия. «Формирование реалистов», то есть критически и социалистически мыслящих разночинцев, «новых людей», которые несли бы людям свет знания, идеи демократии и социализма,— такова суть этого плана.

Здесь коренятся причины того отличия «Русского слова» от «Современника», о котором говорили уже сами шестидесятники. Главным вопросом «Русского слова», писал в частности Н. В. Шелгунов, «было выяснение личности, ее положения, ее развития, ее общественного сознания и вообще ее внутреннего значения, содержания и отношения к обществу и к общему прогрессу...» «Русское слово», взявшее на себя ответы на запросы личности, вовсе не являлось чем-то обособленным. Оно было лишь другой стороной медали, первую сторону которой представлял «Современник». Если «Современник» говорил преимущественно о новых мехах, то «Русское слово» говорило о новом вине, которое должно их наполнить. Но как «Современник», разрешая экономические, общественные и политические вопросы, не обходил вопросов бытовых и личных, так и «Русское слово», разрабатывая личные вопросы, не обходило и всех остальных. Таким образом, «Современник» примыкал своими бытовыми и личными вопросами к «Русскому слову», а «Русское слово» статьями политического, общественного и экономического содержания примыкало к «Современнику». Оба журнала, несмотря на то

что хронологически один шел за другим, принадлежали к одному периоду движения общественной мысли и являлись пионерами в области тех вопросов, разрешение которых «сообщало им специальный цвет и характер, создало каждому законченную и определенную физиономию».

4

И «Современник» и «Русское слово» представлены в нашем сборнике публицистами и литературными критиками, если можно так выразиться, второго ряда, потому что работы ведущих публицистов и критиков этих журналов — Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Салтыкова-Щедрина — выделены в отдельные, самостоятельные сборники в данной Библиотеке.

Публицистическое и литературно-критическое наследие М. Антоновича представляют его статьи, публиковавшиеся в «Современнике», где после смерти Добролюбова и ареста Чернышевского на него пал тяжкий труд и ответственность быть ведущим, первым критиком этого самого прославленного журнала 60-х годов. К сожалению, ответственность эта далеко не всегда оказывалась соизмеримой с масштабом его дарования — одна из причин, почему «Современник» во второй половине 60-х годов начал заметно уступать пальму первенства в борьбе за души людей, особенно молодежи, журналу «Русское слово».

Журнал этот вошел в наше общественное сознание прежде всего как трибуна, с которой звучало страстное, талантливое слово Д. И. Писарева. Однако необходимые условия для самого факта появления Писарева в «Русском слове» были созданы его редактором Г. Е. Благосветловым, возглавившим этот журнал в 1860 году и в считанные месяцы сумевшим перевести его на последовательные демократические рельсы.

Благосветлов был не только талантливый редактор, но и небесталанный публицист, прошедший первоначальную школу политического воспитания вместе с Н. Г. Чернышевским в окружении Петрашевского, а позже — в доме Герцена, где он в течение двух лет был домашним учителем дочерей лондонского изгнанника. Он возглавил «Русское слово», будучи убежденным демократом-просветителем. Его перу принадлежало большинство внутренних обозрений журнала, которые он вел под рубрикой «Домашняя летопись», ряд обо-

зрений в отделе «Политика», посвященном жизни современного ему Запада, большое количество статей на исторические темы. Обращение к истории, равно как и к политическим движениям Запада, скажем — движению Гарибальди или войне между Севером и Югом в Соединенных Штатах Америки, помогало Благосветлову выносить на общественное обсуждение актуальные вопросы жизни России 1860-х годов. Подтверждением тому может служить хотя бы его статья, посвященная Гарибальди, полная уважения к подвигу этого прославленного итальянского революционера.

Главной задачей журнала Благосветлов считал воспитание у читателей последовательных демократических убеждений. «Убеждение захватывает всю нравственную жизнь человека, вытекает из всех его намерений, побуждений и действий; оно вырабатывается тяжелыми опытами действительной жизни и напряженной работы мысли; в него, как в общую сумму, сливаются все наши наблюдения, изыскания и идеи,— писал Г. Е. Благосветлов.— Оно так же неразрывно с существованием его обладателя, как самая жизнь. Лишения, препятствия, гонения — ничто не может сломить или разочаровать его; напротив, всякое благоприятное обстоятельство возбуждает его силу и увеличивает энергию, и всякое препятствие закаляет его в собственном достоинстве».

Верность убеждениям Благосветлов считал высшей честностью — честностью политической. Именно в этом духе демократические публицисты 60-х годов прошлого века воспитывали своих читателей, формируя убежденных, сознательных борцов с самодержавием и крепостничеством. Эта титаническая работа дала свои плоды. Прошло всего несколько лет, и в начале 70-х годов тысячи убежденных революционеров и социалистов из среды передовой молодежи того времени ушли в народ. На допросах и судебных процессах они не скрывали глубинных истоков своих гражданских убеждений. «Современник», «Колокол», «Русское слово» дали толчок для большинства в их движении к революционному миросозерцанию, к народническим идеалам.

Надо сказать, что многие публицисты-шестидесятники, сформировавшиеся в годы первой русской революционяой ситуации, сохраняя верность идеалам 60-х годов, продолжали свою публицистическую деятельность и в последние годы. Это касается Г. Е. Благосветлова, редактировавшего в 70-е годы демократический журнал «Дело». Это касается также Н. В. Шелгунова и В. Зайцева.

Варфоломей Зайцев пришел в журнал «Русское слово» в 1863 году, когда ему исполнилось всего 20 лет. Первая его статья «Представители немецкого свиста Гейне и Берне» была задержана цензурой и увидела свет значительно позже в искаженном и урезанном виде. Время литературной деятельности Зайцева в журнале «Русское слово» составляет неполных три года — 1863, 1864, 1865-й. И за это время двадцатилетний юноша сумел завоевать известность, сохранившуюся и по наши дни. Вслед за Писаревым он был популярнейшим публицистом и критиком «Русского слова». С апрельской книжки журнала за 1863 год он вел сатирический обзор отечественной периодики «Перлы и адамаиты русской журналистики», с майской книжки 1863 года публиковал «Библиографический листок», часто выступал с литературно-критическими статьями. Вокруг имени Зайцева кипели непрекращающиеся споры, он находился в центре полемических боев всей второй половины 60-х годов. И не удивительно.

«У Зайцева библиография не была сухим и скучным отзывом о книгах,— вспоминает Н. В. Шелгунов,— это была пропаганда и публицистика в форме библиографии, живая, горячая, боевая, писанная именно кровью сердца и соком нервов... Яркий талант Зайцева не мог не привлекать к нему симпатий свежих и молодых читателей, и те, кто его читал, так же не забудут его, как и своей молодости».

После закрытия «Русского слова» Зайцев на некоторое время попал в Петропавловскую крепость, после чего с огромными трудами ему удалось выехать за границу. Мало кто знает, что его публицистическая работа продолжалась и там. Оставаясь в душе все тем же шестидесятником, он долгие годы сотрудничал в эмигрантском журнале «Общее дело». И быть может, лучшие и наиболее зрелые его статьи напечатаны именно в «Общем деле», издававшемся шестидесятниками-эмигрантами Элпидиным и Христофоровым.

Представив в нашем сборнике Варфоломея Зайцева периода «Русского слова» статьей о творчестве Некрасова, одной из лучших в наследии критика, мы публикуем четыре его более поздних статьи — из восьмидесяти двух, опубликованных в «Общем деле». Это «Русская революция» (№ 25, 1879), «Общее дело» (№ 28, 1879), «Генералиссимус граф Суворин-надпольный» (№ 31, 1880) и «Новая нравственность» (№ 47, 1882). Статьи эти никогда и нигде не перепечатывались. Они интересны не только тем, что здесь представлен

неподцензурный Варфоломей Зайцев позднего периода его развития, но и взглядом на 60-е годы и людей той поры. «Двадцать лет тому назад,— пишет Зайцев,— мы мечтали о ней (русской революции.— *Ф. К.*). В наших мечтах она являлась нам с классическими атрибутами исторических революций, наших или европейских: или в виде стихийной бури пугачевщины, Жакерии, крестьянской войны, или с громом пушек и речей народных ораторов, как в 92».

С этими мечтами было неразрывно связано и публицистическое творчество Н. В. Шелгунова. Шелгунов начал сотрудничество в «Русском слове» в 1859 году, потом перешел в «Современник», где напечатал свою знаменитую статью «Положение рабочего пролетариата в Англии и Франции». В начале 1863 года он вернулся в благосветловское «Русское слово». Убежденный революционер и демократ, он был автором прокламаций «К молодому поколению» и «К солдатам». В 1862 году он с женой, Л. П. Шелгуновой, отправляется в Сибирь, чтобы организовать побег своего близкого друга М. Л. Михайлова, который взял вину составления прокламации «К молодому поколению» на себя и был приговорен к каторге. В сентябре 1862 года из-за перехваченного письма Шелгунова Н. А. Серно-Соловьевичу Шелгунов был в Сибири арестован и в марте 1863 года привезен в Петербург, где несколько месяцев томился в Алексеевском равелине, а потом был выслан в Вологодскую губернию. В ссылке он провел тринадцать лет, все эти годы активно сотрудничал в демократических журналах, и прежде всего в «Русском слове» и «Деле».

Его «Письма о воспитании», представленные в нашем сборнике двумя статьями — «Характер» и «Условия солидарности», его статья «Историческая сила критической личности», посвященная «Историческим письмам» Лаврова, появившимся в газете «Неделя» в 1869 году, интересны прежде всего тем, что содержат выразительную и точную нравственную характеристику 60-х годов.

Активным участником журналов «Современник» и «Русское слово» был Афанасий Прокофьевич Щапов, замечательный русский демократ-просветитель, речь которого на панихиде, устроенной студентами Казанского университета по крестьянам, убитым в Бездне, прозвучала на всю Россию. В результате этой речи Щапов был арестован и приговорен к ссылке в монастырь, но, благодаря энергичным протестам прогрессивной общественности, был оставлен в Петербурге под надзором полиции. Однако в середине 1864 года в связи

с участием в так называемом «Деле 32-х» был выслан в Иркутск, откуда и слал в Петербург свои статьи.

В публицистическом наследии 1860-х годов особняком стоит книга «Отщепенцы», практически неизвестная современному читателю. Книга эта, отпечатанная сначала в легальной типографии и представленная в цензуру, смогла проникнуть к читателю лишь путем нелегальным, «подземным», как говорили в ту пору. Она была представлена в цензуру ее автором Н. В. Соколовым 4 апреля 1866 года, за два часа до выстрела Каракозова в Александра II, и сразу же была задержана, конфискована, а автор ее был отдан под суд и получил шестнадцать месяцев заключения в крепости и последующую бессрочную ссылку, из которой бежал за границу в 1872 году.

Имеются сведения, что книга эта писалась Н. В. Соколовым совместно с В. Зайцевым[1]. Однако, чтобы спасти обремененного семьей В. Зайцева от судебного преследования, Н. Соколов, как когда-то Михайлов в отношении Шелгунова, взял всю вину на себя.

Вчерашний подполковник Генерального штаба, блестящий офицер, которому была уготована великолепная карьера, Н. В. Соколов на волне революционной ситуации 1860-х годов вышел в отставку и предложил свое перо публициста вначале «Современнику», а потом журналу «Русское слово». Далеко не все, что он писал, сохранило свою ценность и силу и по сию пору. В его яростном неприятии деспотизма и буржуазности было много наивного, прямолинейного и упрощенного. Но книга «Отщепенцы» заслуживает того, чтобы с ней познакомился современный читатель. «Соколов обратил в социализм многих своими статьями в «Русском слове» и книгой «Отщепенцы»,— писал в «Записках революционера» П. Кропоткин. Народоволец Н. А. Морозов вспоминал в «Повестях моей жизни»: «Отщепенцы» — книжка, полная поэзии и восторженного романтизма, особенно нравившегося мне в то время, возвеличивавшая самоотверженне и самопожертвование во имя идеала, унесла меня в небо».

С тех пор эта единственная в своем роде в русской публицистике книга ни разу не переиздавалась и давно стала недоступной читателю библиографической редкостью.

---

[1] См.: Кузнецов Феликс. Публицисты 1860-х годов. М., 1980, с. 286—287.

Современный читатель должен учитывать своеобразие терминологии тех лет. Это враги называли революционеров и социалистов того времени «отщепенцами», «нигилистами», «свистунами» (от названия сатирического приложения к «Современнику» «Свисток») — и революционеры в полемическом азарте как бы принимали эти названия. Как свидетельствовали современники, слово нигилизм получило по началу хождение как «бранная кличка» материалистов и революционеров, а уже потом, в порядке вызова, как «гордо принятый ярлык» революционной демократии. «Риторы враждебного лагеря,— писал участник революционного движения 60-х годов Н. И. Утин,— окрестили то явление прозвищем нигилизма; нам ничего не стоило бы принять такое название, как условный термин для обозначения известной партии. Не раз в истории известная партия, люди известного направления и даже целые массы, сплоченные революционной борьбой, спокойно принимали и удерживали за собой навсегда прозвища, данные им врагами в виде насмешки и презрения. Так остались в истории французские якобинцы и санкюлоты (голландские нищие) и многие другие. Самое понятие нигилизм не заключало бы в себе ничего отталкивающего для нас, принятое в смысле нигилирования, отрицания возможности всего существующего порядка» [1]. Но в том-то и дело, что «риторы враждебного лагеря», называя революционных демократов «нигилистами», пытались представить их разрушителями всего и вся, лишить их каких бы то ни было положительных идеалов. Их отрицание эксплуататорского общества, крепостничества, борьбу за освобождение народа от экономических, социально-политических и духовно-нравственных пут они пытались огульно выдать за голое разрушение, лишить ее позитивного, исторически созидательного характера.

Нельзя не отдать должное этому «изобретению»: для поверхностного восприятия оно било в точку, ибо русские революционные демократы и в самом деле выступали как отрицатели, но отрицатели отжившего, и прежде всего — крепостничества и всех его порождений.

Их отрицание никогда не было отрицанием ради отрицания, но всегда — отрицанием ради утверждения. Как известно, в условиях 60-х годов прошлого века именно они были

---

[1] Литературное наследство, т. 87. Из истории русской литературы и общественной мысли 1860—1890 гг. М., 1977, с. 386.

партией будущего, обладавшей широкой и цельной системой гражданских убеждений и общественных идеалов, обширной и перспективной программой положительных преобразований русского общества, улучшения жизни родной страны. Эти великие сыны России, бесстрашно выступавшие против проклятия крепостничества, оскорблявшего, гнувшего, угнетавшего русский народ, были убежденными и страстными патриотами, желавшими блага родной стране.

Феликс Кузнецов

М. А. Антонович

О ПОЧВЕ

(Не в агрономическом смысле, а в духе «Времени»)

Самым несчастным и поразительным примером того, как бессмысленные стереотипные фразы затемняют дело, производят сбивчивость в понятиях, отнимая у них отчетливость,— служат журнальные толки и споры о каком-то предмете, которому дано аллегорическое название «почвы». Уже одно такое название показывает, что спорящие имеют неопределенное, не собственное, а тоже аллегорическое понятие о предмете спора, то есть толкуют о том, чего никто из них не потрудился уяснить для себя. В таких случаях обыкновенно люди бросаются с большим удовольствием на метафорические фразы, которые бы своею неопределенностью могли обманывать всякого, вместо дела представляли бы один пустой звук, маску или ширму, удобно скрывающую за собой пустоту, недостаток внутреннего содержания. По счастливой случайности сорвется у кого-нибудь с языка неопределенная фраза, с виду как будто имеющая некоторый смысл; вот за нее и ухватятся люди, бедные мыслями, начнут жевать да пережевывать ее, играть ею, точно мячиком, придумывать для нее разные перифразы и антифразы. От частого употребления фразы глаза и уши так привыкают к ней, что никто уже не считает нужным вникать в ее смысл. Вместо того чтобы высказать мысль, всякий говорит вам только избитую фразу; но все довольны и удовлетворяются фразой, воображая, что они действительно получили настоящую мысль, и нимало не подозревая того, что фраза не кажется им дикою и бессмысленною потому единственно, что они привыкли к ней, свыклись с ее звуком или начертанием.

История «почвы» начинается с «Маяка» [1], толковавшего, впрочем, не о почве, а о народности. С легкой руки почтенного журнала поднялись положительные и ожесточенные споры о народности; явилась народность в науке,

народность в искусстве, народность в жизни; явилось также и отрицание этой троякой народности. Многочисленные солидные умы совершенно серьезно препирались между собою о том: можно ли знать русскую историю без сочувственного отношения к ней? Пушкин народный ли поэт? квас лучшее ли питье, чем вода? И да и нет слышалось с разных сторон и в разных углах. Потом спорящие дошли до того, что говорить и спорить дальше не было никакой возможности, и тогда только ясно почувствовали всю пустоту и бессмысленность спора. А между тем они так привыкли к фразе, что им и в голову не приходило спросить себя: да что же такое народность? Им чудилось, что фраза имеет такой точный и определенный смысл, что и спрашивать об этом не было никакой надобности. Однако ж каким-то чудом промелькнул наконец и вопрос: что такое народность? Для разрешения его стали собирать и печатать народные поверья и суеверья, древние и новые народные легенды, сказки и пословицы, в особенности народные песни. Действительно, порядочный ворох этого материала был собран, долго рылись и копались в нем; а все-таки знание народности оставалось в том же положении, в каком оно находилось еще при «Маяке». Что тут делать и как быть? Приходилось просто расставаться с таким драгоценным сюжетом, как народность, о которой можно было всегда наговориться вдоволь, в сытость и в сладость. Вдруг раздается новая фраза: «почва», еще более неопределенная и, значит, более удобная, чем «народность». Понятно, с какою стремительностью и восторгом бросились на нее люди, имеющие крайнюю нужду в фразах. Читателю, хоть мельком пробегающему страницы некоторых журналов, конечно известны тысячи ладов, на которые тянется и переливается эта благодетельная фраза; сначала она просто только забавляла и смешила, а теперь, наверное, надоела и опротивела для всех своим беспрестанным и однообразным гудением. «Самое важное дело почва,— гласит фраза,— от почвы все зависит, без почвы ничто не возможно, только на почве все может жить и произрастать. А мы между тем стоим не на почве; мы не чувствуем почвы под ногами; почва убегает от нас; почва чужда нам; мы оторвались от почвы и летаем в облаках, задыхаемся от испорченного воздуха, который мы же сами испортили, удалившись от почвы». В параллель прежним спорам о народности новая фраза звучит: «Наша наука, искусство и жизнь выросли не на почве, им недостает почвенного

питания, оттого они слабы, хилы, чахлы, болезненны и несовершенны. Вследствие всего этого нам необходимо и неизбежно нужно стать на почву, должно возвратиться к почве, на почву, в почву», и т. д. Из этой одной фразы, варьируемой на разные манеры, без всякой примеси мыслей, составляются целые большие статьи; ее употребляют для характеристики убеждений и направлений; ею пользуются как критерием для оценки чего бы то ни было, ею разят и губят все. Захочет кто-нибудь оспоривать вас или просто вздумает обругать, он только скажет: «вы оторвались от почвы» — и вы признаетесь побежденным и униженным; апелляция к здравому смыслу, с просьбою решить вопрос: что такое почва и в какой мере преступно отрывание от нее,— не допускается, дело считается порешенным окончательно и неизменно. В величайшее затруднение пришли бы почвенники, если б их попросили не употреблять фразы о почве и ее вариаций; им и сказать нечего было бы. Мы имели в руках печатную страницу, на которой ничего не осталось, ни одной мысли и слова после того, как мы вычеркнули из нее фразу о почве. Одним словом, эта фраза грозит сделаться тем, чем была некогда колоссальная, но уже отжившая свой век фраза: «в настоящее время, когда...»; почве, кажется, суждено занять место «настоящего времени» и сделаться решительницею и вершительницею всех тяжб, споров и недоумений. Как прежде, бывало, желая обличить что-нибудь, обыкновенно восклицали в конце статей: «И все это делается в настоящее время, когда» и проч., а желая восхвалить, восклицали в начале: «В настоящее время, когда, и проч., явилось новое отрадное явление»,— так и теперь для тех же целей и с такою же основательностью употребляются: «оторвание от почвы» и «стояние на почве». Фраза о почве до того мила своею неопределенностью, что на ней сошлись и согласились даже те, которые некогда враждовали между собою из-за фразы о народности. Совершенно в такт и в тон приведенного мотива фразы о почве и другая сторона враждовавших принялась распевать по древним «крюкам»: «Да, мы оторвались от почвы, от утробы и персей нашей матушки — древней Руси, затянули полное тело ее, красавицы, в узкое немецкое платье, вместо квасу поим ее водою. А то ли дело квас! Подкрепляемые им, римляне покорили весь мир. И если б мы пили квас, давно бы уже соединили всех славян в одну огромную братскую семью, и земля наша была бы тогда велика и обильна».

Как видите, и новая фраза не обновила дела, не принесла с собою новой мысли; понятие, соединяемое с словом «почва», остается столь же смутным и неопределенным, как и то, которое прежде выражали словом «народность». Посмотрите на журналы, толкующие о почве почти на каждой странице, славящиеся своею почвенностью и укоряющие всех за оторванность от почвы,— чем они отличаются от прочих журналов? Решительно ничем; то есть, пожалуй, отличаются многими качествами; но эти качества служат не к чести их и не имеют ни малейшего отношения к почве. В них те же толки и рассуждения об искусстве для искусства, о жителях луны и драмах Мея [2], об идеалах истины, добра и красоты, которые мы слышали и прежде, когда еще и речи не было о почве. В этих рассуждениях и вообще-то нет ничего особенного, а тем более нет ничего такого, почему бы людей, предающихся таким рассуждениям, можно было назвать стоящими на почве, а не летающими в облаках. Но это еще небольшая беда, что люди, у которых постоянно на языке почва, сами стоят не на почве и не отличаются почвенностью; за это их нельзя судить. И то хорошо, что они по крайней мере сознали неудовлетворительность прежнего положения вещей, существовавшего не на почве, и почувствовали необходимость нового, которое непременно должно устроиться на почве. С их стороны было бы даже заслугой, если бы они ясно высказали, в чем и как прежний порядок оторвался от почвы и каким образом можно нам опять связаться с почвою, то есть точно определили и формулировали свои стремления. А то ведь и этого нет; они сами для себя не выяснили тех требований, с которыми они обращаются к другим, сами не знают, чего хотят, или хотение их так смутно и туманно, что его и понять нельзя. «Мы оторвались от почвы; наша наука, искусство и жизнь выросли не на почве, поэтому нам нужно стать на почву»,— как прикажете понимать эти фразы и что они значат такое? Если не для пользы дела, по крайней мере из снисходительности к любопытству читающей публики толкующие о почве должны бы были объяснить, что значит отрывание от почвы и какими явлениями оно обнаруживается; или, в частности, в применении, например, к науке: какие черты представляет наука, по которым ее называют оторванною от почвы, и какой вид она должна была бы иметь, если бы она коренилась в почве и всасывала в себя почвенные начала. Уж если они не могут высказать этого прямо, в точ-

ных положениях и определениях, то хоть бы по крайней мере разъяснили свой взгляд какими-нибудь противоположениями и параллелями. Иногда они сами указывают на Германию, Францию, вообще на Европу, где будто бы и наука и все другое стоит на почве; вот и прекрасно, и следовало бы показать, чем наша наука отличается от западной, какого элемента, имеющего именно отношение к почве, недостает в ней? Французская наука XVIII века была пересажена из Англии на французскую почву и пошла здесь хорошо, принесла свои плоды; она же была пересажена в Германию,— и тут ничего, пошла успешно. Подобным образом и наша наука не выросла на туземной почве, а тоже пересажена из-за моря; что же с нею случилось такое, что она вдруг оказалась оторванною от почвы; не принялась она, что ли, засохла и увяла? Но в таком случае ее нет вовсе, и нечего толковать о науке. Да вообще, уж если бы почвенники имели определенные и ясные понятия насчет отрывания от почвы и стояния на ней, они непременно разъяснили бы их и для других каким-нибудь другим способом, кроме указанного нами. А то ведь читающая публика находится в совершенном неведении причин, по которым ее обзывают оторванною от почвы и летающею в облаках.

Наконец, уж в самое недавнее время «почву» стали переводить словом «народ» и все фразы о почве применять к народу. Конечно, перевод этот довольно вольный, и переводчики не объясняют, в каком смысле народ может быть назван почвою и какое у него сходство с нею; но все-таки и то уж большой шаг вперед, что на место совершенно пустой фразы явилось слово, имеющее хоть какое-нибудь определенное содержание; вместо «соединения с почвою» некоторые стали говорить «соединение или сближение с народом». Последние слова тоже слишком неопределенны и много смахивают на фразу, но в них все-таки видна мысль, у которой ясны по крайней мере элементы, хоть и не выражено точно их взаимное отношение. «Не народ», или, точнее, «не простой народ», и потом народ черный, или почва,— вот эти два элемента, сами по себе еще довольно определенные; по крайней мере их удобно и возможно как-нибудь разграничить, хотя рассуждающим о сближении и в голову не приходило провести резкую черту между народом, который должен сблизиться, и народом, с которым должно сблизиться. Говорят вообще, наше общество разорвано на две части, на две народности, а на

самом-то деле оно состоит не из двух, а, пожалуй, из целого десятка народностей; но на это наши сближатели не обращают никакого внимания. Они делят народности не по тем признакам, которыми обыкновенно определяется народность, а по признакам случайным, по развитию и образованию, так сказать, по степени учености; народности же действительные, различные между собою по натуре, по складу ума и характера, для них как будто не существуют и не входят в круг их рассуждений и вопросов; поэтому они и видят в нашем обществе только две части: с одной стороны, верхний слой его, куда относятся более или менее образованные и полуобразованные люди, занимающиеся науками, искусствами, ведущие жизнь на европейский манер, имеющие право или претензию называть себя цивилизованными людьми; с другой стороны, масса простого народа, без науки, искусства, культуры и других атрибутов цивилизации. Между ними будто бы существует огромная непроходимая пропасть, ров, бездна,— положим, хоть бездны даже и нет, а все-таки различие есть, и оно очень заметно. Говорят далее, будто бы таким образом разорвала наше общество реформа Петра I,— а может быть, кроме этого оно еще разрывалось само собою, вследствие общих, не исторических только, а и социальных причин, которые везде, и не у нас одних, произвели и производят подобный разрыв. Но, как бы то ни было, теперь требуется соединить эти две различные, или, пожалуй, противоположные, части, сблизить их между собою; если в неизбежности этого сближения и не все согласны, по крайней мере все признают его пользу и многие искренно его желают. Этим и оканчивается относительная ясность и определенность дела и общее согласие во взглядах на предмет. А вот уж самое сближение — совершенная темень, вещь мудреная и весьма смутно понимаемая. Каково должно быть это сближение, в каком смысле оно возможно, кто и как должен сделать первый шаг, с чьей стороны должно быть больше уступок, какие элементы внесет в будущее общее соединение та и другая сторона,— на эти вопросы вы нигде не найдете определенного ответа; ими не занимаются люди, толкующие о почве и народности. Ответы нужно с трудом отыскивать в разных неясных намеках, выводить их из общих воззрений, высказываемых отвлеченно, и подмечать в разных толках и рассуждениях, относящихся к предметам посторонним. Тут-то открывается пред нами пестрая картина разноречий, противоречий,

несообразностей, самых диких воззрений; и большого труда стоит разъяснить спорные пункты и хоть приблизительно определить положения и взгляды спорящих сторон.

В последнее время разнесся слух, будто бы у нас уже нет славянофилов; этот слух особенно усердно распространял г. А. Григорьев [3] и некоторые журналы, поставившие для себя задачей примирить славянофилов с западниками и соединить их воззрения в общей идее. Естественно, все подумали, что эта задача уже исполнена, и решили поэтому, что нет более славянофилов. Однако теперь оказывается, что это решение так же основательно, как и многие другие решения в таком же роде, например, что «нет более седых волос», «нет более зубной боли» и т. п. Славянофилы существуют, только несколько измененные, немного преобразовавшиеся; кроме того, некоторые, прежде совершенно нейтральные люди неожиданно превратились в славянофилов. Подделываясь под требование настоящего времени, когда народность оставлена в стороне, а принято больше говорить о почве и о народе, новые славянофилы тоже рассуждают о сближении с народом. Первее всего нужно знать, что за штука такая народ, с которым нужно сближаться. А для этого стоит только взглянуть сочувственным оком на стародавнюю Русь, когда весь народ вкупе жил собственною самостоятельною жизнью, все производил из себя и для себя, до всего доходил своим собственным умом и когда, стало быть, все его произведения в области науки, искусства и жизни были народны в самом строгом смысле, носили на себе ясные следы и резкие отпечатки чисто русских пальцев и пропитаны были чисто русским духом; в них русский народ отразился как в зеркале. Когда реформа Петра разодрала русское общество на две части, тогда верхний слой его, забыв преданья отцов и дедов, переделал себя на немецкий лад, усвоил себе все чужестранное, бросил туземные произведения и бросился на заграничные, а если и сам производил что-нибудь, то больше все на иностранный манер. Это одна народность, немецко-русская. Низший же слой общества, народ, крепко придерживался старого, оставаясь при воззрениях и понятиях древней Руси и при старомодных условиях жизни, существовавших до реформы; он и по сю пору остался неизменным, сохранил верно свой первобытный вид. Это другая народность, беспримесно-русская. После этого очень ясно, с чего должно начаться сближение с народом со стороны верхнего слоя, или людей

образованных. Они должны швырнуть в сторону все немецкое, наплевать на все вообще иностранное и обратиться к народу, сделаться тем, чем он есть теперь или — что одно и то же — чем он был во времена древней Руси до реформы. Мудрость философскую и религиозную они должны черпать в «Глубиной и Толковых книгах» [4], в «сказаниях о таблице», «стоглавнике» [5] и проч., учиться правде должны у «Русской правды» [6], у «Судебников [7] и Уложений» [8], вести жизнь сообразно с предписаниями «Мономахова завещания» [9] и «Домостроя» [10], пить непременно квас, но не баварский, а простой русский, и мед не казалетовский и кроновский, а тоже чисто русский; одним словом, должны убраться, принарядиться и устроиться во всем так, как это изображено в «Очерках» г. Н. Костомарова [11], из которых видно, что современный наш народ, с которым нужно сближаться, действительно живет почти совершенно так, как в старину живали наши деды и отцы. Посредством такого приема, очень легкого и удобного, образованные люди верхнего слоя действительно могут сблизиться с народом и даже превратиться в народ; но что выйдет из этого сближения и к чему оно проведет,— это совершенно неизвестно, новые славянофилы об этом не думают. Они страстно, до безумия любят народ, у них охота смертная сблизиться с народом, да и только. И нужно как можно торопиться таким сближением, а то в противном случае народ приступит к образованным людям, да и скажет им: «подите, подите прочь от нас, вы не наши». Что тогда делать? Вразумить народ и растолковать ему, что и верхний слой такой же народ, как и он, нельзя; он не послушает образованных людей, которые даже не имеют права учить его и передавать ему образование, так как это образование не народное, а пришлое, заграничное, принесенное реформою с Запада. Народ сам себя образует; он уничтожит даже наш теперешний шрифт, не выросший на почве, а рабски скопированный с латинского, и введет во всеобщее употребление славянские письмена, которыми пользовалась вся древняя Русь, или же, по примеру «Русского вестника» [12], составит свой собственный шрифт народный и, бросивши все немецкие выдумки Гутенберга [13], станет не печатать, а писать книги чисто русские, в которых не будет ни капли, ни строчки чего-нибудь иностранного, а все русское — и идеи, и факты, и краска, и бумага. То-то будет счастье!

За крайним славянофильским мнением о способе сбли-

жения с народом по порядку следует умеренное мнение людей, славящихся почвенностью и старающихся примирить славянофилов с западниками. Всякое примирение, сближение должны удовлетворять и той и другой из враждующих сторон, от обеих должны взять по частичке и слепить их в одно. Так и поступили примирители, стоящие на почве, при разрешении вопроса о сближении с народом. Чтобы сделать удовольствие славянофилам, они тоже говорят, что реформа разорвала русский народ на две части и образовала между ними пропасть, ров; но чтобы не оскорбить и западников, они прибавляют, что реформа не онемечила верхний слой, а просто только оторвала его от почвы и пустила в облака, между небом и землею. В этом положении, конечно неудобном и невыгодном для животных не пернатых, верхний слой образовался, то есть усвоил себе западноевропейскую образованность, коей научился от иностранных учителей. Может быть, не в обиду будь сказано славянофилам, эта образованность и хороша сама по себе; но дело в том, что мы выросли из нее, превзошли своих учителей, увидели, что их наука для нас не годится, неудовлетворительна уже по тому одному, что мы усвоили ее не на почве, а в облаках; на таком основании мы отрицаем западноевропейскую цивилизацию, она для нас «узка». Вследствие этого наше учение должно прекратиться, мы должны ждать, что «скажет вся нация», должны поджидать того времени, когда у нас вырастет собственная наука. А это будет тогда, когда мы сблизимся с народом, станем на почву,— и опять пошла писать прежняя фраза. В чем должно состоять сближение и как это мы станем на почву, этого примирители не определяют, и какие бы напряженные усилия вы ни употребляли, ни за что не добьетесь, что́ они хотят и чего требуют; «стать на почву, сблизиться с почвою, с народом», «возвратиться к почве» — и больше решительно ничего, так что наконец даже становится досадно на то, что вас заморили фразами, измучили совершенно напрасными поисками и напряжениями. К главному мотиву фразы вроде припева иногда прибавляется «грамотность» и ее распространение в народе; народу нужна грамотность, она засыплет ров, отделяющий нас от народа. Итак, вот к какому скромному результату привели высокопарные и глубокомысленные фразы о почве и о сближении с народом; стояние на почве, укоренение науки, искусства и жизни в почву суть, таким образом, не что иное, как учение и грамотность народа. Мало, очень

мало; но зато хоть ясно по крайней мере, хоть требование-то предлагается определенное и понятное, слава богу и за это; на место фраз явилась мысль и дело. Итак, мы должны оставить теперь в стороне и народность, и почву, и сближение с народом и должны ограничиться скромными рассуждениями о грамотности. «Грамотность нужна народу, и желательно, чтобы он научился ей»,— говорят почвенники-примирители; но ведь это знают все и без их указания, этого желает каждый разумный человек. Почему же они только себя называют стоящими на почве? — ведь и все другие сознают необходимость не грамотности только, но и вообще народного образования,— значит, все стоят на почве, а не летают в облаках. Да и к чему тут приплетать неудовлетворительность и недостойность западноевропейской образованности? А если бы эта образованность была хороша и для нас, тогда народу не следовало бы и грамоте учиться; незачем было бы и сближаться с ним? Ну, положим, мы откажемся от всего, чем снабдил нас Запад, от его цивилизации; произвести что-нибудь свое, оригинальное, мы все-таки не в состоянии, потому что почва не готова и мы еще в облаках, потому мы должны сидеть и ждать сложа руки. Во время нашего отдохновения и бездействия почва приготовится, народ научится грамоте. Что же потом? Вы думаете, на почве сами собой, по теории generatio aeguivoca *, вырастут наука и образованность, народ при помощи одной грамотности создаст для себя все, а мы тогда придем на готовое, станем на почву и пожнем ее плоды? Конечно, это было бы очень удобно и выгодно для нас; но ведь, кажется, не совсем справедливо жать то, чего не сеял. Да едва ли на почве и вырастет что-нибудь, когда она не обработана и на ней ничего не посеяно. А вот потрудитесь, сделайте что-нибудь для народа, на первый раз хоть нечто из того, что рекомендует для всех западноевропейская цивилизация, тогда и на почве пойдет расти что-нибудь хорошее. И с чего вы взяли, что западная образованность и цивилизация для нас узки и негодны, и как прикажете понимать эту фразу? Вы вот, например, до сих пор не стояли на почве, питались наукою и другими плодами, тоже выросшими не на почве, однако благодаря этим плодам вы дошли до сознания своего положения и необходимости сближения с почвою; а сама-то почва и до сих пор не имеет этого сознания, и вы бы его

* самопроизвольное зарождение организмов *(лат.)*

не имели, если б погружены были в почву. Мы освободились от множества предрассудков и других разного рода нелепостей, населяющих почву; и этим также обязаны влиянию на нас западной науки и образованности. Мы пользуемся разными удобствами жизни, опять благодаря тому же влиянию. Мы знаем, что газовые фонари лучше даже масляных, а почва между тем и до сих пор освещается лучинками и едва ли когда-нибудь осветится газом. Мы только еще недавно стали говорить о необходимости образования почвы и почти еще не принимались за это дело, а между тем в Европе уже давно заведены разные воскресные, вечерние народные школы, и, кажется, вреда большого не было бы, если бы хоть двадцать лет тому назад мы пересадили на свою почву эти чужеземные растения. Куда ни посмотришь, во всех так называемых отрадных явлениях замечается влияние Запада. Даже первую мысль об устройстве в Петербурге известного рода будочек подали парижские будочки. Может быть, говоря о недостаточности и узкости западноевропейской цивилизации, хотят выразить мысль, заключающуюся в пословице: «что русскому здорово, то немцу смерть», и, значит, наоборот, что немцу здорово, то русскому смерть, мысль о неприложимости европейской образованности и ее произведений: у нас, дескать, на нашей почве не примется то, что на Западе растет хорошо, там много есть форм, не пригодных для нас. Но во всем подобном Европа не виновата, с нее нечего спрашивать; вся ответственность тут на тех, которые пересаживают западное на нашу почву; они должны смотреть и разбирать, что́ из западного годится и что́ не годится для нас. Если хорошее западное приносит у нас дурные плоды, то это уже зависит от причин, заключающихся в нашей почве, а не от западной цивилизации. Пальма растение прекрасное, но на севере она замерзнет и пропадет; это не уменьшит достоинства пальмы и покажет только недогадливость и ограниченность садовника, который перенес ее на север. А если, например, картофель и индейка могут существовать на севере, так отчего же не пересадить их? Вообще дело идет здесь только о способах приложения западной цивилизации; способы могут быть неудачны, но это ничего не говорит против самой цивилизации. Со всем этим, может быть, согласятся и наши примирители; а все-таки, утверждают они, западноевропейская цивилизация узка и не годится для нас потому, что мы сознали наконец свое всемирно-историческое призва-

ние и общечеловеческое назначение. В чем состоит это призвание и назначение — неизвестно; об этом не говорится ни слова; довольно того, что мы сознали его. Судя по этим фразам об историческом призвании, можно догадываться, что мнения наших примирителей составляют отголосок тех голосов, которые тоже утверждают, что Западная Европа отжила свой век, что она гибнет и находится в предсмертной агонии, что после ее смерти выступит на сцену славянское племя и будет продолжать дело истории и развитие человечества. Может быть, этот взгляд и неверен, по крайней мере слишком преувеличен; но во всяком случае хоть высказывается-то он ясно и определенно. Подробно и резко описываются признаки и симптомы болезни, от которой умирает Европа; точно указывается лекарство, посредством которого можно спасти человечество от погибели и которое все-таки придумано европейской наукой. Это лекарство принесет с собою в историю и распространит повсюду славянское племя.— У наших же примирителей нет и капли подобной отчетливости в суждениях и ясности во взгляде; а главное, они смешивают историческое общечеловеческое развитие с нашим народным домашним делом, с насущным вопросом нашей народной жизни. Может быть, историческое наше призвание велико, и наша задача гораздо шире той, которую решила Европа; но ведь все это журавль в небе, миллиард в тумане, отдаленное будущее; нам нужно еще очень много и долго готовиться и собираться к своей будущей исторической роли, нужно пройти чрезвычайно длинный путь до того места, где мы будем иметь честь сменить Западную Европу. В этом продолжительном странствовании для нас и синица хороша, и копейка дорога; и узкие формы жалкой, отживающей век европейской цивилизации были бы большим благодеянием для нас, будущих великих деятелей и руководителей человечества, и не худо было бы пересадить их на нашу почву до той поры, пока на ней вырастут великие всемирно-исторические плоды. Со временем мы, конечно, сделаемся Фемистоклюсами; но теперь для нас нисколько не было бы унизительно, если бы кто-нибудь из обыкновенных людей отер каплю под нашим носом. Чтобы вполне обнаружились и принесли плод наши великие почвенные силы, они должны развиваться свободно и самостоятельно. Вот ведь и сами примирители на одной странице уверяют, что грамотность самое важное дело, что она одна только может засыпать ров, отделяющий нас от народа;

а на другой торжественно объявляют, что дарование новых прав народу сразу засыпало этот ров как раз наполовину. И отлично. А грамотность, согласитесь сами, когда-то еще засыплет его? До того времени когда грамотность распространится повсюдно и повсеместно и когда образуется весь народ, придется очень долго сидеть и ждать у моря погоды. Да едва ли когда-нибудь и можно дождаться этого. Вон и у самых почвенных народов грамотность распространена не повсеместно, и еще нигде не видано было примера, чтобы вся почва была грамотна и учена. В Англии, положим, много грамотных между простым народом, однако ж это не мешает им бедствовать самым отличным образом. Германия — страна ученая, идеал почвенной учености, однако тоже страдает порядочно. Во всяком случае, значит, никак нельзя сваливать всего на почву и на грамотность. Мы теперь оправдываем свою апатию и бездействие тем, что мы оторвались от почвы, что почва неграмотна. Но когда почва соединится с верхним слоем, все-таки верхний же слой будет играть главную роль, ему будет принадлежать инициатива, от которой он, стало быть, и теперь не должен отказываться. Да и то сказать: мы вот все грамотны и образованы хоть понемногу, однако не можем похвалиться собою. Как знать, может быть, то же будет и с почвою, когда она научится грамоте; образование, быть может, и ее не выведет из апатии, как не вывело нас, и она также будет оправдываться указанием на верхний слой, без которого-де почва ничего не значит.— Глубокомысленные москвичи против всех наших болезней и язв рекомендуют одно универсальное лекарство — науку; только наука может спасти нас и даровать все решительно. Вот на них много походят и так же основательны, как они, наши петербургские господа, рекомендующие грамотность народа как всеобщую панацею, как талисман или щучье повеленье, которое вмиг доставит в наши руки все, чего только мы ни пожелаем. На основании всего вышесказанного всякий желающий может утверждать, что мы восстаем против грамотности и образования почвы и не признаем за ними важного значения, хотя мы, собственно, хотим только сказать, что не в одной грамотности вся суть и что вообще нам следовало бы поменьше мечтать о своей будущей великой роли исторической, а заниматься тем, что поближе к нам, что до зарезу нужно нам в настоящее время, когда, и проч., то есть прочее не в том смысле, как это говорилось прежде в колоссальной фразе, а совер-

шенно наоборот, как приличнее говорить теперь, когда, и проч.

Есть еще целая группа взглядов на почву, по-видимому самых разнообразных, но в существе дела очень сходных между собою; все они, подобно изложенным выше, приводят к апатии и совершенному равнодушию в народном деле. «Везде и во всем,— говорят одни,— много значит народ. А посмотрите на наш народ, что он такое? Как он глуп, груб и невежественен! он ничего не знает, не понимает своего положения. своих отношений и своих выгод; что прикажете делать с ним? Нет, нет, ничего не поделаешь; наш народ слишком, слишком невежественен; оттого-то он и находится в таком положении, оттого-то участь его так горька. Никак нельзя и помочь ему, подождем, пока он хоть немного образуется и сделается повежливей». «Да не нужно пока и заботиться об образовании народа,— говорят другие,— не следует выводить его из того блаженного неведения, в котором он теперь находится, которое ослабляет и притупляет у него чувствительность. Если мы внушим народу возвышенные чувства и благородные идеи, свойственные образованным людям, то его при первом вступлении в жизнь, при первом соприкосновении с действительностью постигнет страшное разочарование». Все это очень гуманно, отчасти справедливо, потому что указывает на необходимость, кроме образования, думать еще об условиях жизни народа; но в таком случае для последовательности нужно бы рекомендовать людям в детстве вырывать глаза, потому что в жизни и действительности приведется видеть при помощи глаз множество всякого рода гадостей, которые отравляют и губят человеческую жизнь и которых лучше бы и не видать. Третьи говорят даже, что грамотность и образование не пойдут впрок народу, что они превратят народ в мошенников, бездельников, воров или, по последней мере, в лентяев, которые не станут работать на себя и на нас даром, и мы все благодаря народному образованию пропадем с голоду.— Что все это верно и проницательно, об этом и толковать не стоит.— Наконец, четвертые, более снисходительные судьи народа, не восстают против грамотности и образования его, даже желают ему успеха в учении и затем воображают, что народ можно предоставить самому себе. Пожалуй, не мешает составить для него азбучку и читальник, пусть его учится; будет прилежен, выучится скоро; а там уж и пойдет, и пойдет, и расправит свои могучие силы.

А мы о грамотности думаем так, что она есть безразличное оружие, сила, которая ценится не сама по себе, а по тому действию, какое она производит. И при грамотности весьма важно то, к чему она прилагается и что будут читать грамотные. Есть на свете и хорошие книги, но зато есть много и таких, что при виде их невольно возбуждается досада на изобретение типографского искусства, и гораздо лучше не уметь грамоте, чем читать подобные книги. На какие же книги может рассчитывать народ, сказать трудно; но, судя по теории вероятностей, можно думать, что на стороне дурных книг больше шансов. Известно, что зло постоянно борется с добром и в сей временной жизни по большей части торжествует над ним; враг рода человеческого, враг всякого живого и доброго развития — диавол силен, он берет под свою защиту все дурное, а стало быть, и дурные книги; всякое добро, напротив, он останавливает и ограничивает и будет употреблять все меры к тому, чтобы воспрепятствовать распространению в народе здравых, благочестивых понятий и хороших книг. Таким образом, народу придется читать то, чего никто из здравомыслящих людей не порекомендовал бы ему для чтения и что приведет к результату, диаметрально противоположному той цели, которая имеется в виду при распространении в народе грамотности и образования. На критику со стороны народа, на его инстинкт истины нечего рассчитывать, когда и верхний слой так слаб в инстинкте и в критике.— Мы опять пришли к заключению, по-видимому согласному со взглядами Даля [14], Белюстина [15] и им подобных, которые тоже говорят, что грамотность вредна, потому что она распространит в народе нечестие и разврат. Приятно соглашаться с такими господами, но, к сожалению, мы согласны с ними только с другой стороны. Мы не называем грамотность вредною и желаем ее распространения, а приведенные нами соображения относительно тех случаев, когда грамотность и образование могут привести к печальным результатам, клонились единственно и исключительно только к тому, чтобы показать, что народ, предоставленный самому себе и своему настоящему течению, не далеко уйдет по пути развития, что верхний слой необходимо должен помогать ему. Грамотность прекрасное дело; но ее одной еще недостаточно. Каким образом посредством грамотности вы разрешите проблему?

Верхний слой расходится с почвою в самых основных философских и моральных воззрениях; наша почва дев-

ственна, первобытна и наивна в своих воззрениях; она когда-то случайно заимствовала большую часть их на стороне, некоторые придумала сама по своему вкусу, да так и остается с ними неподвижно, потому что никогда еще не имела случая сознательно испытать и разобрать их. Народ не задумывался над своими убеждениями, ничто их не колебало, сомнение собственное, или возбужденное со стороны, никогда не закрадывалось в его голову. На нашей почве не было и тени тех колебаний и движений, которые пережили европейские народы. Незначительное большинство образованных людей верхнего слоя хоть с грехом пополам и разными окольными путями успело усвоить себе результаты, добытые Европою; оно воспользовалось готовым богатством, приобретенным другими. Наша же почва находится в совершенном неведении этих результатов. Конечно, она может дойти до них сама, посредством собственного самостоятельного развития, но для этого требуется чрезвычайно много времени, а главное — она напрасно должна будет трудиться над тем, что уже сделано другими.

Для народа нужна, как выражаются, усиленная грамотность, он должен учиться много и прилежно, так как теперь он почти ничего не знает и не умеет; такое требование предлагается народу с полною уверенностью в возможности его исполнения.— Латинская пословица говорит: «satur venter non studet libenter», а русская переделывает ее так: «сытое брюхо на учение глухо»; значит, для прилежного учения требуется некоторого рода пост и содержание желудка постоянно впроголодь; и самое учение начинается, таким образом, «с голоду» и приводит к голоду. И действительно, некоторые утверждают, что если народ захочет учиться и пойдет в университет, то ему нечего будет есть, а все мы вместе с ним будем голодать. Это опасение справедливо; но так же, если еще не более, справедливо и противоположное опасение, что народ ни за что не станет учиться и не пойдет в университет, если ему нечего есть, и с голоду он не примется за грамоту, а скорее бросится на кусок хлеба. Должно быть, также и пустое брюхо на учение глухо, и недаром же говорят, что «голодной куме постоянно хлеб на уме». Как ни восхваляйте грамотность, как красноречиво ни доказывайте высокое превосходство невещественной пищи перед вещественной, а все-таки есть хочется и вам самим и тем, кому вы рекомендуете прилежное учение; желудок всегда берет свое и первый настоятельно заявляет свои права. Поэтому голод-

ный прежде всего желает и ищет хлеба, и за учение может приняться только тогда, когда утолит свой голод. Все это как-то грубо и материально, но тем не менее естественно и неизбежно. Даже возвышенные эстетические наслаждения подчиняются желудку, или, выражаясь деликатнее, чувству голода. Откормленный господин из верхнего слоя с удовольствием заглядится на группу прекрасно нарисованных яблоков и картофеля; а голодный член почвы предпочтет этим произведениям искусства естественные яблоки и картофель; первый до самозабвения залюбуется поэтической картиной, как «волнуется желтеющая нива и темный лес шумит при звуке ветерка», а последний с неудовольствием отвернется от этой картины; ему бы — безвкусному невежде — хотелось прозаической материальной нивы и такого же леса. Вот, видите ли, везде на первом плане желудок. Сначала надо позаботиться о том, чтобы достать кусок хлеба и поесть, а потом уж можно заниматься и другими предметами, какими угодно: грамотностью, науками, искусствами и проч. Что же делать? к несчастию, уж этого требует натура человеческая. Так вот и поступает народ, не ученым образом и не понаслышке, а по собственному горькому опыту знающий требования натуры и права желудка. Летом и зимою, днем и ночью он трудится без устали и до поту; ему нужно добывать хлеб для себя и, кроме того, еще для других, он должен заготовить его; от него, таким образом, требуется двойной усиленный труд. Выпадет свободный денек, народ спешит отдохнуть хоть немного от постоянных и тяжких трудов, а пожалуй, и выпьет с горя, и никакая наука не пойдет тут на ум. Неразумно, конечно, пить в свободное время и не заниматься наукой,— да что делать? ведь и верхний слой не все же занимается, а позволяет себе развлечения. Наступит праздник, народ займется чем-нибудь по дому, а не то пойдет собирать грибки для себя и какие-нибудь ягодки для господ верхнего слоя. А когда же заниматься грамотой, наукой? Можно, конечно, читать книги, идя за сохой или плугом, подобно тому как образованные люди читают их, сидя за чаем. Но ведь нужно же сначала научиться читать, и притом питье чаю требует меньше сосредоточенной внимательности и больше располагает к чтению, чем управление сохою и плугом. Вот видите, все этот грубый желудок портит дело и препятствует образованию почвы. Говорят, крестьяне очень неохотно посылают своих детей в школы и даже умоляют распространите-

лей грамотности, чтобы они не брали их к себе, а оставляли у них дома без всякого учения,— чем и обнаруживают грубое непонимание пользы и важности учения. Еще бы, очень понятно, что, посылая мальчика в школу, крестьянин лишается рабочего и помощника в работе и ему угрожает опасность добыть хлеба в меньшем количестве, чем какое требуется для его продовольствия и пропитания,— значит, ему угрожает более или менее сильный голод. Крестьяне не имеют никаких особенных предубеждений против школ и учения, они лучше нашего понимают пользу грамотности и учения; они просто боятся, что дети их, учась премудрости в школах, будут есть хлеб, не добывая его, и таким образом всю семью повергнут в голод. Дайте крестьянину рабочего, который бы делал то, чем обыкновенно занимаются у него дети, или же уменьшите количество требуемой от него работы настолько, чтобы он вовсе не нуждался в лишнем рабочем, тогда он с большим удовольствием и готовностью станет посылать детей в школу.— Кроме того, наука не бессеребреница; она никому не дается задаром, бесплатно; для учения нужны материальные средства, попросту сказать, деньги. А много ли их имеет наша почва? Нужно купить азбуку, нужно заплатить учителю; чтобы грамотность не пропадала даром, нужно купить какие-нибудь книжки для чтения; захочется учиться письму, нужно купить бумагу, чернила, карандаш и проч.,— все купить да купить, больно уж много. А тут еще нужно купить корову, лошаденку, соли, дегтю, дров и невесть чего; смотришь, и не хватит на все трудовой копеечки, поневоле нужно будет остаться без чего-нибудь. Соль, деготь да дрова все-таки нужнее, без них не обойдешься, а уж без книжек и без бумаги как-нибудь можно перебиться. Вот так-то и выходит, что не по чему учиться грамоте и не на чем писать. Если бы каждый член почвы имел порядочный капиталец, поверьте, он не поскупился бы для того, чтобы научить детей своих уму-разуму и даже, пожалуй, разным заморским и господским наукам, он охотно покупал бы и книжки и картины, в свободное время позанялся и полюбовался ими, что он и теперь делает по мере возможности; и тогда образование почвы пошло бы гораздо скорее и сближение с почвою было бы гораздо успешнее.— Когда сообразишь все это, то становится как-то совестно и неловко требовать от народа усиленной грамотности и усиленного образования, особенно еще когда слышишь, что от него в то время требуют уси-

ленного труда и работы механической; и даже приходится удивляться, что в народе, при теперешнем его положении и наличных средствах, все-таки есть грамотные люди. Должно быть, уж очень сильна была у них охота к грамоте, и, чтобы научиться ей, они употребляли сверхъестественные, нечеловеческие усилия. Верхний слой нашего общества находится в относительно лучшем материальном положении, чем почва, и более обеспечен, чем она; естественное дело, что сытый голодного не разумеет. Мы требуем от народа грамотности и образования, воображая, что это требование так же удобоисполнимо для него, как и для нас, что ему, так же точно как и нам, нужно только иметь для этого добрую волю и прилежание; но мы упускаем из виду то, что народ находится совершенно в других условиях и обстоятельствах, что ему частенько приходится страдать от голоду и холоду, что для его образования недостаточно еще одной охоты и прилежания. Поэтому заботящиеся о грамотности народа и о сближении с почвою должны вместе с тем позаботиться об улучшении его внешнего быта и увеличении его материального благосостояния. Не побрезгайте тем, что оно материальное, прозаическое, грубое; оно много значит, и от него многое зависит, между прочим и ваша усиленная грамотность и образование.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИЗИС

Здравствуйте, мои добрые, знакомые читатели! К великому моему удовольствию, мне опять приходится беседовать с вами; не знаю, как вы без меня, а я без вас очень соскучился. Много кое-чего собиралось у меня в голове, и еще больше, может быть, накипело в сердце; и как бы мне хотелось поделиться с вами моими мыслями и поверить вам мои чувства. Очень нерадостны эти мысли и невеселы эти чувства: но мне хотелось бы высказать их не столько для вас, сколько для себя самого, для облегчения той тяжести, которая давит меня, того гнета досады и неудовольствия, унизительного отчаяния и дерзких надежд, который я испытываю и который, вероятно, приходится испытывать почти каждому читателю; потому что предметы и явления, вызвавшие во мне указанные чувства, наверное занимают каждого и близко касаются всех нас. Читатель, надеюсь, простит мне эту эгоистическую сентиментальность, а я постараюсь по возможности забыть о себе и о

своих чувствах и заняться предметами чисто объективными. Пусть отходят в сторону невеселые и безотрадные чувства и пусть испытующая и разъясняющая мысль занимается явлениями, вызывающими эти чувства; по крайней мере силою мысли нужно побеждать эти явления, если их нельзя победить другим образом, а торжество мысли рано или поздно поведет к торжеству самого дела.

Итак, я снова вступаю в храм литературы, или, говоря проще, выхожу на базар литературной суеты; безотрадным холодом повеяло на меня в этом храме, и чувство одиночества я ощутил среди летературного базара. Ищу глазами прежних знакомых и друзей и почти никого из них не вижу, и сердце мое болезненно сжимается; раздумываю, к кому пристать и куда приютиться,— ведь нельзя же толкаться на литературных распутьях и бродить, подобно многим, из стороны в сторону. Прежнее место, сказали некоторые добрые люди, уже занято другими, будто бы подверглось преобразованиям, паполнилось другим духом, изменило свои намерения и стремления и вследствие этого запаслось новыми орудиями и средствами; однако добрые люди сказали неправду: изменения, о которых они говорили, оказались чистейшей выдумкой их фантазии; место осталось незанятым, неприкосновенным, чистым и неизменным; чистота его не была оскорблена даже мыслью о каких-нибудь податливых преобразованиях и видоизменениях средств и орудий деятельности. Действительно, только при этих условиях и возможно было стать на прежнее место, не роняя своего достоинства; в противном случае следовало бы отказаться от него, как бы ни сильна была установившаяся привычка и привязанность к нему. Утвердившись на старом наблюдательпом посте и приютившись на прежнем месте, я могу теперь легко и беспрепятственно окинуть взором весь литературный базар. Есть предание, что когда-то несколько человек чудесным образом проспали лет двести и, проснувшись, не могли опомниться от изумления при виде той новой для них картины, какую представлял их родной город и его общество; такое же почти впечатление испытал и я, после непродолжительного отсутствия снова явившись на литературный базар. В самом деле, как он изменился в такое короткое время! — точно Апраксин двор и толкучий рынок после пожара. Явилось на нем множество новых лавочек и магазинов, в которых предлагаются читателям умственные сокровища, но только совершенно не похожие на те, которыми прежде

гордилась литература. Остались и старые магазины с прежними фирмами и вывесками, но содержание их изменилось, как сознаются сами хозяева; прежде, бывало, они старались привлечь к себе публику заявлениями и уверениями, что умственные товары, предлагаемые ими, составляют новейшее произведение, сделаны по последней моде с целью изогнать из употребления и заменить товары старого производства; теперь же, напротив, они с гордостью говорят, что товары у них старые, испытанные, отлежавшиеся, убеждают публику не увлекаться модой, не обращать внимания на новейшие произведения и предупреждают ее насчет невыгоды и даже опасности их употребления. Некоторые литературные торговцы и распространители умственных сокровищ в раздумье повесили головы и не знают, что им делать, идти ли прежним путем или тоже смириться, оставить затейливые притязания на повизну и моду и запастись товарами испытанными и подержанными. Другие, более искусные, запаслись патентами и привилегиями, добыли себе исключительное право продавать товары, прежде не существовавшие на литературном базаре, которых и теперь нельзя достать ни у кого, кроме этих ловких привилегированных торговцев. Наконец, мелкие литературные торгаши, не понимая общих изменений в ходе торговли, по-прежнему разносят тряпье и разные клочки, не думая о том, кому и для чего они нужны.

В самом деле, литература наша пережила или переживает какой-то кризис; с нею приключилось что-то, болезнь, что ли, какая, вследствие которой она переменилась и исхудала, стала незлобливее и кротче. Недавно еще казалось, будто все органы литературы проникнуты одним духом и одушевлены одинаковыми стремлениями; все они, по-видимому, согласно шли к одной цели и преследовали одинаковые интересы. Были, конечно, между ними разногласия и споры, существовала даже, пожалуй, вражда; но это были домашние споры и домашняя вражда между своими, частные несогласия между членами одной семьи, между разными частями одного и того же лагеря. Были пункты, в которых сходились все литературные органы; на этих пунктах они, казалось, забывали междоусобную вражду, прекращали домашние споры и дружно стояли за общее дело, отражая нападение внешних общих врагов; при этом даже литературные пигмеи храбрились и говорили с заносчивостью и смелостью чисто исполинскою. Были

явления, на которые нападала согласно вся литература, и были другие явления, которым с не меньшим согласием рукоплескали все органы литературы; и все это, по-видимому, выходило из одной общей идеи, из одного чувства, одушевлявшего всех писавших. Обличениям, бичеваниям, преследованиям неправд не было конца; без света и гласности литература и шагу не могла ступить, жить без них не могла, как рыба без воды. Зайдет, бывало, речь о прогрессе, о движении вперед, о тормозах, задерживающих это движение,— и вся литература стройным хором затянет, хоть и на разные лады, но одну и ту же песню, и только одна газета Греча, наследие Булгарина [1], составляла диссонанс в этом хоре; но потом и она переродилась и пошла вслед за другими. Людей отсталых и консерваторов литература преследовала с удивительным единодушием, указывала на них публике как на зачумленных, которых нужно обегать; консерватизм и отсталость были бранными словами в ее лексиконе. Каждый пишущий скорее согласился бы отсечь свою руку, чем позволить ей написать что-либо не прогрессивное, скорее вырвал бы у себя язык, чем сказал что-нибудь не в либеральном духе. Если бы явился в то время какой-нибудь консервативный или отсталый литературный орган, остальная литература заела бы и уничтожила его; он не нашел бы для себя ни одного сотрудника; не только какой-нибудь знаменитый и известный, но даже самый последний, безвестный литератор не захотел бы ронять своего достоинства участием в таком органе. Вся литература отличалась неслыханным бескорыстием, самою недоступною неподкупностью, упорною самостоятельностью и независимостью; не было ни одного литературного явления, ни одного факта, которые бы не соответствовали или противоречили этим высоким качествам; даже никто не верил в возможность подобных явлений и фактов; одна мысль об них привела бы в то время в ужас и омерзение всякого умевшего писать. Отсутствие этих явлений было действительно высоким преимуществом, которым могла гордиться русская литература даже перед западными, более развитыми литературами, где подобные явления встречаются нередко, где они вошли как бы в обыкновение и не считаются предосудительными. Литература с гордостью могла сказать о себе то же, что говорил «деловой человек» Иван Петрович [2]: «Чем бы я теперь не был, если бы сам доискивался? Но не могу! У меня уж такой характер: до всего могу унизиться, но до подлости

никогда!» Она превосходила даже и почтенного Ивана Петровича; этот часто намекал стороною, «экивоки подпускал, чтобы получить орденок на шею»; но она не позволяла себе и этого. Да, славное время было когда-то! В литературе раздавались, по-видимому, энергичные голоса, старавшиеся нарушить покой тупого самодовольства, расшевелить апатию и разогнать лень; везде слышался призыв к самоотверженной деятельности на пользу общего дела и для блага любезного отечества. Публику бесконечно радовало такое состояние литературы и приводило в восторг это согласие, нигде не виданное литературное шествие к одной цели, этот дружный, почти фантастический крестовый поход против всего, что враждебно литературе и обществу и что мешает их развитию. Поистине, то был золотой век нашей литературы, период ее невинности и блаженства!

Теперь же, особенно в последнее время, в нашей литературе наступил век железный и даже глиняный; пора ее невинности и безукоризненной нравственной чистоты миновалась; единство в целях и единодушие в стремлениях исчезло; возникли несогласия относительно того самого пункта, который прежде соединял всех. Вражда вышла за пределы литературного домашнего круга; один литературный орган старается подставить ногу другому и вырыть яму на том пути, который лежит вне области литературы; сделаны были литературные нападения на те предметы, которые по условиям нашей литературы не должны бы были подлежать литературной критике и которых она не могла касаться, не изменяя своему нравственному достоинству. Пожалуй, и теперь в значительной части литературы заметно согласное шествие, но только оно уклонилось уже от своего первоначального направления и постепенно свертывает в сторону; кажется, как будто какой-то неблагоприятный ветер и противное течение относят литературу от того обетованного берега, к которому она направлялась прежде, и она не обнаруживает ни малейшего желания, ни малейшего усилия противиться ветру и течению и пассивное движение изменить в активное. Обличения и бичевания раздаются реже и реже и в последнее время почти совсем замолкли; литературные судьи умерили свои требования, понизили свои идеалы и ограничиваются самыми скромными желаниями. Обличительное направление сменяется защитительным; в литературных исполинах и пигмеях заметен большой упадок храбрости; многие из самых

рьяных обличителей постепенно и незаметно превратились в адвокатов того, на что направлены были прежде их обличения. Главные борцы, прежде сражавшиеся за литературный простор, находят теперь, что литература слишком распущенна, ведет себя распущенно и обжирается разными либеральными сластями и что поэтому ее нужно остепенить, обуздать и отрезвить, посадив ее на скудную отшельническую пищу. О благодетельной гласности и помину нет; начинает, кажется, устанавливаться убеждение, что и без гласности хорошо. Литература потеряла свое преимущество перед «деловым человеком», и она, подобно ему и с его видами, научилась подпускать экивоки; мелькали даже литературные факты, в которых обнаруживалось опускание до того, до чего не хотел опускаться даже Иван Петрович. Прогресс уже не имеет обаятельного действия и потерял прежнюю неодолимую прелесть; литераторы, знаменитые в прежнее время, с честью служат антипрогрессивным началам, и, кажется, если б явились сотни литературных органов с какими угодно ультраконсервативными и ультраотсталыми направлениями, все они нашли бы для себя сколько угодно самых заслуженных деятелей, только бы поставили на вид какие-нибудь приманки и побуждения. Ибо высокие качества, которыми наша литература могла гордиться перед западной, начинают тускнеть и уступать место противоположным качествам. Восторженных призывов к общеполезной, патриотической деятельности не слышно более; сама литература старается убаюкивать тупоумное самодовольство, забавлять себя и других пустыми побрякушками. Замечая в среде совершающихся событий появление какой-нибудь ничтожной безвредной букашки, она делает из нее слона, смотрит на нее с умилением и восторгом, доходящим до совершенного ослепления; она обращает внимание только на праздничную, выставляющуюся напоказ сторону жизни, любуется ее мишурным блеском и фальшивыми прикрасами и не знает или намеренно не хочет знать и скрывает от других горькую жизненную драму и раздирающую трагедию, которые совершаются за кулисами наружной жизни. Поэтому восторг литературы не имеет ни малейшего смысла, кажется в высшей степени комическим и жалким; своею восторженностью она обманывает себя и вводит в обольщение других; радостно успокаиваясь на настоящем, она поддерживает апатию и без того уже апатического общества; преувеличивая значение до-

стигнутого, она расслабляет и останавливает энергические стремления к будущему и с близорукою непроницательностью указывает предел этим стремлениям в ограниченном и тесном пространстве настоящего. Все сказанное доселе относится не ко всей литературе абсолютно; есть в ней и исключения, не подходящие под высказанные общие положения,— это только в Содоме не могло найтись и десятка порядочных людей; поэтому кто найдет обидными для себя описанные выше качества литературы, тот пусть относит себя к исключениям.

Таковы общие и главные черты перемены, последовавшей в нашей литературе. Если эта перемена и покажется кому-нибудь преувеличенной и невероятной, то только оттого, что здесь собраны вместе и сгруппированы в тесную картину черты и явления, разбросанные на обширном пространстве литературы и обнаруживавшиеся в разных углах и не в одно время. Кто же имел возможность следить, хоть и не пристально, за значительной частью литературы и сопоставлять разнородные и разновременные факты ее, тому эта перемена не покажется неверной; может быть, он и сам ее заметил. Наконец, кто желает представить себе эту перемену наглядно, в конкрете, так сказать, в олицетворении, тому следует только вспомнить радостные и восторженные песни, которые распевал «Русский вестник» на светлом празднике нашей литературной весны, и сравнить их с теперешними его мрачными и злобными речами, похожими на завывание осенней бури и обозначающими наступление литературной осени. Но многим, быть может, эта перемена в литературе покажется слишком резкой и неожиданной, каким-то внезапным переломом и скачком. Действительно, на первый взгляд может представиться, что в литературе совершилось нечто необыкновенное и непредвиденное, реформа в обратном смысле и решительный разрыв с прежним; можно подумать, что самая перемена есть не что иное, как следствие того естественного закона, по которому за усиленным напряжением следует ослабление и сильный удар в одну сторону сопровождается отражением в другую, противоположную. На этом основании изменение в направлении литературы можно было бы объяснять тем, что она дошла до крайности, до последнего предела в одном направлении и потому естественно должна была избрать другое, что она истощила все свои силы в высоких стремлениях и чувствует потребность в отдохновении, вследствие чего она и

охладела к прежним стремлениям и не обнаруживает прежней энергии. Все такие объяснения, верные во многих случаях, неприменимы, однако, к той литературной перемене, о которой идет речь. Все, что представляет литература в настоящее время, есть продолжение того, что существовало в ней прежде; перемены не последовало никакой; кажущаяся перемена есть не что иное, как развитие и полнейшее раскрытие того, что прежде было только в зародыше; настоящие литературные явления — это ствол и ветви того корня, который незаметно существовал и прежде; метаморфоза литературная не походит на превращение вола в лягушку, а на развитие лягушки из головастика. Говорят, зародыши всех млекопитающих в первые моменты их развития бывают сходны между собою, так что в это время трудно узнать, что выйдет из зародыша; в первоначальной зародышной форме осел походит на льва, свинья на собаку и т. д. Нечто подобное было и во время зарождения нашей современной литературы; все литературные направления и стремления существовали в зародышном, безразличном состоянии; трудно было заметить разницу между ними, которая, быть может, и для них самих была незаметна, и нелегко было определить, какие определенные формы разовьются из них, нормальные или уродливые. Существовал какой-то хаос и столпотворение вавилонское; блестящие фразы и прекрасные слова лились рекой; все рассуждения ограничивались общими местами и бессодержательными мыслями, поэтому и трудно было разобрать, где высказывается искренне убеждение и где щеголяет пустота, прикрывающаяся благовидной маской. Дело шло только о словах и словоизвержениях, поэтому никто не скупился на самые бойкие и смелые выражения; слова не взвешивались, за них не требовалось ответа и отчета, сопровождавшегося практическими неудобствами, поэтому и произносились самые сильные и пикантные слова. Это и придавало литературе кажущийся однообразный блестящий характер и заставляло думать, что в ней существует полное согласие в благородных целях и высоких стремлениях. Но потом, когда общие места оказались недостаточными, когда потребовалось хоть и не самое дело, но все-таки прямое и определенное суждение о нем, когда слова нужно было взвешивать и давать ответ за них, когда представились пробные случаи, о которых нужно было судить решительно, сказать да или нет, и такое или другое суждение уже окончательно должно было

обрисовать каждое направление и поставить его одесную или ошуюю,— тогда-то пустота, прикрывавшаяся благовидным покровом, явилась в полной наготе; обнаружились замешательства и опасения проговориться в чем-нибудь; вместо бойких речей потекли чересчур благоразумные рассуждения и резонерство; высокие стремления остались в стороне, а на место их понемножку появлялись цели другого рода, вроде стремлений Ивана Петровича, преследуемые в духе его же благородной политики; а наконец и прямо стало высказываться то, что прежде тщательно пряталось в самом далеком уголке сердца. Это обнаружение и осуществление в действительности того, что было скрыто и заключалось в возможности, и кажется нам переменой; к этой перемене, стало быть, можно вполне применить знаменитую фразу г. Самарина [3]: оставаясь в том же виде, литература изменилась в самом принципе своем, хотя на самом деле изменения в ней никакого нет. Такое происхождение современных литературных разновидностей из одного прежнего корня также можно указать на конкретном примере. В утробе «Русского вестника» лежали многие зародыши: из них вышли птенцы, долго остававшиеся в родительском гнезде; наконец птенцы разлетелись и образовали свои особые гнезда. Из доброго корня «Русского вестника» сначала выросли два отпрыска, «Атеней» [4] и «Русская речь» [5], безвременно увядшие; из него же вышла и ныне существующая роскошная и цветущая ветвь, на которой произрастают гг. Н. Павлов [6], Чичерин [7] и Ржевский [8]; тот же корень дал и отдельные побеги в виде гг. Громеки [9] и Скарятина [10].

Что изложенный взгляд на совершившуюся перемену в литературе верен, это доказывается уже тем, что люди проницательные и прежде не обольщались видимой блестящей стороной литературы, не верили в действительность и искренность высказывавшихся в ней благородных стремлений, смелых порывов и бескорыстного самоотвержения; за блестящими фразами они умели разглядеть ограниченность и мелочность, понимали, что литература лицемерит, что все ее независимые и высокие порывы осядутся при первом удобном случае, при первом испытании. Вследствие этого они смело и с самоуверенностью издевались над восторженностью литературы, над ее эффектными стремлениями к свету и гласности и над ее мнимою готовностью на всякого рода подвиги для общего блага. Вспомните того демона, который на все возвышенное

в литературе клал клейма пошлости, Громекой не был увлечен, не верил экономистам, не оценил Розенгейма [11], одним словом,

Весь наш прогресс, всю нашу гласность,
Гром обличительных статей,
И публицистов наших страстность,
И даже самый «Атеней» —
Все жертвой грубого глумленья
Соделал желчный этот бес,
Бес отрицанья, бес сомненья,
Бес, отвергающий прогресс [12].

Тогда эти насмешки действительно многим казались неосновательным глумлением, в них видели пустой скептицизм как следствие неверия во все возвышенное и неблагородное желание охладить благороднейшие порывы. А теперь прочтите прежние, с адской силой написанные, статьи разных господ, сличите их с тем, что они говорили в недавнее время и говорят в настоящую минуту,— и вы почувствуете невольное уважение к памяти людей, которые глумились над этими статьями и у которых, стало быть, было верное чутье и инстинкт истины, угадывавшей сразу фразистое лицемерие. Теперь для всех стало ясно, почему эти люди преследовали многих господ, возбуждавших в то время общий восторг; они тогда уже ясно видели, что это за господа и что выйдет из них при малейшей перемене обстоятельств; теперь все сознали, что глумление этих людей было следствием ясновидения и проницательности. Таким образом, значит, общие и менее резкие черты той перемены, которая обнаружилась теперь, существовали в ней и прежде и были замечены людьми проницательными; значит, собственно говоря, и не было золотого периода в нашей литературе, невинного и блаженного ее состояния; вместе с золотом существовала и грязь, об руку с невинностью шла и виновность. Вся разница в том, что прежде эти противоположности были заметны менее, а теперь стали заметны более и что прежде видимый перевес склонялся в сторону одних противоположностей, а теперь склоняется на сторону других. Претендовать и сердиться за это на литературу нет никакого основания; ведь нельзя же требовать от нее идеального нравственного совершенства и ангельской непорочности. Литература, как обыкновенно говорят, есть отражение общества; если общество страдает известными недугами, то оно не должно осуждать и литературу за недуги. В литературе действуют

такие же личности, из каких состоит все общество; литературные деятели не суть какие-нибудь избранные идеальные существа, они такие же люди, как и все смертные, и ничто человеческое им не чуждо. Поэтому каждый может судить о литературе по себе, по своим знакомым, по целому обществу. Кто выработал для себя известные убеждения, определил известные нравственные правила и следует им неуклонно во всех случаях, кто никогда не поддавался своекорыстным расчетам и по требованию внешних выгод и обстоятельств не изменял своему достоинству, не унижался до угодливости и заискивания, тот может и должен надеяться, что подобные качества он встретит и в области литературы. Кто же, напротив, не имеет никаких правил и убеждений, кто бесчувствен ко всякого рода высшим интересам, кто для сохранения личных выгод готов на всякого рода неблаговидные сделки и проделки, кто по робости или апатии терпеливо переносит оскорбления своего достоинства, тот должен быть уверен, что и литература представит ему явления в таком же роде, управляемые такими же побуждениями. Зачем же эти явления суются в литературу, вы скажете, зачем они так гордо выступают, показывая вид, будто ими руководит желание поучать и просвещать, и скрывая свои настоящие желания? Конечно, так; это очень худо; но что ж с этим делать? Между обществом и литературой существует круговая порука и взаимная поддержка; различные нравственные настроения в обществе обусловливают собою различные направления в литературе. Положим, вам представляется случай рискнуть своими частными выгодами для какого-нибудь общего дела, вы ни за что не соглашаетесь на риск; точно такое несогласие вы можете встретить и в литературе, только здесь несогласие станут еще оправдывать замысловатыми соображениями и благовидными предлогами. Вообразите же, с какой внутренней радостью вы станете читать подобные оправдания: «да, да, так, прекрасно, риск безумное дело, зачем решаться на риск, когда и без него можно достигнуть всего хорошего»,— приговариваете вы при чтении; и, значит, сильную поддержку найдет в вас литературное направление, соответствующее вашему настроению. На основании этих соображений можно полагать, что изменение в направлении литературы, о котором идет речь, сопровождалось соответствующим изменением в настроении самого общества; значит, и в обществе яснее обнаружились те качества и

получили перевес те побуждения, которыми зарекомендовала себя литература в последнее время; многим, стало быть, понравилась литературная перемена, в ней они увидели оправдание той перемены, какую они почувствовали в себе. Впрочем, и об изменении общественного настроения должно сказать то же самое, что было сказано об изменении в литературе; общество, собственно говоря, не изменилось, оно осталось таким, как было прежде; но только часть его, наверное, перестала лицемерить, оставила искусственное увлечение высокими стремлениями и обнаружила свои настоящие стремления.

Несомненно, таким образом, что литературная перемена есть только развитие свойств, принадлежавших литературе с самого начала ее возрождения. Такое понятие о перемене устраняет вопрос о ее причине. Когда зрячий сделается слепым, тогда есть возможность найти непосредственную причину такой перемены; но когда мальчик вырастет и сделается юношей, тогда мы видим в этой перемене просто выражение закона развития организмов, зависящего от многих сложных причин; тут уже вопрос о развитии одного инидивидуума исчезает, и является общий вопрос о развитии организмов и о развитии вообще. И в нашей литературе в последнее время обнаружились не какие-нибудь случайные явления, а просто развились естественным образом те качества, которые лежали в ее натуре. Поэтому для уяснения литературной перемены остается только к указанным выше общим чертам ее прибавить еще несколько частных, более характеристических.

В разных литературных сферах изменение и уклонение от первопачального, общего всей литературе направления обнаружилось различными признаками. В одной сфере изменение началось разъяснением сущности и значения консервативного начала. Прежде, когда господствовала всеобщая прогрессивная мания, только одному прогрессу приписывали действительное значение и активную силу; на консерватизм смотрели с пренебрежением, как на пассивное противодействие развитию, как на отрицание прогресса и помеху для него; вследствие этого консерватизм считали чем-то преступным и поносным, чего никто не осмеливался ни защищать, ни оправдывать. Но потом стали раздаваться голоса и в пользу консерватизма, стали говорить, что и он имеет свою долю участия в развитии, для которого он так же необходим, как прогресс, и что, во всяком случае, консерватизм не есть дело преступное и

попосное. Все это правда; но дело в том, что прежде этого не говорилось, и если б в прежнее время кто-нибудь сказал хоть слово в защиту консерватизма, он бы подвергся ужаснейшим нападениям, против него написали бы целую кучу литературных протестов; вспомните, как досталось г. Ламанскому за одно слово «не созрели»![13] А теперь открыто защищается консерватизм, и все выслушивают эту защиту совершенно спокойно и хладнокровно. Пишутся тысячи слов гораздо хуже «не созрели»; публично обзывают людей «Расплюевыми»[14]; говорится, что мы недостойны тех благодеяний, которые оказываются нам, что они уж слишком велики для нас,— и все это переносится терпеливо и уже не вызывает прежнего единодушного негодования. В настоящее время вы не найдете ни одного консервативного факта, к которому бы литература отнеслась так же единодушно, как она относилась некогда к «не созрели» или к обиде, нанесенной евреям Зотовым[15]. До чего изменилось время! Но как, однако же, еще сильно лицемерие в нашей литературе; несмотря на то, что за консерватизмом уже признано почетное право гражданства, никто не хочет гласно объявить себя консерватором, ни одно литературное направление не назовет само себя консервативным. Ужели в самом деле нет во всей нашей литературе консервативного направления? Должно быть, что так. В других литературных сферах изменение обнаружилось отрицанием отрицательного направления, прежде господствовавшего повсеместно. Довольно, говорят, отрицать и разрушать; уже все, что следовало, отвергнуто и разрушено; нужно заниматься созиданием и постройкою. За этою во всех отношениях приличною мыслью незаметно выползала другая: так как до постройки нового нельзя же жить ни с чем, то до того времени следует попридержаться старого, тем более что и старое не совсем же дурно и в нем есть много хорошего и т. д. Опять-таки и эта мысль не заключает в себе ничего поносного; но прежде она не высказывалась и непременно вызвала бы против себя бурю. А теперь ничего, она смело идет в ход наряду с другими мыслями. Наконец, прежде придавалось большое значение деятельной практической жизни; все кричали, что нужно дело и дело прежде всего; науку старались применить к жизни, искусство также обращали на служение жизни. Поэзия, например, употреблялась для того, чтобы посредством ее обличать разные практические злоупотребления и пред-

ставлять поэтически вред взяток и винных откупов; стихи Гейне ученые приводили в доказательство практических положений политической экономии. В настоящее же время даже те, которые прежде более всех покровительствовали прикладной поэзии, взялись за чистое искусство, оплакивают падение поэзии и стараются пробудить интерес и любовь к поэтическим произведениям, отвлекающим мысль от современной действительности и уносящим ее туда, туда, далеко. Вследствие этого вместо «современных элегий» о водке [16] и «Поярковых» [17], берущих взятки с раскольников, нам предлагаются «Дон Жуаны» и «Князья Серебряные» [18], в которых обличаются злоупотребления испанцев и опричников. Подобным образом хотят реставрировать и науку ученые люди, оторвать ее от жизни и сделать чистою; жизнь и житейское благосостояние, говорят они, должны стоять на втором плане; наука и интерес науки стоят выше всего; самая наука должна заниматься только собою, не обращая внимания на жизнь и современность; поэтому нужно погрузиться в идеальную глубину науки, «позабыв обо всем», нужно учиться и учиться до самозабвения, не развлекаясь жизнью и ее насущными интересами, и тогда все сделается само собою, «сия вся приложится вам», как говорят. Такая эмансипация науки и искусства от рабства жизни, может быть, дело очень хорошее; но она все-таки представляет собою черту литературной перемены, потому что прежде все расположены были в пользу порабощения науки и искусства, а теперь многие заботятся об их освобождении, так как теперь уже и крестьяне освобождены и вообще настало время освобождения.

Все частные направления, уклонившиеся от первоначального общего литературного движения, некоторое время стояли особняком, без связи друг с другом, не имели общего соединительного пункта и общего знамени; их одушевляло одно чувство и одно стремление, но они сами неясно сознавали его; они не знали, с кем бороться и против кого направить свои соединенные силы. Тургенев — честь ему и слава! — явился истолкователем их чувств, указал им врага в лице Базарова и дал поэтическое знамя с надписью: борьба против нигилизма. И вокруг этого знамени сгруппировалось все, что прежде лицемерило в литературе и притворно увлекалось бывшими некогда в моде возвышенными стремлениями, широкими и смелыми тенденциями; началась, как торжественно объявил преслову-

тый хроникер «Отечественных записок», «реакция» против нигилизма[19]; выражение хроникера подтверждает мою мысль, что прежде, значит, была усиленная акция в пользу того же нигилизма; только я эту акцию называю притворною и лицемерною. Лозунг для соединившихся отдельных направлений указан, хотя смысл его и разъяснен; и с нигилизмом творится та же история, какая была с «почвой». Нигилизм у всех на языке, все о нем толкуют как о предмете известном и определенном, хотя никому не приходило в голову объяснить смысл этого слова и характер тех явлений, которые хотят им обозначить. Нигилизм — термин философский, и в философии он имеет определенное значение; им обозначаются системы, не признающие ничего реального, никакого действительного существования, называющие мир действительный только призраком, состоящим из одних несущественных явлений; в этом смысле нигилизмом называют систему Фихте[20], который говорил, что внешний мир не существует, не имеет самобытного существования, а есть только явление или обнаружение «Я». Таким образом, применять этот термин в его настоящем, общепринятом смысле к явлениям русской литературы, а тем более жизни, совершенно нелепо. Но дело не в названии; всякому термину можно дать какое угодно произвольное и условное значение; поэтому и нигилизму г. Тургенев и его последователи дали своеобразное значение, которое можно определить по тем признакам и явлениям, какие они обозначают термином — нигилизм. Изобретатель нигилизма определял его такими чертами: нигилист — тот, кто ничему не верит, ничего не признает и не принимает без оснований и доказательств; на философском языке эти гносеологические приемы называются скептицизмом, а пожалуй, и критицизмом. Затем он приписывает нигилизму известные философские воззрения, имеющие характер очень реалистический,— что уже никак не вяжется с понятием нигилизма. Нравственные качества нигилизма, по характеристике изобретателя, состоят в неуважении к родителям, в исключительно чувственном отношении к женщине, в отсутствии благоговения перед всем, что освящено долговременным существованием и уважением многочисленного большинства. Продолжатели и подражатели изобретателя старались изобразить нигилизм яснее и подробнее. Одни из них, вслед за изобретателем, говорили, что нигилизм есть неразумное отрицание всего; хорошо ли, дурно ли отрицаемое, ниги-

лизму до этого нет дела; он отрицает все без основания, по какой-то странной любви к отрицанию, которая будто бы составляет «религию нигилизма» [21]. Другие утверждают, что нигилизм есть чужеземная теория, сделавшая нашествия на наши отечественные принципы, «занесенная к нам ветром», подобно саранче, и подобно ей же старающаяся опустошить наши родные умственные поля. Они говорят, что на Западе есть целая школа, развивающая эту теорию и «не признающая ничего, кроме ощущений»; поэтому и нигилизм они называют теорией ощущений, прибавляя, что «теория ощущений есть одна из самых простых и ясных теорий и потому имеет строгость математическую (ах, если бы вашими устами да мед пить!)» [22]. Такое определение нигилизма представили «Отечественные записки», и так как они давно уже потеряли репутацию ученого журнала, то и не удивительно встретить в них это немножко нелепое определение. Охарактеризовать и назвать какое-нибудь философское учение «теорией ощущений», это все равно как если б для определения направления какого-нибудь физика вы сказали, что он держится теории света или теории теплоты. Теория ощущений, так же как и теория представлений, понятий и т. д., должна быть и есть во всякой философской школе и у всякого философа; и восставать вообще против теории ощущений так же нелепо, как вооружаться против теории света, теплоты и т. д. Но как бы то ни было, а все-таки одна черта нигилизма определена; он есть чужеземная теория, выросшая не на нашей почве. Все эти черты — любовь к отрицанию, скептицизм, иностранное происхождение — выражают философскую сторону нигилизма, разъясненную его противниками хоть сколько-нибудь удовлетворительно; не с такою удовлетворительностью разъяснена его практическая и общественная сторона. Кроме дурных практических качеств нигилизма, указанных г. Тургеневым, комментаторы его романа признали за нигилизмом и одно хорошее качество, вытекающее, однако, по их словам, из нехорошего основания. «Смотря на тургеневского Базарова, вы должны сознаться, что честность в нем не есть какое-нибудь случайное, чисто индивидуальное свойство; вы должны сознаться, что это в нем черта типическая. Вы чувствуете, что от всего мелкого и презрительного он довольно застрахован своею гордостью, громадно развившимся самомнением. От мелкой подлости спасает его эта гордость. На мелкий обман не пойдет наш нигилист, по-

тому что мелкий обман уронит его даже в собственном чувстве; но на тот же обман, только в грандиозных размерах, он пойдет с полною готовностью. Итак, он не потому гнушается подлостью, что мотивы его гнусны, что смысл подлого поступка противоречит его нравственному чувству и сознанию долга,— он это чувство и сознание долго отрицает в их основах,— нет, он гнушается подлостью лишь по ее мизерному характеру, по ее мелочности и унизительности для его особы» («Русский вестник»)[23].

Таким образом, противники нигилизма, или базаровщины, не согласны между собою в том, что такое нигилизм; одни видят в нем просто теорию, известную философскую систему; другие, напротив, приписывают ему практическое значение и разумеют под ним личностей, людей с известными качествами и определенным практическим настроением. По понятиям первых, нигилист есть тот, кто держится теории ощущений или не признает поэзии, не уважает Пушкина и т. д.; а по понятиям последних, нигилист есть всякий человек, не желающий унижать свою особу мелочными подлостями, не уважающий родителей, любящий женщин плотской любовью и т. д. Нигилизм первого рода может выражаться в литературе, может быть литературным направлением и предметом литературного суда и критики; нападать же на нигилизм как на литературное направление и в то же время прихватывать и практические качества и действия людей, якобы нигилистов,— это совершенно неосновательно и негуманно. Если на вас станут нападать и обличать вас за то, что вы держитесь «теории ощущений»,— это ничего, но если вас будут уличать в неуважении к родителям, в практических стремлениях к разрушению того, что должно быть неприкосновенно,— это совсем другое дело и уж не ничего. Если нигилизм есть тип вроде обломовщины, то в таком случае не следует третировать его как теоретическое и литературное направление, а если он есть теория, то, пожалуй, можно указать на его практические последствия, но уж никак не следует взвалить на него известные, частные действия и индивидуальные случаи. Противники же нигилизма опускают из виду такое правило и постоянно смешивают в своих обличениях теорию нигилизма с воображаемой ими деятельностью нигилистов. Они подавливают разные неблаговидные факты, совершающиеся в практической жизни, и взваливают их на нигилизм теоретический, на базаровщину как на литературное

направление, которое может быть совершенно неповинно в этих фактах и не должно нести ответственности за них; например, неуважение к родителям и другие неблаговидные качества, приписываемые нигилизму, могут обнаруживаться у людей, которые и слова не слыхали о литературной базаровщине; и было бы нелепо корить теоретическую базаровщину за действия этих людей, не говоря уже о том, что базаровщина, может быть, есть чистая клевета на литературное направление. Известно, например, что кто-то из участников «Русского вестника», как объявлял он сам, похитил из редакции четвертак и зажилил какое-то сочинение о Венгрии; обвинять за эти действия направление «Русского вестника», говорить, что оно ведет к хищению и зажиливанию,— было бы в высшей степени нелепо. Однако посмотрите, как ратовал против базаровщины хроникер «Отечественных записок». «*Литературная реакция* против базаровщины (говорилось в мае) продолжает длиться без конца. Многие, не без основания, опасаются, чтобы она, по старому обычаю всех реакций, не зашла далеко. Правда, базаровщина сама вызвала эту реакцию, первая пересолив через меру. Люди, пробудившие в русском обществе плодотворную силу отрицания, должны винить теперь самих себя, что допустили своих подражателей до возбуждения реакции. Они обязаны были останавливать их, и т. д. Почему же не останавливали?.. Почему оставляли без внимания *такие действия* (вот!) своих наместников и волостелей?.. Почему их ошибки не были останавливаемы?.. Зачем такое пристрастие?..»[24] и т. д., целый ряд упречных вопросов. Так как дело идет о литературной реакции и о литературной базаровщине, об отрицании, то и следовало ожидать, что хроникер укажет на теоретические крайности и промахи базаровщины и будет вообще держаться теоретической почвы. А он между тем бросается в область практических *действий* и оправдывает ими литературную реакцию; говорит о каких-то «прогрессивных шалостях», о каких-то «блонденах, пляшущих на канате», рассказывает какую-то темную историю и обвиняет на основании ее теорию, отрицание. Затем литературная базаровщина представляется у него партией, которая оскорбила и освистала г. Костомарова[25]; оскорбившие последнего называются далее «передовыми людьми»; вследствие этого общество будто бы и отвернулось от «передовых людей». «У общества своя логика, говорит хроникер. Оно рассуждает таким образом: вот пе-

ред нами г. Костомаров — тот самый г. Костомаров, который дорого уже заплатил однажды за свою независимость и способность не соглашаться с мнением сильных людей. За это он был почтен общим сочувствием передовых, но слабых людей. Теперь, когда звание передового человека сделалось сильно (?), г. Костомаров вздумал повторить свой опыт *над ними*. И что ж? С Костомаровым поступлено точь-в-точь как прежде (такой нелепой логики не могло быть у общества, оно не настолько бессмысленно, чтобы шиканье считать за «точь-в-точь как прежде»): все, что было в распоряжении передовых людей (вероятно, следовало бы прибавить хроникеру, они же сами прежде буквально носили г. Костомарова на руках),— все было употреблено для лишения чести (?) и *внутренней* (ага, вот то-то и есть) свободы дерзновенного профессора. Мгновенно, без суда и расправы, он лишен был звания передового человека и разжалован в отсталые. Какая же разница, спрашивается, между людьми застоя и движения? С какой стати радоваться и сочувствовать такому движению? — сказало общество и отвернулось от так называемой партии передовых... Бедная партия, несчастное стадо (как трогательно!)!» Наконец, в заключение своих рассуждений хроникер говорит: «Как бы то ни было, наши упреки ни в каком случае не помогут партии передовых. Некоторые из них очутились до того впереди всех, что не только наши передовые люди, но и заграничные уже не в состоянии догнать «юной России». Стало быть, связь их (то есть ошикавших Костомарова?) с обществом разорвана. Их заветный клик: «Нужно дело, а не слово» никого более не увлечет. Все теперь знают их дело и уразумели их слова. Обаяние прошло, когти показаны». Заключение очень сильное; но сравните его с началом рассуждения, вспомните, что хроникер хотел говорить о *литературной реакции* и вы убедитесь, что у него действительно *своя* логика. Некоторые люди ошикали Костомарова; следовательно, передовые люди народ негодный; некоторые люди плясали по канату и оскорбили Костомарова; следовательно, литературная реакция против базаровщины основательна. Ведь это доказательство обоюдоострое. Положим, кто-нибудь из людей, сочувствующих направлению «Отечественных записок» или даже участвующих в его построении, сделал какой-нибудь неблаговидный поступок вроде шиканья или еще неблаговиднее; и вдруг какой-нибудь критик, указывая на этот поступок, стал бы гово-

рить: вот до чего доводит направление «Отечественных записок»; да, теперь общество отвернется от них, их слова никого не увлекут более; и в этом виноваты они сами; они вызвали против себя реакцию; куда же смотрел хроникер их, отчего он не остановил, не обличил этого поступка? и т. д. Согласитесь, что слова такого критика были бы в высшей степени неосновательны и неразумны. Следовательно, опровергать литературную базаровщину и вообще какое бы то ни было литературное направление указанием на практические действия негодных людей — неосновательно и неразумно. Впрочем, нужно правду сказать, не все противники нигилизма опровергают его таким практическим способом; некоторые в своих нападениях на него держатся теоретической точки зрения и не выходят за пределы литературной критики. Они признают за нигилизмом некоторую теоретическую силу и указывают для нее основание. «Нет ничего труднее,— говорят они,— как найти в нашей общественной среде что-нибудь положительное, на чем могли бы сойтись между собою люди. Вы не свяжете трех человек в одно целое на каком-нибудь положительном интересе... Но за то нет ничего легче, как соединить между собою людей в чем-нибудь отрицательном. На положительном все перессорятся, и дело не пойдет; на отрицательном все легко сдружатся, и дело закипит. Такова историческая судьба нашей цивилизации. История разбила у нас все общественные завязи и дала отрицательное направление нашей искусственной цивилизации. Итак, сила нашего нигилизма заключается не в свойстве его содержания, он в том и состоит, чтобы не иметь никакого существенного содержания,— а в обстоятельствах среды. Среда делает его силою, она условливает его значение и развитие» («Русский вестник») [26].

Таков нигилизм по изображению его противников; изображение не совсем ясное, но что же делать, нужно и им довольствоваться. Ясно только одно, что против нигилизма составилась, так сказать, коалиция из разных литературных направлений, стремящихся к его ниспровержению. Чего же хотят сами эти направления, что они думают противопоставить нигилизму и чем бы они хотели заменить его,— это опять-таки неизвестно; противники нигилизма ограничиваются только осуждением и отрицанием его, а сами между тем не хотят охарактеризовать ни себя, ни своих собственных воззрений и стремлений. А между тем любопытно было бы знать обоих противни-

ков и следовало бы определить и разъяснить элемент и образ того, что выступает на борьбу с нигилизмом; и так как эти искомые элементы и этот образ сами себя не обнаруживают и не характеризуют, то остается только один способ для разъяснения их, именно способ противоположения. Зная некоторые черты нигилизма, следует дать им обратный вид и противоположный смысл, чтобы получить понятие о том, что хочет поразить нигилизм и стать на его месте. Если нигилизм в известном случае говорит да, то направление, противоположное ему, в том же случае должно сказать нет; если нигилизм в известных обстоятельствах поступает так, как говорят его противники, то они сами при тех же обстоятельствах поступают, конечно, совершенно иначе и наперекор ему. Это единственный способ для определения элемента, противоположного нигилизму; если он и не даст совершенно точного результата, то, во всяком случае, посредством его можно разъяснить этот элемент хоть настолько, насколько разъяснен нигилизм. Придумыванием названия для этого элемента нечего затрудняться; можно назвать его антинигилизмом, оптимизмом, хоть даже ерундизмом; все эти названия произвольны и не вполне выражают сущность дела; но ведь и название нигилизма тоже произвольно и случайно; значит, и противника его можно назвать каким угодно словом, только бы оно оканчивалось на *изм*.

Итак, перед нами два противника, нигилизм и антинигилизм. Последний говорит, что нигилизм держится философской теории, принесенной к нам с Запада; значит, тот держится теорий доморощенных, выросших на нашей почве, роскошно произраставших в Киеве и потом пересаженных в Москву и в другие части Русского царства, хотя в «Отечественных записках» и говорится, что у нас нет никаких теорий и что мы ничего не можем противопоставить западным теориям, кроме жизни. «На самом деле,— говорят они,— где устой у нас против всякой мысли, занесенной ветром, без всякой последовательности в нашем развитии (занесенной без последовательности,— это хорошо сказано), без всякой потребности для этого учения в самом обществе (потребность *для* учения,— это еще лучше)? Неужели правительственная, административная сила? Нет! Роман г. Тургенева отвечает на это так: устой этот — жизнь... В жизни нашей есть та свежесть молодости, которая гнушается софизмом и т. д.; тот инстинкт правды и человечности, присущей молодому народу (то

есть тысячелетнему?), который из Павла Петровича, человека, выросшего па сухой аристократической почве и на сухой французской теории, с течением времени образовал филантропа и т. д.; тот великий практический смысл, который, соединившись с добротою Николая Петровича, подарил нас таким прекрасным типом сельского джентльмена, что им гордилась бы Англия» [27]. Это не совсем справедливо, потому что и у нас есть свои философские теории и одну из них ревностно защищали сами же «Отечественные записки». Конечно, и эти теории принесены к нам извне, но они получили у нас оседлость, обрусели и в некоторых местах укоренились до того, что их, кажется, не вырвать никакому нигилизму. Предоставляя самой жизни бороться с западной теорией, усвоенной нигилизмом, «Отечественные записки» стараются, однако, поразить ее и собственными возражениями и указывают на ее практическую непоследовательность. «Теория ощущений,— говорит критик «Отечественных записок»,— есть одна из самых простых и ясных теорий и потому имеет строгость математическую. Но я не люблю, когда последователи этой теории затрудняются некоторыми мелочами. Зачем они чувствуют привязанность к родным и друзьям? Зачем воюют за классы угнетенные? Между тем такая непоследовательность у них есть, и, по мнению очень многих, эта ошибка составляет лучшее их достоинство. Правда, и я их за это больше люблю, но зато перестаю называть философами. Когда я вижу подобного философа, как он хлопочет о неграх, о низших классах народа,— кладу палец удивления себе на уста...» [28] Подобные упреки нигилистической теории ощущений высказываются часто; между прочим, и г. Юрий Самарин говорил когда-то, что люди, не признающие существенного различия между человеком и животным, поступают очень непоследовательно, восставая против телесных наказаний и отстаивая свободу негров. А ведь действительно в учении нигилизма есть эта непоследовательность; он высказывает практические взгляды, которых никак нельзя было ожидать от него, судя по ее теориям. Он держится философской системы, «которая, как говорят «Отечественные записки», в человеке не видит ничего, кроме тела и его орудий: рук, ног, глаз, уха, осязания, обоняния и нервов — главное... нервов», и вдруг, несмотря на это, говорит, что не нужно бить человеческого тела, не нужно презирать угнетенные классы и нужно дать свободу даже неграм; странная не-

последовательность! Но такая же точно непоследовательность существует и в наших доморощенных теориях и во всех других сходных с ними. Иное учение в теории кажется таким возвышенным, человека оно превозносит до небес, высокими чертами изображает его назначение и нравственное достоинство; но как только дойдет дело до практических следствий, выводимых из этого учения, оказывается, что они оскорбительны для человека, унизительны для его нравственного достоинства, часто бесчеловечны и, во всяком случае, не гуманны. И наоборот, иное учение, по-видимому, в теории унижает человека, представляет его обыкновенною тварью и в то же время в своих практических выводах как нельзя более соответствует истинному достоинству человека и оказывается истинно гуманным. Так что вообще можно принять за правило, что теоретическая высота какого-нибудь учения совершенно не соответствует практическим следствиям, выводимым из него. Посмотрите в историю; учения, считавшиеся теоретически самыми гибельными и разрушительными, сопровождались самыми благотворными практическими последствиями; и напротив, теоретически возвышенные учения оказывались гибельными на практике и постоянно задерживали как материальное, так и нравственное развитие людей. В истории совместно действуют два элемента: один положительный, активный, прямо содействующий развитию, другой отрицательный, пассивный, служащий ограничением развития. Теоретически возвышенные учения если не всегда, то в большей части случаев стояли на стороне последнего элемента; они ослабляли энергию в людях, отвлекая их мысль от действительного мира жизни и обращая ее к безжизненным и мечтательным сферам отвлечения, проповедовали пассивное терпение, приучали к безответному страданию и рабской покорности; все стремившееся к преобладанию и незаконному господству брало под свое покровительство эти учения, опиралось на них и подкрепляло ими свою силу; насилия, притеснения, порабощения, угнетения — все оправдывалось и освящалось этими учениями. Тогда как учения, с виду не очень возвышенные, занимавшиеся реальными предметами действительной жизни, всегда были учениями протестующими, возвышали голос за слабых и угнетенных, восставали против притеснителей, защищая свободу и другие священные права человека. Действительность этого исторического явления не подлежит сомнению; она, между

прочим, доказана в статьях, помещавшихся в «Отечественных записках» и занесенных тоже с Запада. И в настоящее время возвышенные и невозвышенные учения остаются верными своей прежней исторической роли. Обойдите весь свет, просмотрите все отделы жизни, и вы увидите, что теоретически высокие учения стоят везде на стороне силы, преобладания, господства и вследствие этого пользуются сильной защитой, покровительством и привилегиями; тогда как учения не высокие теоретически подвергаются нападениям, угнетениям и притеснениям за то, что они вступаются за тех, которые вместе с ними терпят одинаковую участь, то есть за угнетенных и притесняемых. Высокие теоретические учения придумывают разные положения в угоду высшим преобладающим людям, мало заботясь о низших; впрочем, нужно правду сказать, бывают и исключения из этого правила. Напротив, не столь высокие учения, как заметил и критик «Отечественных записок», отстаивают права низших людей и главным образом заботятся об их благе; конечно, и здесь бывают исключения. Но зато уж эти учения ни в каком случае не станут угождать людям высшим, то есть стоящим на высоте не морального положения, а всех других положений, кроме морального; и в этом отношении исключения не бывает. Странным кажется этот факт, но он несомненен, и каждый может проверить его во всякое время. Возьмите два какие-нибудь мыслящие субъекта, известные вам, измерьте теоретическую высоту разделяемых ими убеждений, и вы по обратной пропорции можете определить высоту и гуманность их практических взглядов; и наоборот, измеривши их практические взгляды, вы определите высоту их теорий. Если испытуемый вами субъект возвышенно рассуждает обо всем, много говорит о добродетели, скорбит духом о современном развращении и жалуется на торжество злых и разрушительных учений, то вы из этого можете заключить, что этот субъект в области практической станет защищать рабство негров и другие факты, параллельные этому рабству, с сочувствием будет говорить о розге и тому подобных телесных наказаниях. Если же субъект мало говорит о добродетели, высказывает даже сомнение относительно ее абсолютного значения и смотрит на человека не слишком возвышенно, то вы смело можете предполагать, что он не станет одобрять рабство во всех его видах и станет возмущаться всякого рода розгами. В самом деле, попробуйте сделать

такой опыт; ваши заключения всегда будут безошибочны, если вы будете умозаключать таким образом: кто защищает розгу, рабство и т. д., тот держится теоретически высоких понятий, кто же держится не возвышенных теоретических понятий, тот никогда не станет защищать указанных предметов. Недавно, впрочем, один философ в «Отечественных записках» говорил, что учения не возвышенные, не идеальные и боящиеся идей только потворствуют современному человечеству, которое «находится в состоянии или богатого барина, или купца, ведущего значительную торговлю»; что они находятся в полной гармонии с блаженным состоянием европейского общества, с миросозерцанием счастливых собственников и капиталистов, для которых не нужно прогресса, не нужно идей, единственных двигателей прогресса; они враждебны им по инстинкту, из интереса, из выгод; а учения не возвышенные «стараются своими теориями подкреплять эту ненависть к идеям. Друг другу протягивают руку. Зачем же наряжаться в чужое платье? Зачем прикидываться не тем, что мы на самом деле? Зачем печалиться за меньших братий, когда, в сущности, мы хлопочем только о том, чтобы все наши братья видели в каждом из нас не более как частичку грубой материи, вечно подлежащую действию одних и тех же постоянных, неизменных законов, когда в наших братьях мы хотим уничтожить самый источник развития — веру в идеи (ну вот подите же с ними, а они все-таки печалятся)?» Этот философ хотел, вероятно, блеснуть новостью мысли и оригинальностью параллели; а если бы он рассмотрел дело получше, то он увидал бы, что буржуазия, все эти собственники и торговцы именно-то и защищают идеальные учения и возвышенные идеи, видя в них лучшую опору для себя. Для кого не ясна современная роль возвышенных учений и высоких идей, тому следует обратиться к истории, припомнить реакции, совершавшиеся на Западе лет сорок, тридцать и десять тому назад; все они сопровождались и ознаменовались торжеством учений, которые не боялись высоких идей, а стояли за них. Что может быть, например, идеальнее системы Гегеля; она вся состоит исключительно из чистейших идей. Однако многие называют ее просто системой реставрации и реакции; так называет ее, между прочим, Гайм [29], человек беспристрастный и не особенно расположенный к тем учениям, которые наш русский философ называет боящимися идей. А так как реставрация и реакция

совершились в пользу собственников и купцов, то и выходит, что учение, переполненное идеями, также подавало им руку, подкрепляло их и т. д. Впрочем, наш философ сам же говорит, что учения, боящиеся идей, печалятся за меньших братий, но только он называет это лицемерием с их стороны, как критик «Отечественных записок» — непоследовательностью. И критик и философ, по своим соображениям и умозаключениям, находят, что известное учение должно дать известный практический результат, и вдруг видят, что оно дает результат противоположный; из этого они и выводят, что оно непоследовательно и лицемерно. Но можно сделать и другой вывод из того же основания, можно с большей вероятностью сказать, что их соображения и умозаключения неверны, что учение и должно необходимо давать те результаты, какие оно дает, что результаты эти вытекают из самой сущности учения, что в нем, стало быть, нет ни непоследовательности, ни лицемерия. Во всяком случае, кажется, можно разграничить антинигилизм и нигилизм так: первый имеет теоретическую высоту, второй — практическое значение; и, казалось бы, им не из-за чего было враждовать между собой, области и пути их различны, и они не могут мешать друг другу.

Итак, теоретическая сторона антинигилизма ясна хоть до некоторой степени, видно, что его учение отличается возвышенностью и множеством идей самых идеальных. Не так легко определить практическую сторону антинигилизма и указать практические его результаты, обнаружившиеся в действиях антинигилистов, подобно тому как хроникер «Отечественных записок» указал на действия нигилистов. Вообще указывать печатно или критически на действия, вытекающие из того или другого теоретического направления, очень неудобно и щекотливо. Вы видите перед собою множество действий, может быть гораздо хуже тех, на которые указал хроникер; но как знать, принадлежат ли эти действия антинигилизму, он ли их произвел и вообще были ли какие-нибудь действия у него. Хроникер говорил, что нигилизм вызвал противодействие себе известными практическими действиями; на этом основании можно думать, что это противодействие также сопровождалось практическими действиями, направленными против нигилизма, что антинигилизм так же точно зарекомендовал себя действиями, параллельными тем, какие изобразил хроникер, что и из них вышла бы картина не

менее трогательная и поразительная той, какую начертало его искусное перо. Но подбирать эти действия, группировать и обсуждать их про себя — предоставляется самим читателям; это не дело печати и не может быть предметом откровенной речи. Здесь опять можно прибегнуть к способу противоположения. Антинигилисты говорят, что в нигилисте честность не случайное свойство; значит, в самих антинигилистах это свойство очень случайно, и человек, предавшийся антинигилизму, может совершенно потерять его и, раз потерявши, почти уже не может возвратиться на истинный путь; он слишком далеко зашел по кривым путям, самолюбие не позволяет ему возвратиться назад, а подстрекает еще идти далее и далее; тут уж всякие разубеждения и споры бесполезны, они не образумят такого человека. Пример подобного унижения людей, держащихся возвышенных теорий, можно показать — даже страшно выговорить! — на великом философе Гегеле. Обвинение это слишком важно, и для доказательства его нужно привести факты и указать на ученые авторитеты, признавшие эти факты и разъяснявшие смысл их. Все, что будет говориться далее, заимствовано у Гайма, который не имел поводов клеветать на Гегеля и перетолковывать не в его пользу общеизвестные факты. Философия Гегеля имела блестящий, беспримерный успех, вроде того, какой у нас имел «Русский вестник» в первые годы своего существования, перед нею благоговели, ее изучали как священную науку; она везде принималась без критики, без возражения и сомнений; слово Гегеля было свято и неприкосновенно. Все это развило в философе страшное честолюбие и нетерпимость; привыкши к похвалам, он не мог терпеливо сносить возражений; одно слово, сказанное против него, возбуждало в нем слепой гнев и даже злобу. А между тем Гегелю делались возражения, и очень основательные; многие не соглашались с его философией. Не имея возможности основательно и научным путем опровергнуть своих противников, Гегель стал нападать на их практические действия и на практические следствия их учения, которое он старался представить опасным и разрушительным. Правительство прусское было очень милостиво к Гегелю; этой милостью он воспользовался в своей ученой полемике как аргументом и говорил, что на него не должны нападать ученые, потому что он прусский чиновник. Вот как об этом рассказывает Гайм:

«Философия права» Гегеля яснее всего отражает направление, или, лучше сказать, эту судьбу Гегелева учения — превращение абсолютного идеализма в идеализм реставрационный. Предисловие к этой книге есть только наукообразно формулированное оправдание карлсбадской полицейской системы. Она ведет полемику против всех тех, кто позволял себе иметь собственный взгляд на разумность государства и желать, чтобы этот взгляд превратился в общее желание и требование; эта полемика выражается в таких словах, грубость и ожесточенность которых напоминает одновременные выходки Штейна [30] против людей и учений, которых он даже вовсе не знал. В представители этого теоретизирующего и предъявляющего известные требования политика она избирает человека, которого не только его характер должен был предохранить от всяких нападок со стороны философии, но еще тем более и безусловно то обстоятельство, что он уже находился в подозрении у полиции. Против *Фрисова* учения были совокупно устремлены все возражения, которые Гегель устремлял, в отдельных нападках, против романтики и просветителей, против Якоби и Канта; не только *Фрис* [31] был прозван «предводителем» страшной «бездарности» и «рабулистом произвола», вследствие чего его учение представлено в обезображенном виде; еще более, философия действует с полицией заодно и от нападок и обвинений переходит к личному доносу и возбуждению начальствующих властей. Речь философии права имеет дело не столько с Фрисом как с философом, но и как с Фрисом, оратором в Вартбурге; в точных словах высказывается похвала, что «правительства обратили наконец внимание на такое философствование», и, вероятно,— там же прибавлено,— должность и звание не сделаются талисманом для такого рода начал, «следствием которых бывает разрушение столько же внутренней нравственности и частной совести, сколько и общественного порядка и государственных законов». Рецензент философии права в «Галльской литературной газете» осуждал ее предисловие за неблагородную манеру преследования «и без того уже удрученного Фриса». Гегель назвал это доносом и находил недозволительным, «чтобы прусский чиновник был заподозрен в газете, пользующейся щедротами прусского правительства; он говорил об опасностях слишком большой свободы прессы, он требовал и получил удовлетворение от министра просвещения» («Гегель и его время», Спб., 1861.

Извлечение из «Журнала министерства народного просвещения», с. 312—313).

Наконец, нигилизм, по словам его противников, есть отрицание,— он все отрицает без разбора. Значит, антинигилизм есть положение и утверждение; он принимает и отстаивает все без разбора; худо ли, хорошо ли принимаемое и отстаиваемое, до этого ему нет никакого дела; он отстаивает что попало, без всякого основания, а единственно по ненависти и вражде к отрицающему нигилизму. Для изображения этой стороны антинигилизма стоит только перефразировать фразы противников нигилизма. Утверждение за утверждением порождает склонность к утверждению, образует навык, и из этой склонности, из этого навыка вырастает наконец непреодолимая страсть, которая, как и всякая страсть, может доходить до степени помешательства, теряя всякую определенность и всякий предмет. Утверждение для утверждения — вот сущность этой страсти. Положительное направление есть своего рода культ — культ опрокинутый, исполненный внутреннего противоречия и бессмыслицы, но тем не менее культ, который может иметь своих учителей и фанатиков. Интерес положения, преобладая над всем, влечет этих фанатиков ко всему, что только запечатлено положительным характером. Все, что имеет положительный характер, есть уже *eo ipso** непреложный догмат в глазах сектаторов этого культа. Может случиться иногда, что нигилизм отрицает то, что в самом деле заслуживает отрицания; но антинигилизм отстаивает и это, по своей несчастной страсти к отстаиванию. Вследствие этого ему часто приходится отстаивать нелепые предрассудки и самые неблаговидные пошлости, утверждать то, чего нет на самом деле, полагать бессмысленные фантазии и выдумки. Да иначе и быть не может; антинигилисты хотят отстаивать что-нибудь положительное; без отстаивания они жить не могут,— это их потребность и страсть. А между тем, как говорит «Русский вестник», «нет ничего труднее, как найти в нашей общественной среде что-нибудь положительное, на чем могли бы сойтись между собою люди. Вы не свяжете трех человек в одно целое на каком-нибудь положительном интересе; во всяком случае, связь между ними не продержится долго и не окажется плодотворною» [32]. Теперь представьте же себе критическое положение анти-

* тем самым *(лат.)*.

нигилистов: им нужно отстаивать что-нибудь положительное, а его-то, как на беду, и нет в общественной среде; поневоле они бросаются на всякую положительную дрянь, на обветшавшие и одряхлевшие призраки, на гниющие и заразительные язвы,— и все это отстаивают с жаром и фантастическим усердием. Очень понятно после этого, почему связь между подобными людьми, как уверяет «Русский вестник», не окажется «плодотворною» и почему деятельность их может быть очень злотворною. Впрочем, нечего бояться злотворной деятельности этих людей; как уверяет тот же «Русский вестник», «на отрицательном все сдружатся, и дело закипит, на положительном же все перессорятся, и дело не пойдет». Стало быть, пока антинигилисты стоят на почве отрицания, пока они ограничиваются только опровержением и отрицанием нигилизма, они еще могут ужиться как-нибудь между собою, могут действовать сколько-нибудь согласно и без междуусобной вражды, но если они примутся за что-нибудь положительное, если дело коснется их личных интересов, если бросят им кость, они непременно «перессорятся» и передерутся между собою, как собаки в басне Крылова,— за это ручается «Русский вестник». Ручательство его недавно подтвердилось классическим опытом, и публика уже имела удовольствие наслаждаться комическою междоусобною дракою людей, столкнувшихся на положительном реальном интересе, который заставил их забыть свое содружество, свое родство, единство своих тенденций, долженствовавших соединять их крепкими и неразрывными узами; но эти узы были разорваны в угоду положительному интересу [33]. Повторения подобного опыта нужно всегда ожидать от людей, отстаивающих положительное.

Заключение из всей этой истории литературного кризиса выходит утешительное; в литературе образовался раскол, но он был следствием или выражением развития, и рано или поздно он непременно обнаружился бы. Два элемента, прежде соединявшиеся по недоразумению, теперь отделились один от другого; и прекрасно, их никто не будет смешивать, и они сами не будет стеснять друг друга совместным жительством.

Г. Е. Благосветлов

ГАРИБАЛЬДИ

(Очерк)

Мы не знаем из современных жизней более драматичной и разнообразной, как жизнь Гарибальди. С его именем соединяется воспоминание о замечательных событиях нашего века; его меч более тридцати лет неизменно служит... особенно свободе его отечества. В Италии или в Америке, в Генуе или в Риме, где бы ни был подан голос за правое дело, Гарибальди является борцом или вождем народной партии. Его простое и честное слово внушает безграничное доверие массам; его отвага одушевляет примером воина и гражданина. Неудивительно, если имя его обратилось для итальянцев в классическую легенду, украшенную самыми смелыми вымыслами южной фантазии; о живой личности, которую мы знаем, слышим и ни на минуту не упускаем из виду, ходят рассказы, похожие на эпические песни. Где бы он ни находился — в Альпийских горах с оружием в руке, или на острове Капрера за плугом и сохой, везде следит за ним общественное внимание, желая проникнуть до самого сокровенного помысла его души. Все это доказывает, что в действительной жизни Гарибальди есть много симпатичных сторон для человечества и великих фактов — для Италии.

В самом деле, что может быть интереснее отдельной личности, на которой покоится надежда целой страны? Что может быть выше и чище этой беспокойной и неутомимой жизни, безусловно отданной на пользу благородной идеи? Здоровье, семейство, состояние, все, что́ есть для человека самого дорогого и близкого, все это Гарибальди принес в жертву своему бескорыстному стремлению. Его покойная жена, Анита, не разлучалась с ним ни во время трудных походов, ни в огне опасных битв; постоянно на коне, она шла с своим мужем всюду, где бы знамя его ни

развевалось. Его сын вместе с отцом и в рядах сицилийских волонтеров. Его дом и ферма отданы под залог тех кораблей, которые он сжег ради спасения Сицилии. Без преувеличения можно сказать, что для него нет богатства — кроме старого меча, нет ничего заветного в мире — кроме свободы Италии. И если бы Гарибальди не был политическим деятелем, то и тогда жизнь его была бы в высшей степени замечательной.

По характеру он принадлежит к числу самых деятельных темпераментов нашего времени. Неспособный ограничиться кабинетным размышлением или праздными теориями публициста, он всю свою жизнь провел в постоянных заботах, предприятиях и опасностях. Два раза он переплывал Атлантический океан; два раза он избегал преследования врагов, укрываясь от них, в одежде пастуха или под плащом кондотьера, в горах или болотах; несколько раз голова его была оценена австрийским вероломством, и всякий раз спасался от рук своих палачей. Такая жизнь, полная трудов, лишений и постоянных тревог, закалила силы Гарибальди в суровой школе практических опытов. Для него тихая сфера поэта, художника и ученого была бы слишком тесной и невыносимой; ему нужно море, горное ущелье, нападение врасплох, ночная высадка на неприятельский берег и борьба со всеми ее переменами и случайными развязками. И для такой деятельности Гарибальди обладает всеми необходимыми условиями: необыкновенным тактом наблюдения, быстрым соображением, дальновидностью в планах и твердостью в исполнении их, хладнокровием в неудачах и великодушием в победе — одним словом, это — человек действия и воли. Как один из передовых застрельщиков века, он проводит идею в практическую жизнь народов, осуществляет на самом деле то, что́ думают и чего добиваются кабинетные мыслители. В этом отношении Гарибальди — полное олицетворение итальянской демократии.

Мы передадим здесь лишь главные черты из его жизни и тем дополним его характеристику...

В тот день, когда Северо-Американские Штаты празднуют торжество своей независимости, 4-го июля (1807 года), в Ницце родился Иосиф Гарибальди.

Отец его, старый честный рыбак, воспитывал сына в трудах и правилах своего скромного положения. По целым дням проводил мальчик на море, и свободная стихия с ее бурями и прелестью темно-голубых вод образовала

характер будущего героя Италии. Проходил день, наступал вечер, и маленький Гарибальди садился за книгу. Учение, как мы имеем право догадываться по некоторым данным, вовсе не привлекало его. На другое утро он охотно выходил в залив, и первые лучшие уроки брал у самой природы. Отец радовался любви к морю молодого Иосифа и со временем хотел приготовить из него хорошего пловца и ловкого матроса. С этой целью он отдал его юнгой в сардинский королевский флот.

Отсюда начинается деятельная жизнь и подвиги Гарибальди.

Рассказывают, что во время крейсерства фрегата, на котором он служил, на этот фрегат напали пираты; завязалась драка, разбойники смело лезли на абордаж — вдруг меткий выстрел повалил их атамана. Враги смешались и с большим уроном отступили. Виновником победы был Гарибальди; ему принадлежал счастливый выстрел; но участие юнг в сражении было запрещено,— и капитан корабля предал его военному суду. Молодого человека осудили, но король не только помиловал его, но еще поместил в военное морское училище в Ницце.

Между тем австрийская цепь, надетая на Италию священным союзом, крепче и крепче стягивала ее члены. Система Меттерниха[1], поставившая страну между бессменной революцией и невыносимым угнетением, породила ряд тех несчастий, которые проводят кровавый след в истории XIX века. Венскому деспотизму отвечали постоянные заговоры и периодические восстания полуострова. После неаполитанской революции двадцатых годов, охватившей все части Италии, глубокая ненависть к Австрии и к изменникам народного дела сосредоточилась внутри партий. Тайные общества работали с необыкновенной энергией и в тридцатых годах достигли колоссальных размеров. В голове их стал пылкий, образованный и неутомимый юноша, которого судьба так блистательна внешними фактами и так бедна результатами. Вокруг Матцини[2] собралось юное поколение, названное «Юной Италией», и образовало центр политического движения страны.

Когда Карл Альберт[3] расстреливал в Генуе и Шамбери людей, с которыми прежде мечтал о той же независимости Италии, Матцини и Ромарино направили удар против Пьемонта из Швейцарии и Савои. Гарибальди участвовал в этом предприятии, так неудачно оконченном не

столько из-за личных недостатков вождей и импровизированной армии, сколько из-за общего разочарования Италии после ее рокового поражения. Оставив Савою, Гарибальди поселился в Марселп. Здесь он провел два года, занимаясь математическими пауками и зорко наблюдая за политическим движением своего отечества. Новые покушения его были также безуспешны и, когда, по-видимому, исчезла всякая надежда, он удалился в Черногорию. Здесь, в этом последнем убежище свободы, защищаемом Альпийскими горами, он с переменным счастьем вел войну против сильнейшего неприятеля, но, не видя возможности долее сопротивляться, оставил Европу и поселился в Тунисе. Трудно сказать, что призвало его на полудикий берег Африки, и еще труднее решить, что заставило его поступить на службу туниского дея. Не долго, впрочем, Гарибальди служил деспоту; самоуправство его, ежедневные потрясающие сцены раболепного двора и, наконец, интрига с одной из любовниц в гареме восточного повелителя заставили его искать новой деятельности и другого общества.

Южная Америка призывала его. Там вспыхнула борьба между Монтевидео и диктатором Розасом. Гарибальди, с кучкой итальянских ратников и старых друзей по оружию, явился на защиту менее сильных, но более правых. Мы не станем следить за всеми действиями этих героев — они затрудняли и поражали неприятеля, в десять раз превосходившего их числом. Однажды, делая рекогносцировку с двенадцатью матросами, Гарибальди очутился среди неприятельского флота в ту минуту, когда туман рассеялся. Лодка его едва успела скрыться под вечер в маленький залив. Шестипушечный галетт стал у выхода и рассчитывал поутру кончить дело; но Гарибальди перетащил ночью свою шлюпку через перешеек и сам атаковал неприятеля с другой стороны. Галетт сделался его призом.

Наконец, счастье изменило Гарибальди, и он попался в плен. Розас приказал обращаться с ним, как можно хуже, в надежде сломить его энергию. Когда, по мнению его, пленник довольно выстрадал, он призвал его к себе в палатку и предложил место дивизионного генерала с жалованием в десять тысяч пиастров; но Гарибальди презрительно отказался. Раздраженный диктатор угрожал ему дать почувствовать всю тяжесть своей власти,— Гарибальди не уступил. Розас приказал держать его еще

строже и обходиться с ним, как с простым солдатом; его заставили пешком идти за войском.

Однажды после форсированного перехода, когда уставшие часовые задремали, Гарибальди быстро бросился на лошадь, спустился с горы и исчез в кустарниках прежде, чем очнувшиеся солдаты стали его преследовать. К несчастью, беглец встретился с партией, возвращавшейся в лагерь, и был приведен обратно. Жестокими насмешками встретил Розас пленника и приказал смотреть за ним еще строже прежнего.

Дочь полковника, которому он поручен был под надзор, Анита, любовница Розаса, увидела Гарибальди и полюбила его всей силой южной страсти.

Она доставила ему средства избежать неволи и сама сопутствовала ему. Радостно встретили товарищи своего вернувшегося начальника, и война загорелась с новым удвоенным жаром. На суше и на воде мстил Гарибальди за свой плен. Анита, вооруженная саблей и пистолетами, была с ним неразлучна.

Между тем войска Лавале начали сосредоточиваться у Монтевидео. Надо было дать им время собраться и для этого остановить Розаса. С тремя судами против десяти Гарибальди совершил это дело. Несколько часов продолжалась битва; наконец, он увидел, что противиться больше невозможно, и зажег свои корабли. Пользуясь мелководьем реки, солдаты перешли ее вброд, а раненых снесли на плечах.

Новая борьба ожидала их на суше, надо было пробиться сквозь неприятеля, и они пробились,— но Анита попалась в плен. Женское притворство помогло ей помириться с Розасом — и убежать снова...

По окончании войны Уругвайская республика предложила Гарибальди и его легиону денежное вознаграждение за его услуги; но он отверг предложение, не желая унижать ценой золота чистой крови, пролитой его соратниками.

Наступил 1848 год, год величайшего кризиса для всей Европы. Италия подала пример политического возрождения угнетенным народам, и на голос ее явился Гарибальди.

2-го июля он был в Генуе.

Услуги, предложенные им Сардинии, не были приняты. Он поспешил в Милан, но город уже капитулировал. Тогда Гарибальди перенес войну в горы. Ряд изумительных военных предприятий заявил силу его оружия; не-

смотря, однако ж, на победы и симпатию населения, он не мог удержаться; превосходные силы австрийцев теснили его со всех сторон; голова его была оценена. Окруженный врагами в ущельи, он обратился к своим волонтерам с следующими словами: «Товарищи, кажется, надо умереть здесь. Пусть так, но убьем как можно больше Кроатов, Кроатом меньше — меньше неприятелем для Италии. Вперед!» Австрийцы расступились перед этим живым ураганом, и Гарибальди успел укрыться в Швейцарию.

Через несколько месяцев он снова явился на сцене действия, под стенами Рима, с 2000 волонтеров.

С одной стороны французы, с другой неаполитанцы угрожали Риму, на втором плане стояли австрийцы.

Отбив первые приступы Удино, Гарибальди воспользовался перемирием, заключенным с ним, и обратился против неаполитанцев. Несмотря на значительное превосходство в силах, войско Фердинанда [4] было разбито в нескольких стычках, а при взятии Веллетри сам король едва не попался в плен.

В то время, как Бомба бежал по направлению к Беневенту от гарибальдийцев, в столице Пия IX была провозглашена республика, в виду французских штыков. Гарибальди был призван для спасения осажденного города. Чудеса храбрости оказал он при защите виллы Памфили: с 400-ми человек он поддерживал бой в течение 16-ти часов против двух бригад; но сила опять превозмогла...

Когда народное собрание увидело невозможность защищаться, Матцини предложил три средства: сдаться, возобновить геройскую защиту Сарагоссы или продолжать войну в провинции. Тогда генерал Бартолючи объявил, что он получил письмо от Гарибальди, который объявляет дальнейшую защиту невозможной. Собрание послало просить главнокомандующего: он явился в Капитолий, покрытый пóтом, пылью и кровью. Узнав в чем дело, он предложил оставить половину Рима и укрепить другую. «На сколько же времени мы спасаем эту другую половину?» — спросили его. «На несколько дней»,— отвечал он,— и тогда решились вступить в переговоры. Гарибальди не хотел и слышать об этом и решился продолжать войну в провинциях. Собрав своих солдат на площади св. Петра, он сказал им: «Товарищи, вот что ожидает вас: жар и жажда днем; холод ночью; ни жалованья, ни покоя, ни убежища; но в замен того — нищета, тревоги, беспрестанные переходы, сражения на каждом шагу. Кто лю-

бит Италию — за мной!» Пять тысяч человек последовало за ним.

2-го июля выступил он из Рима; Анита, несмотря на то, что была на шестом месяце беременности, решилась разделить судьбу мужа. Преследуемый тремя французскими отрядами, угрожаемый на юге неаполитанцами, в Тоскане и легатствах австрийцами, он умел пройти между ними, разделив свою колонну на маленькие отряды.

Наконец, стесняемый на всяком шагу более и более, он достиг республики Сан-Марино. Президент позволил запастись съестными припасами, но не дал разрешения пройти через республику. Между тем, генерал Горцковский, прибыв из Болоньи, успел окружить небольшой отряд Гарибальди... Переговоры между президентом и австрийским генералом кончились следующими условиями: Горцковский предложил волонтерам Гарибальди положить оружие, а самому предводителю их взять австрийский паспорт и удалиться в Америку.

Когда эти условия были принесены Гарибальди, маленькая армия спала на площади Сан-Марино и в соседних улицах. Те, которые не спали, объявили генералу, что не согласны на эти условия и готовы открыть дорогу с оружием в руках.

Чтобы беспрепятственно исполнить свое отступление, Гарибальди решился воспользоваться последними минутами ночи. Грустные думы отразились на его лице, когда он взглянул на спящих друзей, но долг генерала заглушил в нем чувство человека, и он приказал желающим следовать за ним — приготовиться немедленно к отступлению. Двести человек согласились идти за ним,— «новые страдания ожидают нас,— сказал вождь,— изгнание или смерть, но не сделка с неприятелем». Идем!.. Идем! — повторили волонтеры,— и Гарибальди, бросив прощальный взгляд на покинутых товарищей, быстро удалился. Можно ли обвинять его? Отряд его получил разрешение от присяги на границе Сан-Марино; излишняя медленность могла погубить всех, да и вряд ли многие согласились бы следовать за ним; они, утомленные прошлыми опасностями и лишениями, слышали приготовление к походу, но не хотели подвергаться дальнейшим опасностям, довольные принятой капитуляцией.

В ночь с 1-го на 2-е августа Гарибальди достиг берега; тринадцать рыбачьих лодок приняли его отряд. Вене-

ция была уже в виду, но австрийский бриг «Орест» перерезал дорогу... из тринадцати — пять барок достигли Мезолы. Гарибальди понял, что единственное спасение в бегстве. Только один из товарищей, который помогал нести Аниту, не оставил его. Беглецы направились к Равене. Три дня продолжались страдания Аниты, наконец она потеряла сознание. К счастью, недалеко была одна бедная хижина; в нее перенесли умирающую. Гарибальди преклонился у смертного ложа жены и с трепетом сердца подстерегал всякое движение кончавшейся жизни. Несколько минут спустя один крестьянин принес известие, что австрийцы приближаются.

Гарибальди взял жену на руки и понес ее, пока достало сил. Истощенный, он готов был упасть под драгоценной ношей, как вдруг встретилась им деревенская повозка; едва дышавшую мученицу положили в нее и довезли до фермы маркиза Гвиччоли (Guiccioli). На другой день Анита скончалась.

Над этим прахом Гарибальди поклялся быть непримиримым врагом Австрии и сдержал свое слово.

Похоронив жену в уголке равнины под тенью деревьев, он отправился переодетый в Равену. Тысячи опасностей угрожали ему: его голова снова была отдана на откуп; Горцковский под страхом смерти запретил давать ему пищу и приют,— и несмотря на все это, народная любовь охранила его от руки предателя и шпиона, дав ему возможность достигнуть Пьемонта.

Последняя надежда Италии с падением Венеции исчезла. Гарибальди не видел более спасения на родном берегу. За ним лежала пустыня, изрытая копытами австрийской конницы и покрытая развалинами городов; его преследовали воспоминания о друзьях, потерянных на поле битвы или погибших от руки палача; за ним был гроб его жены и похороны римской республики, убитой республикой французской. Гарибальди решился опять оставить отечество и удалиться в Америку.

Он поселился в Нью-Йорке и занялся здесь фабричным производством; мирная деятельность купца скоро наскучила ему, и он поступил капитаном купеческого корабля к одному богатому американцу. Эта деятельность дала ему возможность объехать полсвета; он был в Калифорнии, Китае, Перу и опять принял начальство над войсками в Монтевидео. Но эта новая война скоро прекратилась, благодаря посредничеству Франции. Тогда Гарибальди воз-

вратился в Ниццу и затем переехал вместе с сыновьями на остров Капреру, где занялся сельскими работами.

В этом положении застал его 1859 год. Борьба за свободу снова взволновала Италию; снова дети ее собрались под трехцветное знамя Сардинии. Теперь призванный сыном Карла-Альберта к оружию и уполномоченный властью вождя альпийских стрелков, Гарибальди внес партизанскую войну в савойские горы. Первый выстрел и первая победа над австрийцами принадлежали ему. Действуя во фланг неприятельской армии и нанося ей одно поражение за другим, он отвлекал огромные силы от центрального войска. События этой войны еще так свежи в нашей памяти, что мы считаем лишним говорить о них подробно. Кто не знает этого лихорадочного нетерпения, с каким ожидала вся Европа известий о подвигах Гарибальди; кого не изумляли его смелые переходы и нечаянные нападения на врага? Кому неизвестно блистательное варезское дело, где он с пятью тысячами волонтеров разбил тринадцатитысячный корпус Урбана? Наконец, после взятия Комо и Лавено, кто не был уверен, что с именем Гарибальди неразлучна победа, что одно присутствие его ручалось за успех предприятия, как бы оно ни было сомнительно. Но виллафранкское перемирие остановило меч Гарибальди.

Затем для Гарибальди наступило новое бездействие. Положив меч, он снова удалился под тихую кровлю своей фермы, и едва Сицилия обнаружила первые симптомы восстания, как он явился на берегу ее. Его знамя — народное знамя, соединило разбросанные силы острова. Ни происки неаполитанского правительства, ни варварские прокламации, ни ложные обещания, ни подкупы, ни вандальская жестокость с жителями Палермо не ослабили ни энергии, ни мужества Гарибальди. В пятнадцать дней он довел королевские войска до безвыходного положения, заставил трепетать неаполитанский двор и сделался представителем судьбы двухмиллионного населения.

Последняя высадка Гарибальди сначала изумила Европу. В ней видели какое-то безумное предприятие человека, который рисковал погубить свою славу, жизнь и, может быть, парализовать весь ход сицилийского дела. В самом деле, с горстью людей, без оружия и средств, он выходит на берег, в виду многочисленного войска, укреплений и строго организованной полиции. Отрезанный от континента морем, без флота и верной помощи, на что он

мог рассчитывать в случае неудачи или ошибки? Но здесь-то и показал Гарибальди, что его дарования достает не для одной войны, но и для глубоких политических соображений. Только теперь мы увидели, что это один из самых замечательных государственных умов нашего времени, что от его дальновидного взгляда не скрываются самые неуловимые результаты народных реформ. Что он понимает современные потребности и инстинкты Италии — в этом нет никакого сомнения; сицилийский же поход его, так разумно обдуманный, как его не обдумали бы в лучшем дипломатическом кабинете, убеждает нас в том, что Гарибальди не только гениальный кондотьери, но и политик, что он знает настоящее положение не одного итальянского общества, но всей Европы. Во всех его распоряжениях, переговорах и планах виден хороший дипломат и превосходный администратор. Руководила ли им ловкая и находчивая мысль Кавура[5], или Гарибальди руководил Кавуром — это пока остается тайной; по крайней мере, во всех действиях диктатора Сицилии проглядывает и самостоятельный ум и единственная, только ему одному свойственная энергия.

Что касается политической веры Гарибальди, он не изменил ей с тех пор, как защищал ее под стенами Рима. Эта вера никогда не имела того исключительного и узкого характера, какой, обыкновенно, навязывают таким деятелям, как Гарибальди. Для него нет ни республиканских, ни конституционных стремлений; он слишком высоко развит, чтобы привязываться к той или другой форме правления, чтобы предпочитать Виктора-Эммануила[6] папе или папу неаполитанскому Бурбону; думаем, что все эти альфы в народной жизни — для него омеги. Притом, политические убеждения в такой стране, как Италия, не могут быть убеждениями строго выработанными и определенными; до них вырастают только нации свободные, воспитанные в школе долговременных и мощных социальных реформ; для них нужны известные условия политического существования. В ином положении находилась Италия в последние шестьдесят лет. Все ее усилия сосредоточены были на том, чтобы избавиться от того гнетущего ига, которое заперло все поры ее нравственного дыхания. Такие народы, к несчастью, живут отрицательной жизнью. Их надежда — прежде всего в свободе; их вера — в лучшем будущем, откуда бы оно ни пришло и как бы ни устроилось. Эта неопределенность принципов и шаткость

тенденций отразилась на всех политических вождях современной Италии. «Когда дело идет о спасении страны,— заметил Макиавелли [7],— тогда не спорят о средствах». К этому совету в последнем результате применяется политика каждого гениального итальянца.

Наконец, что́ особенно отличает Гарибальди между современными характерами,— это одно из самых редких качеств нашей бездушной эпохи. Выше всех систем, направлений и верований для него стоит имя человека. Сын рыбака сохранил это достоинство на всех поприщах жизни. Соединяя с классической простотой высокое нравственное чувство, он всегда оставался верен своим первоначальным правилам; его не увлекла ни громкая популярность, ни народная лесть, его не изменили ни счастье, ни страдания. В его поступках, манерах и словах нет ни малейшей эффектации, в которой обвиняют его соотечественников. Он так же просто возвращается к своему плугу, как идет на поле битвы, он так же откровенно говорит с королем, как с простым волонтером. «Я видел Гарибальди,— пишет очевидец,— в первый раз в Лондоне, когда он сходил с корабля на свободную землю Англии. О приезде его город знал заранее, и народ волнами притекал к той набережной, где должен был остановиться знаменитый путешественник. Тысячи любопытных глаз были устремлены на эту классическую фигуру, и каждый хотел изучить ее до последней тонкости. Воображение мое, подготовленное рассказами о делах Гарибальди, общим вниманием к его судьбе и, наконец, самим приемом — составило о нем какое-то чудесное понятие. И как удивила меня простота его костюма, мягкость взгляда, умного и глубокого, но до того симпатичного, что, кажется, этот взгляд никогда не видел ни трупов, ни крови, ни бурь. В строгих и несколько резких чертах лица его выражалась вместе с энергией какая-то юношеская прелесть; в его походке, поклонах и обращении заметна была наивность гениального человека. Он шел между рядами народа, среди гула приветствий так спокойно, как будто все эти люди были давнишние друзья его и он находился дома. Потом я видел Гарибальди на митингах, в клубах, в больших обществах и всегда находил его до того искренним в обхождении, что, говоря с ним, забывалось различие возраста, положения и авторитета. Вообще он — молчалив и задумчив, но если предмет вызывает его на размышление и разговор, речь его увлекательная и страстная. По-види-

мому, нет предмета, которого бы он пе знал. Тихий голос его, одушевляясь, переходит в звонкое альто, и глаза загораются огнем сильной сосредоточенной мысли»... Вот — человек, которому история готовит такую славную страницу в судьбах Италии и нашего века.

ПО ПОВОДУ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

Есть две главные силы, которые управляют ходом событий и общественных реформ — сила материальная и сила идеи. Первая господствует во имя всех средств, предоставленных человеческому произволу, и отмечает собой период варварского состояния; она требует войны, убийства, хитрости самовластия и воздвигает свое величие на разрушении и несчастии всего, что́ слабее или благороднее ее. Это — сила диких обществ, которые обманом, разбоем и мечом пролагают себе дорогу к исторической жизни. Рабство и насилие составляют непременное условие их существования. В ином свете и с иным характером представляется сила идеи: торжество ее, чистое от крови и тирании там, где она не встречает на пути своем противодействия и упорства, совершается во имя убеждения ума и образования сердца. К сожалению, влияние идеи доселе остается случайным явлением. Замкнутая в кругу самого тесного меньшинства, встречаясь на каждом шагу с препятствиями и отражением противной ей силы, она действует, подобно лучу, преломленному в темном теле. Между тем, значение ее постепенно возрастает; мы начинаем чувствовать, что степень умственного развития в народе определяет степень его материального счастия, социального прогресса, успеха его реформ и более или менее быстрого движения к своей цели. Поэтому образование масс становится одним из первостепенных вопросов нашего времени. Правительства и народы одинаково убеждаются, что нет другого более действительного средства для мирного выхода из современного положения европейских обществ. «Если хотите,— сказал один мыслитель,— заменить господство пушки властию идеи,— образуйте народ».

Но с чего же начать это образование и как лучше распространить его между народами? По-видимому, наш век так богат разнообразными органами просвещения, что бо́льшего желать трудно; на пользу его работают типо-

графские станки, телеграфические проволоки, железные рельсы, ученые общества, постоянные изыскания и открытия в области искусств и знания; но не надо забывать, что сила идеи отнюдь не обусловливается количеством сведений или счетом книг, а практическим смыслом ее и направлением. Притом, в современном образовании участвуют только известные сословия, для которых оно бо́льшей частью составляет праздную роскошь, а самый многочисленный и деловой класс — миллионы земледельцев и фабричных работников стоят вне всякого умственного движения. Перед ними их же собственными руками воздвигаются академии, университеты, музеи, но они не могут даже прочитать надписей на этих великолепных зданиях, где остались следы их пота и труда. Вследствие такого одностороннего направления, образование едва коснулось коренных слоев человечества. Было время, когда серьезно думали, что образование необходимо только дворянину или чиновнику, а все прочие не имеют в нем надобности; и доселе есть люди, готовые утверждать, что уменье читать и писать положительно бесполезно и даже вредно известным лицам и при известных условиях жизни. Для защитников мрака, рутины и смерти знание — горький плод, не потому, что оно требует усилий и жертв, а потому, что нарушает их животное спокойствие и ту обычную апатию, в которой они прожили свой сонливый и бесплодный век. Одни видят в образовании орудие смут и революций, как будто для тишины необходимо невежество, которое, собственно, всегда было источником внутренних мятежей и кровопролитий; другие заподозрили в нем врага нравственных начал, как будто истинная нравственность неразлучна только с предрассудком и суеверием. Эти софизмы, отчасти прикрытые эгоистическими целями, нет сомнения, повредили человечеству гораздо больше, чем все войны и эпидемии вместе; невежество загородило дорогу лучшим стремлениям людей; оно разрушило много великих предприятий, планов — и долго водило человека, с завязанными глазами, окольными путями лжи и несчастия. Но после продолжительной борьбы тьма начинает уступать свету, и опыт нескольких тысяч лет убеждает нас в том, что знание есть действительная сила, везде и всегда необходимая человеку. Она особенно необходима тому, кто живет трудом своих рук или головы; она необходима пахарю, потому что обработка и плодородие земли совершенствуются в прямой пропорции с успехами обра-

зованной агрикультуры; она необходима ремесленнику, потому что знание облегчает его труд и открывает ему новые стези к победе над природой; она необходима каждому, потому что нет деятельности без знания, а где нет деятельности, там нет жизни.

Но возможно ли образование, в нашем школьном значении, для ремесленных сословий, при современном устройстве общества? Есть ли какая-нибудь возможность человеку, занятому десять часов в сутки механической работой, к вечеру усталому и часто голодному, ежеминутно встревоженному одной заботой — дневного обеспечения себя и своего семейства,— есть ли ему возможность не только уделить часы досуга умственному занятию, но даже подумать о нем? При таком положении вещей вопрос народного воспитания, очевидно, переходит с шаткой филантропической на твердую социальную почву и становится вопросом величайшего интереса для законодателя, философа и публициста. До сих пор его рассматривали только с первой точки зрения; в таком виде его поняла Западная Европа и, в числе других благотворительных мер, употребила его, как паллиативное средство для закрытия ран, слишком глубоко разъедающих общественный организм. Но время показало, что народное воспитание не может ограничиваться одной филантропией или случайным подаянием его массам; оно составляет первую и главную обязанность того общества, которое не хочет прекратить движение своей истории и предоставить нищете и невежеству миллионы людей, соединенных с ним, если не одинаковым социальным положением, то равными правами на благосостояние и образование. Теоретически эта идея разработана и принята, но практическое применение ее еще далеко от результата. Как обеспечить время и средства для образования рабочим классам? — вот проблема, разрешение которой неизбежно соединяется с общим переворотом промышленного мира, сословного антагонизма, организации труда и почти всех общественных учреждений. Доселе в народном воспитании предвидится возможность распространения в массах одной *грамотности,* которой отчасти удовлетворяют воскресные школы.

Грамотность есть первый шаг, но самый важный шаг к умственному развитию. Само собою разумеется, что и помимо ее есть много путей, ведущих к образованию,— опыт, наглядное знакомство с природой, путешествия, беседа с людьми умными и т. п., но все эти средства так

затруднительны для бедного человека, так продолжительны в своем процессе, что школа и книга пока остаются единственными лучшими проводниками знания. Они дают тот же опыт жизни, но сокращают его изучение и в системе предлагают то, что́ разбросано в природе между бесконечным множеством предметов. Поэтому учреждение воскресных школ для ремесленных сословий, в одно и то же время, удовлетворяет и нравственным и материальным потребностям народной жизни: они бесплатно преподают свои уроки самому бедному классу и открывают ему способы к дальнейшему совершенству. Положим, что из пятидесяти воспитанников сорок девять остановятся на одном процессе чтения, но один пойдет дальше, усвоит науку в полном ее развитии, тогда и этот один будет величайшим приобретением для общества. Может быть, в голове этого одного созреет благотворная мысль, способная дать миру полезное открытие. Не надо забывать, что мы, русские, бедны изобретениями, которыми так богат наш век,— бедны не потому, чтоб в нас было менее любознательности или дарования, чем у других народов, а потому, что на одну действующую силу приходятся сотни тысяч дремлющих сил; мы вообще бедны деятельностью, и опять не потому, чтоб лень или пустота жизни были в нашем национальном характере, а потому, что всякому труду предшествует умственная работа, и чем она полней и разнообразней, тем общество делается более занятым и довольным. Кажется, пора перестать думать, что образование нам нужно для разных пристяжных целей — для звания чиновника, для отличия от крестьянина, для эполет офицера, для праздного изведения бумаги в качестве литератора, нет, оно необходимо для подготовления нам человека и гражданина.

Приступая к основанию народных школ, как нового явления в нашей истории, мы должны помнить, что от первых приемов в организации их будет зависеть следующая судьба этих учреждений. Мы кладем только семя, а жатвой воспользуются грядущие поколения. Три обстоятельства надо иметь в виду в настоящую минуту: 1) общество должно как можно больше взять на себя труда; 2) учению необходима свобода — как воздух нашему дыханию, и потому всякое стеснение предварительными программами должно быть удалено; 3) нам надо проникнуться одной великой мыслью, что такой труд, как народное образование, требует и жертв и сочувствия, и потому по-

постараемся поддержать его успех и с честью вынести его тягость. Мы поздно начинаем учиться, но, по крайней мере, будем же учиться небесплодно.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДРАССУДКИ

(Дж. Ст. Милль[1]*. «Размышления о представительном правлении». Спб., 1863 г.)*

Один из самых серьезных предрассудков нашего времени — пристрастие к политическим формам, в которых стараются видеть непременное условие благосостояния той или другой страны. Многим кажется, что в форме заключается вся сущность дела, что от развития известной политической формы зависит весь склад социального порядка вещей и вся обстановка народной жизни. Еще недавно существовало убеждение между лучшими умами Европы, что политические формы можно пересаживать от одной нации к другой и разводить их точно так же, как разводятся на новой почве лук и капуста. Но лук и капуста, посеянные на неудобной земле, не прививаются и вымирают, не оставляя по себе следов особенного вреда; напротив, насильственно прививаемая политическая форма сопровождается страшным потрясением общественной жизни и отражается на судьбе нескольких миллионов людей. Ложная и произвольная теория огородника прилагается к чернозему и потому оканчивается ничем, а доктрина политика, сочиняющего свою государственную теорию на человеческой коже, прямо действует на живые существа и дает им вполне чувствовать свою нелепость. Наполеон III[2] показал на Франции, что после полувековой борьбы за разные политические формы, после бесчисленных жертв, принесенных народом для удовлетворения эгоизма и прихоти партий, можно привести страну к тому же нулю, на котором стоял ее политический барометр в блаженную эпоху Бурбонов. И для такого поворота назад не требовалось ни особенного ума, ни глубоких соображений: достаточно было иметь ловкость игрока и смелость, на случай неудачи. Шансы выигрыша здесь зависят от степени глупости тех, кого обыгрывают: кто поглупей, тот проигрывает все — до последней нитки; а кто посмышленее, тот, поймав не совсем чистого игрока вовремя, не решается в другой раз подставить ему кармана. Кажется, нет надобности доказывать, как дорого обошлась человечеству эта игра в политические формы и как долго она

мешала правильному взгляду на развитие существенных сторон каждого из современных обществ. Прошло несколько веков, в течении которых люди натерпелись много горя и никак не могли догадаться, что они принимали *средство за цель* и вместо действительной жизни гонялись за каким-то призраком.

«Вспомним прежде всего,— говорит Милль,— что политические учреждения (как ни забывается по временам эта истина) — дело людей и одолжены своим происхождением и существованием человеческому выбору. Люди, проснувшись в одно прекрасное утро, не нашли их внезапно выросшими. Они не походят и на деревья, которые, раз посаженные, *всегда ростут,* между тем как люди *спят.* Их создает такими, какими они есть во всякую пору их существования, свободная воля человека. Поэтому, как все, что́ делают люди, и они могут быть хорошо или дурно созданы; рассудок и искусство могли быть употреблены на создание их или вовсе не употреблены. Наконец, если народ не успел или, вследствие внешнего давления, не имел возможности создать себе конституцию постепенным процессом устранения всякого зла, по мере того, как оно проявлялось, или по мере того, как угнетенные набирали силы противодействовать ему, такое замедление политического прогресса было для него большим несчастием». (Разм. о представ. правлении, с. 4—5).

К сожалению, это несчастие повторяется нередко, и опыты прожитых веков как нельзя лучше доказывают, что немногие из народов не проспали своего первоначального политического устройства. Когда же они просыпались, то видели, что политический механизм их жизни был уже готов, что над ним работали другие, а вовсе не те, для кого он был приготовлен. Нет сомнения, что религия и дух партии, руководимой более или менее узкими расчетами замкнутой касты, оказывали главнейшее влияние на развитие первобытной гражданственности. Жрец и воин везде являются передовыми вождями зарождающихся обществ: вся власть сосредоточивается в их руках, вся нравственная сила распределяется между тайной алтаря и страхом меча, так что с одной стороны могущество авторитета, а с другой — пассивное повиновение составляют главный рычаг несложного политического механизма. Но с течением времени он усложняется, увеличивает свой объем и значение, изощряет свою техническую деятельность и, наконец, начинает управлять всем ходом народной жизни. Удовлетворяя чисто формальной стороне общественного организма и часто противодействуя его живым проявлениям, этот механизм поглощает все внимание, все заботы правительства и, по закону неизбежной инер-

ции, легко может обратиться в рутину. И так как рутина в высшей степени благоприятствует сохранению сословных интересов, то политическая система, основанная на рутине, становится вразрез с общими стремлениями нации. Такова участь всех государств, опирающихся преимущественно на бюрократические подпоры: неподвижность и педантизм — существенные черты всякой бюрократии. Вытесняя собой оригинальность идей и замечательные личности, заменяя дело формой, принципы — мертвой буквой, бюрократия по самой природе своей неспособна к преобразованиям, которых требует каждый день и каждый час живая и действительная сила народа. Австрия, особенно зараженная этим недугом, не раз доходила до такого состояния, когда ее целость висела на волоске и когда, по-видимому, не оставалось в ней ни одной капли здоровых соков. В том же виде представляется нам несчастная история восточных государств. Все они разрушились или окаменели в своем неподвижном состоянии от неравномерного распределения жизненных элементов в социальном организме. История человечества, от первой минуты своего развития и до последней, с удивительной точностью проводит это начало и постоянную борьбу его с внешними препятствиями; у самых хилых и жалких народов жизнь порывалась к уравнению враждебных сил, искала разрешения экономической правды, но, не отыскав ее или не одолев случайных преград, останавливалась в своем течении. Величайшей ошибкой этих народов было то, что они просыпались слишком поздно или совсем не просыпались. Упустив из виду свои ближайшие интересы, они ловили во сне отдаленные мечты и попадали прямо в яму метафизики. Вместо того, чтобы начать с устройства своих общественных отношений, они начинали с политических форм, которые сами по себе ничего не значат; вместо того, чтоб поставить свою жизнь в правильные экономические условия и положить их в основу дальнейшего прогресса, они целые сотни лет и тысячи поколений потратили над обработкой политического механизма, т. е. приняли мертвую силу за живую. Впоследствии эта механическая сила сделалась господствующей и поглотила в себе всю деятельность народа. В этом случае древний Рим представляет нам поучительный пример: по мере того, как замирала в нем действительная народная жизнь, политическая и юридическая формалистика принимала чудовищные размеры и, наконец, задушила принципы и общест-

венную нравственность в самом сердце громадной империи. В то время, когда в оконечностях ее еще текла теплая кровь, напоминавшая о признаках жизни, в самом центре цесарского Рима ничего не осталось, кроме зловония трупа и безобразия смерти. А между тем посмотрите, до каких артистических тонкостей была доведена там юриспруденция и внутренняя администрация. Дайте душу этому механизму, и он устоял бы против натиска дикарей, в десять раз более сильных и воинственных. Но души не было, и рабы своими собственными цепями разгромили колоссальную державу. Это явление повторилось в истории всех тех народов, которые пренебрегли своим социальным устройством в пользу политической организации. «В политике,— говорит Милль,— как в механике, надо искать вне машины силу, которая сообщает машине движение; а если ее нет, или она недостаточна, чтобы превзойти могущие оказаться препятствия, то дело не пойдет на лад». Но эта истина до сих пор ускользает от понимания администраторов и народов, может быть, потому, что вообще понимать сущность дела труднее, чем его поверхность.

В чем же заключается *сущность* хорошего политического устройства? Чтобы отвечать на этот вопрос вполне удовлетворительно, нам следовало бы ясно разграничить те элементы, которые составляют политическую жизнь народа, от тех элементов, из которых образуется общественная его деятельность. Эти две сферы совершенно различны по своим направлениям и результатам. Но современная наука не дает никакой возможности провести такое разграничение, потому что множество общественных условий и вопросов доселе стоят вне всякого научного исследования. В этом отношении так мало собрано положительных фактов, так мало добыто хороших выводов, что воображению остается полный простор в области таких задач, которые должны быть предметом самого строгого наблюдения и опыта. Поэтому политика и общественная жизнь постоянно смешиваются в наших понятиях и на практике оспаривают друг у друга свои права и границы. Но если на предложенный нами вопрос нельзя отвечать во всей его подробности, то общая постановка его совершенно удовлетворяет нашей цели. Не надо забывать одной простой истины, что всякое правление есть только *средство* в руках народа для достижения его благосостояния и, следовательно, оно должно существовать для общества,

а не общество для него. Обратный этому порядок есть аномалия, не имеющая ничего общего ни с здравым смыслом, ни с наукой. Поэтому общественная жизнь должна служить основанием политическому устройству, и развитие ее должно идти впереди всех политических учреждений. Это — настоящая социальная сила, дающая направление и смысл правительственному механизму. Нет сомнения, что они оказывают постоянное влияние друг на друга и при самом редком гармоническом слиянии могут противоречить одно другому, но все-таки механическая сторона никогда не может остановить внутреннего движения народной жизни, лишь только бы эта жизнь действовала правильно и энергически. Как бы ни был хорош политический механизм, но если отнять от него общественную жизнь, то он обращается в негодную вещь; напротив, при сильном развитии общественного устройства самая плохая административная машина работает хорошо. Во Франции пятьсот тысяч чиновников ворочают правительственной машиной, и ничего путного не выходит ни для народа, ни для самой империи, а в Англии только двадцать тысяч человек орудуют законодательным и административным делом, и результаты относительно добываются самые счастливые. Из этого следует, что лучшая норма правления та, в которой общественная жизнь более правильно сложилась и развилась: не допуская перевеса над собой чисто механической рутины, она дает движение и быстроту всей народной деятельности. Это тот главный орган, через который проходят все жизненные соки и, очищаясь в нем, разливаются свежими и здоровыми по остальным частям организма.

Таким образом, нам необходимо показать, из каких главных начал должна состоять общественная жизнь, управляющая политическим механизмом. Кто мыслит в наше время, тот понимает, что экономическая сторона в народной деятельности занимает первое место. Она решает задачу народного благосостояния и руководит всеми другими интересами нашей жизни. Свобода труда и материальное довольство — это два основные столба, на которых покоится все социальное здание. В стране, где еще не пробудилось стремление к этим двум верховным целям, нет общественной жизни и, следовательно, нет никакого движения вперед; эта страна — еще варварская, не вышедшая из того первобытного покоя, который характеризует деспотические правительства. Напротив, сильное

желание и практическое осуществление свободной деятельности общества и его материального благосостояния доказывают жизненность народа и называются общим именем *прогресса*. Итак, прогресс, как совокупность всех главных потребностей общества и непременного удовлетворения их, составляет первую и последнюю цель общественной жизни. Но слово прогресс подвержено тем же произвольным толкованиям человеческого языка, как и все другие слова. Так, например, для партии иезуитов прогресс заключался в распространении того гибельного влияния, которым отмечены следы этой гнусной партии; для такого правительства, как турецкое, прогресс заключается в упрочении неподвижности и порядка, выгодных для нескольких единиц и крайне вредных для большинства народа. Поэтому под словом прогресс, в истинном его смысле, надо понимать беспрерывное стремление всего общества (т. е. всей массы народа, принимающего деятельное участие в общественной жизни) к усовершенствованию и развитию всех своих сил. Если только общество не лишено этой активной способности, то оно не допустит преобладающего влияния над собой касты, сословия или партии; но не подчинится безусловно и правительственному механизму, а, напротив, будет распоряжаться им совершенно свободно. Бюрократия и замкнутая политическая система останутся тут ни при чем; инициатива и ведение общественных дел будут принадлежать не отдельному классу, не исключительным интересам, а всему народу.

«Идеально лучшая форма правления, по мнению Милля, не есть именно та, которая приложима к обществу на всякой степени его цивилизации, но та, которая, будучи приложима, вместе с тем дает наибольшую сумму хороших следствий. Народное правление имеет подобный характер как в настоящем, так и в будущем. Оно превосходно удовлетворяет обоим необходимым условиям хорошей конституции. Оно благоприятно и настоящему хорошему управлению, и развитию в высшие и лучшие степени национального характера».

«Его выгоды, по отношению к народному благосостоянию в настоящем, основаны на двух началах, справедливых и применимых более, чем всякое другое положение человеческих дел. Первое то, что права и интересы всех и каждого тогда только будут вполне ограждены, когда само заинтересованное лицо принимает участие в их охранении. Второе то, что общее благосостояние достигает высшей степени и распространяется шире соразмерно сумме и разнообразию отдельных личных сил, работающих для этого благосостояния».

Итак, движение вперед есть непременное условие общественной деятельности и хорошей правительственной власти.

Но движение вперед имеет различные степени; оно может быть медленным или быстрым, вялым или энергическим, беспрерывным или перемежающимся. Все эти степени, конечно, зависят от тех средств, которые употребляет народ для своего развития. В первые моменты своего исторического существования он руководствуется инстинктами, потому что каждому человеку свойственно внутреннее влечение к улучшению своего состояния; потом, когда накопляются опыты и усложняется самая жизнь, одних инстинктов оказывается мало, и общество избирает себе более действительные средства. Выбор их отчасти определяется местными и историческими обстоятельствами, но главнее всего зависит от силы воли и ума народа. Есть племена, стоявшие прежде на высокой степени гражданского развития, но раз утратившие его, уже больше не восставали, потому что не находили в себе достаточно энергии и понимания для радикального изменения своей жизни. Таким народам, обыкновенно, приходится погибать, если только ценой необыкновенных усилий они не завоевывают себе нового порядка вещей. Но это случается редко, потому что борьба с рутиной и предрассудками превышает силы общества, развращенного его собственным падением. К несчастью, процесс общественного устройства и при самых благоприятных обстоятельствах так труден, что народу предстоит упорная и продолжительная борьба со всевозможными препятствиями. Способностью его одолевать неприязненные встречи обусловливается его первоначальный прогресс. Если препятствий мало, а энергии много, то народ быстро идет к своему совершенству; и обратно, если силы его уступают внешнему давлению, а давление значительно, то он тащится, как червяк, или совершенно вырождается. Поэтому первое средство для прогрессивного движения заключается в энергии народного характера и ума. Но ум сам по себе еще ничего не значит; он составляет огромную социальную силу только в приложении его к общественному порядку. Здесь важны не отвлеченные идеи, а практические результаты, добываемые человеческим мозгом. Качество этих результатов прежде всего обнаруживается в умении народа устроить свои экономические отношения. Чем лучше достигается эта цель, тем больше обеспечивает себе общество будущее прав-

ственное развитие и материальное счастье. Для хорошего социального устройства возможны и свобода, и высокое умственное развитие, и политическое могущество; напротив, дурно сложившийся экономический порядок ведет к бедности масс, а бедность и рабство неразлучны в истории. Следовательно, для обеспечения возможно лучшего прогресса прежде всего необходима социальная сила, уравновешивающая экономические отношения общества. В последние семьдесят лет европейская цивилизация кое-что сделала в этом отношении, но полное осуществление этого принципа едва предвидится в отдаленном будущем.

Другая отличительная черта прогрессивного движения — умственное развитие народа, прямо вытекающее из его материального благосостояния. Потребность образования, без всяких понудительных мер, является у человека после того, как он обеспечен в своем существовании. Когда он сыт, одет и свободен, первым и естественным желанием его бывает нравственное улучшение жизни. Раб и нищий не думают о развитии своих умственных способностей по тому же закону, по которому заключенный в тюрьму не мечтает о великолепных и живописных местностях природы; ему нужны правильное физическое движение и чистый воздух, а не роскошные виды гор и долин. На этом же законе основывается поразительное тупоумие и апатия бедных народов, погруженных в такую тьму невежества, что состоянию животных можно позавидовать сравнительно с ними. Первые попытки действительного знания обнаруживаются в понимании окружающего мира. В знании не столько важен объем, сколько направление его. Сильное умственное образование отличается изобретательностью и оригинальным взглядом на вещи; лучше ошибочная оригинальность, чем никогда неошибающаяся рутина. Ум ясный, несдавленный нелепыми понятиями, привитыми к нему воспитанием или окружающей его средой, постоянно стремится к открытию новых истин и к применению их в самой жизни. Праздное созерцание и неприложимость идей так же противны мощному уму, как раболепие мысли перед внешним стеснением. Поэтому практическое направление в народном образовании доказывает его глубокую жизненность. Кроме того, хорошее умственное развитие требует равномерного распространения его среди общества. Знание, как воздух, должно быть достоянием всех и каждого; если же оно накопляется в одном сословии насчет других, когда общест-

во походит на больное тело, в котором усиленный жар одного члена порождает усиленный холод всех других; тогда образование составляет одну из аристократических привилегий и производит нескольких деятелей в кругу бездеятельного и неподвижного большинства.

«Недеятельность, непредприимчивость, отсутствие желаний, как справедливо замечает Милль, вот препятствия, которые гораздо страшнее человеческому совершенствованию, чем какое бы то ни было фальшивое направление энергии; они-то, если существуют в массе, и составляют ту страшную силу, которую несколько энергических людей могут направить в какую угодно ложную сторону. Только эта сила и держит большую часть человечества в диком или полудиком состоянии».

Современные общества еще не нашли средства распределять поровну знание между своими членами, точно так же, как они не нашли возможности делать всех сытыми и одетыми. Этим обстоятельством объясняется та медленность, с которой человечество подвигается вперед. Для него и за него работает несколько гениальных единиц, а миллионы таких же сильных умов, затертые в рядах невежественной массы, остаются без всякого действия. Если б можно было хоть на несколько лет пробудить все силы какого-нибудь народа и указать им па плодотворную деятельность, тогда этот народ в один день сделал бы больше, чем он делает теперь в продолжение целого века... Из всего этого следует то, что лучшими средствами для прогресса служит социальное равновесие материальных и умственных сил, составляющих общество, т. е. такие начала, которых ни один народ еще не выработал для себя, в полном их составе. Для мечтателей, однако ж, остается то утешение, что человечество, как бы ни колесило по разным окольным дорогам, но рано или поздно придет к этой цели, и если за тысячи лет своих страданий насладится, наконец, счастием, то оно может без особенной горечи оглянуться на пройденный им страдальческий путь.

Рассуждая о прогрессе, Милль, в числе условий его, ставит деспотическую власть правительства, цивилизующего дикое общество; он признает необходимость принудительной силы там, где еще нет сознания своих прав и обязанностей. «Дикий народ,— говорит он,— надо учить повиновению, но не таким способом, чтобы он превратился в народ рабов». Любопытно было бы знать, какой же есть способ учить повиновению так, чтоб не обратить

ученика в олуха или раба? И где эта золотая середина, на которой деспотическое правительство должно остановиться в своем учении повиновению? Англия, например, начала в Индии с того, что жителей ее сперва обратила в рабов, а потом уже стала учить их повиновению. Способы этой педагогической деятельности очень хорошо известны самому Миллю: английские солдаты истребляли целые деревни непокорных индийцев и на вес золота продавали их черепы благовоспитанным лондонским лордам. Почти так же училась повиновению и Ирландия, с тем единственным различием, что здесь дикая сила тирании употребляла менее грубые средства, но зато более медленные и исподволь отравляющие нацию... Повиновение есть пассивное состояние, отрицающее всякое человеческое достоинство и неспособное понимать какое бы то ни было учение. Научить можно только того, в ком возбуждено сознание, а сознание ни в каком случае не развивается от деспотических мер. Чтобы заставить, как отдельное лицо, так и целое общество, уважать закон и правительственную власть, надо показать их пользу и нравственное значение. Никто и никогда не станет уважать того, чего он не знает или не имеет причин любить, но никто, кроме сумасшедшего, не будет и сопротивляться тому, что́ для него хорошо и удобно. А для сумасшедших нет ни законов, ни правительств... Следовательно, повиновение никак не может входить, как особенный элемент, в состав цивилизующей силы народа, и Милль напрасно облекает деспота таким правом. Оно совершенно бесполезно и во всяком случае безнравственно.

Как бы то ни было, но в нормальном состоянии общества, развивающего идею прогресса из самого себя, влияние общественной силы есть первое и главное влияние. Ему подчиняются политические учреждения, и от него они занимают свою прочность и доброкачественность; оно стоит неизмеримо выше всякого правительственного механизма, который сам по себе не может действовать. Общество, а не механизм, сообщает жизнь и движение всему социальному порядку. Оно контролирует органы исполнительной власти и дает ей честных и умных деятелей. Если — общество негодное и раболепное, тогда самый лучший правительственный аппарат ничего не может сделать; напротив, самая плохая административная машина может превосходно работать, если общество хорошее и уважающее свободу. Поэтому — действительная сила про-

гресса лежит в самом обществе, а не в той или другой форме правления.

Из всех политических форм Милль считает представительное правление самою лучшей формой. Как адвокат английской конституции, он видит в ней тот идеал устройства, в котором соединяются все достоинства современного гражданского порядка; правда, он не скрывает некоторых нелепостей этой идеальной системы, знает слабые стороны ее, которыми злоупотребляет господствующее сословие Англии, но в то же время думает, что пока нет другой политической доктрины, могущей дать лучшие практические результаты.

«Представительное устройство,— говорит он,— есть одно из удобнейших средств свести под одно знамя все лучшее, что̀ есть в обществе по уму и честности, свести в одно место доблестнейших его членов и дать им бо̀льшее значение, чем они имели бы при всякой другой организации, хотя и при всяком другом устройстве влияние таких людей есть источник всякого добра, какое только есть в правлении, и причина отсутствия в нем какого-либо из зол. Чем большую сумму таких качеств общественный порядок какой-нибудь страны может организовать, чем лучше самая организация, тем лучше будет и правительство».

В теории это — так, но на самом деле еще ни одна конституция не соединяла в себе таких благ — и, может быть, к лучшему. Посредственность, как общий удел человеческих стремлений, преобладает в современных представительных собраниях. В английском парламенте, как это чувствует сам Милль, есть такие депутаты, которые посредством интриг и подкупов добиваются своих мест и которых невежество и тупое равнодушие к общественным интересам едва ли могли бы быть терпимы в какой-нибудь французской префектуре. Но положим, что конституционное собрание состоит из лучших людей страны, из цвета ума и честности всего населения, то и тогда оно не представляет достаточных гарантий для беспристрастного управления народом. Самый талантливый, образованный и честный человек не может уберечься от произвола и личного взгляда на вещи там, где оппозиция всякому злу не возбуждена в обществе; если он принадлежит к партии, то частные интересы делаются его исключительною целью; если он стоит по своим убеждениям вне всякого кружка и гораздо выше стремлений массы — желания и действия его будут расходиться с потребностями большинства; одним словом, такой представительный орган народной воли может быть превосходным по идее, но не-

удобным на практике: тяготение власти будет перевешивать на сторону правительства, а известно, что хорошая конституция, в современном ее значении, основывается на полном равновесии всех ее составных элементов. Когда лучшие силы общества будут поглощены правительственной деятельностью, тогда самое общество лишится противодействующего начала и рискует потерять всякое влияние на ход управления. Это постоянно случалось с теми неудачными пародиями английской конституции, которые сочиняла Франция; за неимением общественной оппозиции и достойных представителей ее со стороны народа, центральная власть скоро переходила в руки правительственного сословия и от него доставалась одному лицу, располагавшему судьбой страны на всей воле султанской. Для конституционного правления, нежелающего сгнить в душной и тесной сфере корпорации, гораздо полезнее оставить побольше лучших деятелей вне всякой администрации и дать им возможность свободно заявлять свои мнения со стороны общества. Тогда народное мнение, следящее за действиями правительства, будет прозорливее. Иначе кто же будет контролировать и отстаивать права общества, когда весь его ум и честность перейдут на сторону центральной власти? Ришелье [3] в своем «Политическом Завещании» сказал: «когда народ разжиреет, он начинает брыкаться». С народами это было редко, потому что разжиреть им не от чего, а с представительными сословиями случалось почти всегда, когда они вытягивали из народа все, что́ лучшего выработано им и на его счет. Поэтому мы убеждены, что, при общем уровне невежества и апатии народа, ему гораздо выгоднее управляться посредственным правительством, чем «гениальным». «Гениальное» непременно разжиреет и будет брыкаться.

Опыты конституционных правительств показали, что величайшая опасность для них заключается именно в перевесе сословных интересов над общественными. Вот что говорит об этом сам Милль:

«Вообще думают, что большая часть зол, присущих (представительной) монархии и аристократии, проистекает от этой причины, т. е. от преобладания сословных интересов над общественными. Интересы власти и аристократии, коллективные или личные каждого члена особо, обусловливаются на деле или в воображении вельмож, образом действий, противоположным тому, какого требует благо народа. Выгода правительства, например, требует налагать на народ большие подати; выгода народа, напротив, платить как можно меньше, насколько это возможно, чтоб иметь

притом хорошее управление. Интерес короля и аристократии требует, чтоб располагать народом с неограниченною властью, чтобы народ в своей жизни сообразовался с волею и склонностями правителей. Выгода народа, напротив, допускать в свою жизнь как можно менее вмешательства, именно столько, сколько действительно нужно для достижения правительству его законных целей. Выгода явная или воображаемая исполнительной власти и вельмож состоит в том, чтобы не дозволять никаких суждений на их счет, по крайней мере в такой форме, которая может показаться им опасною для их власти или свободы их действий. Интерес народа, напротив, требует полной свободы суждений над каждым общественным деятелем и над каждою общественною мерою. Интерес господствующего класса в аристократии или аристократической монархии может заключаться в том, чтобы присвоить себе как можно более всякого рода привилегий, с целью или наполнить свои карманы народными деньгами, или просто, чтоб только возвыситься над народом, или, что выходит то же самое, унизить его перед собою. Если народ недоволен (а неудовольствие при подобном образе правления очень возможно), то королю и аристократии выгоднее держать его на низкой степени просвещения, снять несогласия между его отдельными партиями и даже не допускать его до слишком большого материального благосостояния... Все сказанное принадлежит к категории чисто эгоистических интересов короля и аристократии; на практике применение этой системы ограничивается до известной степени страхом вызвать противодействие. Все это бывало, и многое еще существует и теперь — там именно, где могущество исполнительной власти и аристократии поставило их выше общественного суда; да при таких условиях нет причины думать, чтоб господствующие элементы добровольно пожелали действовать иным образом.

Подобная своекорыстная система действий слишком очевидна в представительных монархиях и аристократиях, но напрасно некоторые думают, что демократия от нее должна непременно быть изъята. Если мы будем под словом «демократия» разуметь то, что обыкновенно разумеют, то есть правление численного большинства, то весьма может случиться, что верховная власть будет действовать под влиянием частных или сословных интересов, заставляющих принять образ действий, несовместимый с общими выгодами всех граждан. Предположим, что большинство составляет белое племя, меньшинство черное, или наоборот: есть ли вероятность думать, чтобы большинство действовало одинаково справедливо в отношении к тому и другому? Предположим еще, что большинство католики, меньшинство протестанты, или большинство англичане, меньшинство ирландцы, и наоборот: опасность во всех этих случаях будет та же самая. Во всех странах есть большинство бедных и меньшинство, которое сравнительно можно назвать богатым. Эти два класса во многих случаях разделяет совершенная противоположность интересов. Мы предполагаем, что большинство достаточно развито, чтобы понять, что нет никакой выгоды ослаблять безопасность собственности и что ее идея ослабляется всяким актом произвольного захвата. Но не явится ли другая значительная опасность; не наложат ли представители большинства слишком несоразмерной доли, а пожалуй, и все тяжести податей на владельцев так называемой наличной собственности и на получающих большие доходы? А сделав это, вдобавок к бессовестной раскладке

налогов, не начнут ли еще и растрачивать доходов на то, что́, по их мнению, служит к благу рабочего класса?

Когда мы говорим об интересе какой-либо корпорации или даже отдельного человека, как о причине, определяющей их действия,— личный интерес, такой, каким бы его понимал беспристрастный человек, играет только самую незначительную роль в вопросе. Кольридж[4] замечает, что не причина создает человека, а человек причину. Побуждение, вследствие которого человек решается или удерживается от чего-нибудь, зависит не столько от внешних обстоятельств, сколько от его внутренних качеств. Если вы хотите знать, какой именно интерес владеет человеком в данном случае, то вы должны знать образ его мыслей и чувств в обыкновенном состоянии. У каждого человека есть два рода побуждений: одни он старается удовлетворить, о других не заботится. Каждый человек имеет и корыстные и бескорыстные побуждения; эгоист, сверх того, вырос в привычке заботиться о своих личных интересах и пренебрегать чужими. У каждого есть ближайшие и далекие интересы; и недальновидным человеком мы называем того, кто думает только о близких, пренебрегая далекими; нет нужды, что простой расчет показывает ему важность последних в сравнении с первыми; если его ум привык исключительно останавливаться на том, что́ близко, то и решение будет в пользу близкого. Если человек бьет свою жену и детей, то напрасно мы будем убеждать его в том, что он будет счастливее, когда начнет жить в любви с ними. Он был бы счастливее, если б был из рода тех людей, которые могли бы так жить; но он не из таких людей, и по всем вероятиям ему уже слишком поздно сделаться таким. Наслаждение своеволием, удовлетворение своим свирепым наклонностям кажутся ему бо́льшим счастьем, чем любовь домашних, которою он будет наслаждаться после. Их счастье — не его счастье, и он не думает об их любви. Его сосед, который заботится об этом, вероятно, счастливее его, но если б он убедился в этом, то, по всему вероятию, свирепствовал бы и ожесточался еще более. По-видимому, человек, который заботится о счастии своих ближних, своей страны, всего человеческого рода, счастливее того, кто об этом не думает, но какая польза проповедывать об этом человеку, пекущемуся только о своем покое и о своем кармане. Он не мог бы заботиться о других, если б и хотел. Это то же, что рассказывать гусенице, ползущей в траве, что для нее было бы лучше, если б она родилась орлом.

И то и другое зло, т. е., что человек свои личные выгоды предпочитает тем, которые должен разделить с другими, и свои прямые и близкие блага — непрямым и отдаленным, как замечено повсюду, особенно резко проявляются, когда человек принимает участие во власти: власть вызывает и питает в нем эти свойства. Добившись ее, человек, или сословие людей, начинает видеть в своих отдельных интересах, личных или сословных, совершенно иную степень важности. Встречая себе поклонения от других, они и сами становятся самопоклонниками, и начинают видеть в себе значение во сто раз большее, чем другие лица и другие сословия общества; возможность легко приводить в исполнение свои желания притупляет в них способность видеть последствия, даже и в тех случаях, где дело касается их лично. Этим и объясняется вообще убеждение, основанное, впрочем, на всеобщем опыте, что власть портит людей. Всякий знает, что было бы безумием предполагать, чтобы

частный человек, которого образ мыслей и действий мы знаем, приняв участие во власти, остался бы при том же образе мыслей и действий: в частной жизни все слабости человеческой природы сдерживаются каждым из окружающих его лиц, каждым обстоятельством; напротив, при участии во власти он будет иметь и обстоятельства и лица в своем распоряжении. Таким же безумием было бы питать подобные надежды и на какое-нибудь отдельное сословие — будь это демос, или другое. Как бы это сословие ни было умеренно и благоразумно в виду сильнейшей стихии, но мы должны ожидать совершенной перемены, как только ему достанется наиболее сильная власть.

Правительство должно быть таково, каков народ, им управляемый, или каким он скоро будет. На всякой ступени умственного развития, достигнутого уже обществом или его отдельным классом или которого они стремятся достигнуть, интересы, которыми они будут руководиться, думая исключительно о своей собственной пользе, будут почти всегда те, которые наиболее очевидны с первого взгляда и которые действуют в настоящих условиях. Только бескорыстная заботливость о пользах других, особенно будущих поколений, о пользах страны или всего человечества, будет ли эта заботливость основана на бессознательном или сознательном чувстве, заставляет общество добиваться отдаленных и пока еще скрытых благ... Можно смело рассчитывать на известную степень сознания и бескорыстных стремлений в обществе зрелом для представительного правления, но было бы смешно предполагать, чтобы они устояли против всякой благовидной лжи, стремящейся, в образе общего блага и безусловной правды, провести свои сословные интересы. Мы все знаем, какие благовидные предлоги можно придумать для прикрытия несправедливости, будто бы необходимой для блага массы. Мы знаем, что люди, во всех других отношениях неглупые и небесчестные, считали извинительным отречься от национального долга. Мы знаем многих, людей с умом и влиянием, которые думают, что все бремя общественных податей должно лежать на так называемой наличной собственности, т. е. на том капитале, который образуется из личных сбережений; мыслители эти полагают, вероятно, что люди, которых отцы и они сами проживали все получаемое ими, не должны ничего платить именно за такое прекрасное поведение.

Следовательно, в демократии, как и в других формах правления, наибольшие опасности кроются в зловещих интересах сословия, держащего высшую власть; эта опасность состоит в том, что законодательство и управление будут стремиться к осуществлению выгод господствующего сословия в ущерб целому обществу (достигнут ли цели или нет — это другое дело). Поэтому при составлении конституции, первый вопрос: какими средствами предупредить это зло? (Размышл. о предст. правл., с. 107—116).

Это средство находит Милль в той уравновешивающей силе, которая соглашала бы частные выгоды с общими и не допускала бы перевеса ни одной из противодействующих сторон. Этой уравновешивающей силой, по мнению Милля, должно быть образованное меньшинство, «руководимое высшими побуждениями и дальновидными расче-

тами». Но мы уже заметили, что как бы ни были образованы и добросовестны отдельные личности правительства, они еще не представляют полного ручательства за сохранение общих народных интересов. С этим отчасти соглашается и сам Милль, когда он говорит, что власть изменяет индивидуальный характер, подчиняя его общему направлению политической системы... Поэтому настоящую точку опоры для хорошей конституции надо искать в самом обществе или, выражаясь яснее, в его социальной и умственной развитости. Прилагая этот принцип к британскому представительному правлению, мы находим в нем вопиющие нелепости рядом с великолепными гарантиями человеческой свободы. Прежде всего нас поражает экономическая несправедливость, примененная во всей ее силе к народу, обобранному до нитки аристократическим сословием. У народа нет собственной земли, а у аристократии ее так много, что совершенно от ее доброй воли зависит уморить голодом 18 миллионов бедного населения. «Но ведь вы свободны,— говорят английские филантропы безземельным пролетариям,— идите с вашей свободой, куда знаете, только не требуйте земли». И они предпочитают идти из свободной страны под покровительство американских рабовладельцев. Может ли политическая нравственность допустить такое явление, если б народная воля, как думает Милль, руководила английским правительством? Могут ли такие партии, как английские пролетарии, живущие чуть не из милости на аристократической земле, принимать участие в деле управления? У них нет для этого ни особенного желания, ни материальной и умственной возможности. Их голоса не слышно в парламенте, который состоит из людей, более или менее заинтересованных именно в том, чтобы парии не попросили себе земли или прибавки заработной платы. Почтенные лорды отлично понимают, что с той минуты, как народ завоюет себе земельную собственность, влияние их на конституцию исчезнет, и потому они так глухи к этому требованию. Но мы уже сказали, что бедность и невежество идут рядом, и английский народ в этом отношении представляет самый очевидный пример. Правительство не мешало ему учиться; свобода мысли, слова и совести, свобода ассоциаций и предприимчивости всегда благоприятствовали образованию Англии, а между тем общий уровень его стоит там гораздо ниже, чем в какой-нибудь Пруссии. Где же тут гарантия против сословного преобладания, когда несколько миллио-

нов людей не только не имеют своих представителей в парламенте, но не имеют и собственного мнения? При таком социальном устройстве олигархия есть неизбежное зло, будет ли эта олигархия наследственная или денежная, это решительно все равно.

Мы знаем, что у нас есть много приверженцев английской конституции, которая, разумеется, при всех ее несообразностях, неизмеримо лучше японской автократии; эти приверженцы, обыкновенно, любят указывать на общественное мнение, как на ultima ratio * всех благодеяний представительного правления. К сожалению, они не видят за громкой фразой самого дела. Общественное мнение противодействует злоупотреблениям правительства только тогда, когда в этом мнении есть достаточно силы не только думать, но и делать... Никакая гласность не поможет произволу, если общество смотрит на него равнодушно или даже с некоторою сыновнею нежностью. В характере английского народа есть прекрасная черта — не гоняться за официальными местами, не искать отличий там, где на самом деле ожидает унижение; этот народ питает глубокую антипатию к увеличению бюрократии и правительственных должностей, но в то же время он привык с гордостью и самодовольством относиться к своей аристократии. Этот дикий блеск и эта роскошь, купленные ценой продолжительных народных страданий, ослепляют массу, и она поклоняется тому же кумиру, который гнет ее в дугу. От такого мнения немного выиграет общий интерес страны. Притом общественное мнение, при безгласности народа, принадлежит одному господствующему сословию. Оно дает тон и направление всей стране; оно имеет средства защитить свой образ мыслей и навязать его обществу; оно всегда сумеет уверить, что его идеи — самые справедливые, гуманные, его действия — самые благородные, и если мало простых доводов, то оно может подтвердить свое мнение более действительными аргументами, вроде тех, какие Пальмерстон[5] употреблял против беспокойных работников Ланкашира и Манчестера. Сквозь такое мнение еще нельзя видеть всех желаний и требований страны. Оно выгодно для тех, кто его фабрикует, а не для целого общества; но скорее вводит в заблуждение, чем наводит на истину...

---

* предел ясности *(лат.)*.

УЧЕНОЕ САМООБОЛЬЩЕНИЕ

(«Об историческом значении царствования Бориса Годунова», соч. П. Павлова[1]*. Спб., 1863 г.— «Тысячелетие России», краткий очерк отечественной истории, соч. П. Павлова. Спб., 1863 г.).*

«История есть *зерцало* бытия и деятельности народов», сказал Карамзин[2], и с легкой руки его наши историки приняли эту стереотипную метафору за положительную цель своих ученых исследований. Каждый из них хотел представить нам из истории *зерцало,* а в зерцале этом изобразить не столько историческую физиономию народа, сколько свою собственную; у каждого из них была своя наперед придуманная теория, под которую они подгоняли факты, отражая их в своих зерцалах сообразно личным вкусам и требованиям времени. Так, Карамзин, желая пленить воображение россиян описанием «великанов сумрака» и поразительными картинами московского величия, собрал в своей истории огромную коллекцию отдельных портретов, развесив их в хронологическом порядке. Между этими портретами помещены живописные ландшафты, военные шатры, походы, битвы и осады, падения городов, потом опять походы и сражения, снова победы и поражения, а там, позади «великанов сумрака», в далеком неизвестном виднеется народ, который для зеркального достоинства истории считался слишком ничтожным предметом, таким карликом, которого не стоило и показывать в «зерцале его бытия и деятельности». В самом деле, к чему было пачкать отечественное зерцало неумытой, потной и загорелой физиономией массы, которая, однако ж, принимала участие во всех событиях и на своих плечах несла судьбу России... Поэтому историю Карамзина можно сравнить с огромным калейдоскопом, в котором снуют разноцветные фигуры и всевозможные фокусы, но того, что́ составляет действительную историю, как науку, осмысливающую внешние явления, вовсе не видно в карамзинской картинной галерее. Ничего нельзя понять, откуда берутся эти Святославы, Олеги, Всеволоды, Иваны и зачем они наполняют историческую сцену таким шумом и постоянными драками? Где же общие законы, управляющие ходом событий и лиц, играющих роль в качестве добродетельнейших героев или отчаянных трусов? Где же этот главнейший двигатель всякой народной истории — экономическая жизнь, дающая направление всем другим собы-

тиям? В зерцале Карамзина не видно ни логической связи между причинами и последствиями, ни влияния окружающей природы на развитие умственных и материальных сил народа, ни борьбы его с физическими преградами и незаметных, но великих побед над ними. Всему этому на заднем плане отводится несколько страничек, украшенных общими местами и красноречивыми вздохами, а между тем описанию разных побоищ посвящаются целые десятки глав. Может ли такое зерцало верно отражать полный народный тип и представлять деятельность и бытие исторической жизни? Давно уже решено, что нет. Но Карамзин вовсе и не думал об этом; для его программы достаточно было одних внешних фактов, озадачивающих своим зеркальным блеском, и нескольких богатырей, внушающих к себе удивление детей — потомков. Так, обыкновенно, распоряжаются с историей художники, для которых прошедшее служит более или менее изящной выставкой настоящего.

Несколько иначе смотрели на дело историки-славянофилы. Для них история служила подтверждением их псевдопатриотической теории, требующей во что бы то ни стало своего славянского ума, славянской добродетели, славянской почвы, и так как эти сокровища не всегда оказывались в наличности, то надо было всячески открыть их и показать в зерцале. С этой целью предпринимались довольно трудные экспедиции в такие исторические дебри и пустыни, куда прежде никто из людей с здравым смыслом не решался заходить. Но эти ученые экспедиции оканчивались ничем; золотые горы, райские птицы и кисельные берега не обретались на обетованной земле славянского эдема, а между тем для славянофилов все это было необходимо и наперед доказано. И вот представился полный разгул фантазии, заселявшей брынские леса чудесами тропической природы и видевшей в эпохе Домостроя настоящий эдем русского мира. Тут начинались превращения, каких и в сказке не рассказать. Соловей-разбойник казался чуть не Вашингтоном [3], грубая мускульная сила, развивавшаяся на счет умственных способностей, представлялась идеалом человеческого совершенства, а Иван Грозный выходил необыкновенным художником; нищета, голод и страдания, вынесенные народом в его тяжелые годины, в глазах славянофилов вовсе не были нищетой, голодом и страданиями, а теми отвлеченными понятиями, которыми можно доказать мужество и выносливость на-

ших почтенных предков. Одним словом, сказка об Еруслане Лазаревиче и Чуриле Пленковиче передавалась за действительную быль, и умиленный читатель почти готов был плакать над тем, что погибло из прошлого под влиянием тлетворной европейской цивилизации. Ученые этого сорта выделывали с историей то же самое, что́ выделывают реставраторы с поддельными антиками; они подкрашивают простой копеечный камень, поднятый на улице, под драгоценную редкость древности и первому глупцу сбывают его за высокую цену. История, как наука, ничего путного не могла приобрести от этих патриотических иллюзий и подделок; напротив, ее завалили разным ненужным сором, который придется вычищать, когда наступит время рационального труда на этом поприще.

Между этими двумя разрядами есть еще один класс ученых, которых мы для ясности назовем историками-протоколистами. Лучшие из них относятся к категории последователей Гегеля, для которого мертвая историческая форма послужила идеалом народной жизни. Эти господа далее официального быта ничего не могут рассмотреть и когда оставляют сырые подвалы архивов, то им кажется, что человек и вся природа — не что иное, как старые манускрипты, попавшие не на свое место. Если известное историческое явление не подходит под их мерку, историки относятся к нему так же, как протоколист, у которого на форменной бумаге не полагается нового параграфа; такое явление, как бы оно ни было громадно по своему значению, эти ученые или игнорируют или перекраивают на свой аршин. Всякое уклонение исторического движения от их канцелярской точки зрения становится нарушением порядка и, следовательно, пагубной революцией. Представителями такого рода истории служат в нашей литературе гг. Соловьев [4], Устрялов [5] и Щебальский. Для них не существует ни новейших открытий науки, ни анализа живых явлений в человеческих обществах, но они перечитали множество старинных актов и официальных бумаг и по этой архивной пыли составили себе один раз и навсегда неизменный исторический принцип.

Только в последнее время начинают являться у нас новые деятели, с другим взглядом на историю, с другими требованиями ее научной разработки. Старое рутинное направление, искавшее в истории какого-то уголовного суда, перед которым одни оказывались страшными злодеями, а другие величайшими благодетелями человечества,—

это направление должно неминуемо рухнуть. История, как наука, изучает явления человеческой жизни с целью строго практическою, а вовсе не для того, чтобы предаваться бесплодным осуждениям или восторгам. Ей нет никакого дела до того, кто был виноват — Иван или Борис, точно так, как Ивану и Борису ни тепло, ни холодно в могиле от того, что потомство будет обвинять или превозносить их поступки. Не даром римская пословица говорит: de mortuis aut bene, aut nihil (о мертвых надо говорить или хорошо или ничего). В самом деле, с эстетической точки зрения, преобладающей в полицейски-исторических приговорах, гораздо лучше хвалить все и всех, чем приходить в негодование и ломать стулья потому, что Александр Македонский был великий человек. Похвала, как чувство приятное, по крайней мере, должна сопровождаться хорошими гигиеническими последствиями, а негодование положительно вредно для печени историка. И этот вред, уже вовсе не эстетический, не вознаграждается ни одной йотой относительной пользы. Положим, что потомство заклеймило Разина названием ужаснейшего разбойника, а Юлия Цезаря как страшнейшего честолюбца; но что же из этого следует? Кому от этого легче? И какой смысл может иметь подобный суд, когда позорный столб для обвиняемого существует только в праздном воображении историка, когда в действительности нет никакого суда и никакого наказания, а все это — пустые метафоры, не дающие никакого положительного вывода. А наука,— будет ли то история или химия,— без положительных результатов существовать не может. Если она занимается исследованием прошлой человеческой жизни, в ее обширном историческом объеме, то главная задача ее состоит в том, чтобы найти законы, по которым эта жизнь развивалась так или иначе. А чтобы доискаться до этих законов, надо подвергнуть самому строгому анализу всю совокупность явлений, под влиянием которых сложилась историческая жизнь того или другого народа. Изучать же человека, как что-то особенное, не имеющее никакой связи с окружающими его явлениями,— значит выделять его из числа предметов, доступных наблюдению науки. До сих пор история так и поступала; из всей массы естественных фактов, действовавших на развитие народа, она брала одно человеческое общество, а из целого общества одни отдельные личности и на них строила свои уголовные кодексы. Понятно, что при таком воззрении на историю от нее не-

чего было и ожидать, кроме эстетических негодований или похвал, извлекаемых из официальных архивов; понятно, что идеализация ее должна была дойти до таких колоссальных размеров, что трудно сказать, где собственно оканчивается иллюзия историка и начинается полное его помешательство.

Но вот нашелся добрый человек, англичанин Бокль [6]*, который возвращает истории ее настоящие права и придает ей значение, как действительной науке. Смерть помешала этому великому ученому окончить свой превосходный труд, на исполнение которого нужны были, кроме огромного ума, необыкновенное терпение и долгое приготовительное образование; но Бокль успел в первых двух томах положить тот основной камень, на котором преемники его могут строить великолепное здание истории, как будущей науки, по готовому уже плану. Вся заслуга Бокля состоит в том, что он первый указал на те действующие силы, под влиянием которых создается историческая жизнь народов. Эти силы заключаются, с одной стороны, во внешней природе, пробуждающей первые понятия человека и дающей ему те или другие материальные средства к жизни; а с другой стороны, эти силы скрываются в самом человеческом организме, или, точнее, в лучшей части его — в мозгу. Из отношения этих двух деятелей вытекает и развивается та или другая народная жизнь. Там, где человек не мог осилить окружающей его природы, он пал перед ней жалким рабом и осужден влачить это рабство до последней минуты своего существования. К этой категории Бокль относит все восточные цивилизации. Напротив, там, где природа уступила умственным силам человека и где он оказался полным господином ее, история выработала другую жизнь, способную пользоваться свободой, чувствовать ее благодеяния и идти вперед. Эта участь досталась на долю народам европейским и американскому северу. Таким образом, по мнению Бокля, выходит, что не отдельные личности творят историю народов и не воля человека прокладывает пути к тому или другому порядку вещей, а взаимное действие физических явлений и умственных способностей нации. Нет сомне-

* *Об Истории Цивилизации в Англии* — Бокля подробно говорится в статье под заглавием: «Историческая школа Бокля».

ния, что у Бокля осталось множество недосказанных вещей и, может быть, сделаны слишком поспешные выводы из некоторых фактов, но после него становится ясно, как день, что без знания естественных наук добросовестному историку не надо браться за свое дело, что для понимания отдельного организма необходимо знать все местные физические условия, под которыми он развивался; что, наконец, те таинственные пружины человеческой деятельности, которые у идеалистов играют роль невидимых закулисных снурков, суть не что иное, как простые, естественные деятели природы.

Благодаря переводу книги Бокля на русский язык, она сделалась доступной большинству нашей публики и нашим молодым историкам. Некоторые из них, как, например, гг. Щапов[7] и Павлов, немедленно присоединились к последователям Бокля. Из последних статей первого видно, что он рано или поздно — смотря по обстоятельствам его дальнейшей деятельности — остановится именно на том методе изучения русской истории, который представлен Боклем. Что же касается г. Павлова, то он нигде в печати не заявил своего нового взгляда на историю, но мы слышали его лекции, в которых он прямо выражал свое сочувствие Боклю и набрасывал план своих будущих работ, совершенно согласно с направлением английского историка. Все это дает нам право надеяться, что молодые люди, не забитые до туноумия и не желающие делать из истории пустейшую фразеологию, возьмутся серьезно за свой труд и, покинув Смарагдовых, Кайдановых[8], Устряловых и Соловьевых, пойдут правильным и в высшей степени увлекательным путем исторических занятий. У кого ум еще не покрылся плесенью рутины, того мы умоляем, как можно скорее, оставить прежнее направление и вдуматься поглубже в Бокля. Нечего и говорить, что разработка истории на тех широких началах и в связи со всеми современными открытиями в области естественных наук представляет труд громадный, но кто же из нас испугается труда, особенно такого, который вознаградит полнейшим наслаждением трезвой мысли и величайшими успехами плодотворного знания? Надо бояться и бежать только от мертвого труда, который унесет время, силы и, кроме красивых мыльных пузырей, не оставит по себе никакого живого следа. Пусть же мертвые хоронят мертвых, а вы, русские свежие силы, дорожите значением вашей деятельности и обратите ее на пользу общую!

Лучшим доказательством того, что Бокль не остался у нас без влияния, может служить г. Павлов, которого монографии поставлены в заглавии этой статьи. Кто бы мог подумать, что один и тот же историк написал рассуждение *Об историческом значении царствования Бориса Годунова* в 1849 году и после выхода в свет книги Бокля читал лекции об историко-физиологическом строении общества? Разница между г. Павловым 1849 года и г. Павловым 1862 г. почти такая же, какая между Боклем и г. Касторским. Само собою разумеется, что время тут ничего не значит, потому что степень умственного развития всего меньше обусловливается временем; но здесь много значит влияние той школы, которой следовал г. Павлов. В предисловии к своему рассуждению он говорит, что руководителями его в то время были гг. Кавелин[9] и Соловьев, и для читателя, мало-мальски знакомого с образом мыслей этих почтенных ученых, совершенно достаточно одной этой оговорки, чтобы наперед знать, как будет рассуждать г. Павлов о Борисе Годунове. Я даже думаю, что г. Павлов поступил бы очень благоразумно, если б вовсе ничего не написал о Борисе Годунове, а предупредил бы только, что он намерен рассуждать о нем в духе гг. Кавелина и Соловьева, и, следовательно, рассуждать так, как этого требует известная теория, к которой можно прибавить несколько новых фактов или переставить старые с одного места на другое, но сущность дела останется та же. Поэтому собственно и рассуждать было не о чем. Но нет, нельзя было не увлечься такой трагической личностью, над которой историки и поэты пролили столько слез или расточили столько проклятий. Стоит только вспомнить, что весь драматизм нашей истории сосредоточивается около Бориса Годунова, который у Пушкина говорит о себе так:

Напрасно мне кудесники сулят
Дни долгие, дни власти безмятежной;
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать;
Но отложил пустое попеченье...

. . . .

Ах, чувствую, ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою;

Но если в ней единое пятно,
Единое случайно завелося,
Тогда беда; как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упреком,
И все тошнит, и голова кружится.
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... Ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть не чиста...[10]

Вот эта загадочная, темная и драматическая личность, над которой наши ученые историки производили всевозможные операции уголовного суда, не пренебрегая ни одной уликой против такого ужасного преступника. «Обагрил ли Борис Годунов свои руки в крови невинного младенца, Дмитрия Углицкого?» — спрашивали одни и решали вопрос утвердительно.— «Нет, не обагрил»,— говорили другие,— и завязывался нескончаемый спор между оппонентами. При этом удобном случае исписывалось пропасть бумаги, перерывали кучи архивной ветоши, противники горячились и ругались, а дело все-таки оставалось не решенным. Затем начинались розыскания личных свойств и характера Бориса Годунова; одни видели в нем дальновидного опытного правителя, который целым столетием предупреждал реформы Петра I; другим, напротив, казалось странным, каким образом этот дальновидный ум не предвидит самых обыкновенных событий и перед всякими новыми бедствиями отступает с непостижимой трусостью самого малодушного человека. Вступая на престол, он заставляет своих подданных целовать крест, что никто из них ни колдовством, ни отравой, ни наговорами не учинит над государем своим никакого лиха. Это мелкое подозрение, впоследствии развившееся в болезненную мнительность, преследует *изрядного правителя* во дворце и в келье, днем и ночью. Он не верит тому же народу, с которым клялся разделить последнюю рубашку; он подкупает тех же самых людей, которых обещал осчастливить; он окружает себя доносчиками и шпионами, и одного из них, Воинка, оклеветавшего своего господина, жалует своим великим жалованьем, дает ему поместье и велит служить в боярских детях. «Милость, оказанная Воинку,— говорит Павлов,— послужила знаком к доносам, наушничеству неслыханному». Самая подлая измена и клевета находили себе оправдание. «И бысть,— горюет летописец,— в царстве великая смута, яко же друг на друга доводяху, и попы, и чернцы, и пономари, и проскурницы;

да не только сии прежереченные людие, но и жены на мужей своих доводиша, а дети на отцов своих, яко от такия ужасти мужие от жен своих таяхус; и в тех окаянных доводех многие крови пролишася неповинные, многие от пыток помроша, иных казняху, и иных по темницам рассылаху, со всеми домы разоряху, яко же при котором государе таких бед никто не видя». Вот к чему пришел дальновидный Борис Годунов; он был тот же Иван Грозный, с теми же опричниками и наушниками, но менее решительный, более трусливый, обративший открытые орудия угнетения в тайные и подкупом развращенные. Лицемерием он начинает свое царствование, лицемерием его и оканчивает. Он интригует сестру, митрополита, задабривает дворян и боярских детей, распускает ложные слухи о нападении врагов и в то же время притворяется нежелающим принять власть, которой он добивался с таким неусыпным усердием. Им раскинуты сети везде, даже под ногами его родственников, а он надевает на себя личину невинной жертвы народной воли, будто бы избравшей его на престол. И что это за странная комедия, разыгрываемая без всякой надобности, при избрании его на царство. Торжественное шествие в Новодевичий монастырь, плач и вопли, заранее приготовленные, перемешиваются с следующими сценами: «Народ неволею был пригнан приставами, нехотящих идти велено было и бить; пристава понуждали людей, чтоб с великим кричанием вопили и слезы точили. Смеху достойно! Как слезам быть, когда сердце дерзновения не имеет? Вместо слез глаза слюнями мочили. Те, которые пошли просить царицу в келью, наказали приставам: когда царица подойдет к окну, то они дадут им знак, и чтобы в ту же минуту весь народ падал на колени; не хотящих били милости». Все это было известно *изрядному правителю* и заранее условлено с людьми, ему преданными. Что же касается правительственной его деятельности, то и здесь немного выказано дальновидности и решительного такта. В сношениях с иноземцами Борис Годунов был робок и уступчив; так, он не сумел воспользоваться своим выгодным положением в борьбе между Польшею и Швецею, напрасно пытался вовлечь Австрию в войну с Сигизмундом, уступал крымскому хану и потерял всякое влияние на Кавказ. И здесь, как и во внутренних делах, Годунов действовал посредством хитрости, иногда до того наивной, что даже в то время она могла показаться более смешной, чем серьезной. Покровительство

ливонским немцам и почетный прием их в России не имели никакого практического результата; прежняя мечта о приобретении балтийского берега так и осталась мечтой. Единственным фактом, говорящим в пользу правительственных соображений Годунова, могло бы послужить его стремление к сближению России с западной Европой, откуда он думал пересадить умственное образование. Но и тут попытки его окончились полумерами, не имевшими ясно определенного характера. Когда Годунов намеревался вызвать европейских ученых, то духовенство заговорило, что восстанет смута по земле, называло царя «потаковником» иноземцев, а старик Иов, «видя семена лукавствия, сеемыя в винограде Христовом... ниву ту не добрую обливал слезами». Годунов уступил и этому сопротивлению; он ограничился только иностранными докторами, необходимыми ему при его мнительном характере. Настоял он еще на том, чтобы отправить 18 молодых людей в чужие края — учиться языкам, но из них воротился домой только один, а другие остались навсегда за границей... По этому можно судить, как, с одной стороны, было велико желание в молодом поколении усвоивать плоды европейского образования, а с другой, как этому желанию противодействовало закоренелое невежество общества. Слепая и рабская приверженность к старине была так бессмысленна, что бритье бороды, дозволенное Годуновым, возбуждало ропот в почтенных отцах и считалось зловредной ересью. Народ, разумеется, был равнодушным зрителем этих нововведений, насаждаемых в благочестивом вертограде, но духовенство и светские сторонники старого порядка ненавидели и подозрительно смотрели на всякую перемену. Ясно, что при таком настроении умов нельзя было действовать полумерами для распространения действительно полезного образования. И не с характером Бориса Годунова должен был стоять человек во главе этого нового движения, которого необходимость давно чувствовалась самим правительством.

Но ни в чем не выразилась так резко близорукая политика Бориса Годунова, как в закреплении крестьян. Г. Павлов видит в этом распоряжении такую глубину годуновской мысли, такую прозорливую сообразительность, что как будто этим решалась величайшая задача истории, насущная потребность времени. Отмена юрьева дня, по мнению г. Павлова, была неминуемым вопросом тогдашней эпохи и согласовалась с финансовыми интересами го-

сударства; только при оседлом состоянии податное сословие могло выплачивать правильно налоги. Но если б действительно и были такие соображения у Бориса Годунова, то уж никак нельзя назвать их дальновидными; потому что правительство, решившееся на такой громадный переворот, или действовало без всяких соображений, или не имело никакого понятия о тех экономических затруднениях, в которые оно ставило и себя и последующие поколения. Отдать производительные классы в зависимость от больших и мелкопоместных владетелей — значило остановить надолго развитие промышленных сил и оказать очень дурную услугу государственным финансам. Свободный труд, при самых плохих условиях, всегда лучше крепостного труда: это понимал и Борис Годунов. Отменяя пошлины и облегчая доступ иностранным купцам в пределы России, он тем самым показал, что сознание о свободной деятельности существовало и в его время. Но как же согласить эту меру с закреплением многочисленного сословия русских работников и производителей? В одном случае Годунов освобождает, а в другом закрепляет: где же тут государственная логика, на которую так любят ссылаться наши историки? Самая оседлость земледельческого класса не достигалась этой насильственной мерой, которая впоследствии вызвала бурную реакцию в самозванцах, в бродячих толпах, селившихся на украйнах, в периодических нашествиях голода и мора. Нищенство и разбои сделались после Годунова обыкновенными явлениями нашей истории, и государственная казна при его приемниках вовсе не обогатилась от закрепления. Если же Годунов имел в виду только одни личные интересы — приобретение преданного ему сословия в служилых людях, наделенных крепостными работниками, то зачем же этим интересам придавать дальновидные государственные цели?

Таким образом, в характере и в деятельности Годунова напрасно станем искать самостоятельности и дальнозоркости, которую навязывают ему некоторые историки. Он был вполне произведением Ивана Грозного и только имел несчастие жить в то время, когда наступила расплата за угнетение его предшественника; Годунов, воспитанный среди боярских крамол, среди неслыханных злодеяний, совершавшихся на его глазах, не мог возвыситься до бескорыстного взгляда на ту землю, которая приютила его предка-татарина; не мог он спокойно и уверенно всходить

на ступени престола, окруженный ненавистью старинных княжеских и родовых семейств, смотревших на него, как на убийцу последнего Рюриковича и как на выскочку. Отсюда — и все противоречия этого темного характера и постоянная боязнь за свою жизнь и за свою власть. Нам нет дела до внутренних побуждений Бориса, хотя бы они были самыми лучшими, но если поступки не оправдывали их, то история не может оправдать и самого деятеля. Благия начинания еще не много значат, когда в результате их остается нуль. Но чтобы удовлетворительно объяснить характер Бориса Годунова, надо обращаться не к личным его свойствам, а к основательному и подробному изучению той эпохи, созданием которой он был; надо знать, какие люди и какие обстоятельства влияли на судьбу Годунова и приготовили ему известное историческое положение. К сожалению, наши историки не сделали даже попытки в этом отношении. У них выходит, что Годунов создал свое время и тогдашнюю Россию, а не время и Россия создали Бориса Годунова. «Таким образом,— говорит г. Соловьев,— в характере человека, воссевшего на престол Рюриковичей, заключалась возможность начала смуты». Выходит, что один человек взбаламутил всю русскую землю. Выходит, что такие историки смотрят на историческую жизнь как на сборник биографических очерков и занимаются больше отдельными личностями, чем общими событиями, выдвигающими на сцену тех или других деятелей. Чтение — легкое и приятное, но совершенно бесполезное, потому что ровно ничего не объясняет в исторической жизни народа. Можно было надеяться, что г. Соловьев представит нам эпоху Годунова, одну из самых драматических и интересных эпох, в более ясном свете, чем это было до него, но увы! та же рутина, тот же взгляд протоколиста, как и у его собратий. Есть множество фактов, большая начитанность, есть и связь между рассказываемыми событиями, но нет той критической мысли, которая одушевляла бы рассказ историка и доказывала бы, что в жизни русского народа, кроме отвлеченной государственной идеи, есть и другие деятельные силы. После этого очевидно, что главнейший недостаток нашей исторической науки заключается в самом методе ее изучения, в самом воззрении на собранные уже материалы. Обновления этого труда мы можем ожидать только от наших молодых историков.

В заключение заметим, что «Тысячелетие России»

г. Павлова значительно разнится по взгляду на предмет от его вышеприведенной книжки. Здесь мы уже не видим прозорливого и благодетельного Бориса Годунова, но *чрезвычайно мелочного и подозрительного*, оставляющего Россию в виду кровавых событий, среди повсеместного раззора и голода. По всему заметно, что г. Павлов разочаровался во многом и готов отступиться от своей прежней теории, с высоты которой он посмотрел па историю в его рассуждении о Борисе Годунове.

КТО С НАМИ?

(«Образование человеческого характера». Перевод с английского. Спб., 1865 г.)

«Кто с пами?» — этот вопрос назад тому лет пятьдесят был сделан одним из неутомимых бойцов за человеческое счастье, и остался без ответа среди огромного населения Англии. Никто ни полсловом не откликнулся на призыв человека, который более двадцати лет своей жизни посвятил осуществлению реформы, долженствовавшей, по его мнению, обновить полусгнившее здание старого общественного устройства. «Я несу миру свет»,— говорил он, нисколько не преувеличивая важности своего дела, но это был слишком ранний свет, которого не могло выносить больное зрение современного поколения. Человек этот был Овен[1], книгу которого мы разбираем теперь, а реформа его состояла в том, чтобы построить личное счастье каждого на общественном благоденствии, т. е. дать такое устройство обществу, чтобы все и каждый пользовались одинаковым счастьем. «Пока большинство,— говорил он,— обращаясь к привилегированным классам Англии,— будет находиться на степени скотского состояния, униженное, ограбленное и невежественное, вы не можете спать спокойно, потому что каждая капля пота 12 миллионов бедного населения ложится на вашу совесть, требует вашей ответственности. Поэтому или возвратите ему его человеческое состояние, или держите его еще в худшем состоянии, если можно — ниже всякого животного отупения» (A sketch some of the errors and evils arising from the past and present state of society, p. 6) *.

* Беглый набросок всех тех же страхов и зол, которые являются результатом прошлого и настоящего состояния общества *(англ.)*.

Так как Овен полагал источником всех человеческих заблуждений и зол бедность и невежество, то задача его распадалась на две главные части: во-первых, он организовал рабочую ассоциацию, как зародыш той будущей общечеловеческой ассоциации, которая, по его мнению, должна была преобразовать весь мир и распространить материальное довольство между низшими слоями общества; во-вторых, чтобы поднять нравственное состояние массы, он составил план рационального воспитания, понимая это слово не в том узком и филистерском значении, которое мы привыкли придавать ему, а в самом широком и гуманном смысле,— как изменение всех тех общественных условий, которые доселе мешали умственному и нравственному развитию массы.

В этом направлении шел Овен целую свою жизнь, и после неудач его социально-экономической реформы, когда рушились все его надежды, он сосредоточил всю свою деятельность на воспитании английского рабочего сословия. Как мыслитель и практический деятель, он давал воспитанию чисто активный характер, т. е. образование человека не для кабинетной праздной мысли, а для действительной жизни, которая требует не одного ума, но и силы воли. Потому он назвал свою систему «Образованием человеческого характера» и положил в основание ее глубоко реальную идею. С одной стороны, он хотел отстранить от воспитания всю массу старых предрассудков и суеверий, прививаемых к народу клерикальной партией, которая может держаться только до тех пор, пока невежество не дает возможности открыть глаза на ее историческую роль; а с другой стороны, он требовал от школы развития физического здоровья, как главного условия рационального воспитания, и привития тех социальных понятий и привычек, которые необходимы при новом общественном устройстве. «Я убежден,— говорил Овен,— что пока воспитание будет построено на взаимной вражде людей друг к другу; пока религия вместо примирения будет поддерживать в лице клерикального сословия антагонизм и лицемерие, общественная гармония невозможна — и всякая попытка создать ее останется тщетной. Моя система уничтожает этот вечный и непрерывный дуализм, и потому я ожидаю от нее великих последствий».

Враги Овена нашли в этой идее случай обвинить его перед всей Англией в атеистических стремлениях и в желании ниспровергнуть конституцию. Теперь ясно для каж-

дого, насколько были правы и какими гнусными побуждениями руководствовались эти ханжи, которые, изгнав Овена из Нью-Ланарка, первым делом прибавили рабочих часов на мануфактуре и, закрыв школу, уменьшили задельную плату. Все это было сделано во имя той же христианской религии, за которую они позорили и преследовали Овена. Но нашлись и доселе находятся так называемые либеральные люди, которым кажется, что система Овена, по самой своей сущности, никуда не годится, потому что составляет плод расстроенного воображения. Порешив таким образом, провозгласили самого Овена честолюбивым мечтателем, искавшим только одной популярности и внимания знаменитых особ. Но, во-первых, кто же из противников Овена разобрал его систему, как следует, и что тут мечтательного и зловредного, если человек желает лучшего будущего своим ближним? Он может ошибаться в практическом применении своей теории, но назвать ее мечтательною только потому, что она противоречила интересам клерикальной партии, было бы нелепо. Во-вторых, Овен доказал на самом опыте, что реформа его не только была применима к действительной жизни, но и дала такие блистательные результаты, каких он сам не ожидал. Колония его, состоявшая из 2000 рабочих, была радикально перевоспитана в духе его рациональной системы. Нравственное и материальное благосостояние этой колонии достигло такого высокого уровня, что Нью-Ланарк и организатор его, Овен, обратили на себя всеобщее внимание. Самые враги принуждены были замолчать, разумеется, до первого удобного случая. Овен не замедлил подать его. Недовольный слишком тесной сферой своей деятельности, он хотел распространить свою реформу на всю Англию и отсюда на весь мир. Но для такого колоссального плана нужны были громадные средства; один Овен, как он действовал до сих пор, ничего не мог бы сделать, при всем его желании пожертвовать самою жизнью ради успеха своего предприятия. Потому он решился вступить в открытую борьбу с своими противниками и искал опоры в лицах влиятельных и сильных. Он входил в непосредственные сношения с государственными людьми, с министрами, с членами парламента, писал письма и предлагал свои проекты коронованным особам,— словом, не пренебрегал ни одним средством, которое бы могло помочь его делу. Он не унижался ни пред кем, никому не льстил и никого не обманывал насчет своего плана, но хотел из самых

5 Заказ 1044

врагов сделать себе друзей и найти в них подспорье осуществлению реформы. Впоследствии, когда всякое грязное насекомое считало долгом укусить павшего бойца, это обстоятельство послужило поводом к обвинению Овена: его представляли каким-то искателем отличий и покровительства сильных мира сего, но я думаю, что в этом-то и надо видеть гуманнейшего деятеля, каким был Овен. Для мыслящего человека не может быть более тяжелой жертвы, как делать уступки в своих убеждениях и стараться примирить их с образом мыслей противной стороны. Но Овен принес эту жертву в пользу страстно любимой им идеи, имея в виду ее практические результаты. Для него была дорога его идея только в том случае, когда она прямо прилагалась к счастью людей. Вот почему он и говорил: «кто с нами?» Но та часть общества, в пользу которой он работал, не могла идти за ним, потому что не понимала его стремлений, а та часть, которая понимала его, но держалась обеими руками за свои милые предрассудки и привилегии, старалась задушить его идею рассчитанной клеветой или молчанием. И в этом — все несчастие таких деятелей, как Овен. Какой-нибудь шарлатан, как, например, Жозеф Смит, полуграмотный мистик и больной энтузиаст, выдумывает какую-нибудь нелепейшую легенду, обставляет ее разными чудесными фокусами, прикидывается вдохновенным прорицателем, увлекает за собой десятки тысяч бедной и невежественной толпы и основывает новую секту Мормонов [2]. Толпа, конечно, тут ничем не виновата: она добросердечно принимает фанатика и сумасброда за своего спасителя, верит его поддельному экстазу, его предсказаниям, его великой миссии, его «новому Сиону» и, наэлектризованная этим фанатизмом, провозглашает его основателем новой религии. Никакие доводы, никакие преследования не могут разубедить ее в том, что она обманута хитрым плутом, что его учение и обещания новой жизни не что иное, как плод его собственной фантазии и своекорыстных расчетов; она ничего не видит и ничего не хочет знать, кроме обетованных ей благ, как в этой, так и в будущей жизни. Таким образом, предприятие смелого и энергического шарлатана вполне удалось, а план честного и благородного Овена рухнул. Тут вся разница в том, что один прямо действовал на воображение темной массы и потворствовал ее инстинктам, а другой должен был идти против этих инстинктов и действовать прямо на ум.

В основании воспитательной системы Овена лежал принцип полной гармонии между общественною и индивидуальною жизнью человека. «Этот принцип,— говорит Овен,— заключается в стремлении к личному счастью и ясно показывает, что личного счастья можно достигнуть, только способствуя счастью всего общества». (Образов. челов. характера, с. 18). Дальше он говорит, что «с математической точностью можно обставить человека такими условиями, которые должны постепенно увеличивать его счастье» (с. 25). Из этого социального принципа вытекали все мнения Овена, и к нему были направлены все его практические цели, так что утилитарная теория была верховным стимулом всей его деятельности. Основателем этой теории был не он, а Бентам[3], применивший ее к области юридического права, но Овен применял ее гораздо шире, он строил на ней всю общественную организацию и проводил ее в воспитание, считая его главным органом социальной реформы. В этом — его единственная и главная заслуга. Развивая свой принцип логически, он естественно встречался с следующим вопросом: «что мешало до сих пор людям быть счастливыми? Отчего счастье составляет исключение, а страдания — общее правило?» Подобные вопросы так естественны и обыкновенны в жизни человека, что, по-видимому, задавать их теоретически нет никакой надобности. Понятно, что с тех пор, как человек начинает себя чувствовать, он постоянно, в силу своего личного эгоизма, стремится к тому, чтобы быть счастливым. Только изуродованные или болезненные индивидуумы могут обрекать себя на добровольные лишения и страдания. Но известным образом настроенное воображение в самых страданиях способно видеть какое-то отдаленное и неосязаемое благополучие. Факир, предаваясь систематическим мукам, действует не иначе, как под влиянием личного эгоизма, покупая себе временным самоотвержением будущее счастье. Он убежден, что стояние на одной ноге по несколько часов в сутки или умерщвление своей плоти под ударами бамбука откроет ему двери, ведущие прямо к величайшему из благ — вечному созерцанию Брамы[4]. Таким образом, представить себе человека, не руководимого личным эгоизмом во всех его намерениях и поступках, то же самое, что представить себе живое существо, способное дышать без воздуха. Бессознательно и инстинктивно шло человечество к осуществлению этого величайшего принципа. Но дело в том, что оно искало своего счастья

такими длинными окольными путями, что каждый его шаг вперед сто́ил ему мучительного напряжения всех его сил. А это потому, что не ему самому приходилось разрешать этот жизненный вопрос о счастьи; он разрешался за него теми, кто, под видом личных интересов, выставлял общечеловеческие и общественные выгоды. Аскет говорил, что счастье человека заключается в абсолютном отрицании всех земных наслаждений, и по этой программе разыгрывалась историческая роль нескольких миллионов людей; завоеватель уверял, что счастье народа немыслимо без того, чтобы он не жег и не грабил своего слабого соседа, и безответные толпы жгли и грабили, убежденные, что они, действительно, достигают этим своего собственного счастья. В таком виде и с такими вариациями слагалась вся прошлая жизнь народов, и вопрос, предложенный Овеном, несмотря на его глубокую давность, остается вопросом новым и неразрешенным для современного поколения. А между тем, для мыслящего человека он всегда был капитальным вопросом, к которому относиться равнодушно не мог ни один замечательный ум.

Трудность разрешения этого вопроса — в том, что до сих пор личное счастье каждого строилось на индивидуальных интересах, противоположных интересам большинства или всего общества. Отсюда вытекает эта постоянная борьба, развращающая как ту, так и другую сторону, т. е. как счастливое меньшинство, так и несчастное большинство. На эту борьбу доселе уходят главные силы человечества, и сами себя уничтожают. Можно наверное сказать, что если бы те же самые силы, так бесплодно потерянные для увеличения действительного благосостояния людей, были направлены иначе и организованы другим порядком, то сумма приобретенного добра была бы неизмеримо выше. Теперь мы только и заботимся о том, чтобы благовиднее и ловчее съесть своего ближнего, простосердечно думая, что наше личное благосостояние невозможно без взаимного самопожирания. В семействе и в обществе тот же антагонизм, та же глухая и беспрерывная война за существование. А между тем, где же это воображаемое счастье, которому приносится в жертву столько ненависти, вражды, и ужасных преступлений и казней, слез и пота? Довольны ли вы, читатель, тем, что половину, а может быть, и всю вашу жизнь отдали страшному труду созидания своего личного благосостояния, выжимая его по каплям из окружающих вас лиц? Иначе вы и не могли действо-

вать, потому что среда, воспитавшая вас, основана на этой борьбе и эксплуатации. А между тем, согласите эти две, по-видимому, противоположные сферы — личный эгоизм с общественным благосостоянием, и гармония делается не мечтой, а фактом. Организуйте ваши отношения к обществу так, чтобы, не стесняя своей личной свободы и развития, в то же время не отделять от него своих интересов, а действовать с ним в одном направлении; убедитесь, наконец, в той солидарности, которая существует между вашим личным и общественным счастьем. Само собою разумеется, что одного убеждения тут мало, а нужно еще и дело, т. е. радикальная перестройка многих общественных условий. К этому собственно и устремлены все усилия таких реформаторов, как Овен.

Он был глубоко убежден в том, что лучшая общественная организация возможна, что человек рожден для счастья в обществе и, если страдает, то страдания его создаются самим же обществом; что преступления, совершаемые бедными классами, должны лежать на ответственности того устройства, которое создает преступника. Он доказывал с неотразимою убедительностью, что общественная гармония, устроенная на новых началах, не только справедлива, но и выгодна тем, кто ее боится; он вычислил, что Англия могла бы построить другой громадный флот на те суммы, которые она тратит на содержание тюрем и вообще на операции своего уголовного правосудия, что фабриканты, затратив часть своих капиталов на образование рабочего класса, удесятерили бы свои выгоды, организовав ассоциации на тех началах, которые лежат в основании Нью-Ланарка. Одним словом, Овен видел все зло в общественном и личном антагонизме человеческих интересов и развращающему его действию приписывал, с одной стороны, невежество и бедность массы, а с другой — бесполезную роскошь и умственный деспотизм привилегированного класса. Чтобы срыть эти искусственные границы разъединения и пассивной борьбы между членами одной гражданской семьи, он предложил свою «гармонию нравственного мира», в которой человеческие страсти и отношения устраивались так, что счастье каждого было бы счастьем всех и обратно. Для достижения этой гармонии он полагал необходимым произвести нравственную реформу в человеке, изменить его понятия сообразно новому плану социальной жизни, и таким образом создать в полном смысле общественный характер. Но тут открыва-

лись перед ним два пути, ведущие к одной цели, но не с одинаковым успехом и скоростью. Первый путь — воспитание народа, которое Овен, как мы уже сказали, понимал в самом широком значении этого слова. Сюда относилось влияние не одной школы и умственного развития, а всех обстоятельств, окружающих человека и постоянно действующих на образование его характера. Так как Овен не был заражен метафизическими бреднями и такой нелепости, как врожденные идеи, не допускал, то, по его мнению, человек родится существом, способным воспринимать всевозможные впечатления внешнего мира. Если эти впечатления идут из хорошего источника и формируют добрые наклонности, то человеку нет повода быть существом злым и порочным, потому что зло и преступление не имеют в себе ничего привлекательного для человека. Напротив, если внешняя обстановка, среди которой мы развиваемся, не совершенствует, а развращает нас, то не от чего нам быть образцами добродетели и героями чести. Таким образом, как негодяи, так и честные люди — обязаны своим происхождением не законам природы, а общественным условиям. С законами природы условная нравственность не имеет ничего общего — и как пороки, так и добродетели создаются чисто внешними обстоятельствами. Поэтому Овен придавал особенное значение образованию характера, как силе активной, которая управляет человеческими поступками. Можно быть очень умным и просвещенным и не иметь тех нравственных качеств, которые необходимы для общественной деятельности. Следовательно, весь вопрос для Овена состоял в том, чтобы развивать хорошие наклонности в членах общества. Но может ли одно воспитание произвести такую реформу, о которой думал Овен? Сначала он был убежден, что одного нравственного преобразования для устройства хорошего общественного порядка недостаточно; потому что, как бы ни были хороши наклонности человека, как бы ни был высоко развит его индивидуальный характер, но если внешние обстоятельства не благоприятствуют его жизненным проявлениям, то он будет тем же, чем делается растение, перенесенное на несвойствнную ему почву. Наши доморощенные моралисты ужасно любят трактовать о благодетельных последствиях нравственного воспитания, но они никак не могут сообразить, что их нравственность основана на теоретической рутине, так как между условиями действительной жизни и тем, что́ мы называем нравственно-

стью, существует неразрывная связь. Можно сколько угодно проповедывать о своих личных добродетелях, но в общем итоге они будут ни выше, ни ниже того уровня, на котором стоит весь общественный строй. Овен понимал это, и потому первая половина его преобразовательной деятельности была посвящена чисто практическим опытам — исследованию социального положения низших классов и изменению его в лучшем направлении. Это—тот самый второй путь, который предстоял Овену. Но он впоследствии уклонился от него и остался непоследовательным своей первоначальной задаче. Развивая логически свой принцип, он должен был начать и окончить преобразованием самого общества — его учреждений, условий жизни официальной и частной, одним словом, всего, что́ противоречило в английской нации образованию нового социального характера. Но Овен не выдержал своей роли и под старость все свои надежды возложил на воспитание посредством школы. Таким образом, его громадный план сузился до самых микроскопических размеров. Провозвестник будущего, как он сам называл себя, взял указку школьного учителя и видел в ней рычаг Архимеда для общественного переворота. В этом вся ошибка этого неутомимого деятеля.

Что же касается самой системы воспитания, то самая живая и глубоко продуманная сторона ее заключалась в отрицательном направлении, которое не везде одинаково выдержано, но всегда поучительно. Надо заметить, что эпоха, в которую действовал Овен, была высшим проявлением промышленных предприятий Англии. Изобретение Ричарда Аркрайта[5] произвело радикальный переворот в индустриальной деятельности ее, отразившись прежде всего на благосостоянии рабочих классов. Мускульная сила человека была вытеснена из сферы мануфактурного труда паровым механизмом, который оставил без работы и без куска хлеба сотни тысяч людей. Кто знает, что́ такое бедность английского пролетария, для которого существуют особенные законы, ограждающие его от голодной смерти, тот поймет всю тягость положения работника, оставленного без работы. Бедность возросла до колоссальных размеров, и цифра преступлений увеличивалась соответственно материальным лишениям. Овен лучше других видел, к каким последствиям ведет эта возрастающая пропорция нищих и преступников. Поэтому он и явился главным защитником интересов рабочего класса. С другой стороны,

он очень хорошо видел и то, что английская аристократия и духовенство лучше филантропии не могли ничего придумать и, не надеясь на это средство, намеренно держали массу на самой низкой степени материального и умственного состояния. Общество, и без того страдавшее мистицизмом, пиитизмом и тому подобными галлюцинациями, по уши завязло в разных мечтательных системах, в борьбе религиозных сект и в схоластических препирательствах. Реакция, произведенная французской революцией, еще более содействовала этому мрачному настроению умов. В народных школах господствовал невообразимый обскурантизм, поддерживаемый разными представителями сект. Назначение преподавателей и выбор предметов преподавания находились под непосредственным влиянием духовенства. Страшные нелепости и предрассудки систематически поддерживались сектаторами из соревнования друг к другу. В каком жалком и безвыходном положении находилось тогдашнее народное воспитание, можно судить по следующему отзыву Белля: «В английских школах бедного мальчика окончательно притупляют, так что здравый его смысл, принесенный им в школу, здесь навсегда и остается зарытым. Он учит все, чего не надо учить, и не учится ничему, что́ было бы полезно учить. Система страха и варварских наказаний, особенно любимая нашими духовными особами, приучает его заранее смотреть на жизнь, не как на величайшее благо, а как на медленную пытку. Стыд и позор английскому обществу, которое хлопочет об эмансипации негров, и не замечает их у себя перед глазами, в наших школах и на наших фабриках. Негры счастливее на своих плантациях, чем эти тысячи детей, которых развращают наши школы, служащие преддверием тюрьмы и ссылки». (Bell. New Scoul. p. 33).

Точно так же смотрел и Овен на воспитание народа и главным недостатком его считал вмешательство английской церкви в эту чуждую ей область. Всю свою жизнь он протестовал против этого вмешательства и, естественно, нажил главного себе врага в клерикальной партии. Когда он составил план национального воспитания и рекомендовал правительству привести его в исполнение, то первые восстали против Овена клерикалы. «Церковные сановники и их приверженцы,— говорит он,— предвидят, что национальная система воспитания бедных, если она не подпадет под непосредственное влияние и заведывание их,— будет способствовать быстрому уничтожению за-

блуждений не только их самих, но и всех подобных им учреждений» (Образов. человеческого характера, с. 156). Восстановляя против себя эту многочисленную и испытанную в самых разнообразных интригах партию, Овен должен был предвидеть, что победа останется на ее стороне; что за одно с ней будет преследовать его вся масса населения, ум и совесть которого находились в руках этой партии. Так это и случилось. План Овена не осуществился и оставил по себе только теоретические соображения, которыми отчасти воспользовались преемники его дела.

Второй жизненной чертой системы Овена было отрицание самой сущности современного ему воспитания. Подобно Беллю он утверждал, что бедные люди учатся тому, что́ им не нужно или вредно, и не учатся тому, что́ им действительно было бы полезно. При этом он доказывал, что ученье, основанное на вражде и разъединении общественных интересов, не может вести к благотворным результатам; что всякое улучшение метода такого учения, всякое усовершенствование школы в этом направлении есть новое зло, которое только изощряет орудия для бо́льшего распространения лжи и лицемерия; что пока система воспитания не примет других, противоположных начал — любви и счастья человеческого, до тех пор было бы лучше, если б народ вовсе ничему не учился, потому что школа может быть проводником как нравственного усовершенствования, так и последовательного разврата, смотря по тому, как станут пользоваться ее пропагандой. Наконец, он доказывал, что аскетическое воспитание, как обломок средних веков, пренебрегающее развитием физических сил человека и его здоровья, есть решительное искажение человеческой природы; потому что рациональное умственное развитие невозможно в больном изуродованном и забитом существе. В самом деле, Овен был очевидным свидетелем тех несчастных детей, которых уродовала школа, а доканчивала фабрика. Он видел их тысячами в больших городах, он сам воспитывал их в Нью-Ланарке. Бледные, с потухшими глазами, с впалой грудью, со всеми признаками органического разложения — они возмущали его одним своим видом. Поэтому он считал сад и чистый воздух непременным условием всякой школы. Впоследствии эта идея получила применение в так называемых training-scools *, основавших всю педагогическую си-

* **учительские институты** *(анг.).*

стему на гимнастических упражнениях и на устной беседе наставников с своими воспитанниками, и притом не иначе, как в саду и на открытом воздухе. Только для самых необходимых занятий, для письма и черчения оставлена была классная комната. Само собою разумеется, что не везде можно осуществить эту систему воспитания; у нас, например, при нашем холодном климате и суровых зимах нечего и мечтать о садах в продолжение 6 и 7 месяцев, но во всяком случае филистеры наши рано или поздно должны убедиться, что игра в мяч на свежем воздухе несравненно полезнее мальчику, чем задалбливание латинских и греческих глаголов в душной и грязной комнате. Но люди, кажется, еще не скоро это поймут — к несчастью подрастающих поколений... И Овен это чувствовал, когда, обращаясь к классикам своей страны, сказал им: «у меня с трупами нет ничего общего, и я был бы крайне дерзок, если бы надеялся убедить таких свиней, как мои противники». А все-таки свиньи были сильнее его, и он ничего не мог сделать с планом своего рационального воспитания.

В. А. Зайцев

СТИХОТВОРЕНИЯ Н. НЕКРАСОВА

Часть III. Спб., 1864

На этот раз я намерен говорить с читателями о стихотворениях г. Некрасова. То, что я скажу о них, будет лишь отголоском того, что думает о них вся образованная Россия, но зато совершенно несогласно с отзывами литературы. В то время, как вся русская молодежь читала, читает и знает наизусть стихи г. Некрасова, литературная критика последних лет[1] большинством голосов отказывала ему не только в тех достоинствах, какие признавались за ним публикою, но и в десятой доле тех, которая та же критика находила в изобилии у гг. Фета, Тютчева и Майкова[2]. Нечего и говорить, что главною причиною такой критической оценки было то, что г. Некрасов не только поэт, но и издатель «Современника». Конечно, подобные мотивы не делают чести беспристрастию эстетической и всякой другой критики. Но о беспристрастии в этом случае не может быть и речи. Достаточно, напр., вспомнить, что г. Некрасова упрекали в том, что одна из героинь его потчует своего возлюбленного водкой[3]. Впрочем, пристрастие и придирки можно бы было до известной степени оправдать, потому что не мытьем, так катаньем, говорит пословица: чем бы ни доехать врага, лишь бы доехать. Но дело в том, что уж если доезжать, то надо так, чтобы из этого вышел действительно ущерб врагу, а не посрамление самой критики. В отношении же г. Некрасова критика поступила так, что всякому человеку, не принадлежащему к врагам «Современника», приятно вспомнить ее проделки, покрывшие ее стыдом и срамом. Приятно указать всем этим Дудышкиным[4] и проч. на их былые подвиги и в то же время напомнить им, как бессильны остались их натянутые нападки перед мнением всей нашей читающей публики, перед общим голосом всей

молодежи. Своим отношением к г. Некрасову критика наша приготовила себе в будущем такую же незавидную славу, как Фаддей Булгарин своим эстетико-критическим взглядом на Гоголя [5]. «Отечественным Запискам» посчастливилось первым отличиться в подобном деле. Я не знаю, понял ли когда-нибудь этот журнал все безобразие своего разбора стихотворений Некрасова и все бессилие своей злобы, накинувшейся на поэтическую деятельность издателя «Современника». Я бы желал знать, думают ли «Отечественные Записки», что критика их могла убедить хотя единого человека в целой России, и можно ли им вспоминать, не краснея, о своем походе против литературной репутации г. Некрасова. Несомненно только то, что в настоящее время, когда возродились надежды на пассивное отношение публики к литературным проделкам и, следовательно, на возможность выдать ей грязь за золото и наоборот, пример «Отечественных Записок» нашел подражателей. В № 43 «Дня» за нынешний год какой-то г. Н. Б. берется за неблагодарный труд убедить публику в том, что ей следует бросить и забыть стихи г. Некрасова и приняться за Константина Аксакова [6]. К этой достопримечательной статье я обращусь ниже; конечно, от нее не предстоит никакой серьезной опасности, и совершенно несбыточно, чтобы русская публика променяла когда-нибудь Некрасова на Хомякова [7], на всю семью Аксаковых, на Языкова и на прочих славянофильских бардов, певших о Праге и о пеннике [8]. Но я обращусь к этой статье потому, что в ней, конечно, с враждебными целями, указаны многие важные стороны произведений г. Некрасова.

Но прежде чем обратиться к разбору стихотворений г. Некрасова (причем я имею в виду только III часть их), мне необходимо предупредить всякую возможность замечаний, крайне пошлых и нелепых, но возможных со стороны людей, повторяющих по сту раз в год и всякий раз с одинаковым удовольствием, как нечто необычайно остроумное, что для нигилистов важнее всего брюхо. Такие господа, прочитав мой отзыв о г. Некрасове, могут объявить мне, что я сужу непоследовательно, что для человека, не симпатизирующего чистой поэзии, в литературе может быть важно только «Опытная стряпуха» или «Наставление к биллиардной игре». Им может показаться с моей стороны несообразным, если я выражу симпатию к поэзии г. Некрасова и не разделю их восторгов к Лермонтову. Эстетические критики, вероятно, не усомнятся ог-

дать предпочтение Лермонтову перед г. Некрасовым. И действительно, можно согласиться, что если о достоинстве поэтического произведения должно судить лишь по степени красоты стиха, смелости и картинности метафор и возвышенности сюжетов, то они правы, тем более, что Лермонтов «Современника» не издавал. Поклонники чистой поэзии, не требуя ничего более этого от поэтического произведения, приходят в восторг от «Ночного зефира»[9], где достоинства эти доведены до великой степени, но больше ничего нет; и они с своей точки зрения правы. Но они не могут обвинять в непоследовательности человека, который, не ставя ни в грош лучшие чисто поэтические произведения, будет хвалить поэта, у которого находит те свойства, которые он ценит в писателе вообще. Нелепо восхищаться звучными рифмами и возвышенными сюжетами; но еще нелепее отрицать достоинства литературного произведения за то только, что оно написано стихами, а не прозой, выражает мысли в форме воззваний и картин, а не строгих силлогизмов и вычислений. Поэтому бестолково удивляться похвале, возданной и поэту-мыслителю человеком, отрицающим чистую поэзию.

С этой точки зрения я и гляжу на произведения г. Некрасова. Я приступаю к его сочинениям с теми же требованиями, с какими приступаю к произведениям критика, историка, публициста, беллетриста. От всех их равно каждый читатель требует прежде всего честной, свежей мысли, верного взгляда на предмет, выбранный писателем, и ясного изложения своего мнения. Предмет, о котором говорит автор,— вещь сама по себе второстепенная; для каждого читателя в отдельности он важен потому, что может интересовать его или нет; но сам по себе он только тогда лишает сочинение всякого достоинства и делает его никуда негодным, если совершенно лишен всякого интереса для кого бы то ни было. Таковы предметы большей части лирических песнопений, как, напр., «Ночной зефир струит зфир». Про такое произведение каждый может сказать, что оно абсолютно плохо и негодно, тогда как про «Сорокалетние опыты» Авдеевой[10] этого нельзя сказать, как бы мало кто ни интересовался сведениями об изготовлении блинчатого пирога с яйцом. Такую книгу только тогда можно признать негодною, если специалисты скажут, что все пироги с яйцом, изготовленные по методе г-жи Авдеевой, вышли неудобосъедобными. Наконец, последнее в произведении — форма, потому что человек,

произносящий свое суждение о произведении только на основании формы его, уподобляется Петрушке Чичикова или, по крайней мере, представляет непосредственный переход от такого читателя к более развитым. Из этого ясно, что вполне прекрасным можно назвать такое произведение, в котором глубокий, честный и умный взгляд на предмет, имеющий важность для наиболее обширного числа людей, высказан в удобной и красивой форме.

Г. Некрасов имеет полное право на название мыслителя. Мало того, это — мыслитель глубокий и честный. В основе его лежит высокая гуманность и любовь к своей родине, не под отвлеченным представлением отечества, породившим патриотические стихотворения Жуковского, Розенгейма и Майкова, а под живым действительным образом народа. Я бы назвал г. Некрасова народным поэтом, если б прозвание это не было замарано эстетиками, прилагавшими его ко всякой нечистоте. Разумеется, я не хочу сказать, чтобы стихотворения г. Некрасова сделались народными песнями вроде «Не белы-то снеги...» и не буду приписывать никакой важности тому, что одно из самых плохих произведений его распевается извозчиками и лакеями [11]. Я не хочу также повторять эстетических нелепостей, говоря, будто бы поэзия г. Некрасова вытекла из народа. Народным поэтом я назвал бы г. Некрасова потому, что герой его песней один — русский крестьянин. Но он говорит о нем, конечно, как человек развитой, как говорил Добролюбов; он не «поет» его, а думает о нем, о его бедах и горе, не ограничивается объективным изображением страдания, но мыслит о нем и мысли свои, глубокие и светлые, передает в прекрасных, свободных стихах, в которые без натяжек укладывается народная речь и которые чужды поэтических метафор и аллегорий. Очень мало у г. Некрасова стихотворений, где героем является не народ; но в таком случае, это, наверно, не Наполеон на скале, не Прометей с коршуном, не Фауст с Мефистофелем, не Демон с Тамарой; этими великолепными сюжетами, дающими такой простор поэтическим вольностям, смелым порывам поэтической нескладицы, широким размахам художественной кисти, наш поэт пренебрегает. Герои его, кроме народа,— те труженики и страдальцы, которые работали мыслию или делом и, хотя не непосредственно, но принесли свою лепту. По предмету своему, по своему герою стихотворения г. Некрасова не имеют равных во всей русской литературе.

Теперь посмотрим, что же думает г. Некрасов о своем герое, как смотрит он на него и как понимает его. Если мы увидим, что он высказал мысли верные и глубокие, то, конечно, мы будем иметь право высоко поставить этого писателя и, следовательно, признать, что русская публика и особенно молодежь не ошиблись в выборе любимого поэта.

Естественно, что критик «Дня» рассматривает г. Некрасова именно с точки зрения его отношения к народу. Точка зрения, разумеется, единственно возможная, когда речь идет о стихах Некрасова. Но «День», конечно, не допускает мысли, чтобы издатель «Современника», литератор, деятельность которого сосредоточена в Петербурге, мог иметь верный взгляд на народ, потому что для этого, как известно, необходимо родиться, вырасти и состариться в Москве, начать литературное поприще в «Москвитянине», продолжать его в «Дне» и чуть ли даже не принадлежать к семье Аксаковых, по крайней мере хоть так, чтобы дедушка автора с бабушкой Аксакова его от купели восприняли. Соображения эти — самые честные, какие могут быть приписаны г. Н. Б., потому что всякие другие будут для него крайне нелестны. Н. Б. порицает г. Некрасова за то, что в отношении его к жизни народа виден только п р о т е с т. Г. Н. Б. находит, что если самый характер того периода, когда началась деятельность г. Некрасова, не благоприятствовал другому отношению, то во всяком случае поэт должен был дать взамен отвергаемого свой идеал. И, наконец,— говорит критик,— рабство навеки отменено. «Разве, однако ж,— говорит он,— не продолжают н е к о т о р ы е из них (нигилистов) еще и в наши дни скорбных сетований на прежний лад? Больше того, давая теперь угадывать как бы скрытую досаду свою, что, сломив крепостное ярмо в России, отняли у них самое право на их вечное негодование, навсегда лишив их источника самых яростных вдохновений,— не дают ли еще они ясно угадывать и того, что самое обращение к «низшей братии», вечные взывания к ее бедствиям и страданиям подчас могли исходить никак не от чистого движения любвеобильного сердца, а из более мутных источников души человеческой?»

Читатель из этого может видеть, что я только из любезности предположил в критике некоторое тупоумие.

На весь этот неблаговидный вздор можно бы было ответить, что протест вовсе еще не обусловливает необходи-

мость идеала, что притом всякое отрицание есть вместе с тем положительное желание, чтобы прекратилось то положение, против которого я протестую. Все это повторялось миллион раз, но только нейдет в прок. Поэтому я очень рад, что г. Некрасов представил в своих стихотворениях рядом с протестом такие верные идеалы, что мне нет необходимости прибегать к повторению этих истин, отскакивающих от лбов писателей известного сорта, как горох от стены. Правда, идеал г. Некрасова не имеет ничего общего с идеалами других поэтов; он не фантастический какой-нибудь, а возможный, необходимый, несомненный. Идеал этот построен на идеях любви и благостояния и выражен в самой осуществимой форме. На эту-то положительную сторону произведений г. Некрасова я и намерен особенно обратить внимание и даже очень благодарен г. Н. Б., убедившему меня своей статьей, что могут быть люди, не понявшие и не заметившие этой стороны, так что указать на нее будет не лишнее.

Читатели, без сомнения, помнят ту страшную картину в поэме «Мороз красный нос», где несчастная вдова крестьянина медленно замерзает, бесчувственная к холоду, погрузившись в свои тяжкие думы. Печальны ее мысли, и вспоминаются ей грустные сцены. Только когда смерть уже охватила ее, когда воевода-мороз уже коснулся ее, когда уже

...Дарьюшка очи закрыла,
Топор уронила к ногам,

ей видится чудная, розовая картина светлого, истинного счастия (что необыкновенно верно в отношении описания смерти от замерзания):

И снится ей жаркое лето —
Не вся еще рожь свезена,
Но сжата — полегче им стало!
Возили снопы мужики,
А Дарья картофель копала
С соседних полос у реки.
Свекровь ее тут же, старушка,
Трудилась; на полном мешке
Красивая Маша, резвушка,
Сидела с морковью в руке.
Телега, скрыпя, подъезжает —
Савраска глядит на своих,
И Проклушка крупно шагает
За возом снопов золотых.
— Бог помочь! А где же Гришуха? —
Отец мимоходом сказал.

— «В горохах»,— сказала старуха,
— Гришуха,— отец закричал,
На небо взглянул.— Чай, не рано?
Испить бы...— Хозяйка встает
И Проклу из белого жбана
Напиться кваску подает.
Гришуха меж тем отозвался;
Горохом опутан кругом,
Проворный мальчуга казался
Бегущим зеленым кустом.
— Бежит!.. У! бежит постреленок;
Горит под ногами трава! —
Гришуха черен, как галчонок,
Бела лишь одна голова.
Крича, подбегает вприсядку
(На шее горох хомутом);
Попотчевал бабушку, матку,
Сестренку — вертится вьюном!
От матери молодцу ласка;
Отец мальчугана щипнул;
Меж тем не дремал и Савраска;
Он шею тянул да тянул,
Добрался, оскаливши зубы,
Горох аппетитно жует
И в мягкие, добрые губы
Гришухино ухо берет...
Машутка отцу закричала:
— Возьми меня, тятька, с собой,—
Спрыгнула с мешка — и упала,
Отец ее поднял: «Не вой!
Убилась — не важное дело!..
Девчонок ненадобно мне,
Еще вот такого пострела
Рожай, мне, хозяйка, к весне!
Смотри же!.. «Жена застыдилась.
— Довольно с тебя одного!
(А знала, под сердцем уж билось
Дитя)... «Ну, Машук, ничего!»
И Проклушка, став на телегу,
Машутку с собой посадил.
Вскочил и Гришуха с разбегу,
И с грохотом воз покатил.
Воробушков стая слетела,
С снопов над телегой взвилась.
И Дарьюшка долго смотрела,
От солнца рукой заслонясь,
Как дети с отцом приближались
К дымящейся риге своей,
И ей из снопов улыбались
Румяные лица детей...

Эта картина есть самый полный идеал счастья, какой только могла создать фантазия крестьянки; но, конечно, немного прибавит к нему самый развитой человек, самый

великий гений в мечтах о совершенном благополучии людей. Основные элементы этого благополучия — здесь все: любовь, довольство и привлекательный труд среди чистой, прекрасной природы. Это та вершина благополучия, на которой человеку остается еще только искать наслаждения в науке и в искусстве; это то счастливое состояние, где можно с полным правом проповедывать науку для науки и искусство для искусства. Наконец, это тот результат, к которому стремится весь прогресс и в котором наслаждение свободною любовью, свободным трудом и здоровой бедностью изгладило даже мучительное воспоминание о прошлом рабстве и нищете. Кто не поймет этого, кто пройдет мимо этой картины равнодушно или с банальными похвалами, тот пошлый филистер, не видящий ничего дальше своего носа и носов своего кружка. От такого господина можно даже ожидать, что он останется недоволен тем, что эта картина представлена бредом умирающей, а не действительностью. Но поймите же вы, наконец, безнадежные филистеры, что в действительности ничего подобного нет, что если бы в минуту смерти крестьянке грезилось ее действительное прошлое, то она бы увидела побои мужа, не радостный труд, не чистую бедность, а смрадную нищету. Только в розовом чаду опиума или смерти от замерзания могли предстать перед ней эти чудные, но никогда не бывалые картины. Вам делается жутко от этой сцены смерти. Действительно, есть от чего прийти в ужас, и если потрясающее изображение бедствия есть само по себе протест, то конечно, протест этот так же силен, как велико горе, представленное поэтом. Но кто не причастен филистерству и пошлости кружков, тот, прочитав предсмертный бред Дарьи, поймет, что насколько силен протест, настолько же высок и идеал, помещенный рядом с протестом, или, лучше, в нем же самом.

Г. Некрасов часто останавливается на судьбе русской женщины вообще, особенно же на доле крестьянки, и, правда, нигде не показал он нам в розовом свете ее настоящее. Возьмем хотя бы III часть его стихотворений, где в «Дешевой покупке» он представил женщину из крепостного быта:

...Созданье бездомное,
Порабощенное грубым невеждою!

в «Рыцаре на час» женщину — жену и мать, о которой он говорит:

Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других,
С головой, бурям жизни открытою,
Весь твой век под грозою сердитою
Простояла ты,— грудью своей
Защищая любимых детей.
И гроза над тобой разразилася!

Еще печальнее доля крестьянки:

Доля — ты! — русская, долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.
Немудрено, что ты вянешь до времени,
Всевыносящего русского племени
Многострадальная мать!

И поэт показывает нам и жену («Жница»), и мать («Орина, мать солдатская»), показывает во всей безысходности ее горя, во всем ужасе ее судьбы. Я бы спросил читателя: возможно ли это представление, клевета ли на русскую жизнь эти слова, правда ли, что доля женщины была так печальна, как изображает ее г. Некрасов? Но спрашивать было бы излишне, потому что лучшим ответом на такие вопросы служит то, что все, что есть лучшего в России, читает Некрасова и верит ему.

Однако г. Н. Б. полагает, что сочувственное изображение страданий и горя народа происходит у некоторых «из мутных источников души, а не из чистого движения любвеобильного сердца», и затем невинно оговаривается, что под некоторыми он не подразумевает г. Некрасова. Как бы то ни было, но г. Н. Б. не признает верности в изображении г. Некрасова крестьянской доли, по крайней мере теперь. Например, ему очень не нравится, что г. Некрасов не изобразил в «Жнице» какого-нибудь «веселого пейзажика» вроде сбора винограда, что крестьянка в стихотворении г. Некрасова роняет слезы, трудясь через силу в поле, где спит ее ребенок, вместо того, чтобы отличаться «видом бодрой живости и довольства». Г. Н. Б. не нравится также, что в поэме «Мороз, красный нос» крестьянина постигает горе, что в ней — смерть, сиротство, беда, а не счастье, веселие и радость. Оставшись недовольным печальной развязкой поэмы, критик заключает, что г. Некрасов — отчаянный и положительнейший отрицатель, нигилист; заключает, что «горе его и сокрушение по русской родной земле» есть «конечный плод нашего мнимого, оторванного от народной почвы образования, с его вечным стремлением к какому-то отвлеченно-гумани-

тарному и космополитическому прогрессу». С апломбом, свойственным людям, отмежевавшим себе в ведение всю суть русской жизни, г. Н. Б. решает, что «толпа не примет обетований г. Некрасова».

Всякий, конечно, оценит по справедливости суждения г. Н. Б. о стихотворениях г. Некрасова. Не трудно сообразить, что уничтожение крепостного права не могло мгновенно искоренить все горе, лежавшее на крестьянине, и что поэт, изображающий «крестьянскую долю», вероятно, еще не вдруг достигнет того, чтобы картины его выходили розовыми и привлекательными, в то же время оставаясь верными. Довольно также легко оценить по достоинству тот мнимый патриотизм г. Н. Б., который не выносит неподкрашенного изображения народной доли и требует, во что бы то ни стало, «веселых пейзажей». Этот балаганный конек был так изъезжен московскими публицистами, что всякий рассудительный человек очень хорошо знает, что ему могут сказать по поводу стихотворений г. Некрасова. Поэтому я давно бы перестал говорить о критике «Дня», если бы не видел в нем замечательного полного типа понятий и суждений того кружка, к которому он принадлежит. Притом субъект этот доводит мнения своего кружка до таких размеров, что на нем удобнее показать их безобразие.

Кто бы мог, напр., подумать, что, прочитав «Рыцаря на час» г. Некрасова, критик вывел из этого отрывка такое заключение, что поэт «стыдится своих лучших порывов и спешит заглушить их беспощаднейшей прозой». Всякий, кто читал этот отрывок, знает, что, во-первых, герой поэмы не сам автор, а какой-то Валежников. Следовательно, по какому праву критик приписывает порывы автору? Во-вторых, вполне также ясно, хотя мы имеем только небольшой отрывок поэмы, что автор имел в виду изобразить в Валежникове человека с благороднейшею и возвышенною душою, жаждущего полезной и честной деятельности, одаренного полным пониманием хорошего и истинного, но не имеющего достаточно сил, чтобы бороться победоносно с мерзостью, его окружающею, и ее влиянием на него самого. Нельзя не заметить, что при исполнении этой задачи автору пришлось победить много затруднений, потому что тема эта истерта донельзя разными пиитами, изображавшими задумчивых героев, исполненных благородства, но изнывающих в борьбе с средою. Такие герои опошлены до крайности как от слишком частого по-

явления на сцене, так и от неудачного изображения. Притом тема эта весьма неблагодарна, потому что талантливые натуры, заеденные средою, поняты и ни в ком уже не возбуждают симпатии. Вот почему, быть может, мы до сих пор имеем только небольшой отрывок этой поэмы. Но в отрывке этом г. Некрасов так искусно победил все трудности, встреченные им на пути, что заставляет желать продолжения поэмы. Страдания его героя, столь несимпатичные сами по себе, облечены таким чистым и светлым чувством любви к матери, что невольно возбуждают симпатию. Выражение этого чувства есть великолепнейший гимн, в котором воскресает падший человек и снова готов на великое дело.

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

Нет, этот гимн сложен не для прославления страданий благородного, но бессильного человека; это скорее апофеоза русской женщины, печальная доля которой служит главным предметом поэзии г. Некрасова. Страдальческий образ матери стоит здесь на первом плане, и теплое чувство к ней может заставить читателя полюбить ее слабого сына, когда он говорит:

О, прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну, и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что в мою заложила ты грудь,
Укрепила ты волею твердою
И на правый наставила путь...

История Валежникова и причины его страдания нам неизвестны; но во всяком случае это страдание выражено с такою силою, в выражениях его столько чувства, ума и благородства, что мы не решимся презирать его или смеяться над ним, как презираем талантливые натуры, которые загубила среда, и как смеёмся над разочарованными идиотами вроде Печорина; мы не решимся презирать и осмеивать его тогда, когда, проснувшись утром, он ясно

сознает свое бессилие и неспособность на то, о чем думал ночью. Надобно заметить, что г. Некрасов понял это очень верно. Действительно, люди нервного темперамента чувствуют себя гораздо свежее и бодрее вечером, тогда как сангвиники, наоборот, утром. Валежников, очевидно, человек нервный, потому что сам говорит:

И пугать меня будет могила,
Где лежит моя бедная мать.

Таким образом, при пробуждении его самым понятным и естественным образом охватывает тяжелое сознание своего бессилия, и не только другим, но и самому ему ясно, что он — лишний, бесполезный человек. Но кто подслушал его ночную исповедь, у того едва ли хватит духу бросить в него укоризною или насмешкою. Откуда же усмотрел г. Н. Б., что он устыдился своих благородных порывов и спешит заглушить их прозою? Что Валежников страдает, видя свою неспособность осуществить эти порывы,— это ясно; но почему заключил г. Н. Б., что он стыдится их и намеренно заглушает, это — вопрос, разрешение которого находится, вероятно, в связи с мутными источниками, упоминаемыми им.

В заключение московская критика объявляет, что никто не заподозрит в г. Некрасове москвича; понятно, что это самый тяжелый приговор, который он мог произнести, и понятно также, что после этого кружок «Дня» не может находить в произведениях г. Некрасова что бы то ни было хорошее. Однако нашел. Понравились ему очень одни забытые стишки г. Некрасова, которым место разве в III части его стихотворений, в отделе юмористических. Стишки эти вроде того, что:

Краше твой венец лавровый *
Победоносного венца [12].

и, следовательно, весьма напоминают стихи Добролюбова:

Пусть лавр победный украшает
Героев славное чело и т. д.[13]

Ни такие похвалы, ни такие порицания не коснутся произведений г. Некрасова. Стихи его у всех в руках и

* Хотя в сущности не к р а ш е, а с в е т л е е, и не л а в р о в ы й, а т е р н о в ы й, но я оставил по-московски: верно, так патриотичнее.

будят ум и увлекают как своими протестами, так и идеалами. За него не страшно и в том отношении, что сила его таланта упадет и что будущие произведения его останутся ниже прежних, что часто бывает с поэтами, поющими Наполеонов и Александров Македонских... У кого стихи текут из мысли, а мысль сильна и свежа, тому не грозит эта участь.

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

«Крамола! Крамольники и злоумышленники не дают показываться на улицу, крамола пустила глубокие корни, надо истребить крамолу, вырвем с корнем крамолу! Дворянство, где ты? Откликнись! Гайда на крамолу!»

Так вопиет уже третий год Помпа-Само-Дур и за ним все, получившие привилегию на право говорить в глуповском царстве.

Если бы в окрестностях Само-Помпа-Дура нашелся живой человек, он заметил бы на эти возгласы: «Вашество, вы горько ошибаетесь: это не крамола, а революция».

При Людовике XVI во Франции еще хорошенько не знали, что такое революция, какая она бывает, как является, потому что опыта было накоплено еще слишком мало. Поэтому, когда в воскресенье 12 июля 1789 праздничная толпа, гулявшая в Тюильерийском саду, украсилась зелеными листьями по примеру Камилла Демулена [1], в этой невинной выходке только немногие могли узнать ЕЕ. C'est dons une rèvolte! — стало быть, это крамола! — воскликнул тогдашний Дур.— Нет, вашество, это революция,— отвечал ему один какамейстер, бывший знакомый Вольтера.

Дур на то был Дур, чтобы пропустить это мимо ушей. Против одного голоса раздалась тысяча голосов, говоривших, что это просто крамола, затеянная нигилистом Камиллом Демуленом, что это горсть или кучка сорви-голов, не имеющих под собой почвы, что народные массы полны благоговения к Дуру и Дурству вообще, которое счастливит их уже тысячу лет и без которого они себя и помыслить не могут; притом нигде и никогда не видано, чтобы революция являлась в таком виде, на гулянии в праздничный день, по сигналу одного нигилиста. Успокоенный этими соображениями, Дур послал против крамолы немецкую

кавалерию, но был разбит, взят и гильотинирован, причем мог вполне убедиться, что имел дело с революцией.

Наш Дур твердит о крамоле и будет твердить вплоть до того дня, когда, наконец, окончательно полетит вверх тормашками. На то он и Дур, чтобы не понимать происходящего не только перед ним, но и с ним. Двадцать лет он вешает, ссылает, морит по тюрьмам, устраивает чудовищные процессы, обыскивает, провозглашает осадное и военное положение, назначает чрезвычайные комиссии, военные суды, временных губернаторов, ополчается урядниками, жандармами, сыщиками, все усиленно и усиленно, кресчендо и кресчендо, полнее и полнее предаваясь этой заботе, до полного и исключительного поглощения ею — все-таки ничего не понимает, не видит и твердит о какой-то крамоле. При первом появлении ее он встретил ее каторгой, обысками и административными ссылками. Михайлов [2], Обручев [3], первые, свободно заговорившие в России, пошли в рудники; студенческий протест был встречен конно-жандармскими атаками, и десятки молодых людей заплатили десятилетиями ссылки за отказ от путятинских матрикул. Чтобы лишить пробуждающуюся русскую интеллигенцию главного ее руководителя, лучший писатель того времени [4] был по заведомо ложному обвинению заживо погребен навеки в Сибири. Так энергически встретил Дур первые признаки проявления человечности в народе, где ее не полагалось по существующей форме правления. В чем, в чем, а уж в слабости Дур себя упрекнуть не может.

И что же? Уже через пять лет этих энергических мер против него раздался выстрел, и ему пришлось натравить на Россию того самого Муравьева [5], которым он травил вновь завоеванную Польшу. Там было открытое восстание, война, и назначение Муравьева показывало, что в России готовится столь же решительная борьба. С тех пор она ни на минуту не прекращалась, хотя еще несколько лет прошло прежде, чем она получила свой нынешний острый характер. Она еще оставляла Дуру некоторый досуг мошенничать своими реформами, дипломатничать и воевать, фигурировать в европейском свете в качестве заправского потента. Но прошли и эти времена, когда единственною, исключительною деятельностью его, единственной задачей, единою целью жизни стала борьба за свое существование. Все другие заботы и дела отложены. Во всей России только и делают, что вешают, вешают слепо,

не разбирая жертв, вешают гимназистов за две наклеенные прокламации, вешают людей, судом признанных подлежащими ссылке; вешают и обыскивают, обыскивают повально, домами, улицами, городами. В сношениях с иностранными правительствами наше, забыв все заливы и проливы, Индии и славян, полагает всю свою душу на вытребование Гартмана, жалуется, грозит, разрывает союзы — и остается с великим носом и позором, признанное целыми советами министров и юристов неспособным к правосудию и стоящим вне усилий цивилизованных народов.

Когда вся деятельность векового правительства целиком посвящена борьбе с внутренним врагом, то это ли еще не революция? Французы, опытные в этом деле, давно уже не сомневаются, и давно уже все не запродавшиеся Орлову французские газеты открыли рубрику под заглавием «Русская Революция». Да, Русская Революция — факт совершившийся. Она продолжается уже третий год по меньшей мере. Правда, когда двадцать лет тому назад мы мечтали о ней, мы не так представляли себе ее появление. В наших мечтах она являлась нам с классическими атрибутами исторических революций, наших или европейских: или в виде стихийной бури пугачевщины, Жакерии, крестьянской войны, или с громом пушек и речей народных ораторов, как в 92.

Но вот она пришла не как повторение и подражание, а новая и самобытная, совмещая странные контрасты и являясь настоящей дочерью своего века — таинственная в своих средствах и путях и открыто героическая в своих деятелях, мудрая, как змий, и чисто наивная, как голубица, с фанатизмом христианских мучеников в сердцах и со всеми средствами науки в руках, грозная решимостью губить и непобедимая решимостью гибнуть. Она не порыв, не буря. Она сознательное, цивилизующее, разумное дело, дело медленное, мало заметное в данный момент, как прорытие Сан-Готарда. Работа дня в ней едва приметна, кто смотрит на нее, особенно в начале, недели и месяцы, тому она может казаться безнадежной; едва по вершку отделяется от гранитной скалы в несколько верст толщиной, и нужны годы постоянной работы, миллионы фунтов динамита, чтобы привести дело к концу.

И вот теперь, когда эта работа подвинулась уже настолько, что не признавать ее нет возможности, все видят, что срок существования дуризма есть лишь вопрос времени. Пройдет ли год, три или пять до той минуты, когда

подведенные под него галереи сойдутся и работники подадут друг другу руки с возгласом: Победа! — это зависит от множества случайностей, но что эта минута скоро настанет, а [в] этом не сомневается даже Лорис-Меликов[6], всячески виляющий, чтобы счет на день расплаты вышел не слишком тяжел.

Один Дур хочет во что бы то ни стало обмануть себя на счет своего безнадежного положения. Такие бывают малодушные больные: сифилис прогрыз их насквозь, уже вместо голоса они издают только хриплое мычание, все кости покрыты наростами, нос грозит провалиться, как столовая Зимнего Дворца, язвы покрывают все тело,— и тем не менее они стараются уверить себя, что вычитанное в газетной рекламе шарлатанское снадобье непременно должно воскресить их, и на вопрос о здоровье — мычат, что все хорошо, но вот только горло застудил. Таков и Дур со своей крамолой.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Истребление гольштейн-готторпской монархии[1] есть общее дело всех ее жертв, к каким бы классам, национальностям, партиям они не принадлежали. Это должно быть их первой общей целью, первой общей задачей.

На этой цели, на этой задаче, нам кажется, могут сойтись все. Могут, правда, сказать, что эта цель недостаточна, мы не будем спорить, потому что логика говорит, что задача столь общая, что в ней могут сойтись все стремления, по этому самому не может быть достаточной для всех, как конечная цель. Мы думаем только, что она достаточно определенна для всех, как первый этап, как ближайшая цель, и что никому нет причины умывать руки в деле ее достижения.

За исключением многочисленных абсолютно, но крайне немногочисленных относительно агентов этой презренной, зверской и глупой самодурщины, все прочие заинтересованы прямо в ее уничтожении. Мы не будем говорить о народе, который она грабит, лишает просвещения, лишает свободы верований, то гоняет его как стадо с места на место, то препятствует ему переселяться. Мы не будем говорить о жертвах таких мер самодурщины, как тайный циркуляр, воспрещающий иметь [больше] двух школ в волости, как меры против разных сект, штундистов, немо-

ляк, неплатяк и проч., таких условий, как те, которые, по отчетам русских газет, заставляют солдат возвращаться из Балканского полуострова заклятыми врагами правительства и прямо попадать в центральные тюрьмы («где, за исключением таких солдат, нет политических арестантов», наивно говорят эти газеты).

Мы не говорим о народе, потому что без всяких слов очевидно, что освобождение его от всех или по крайней мере главной части угнетающих его условий требует прежде всего падения главного и центрального гнета, обслуживающего и направляющего все местные гнеты.

С исчезновением царя в Петербурге сами собой исчезают губернатор, исправник, становой, урядник в Глупове. А с их исчезновением остаются без дна и без покрышки эксплуататор, мироед, кулак, целовальник.

Обратимся к целям и идеалам интеллигентных классов. Последние годы русской реакции привели к тому, что все дышащее, за исключением шпионов и надпольных журналистов, задыхается, изнывает, трепещет. Общее бедствие всех уровняло. Все одинаково, бессознательно или сознательно, чувствуют, что так жить нельзя. Так в поезде, застрявшем в обвалившемся туннеле, страх, отчаяние, предсмертная тоска одинаково охватывают всех пассажиров I и III класса, людей, понимающих причину гибели, и бессознательных скотов. Все одинаково чувствуют, что воздуху нет, что дышать с каждой секундой становится невозможно, что идет смерть.

Большинство наших соочественников так называемых культурных классов принадлежит, к сожалению, к разряду тех пассажиров, которых возят в стойлах. Громадное большинство их умеет в казусных случаях, как обвал реакции, только дрожать и творить про себя молитву, что также безуспешно делают и четвероногие единомышленники их на бойнях. Поэтому не только говорить о них бесполезно, но и самую заботу о них можно бы предоставить обществу покровительства животных. Но во всяком случае несомненен тот факт, что в момент обвала, когда дело идет о том, чтобы выбраться из него, интерес людей солидарен с интересом скотов, заключенных в том же несчастном поезде.

Возвращаясь к человеческому миру, т. е. к миру существ, одаренных интеллигенцией, принципами, идеями, идеалами, и беря любое из этих существ, мы все-таки утверждаем, что и для него ближайшей и несомненной

целью само собою представляется уничтожение того пупа всех сетей суеверия, невежества, всякого воровства, всякого и лихоимства, каким у нас является монархия, уничтожение того, что в календарях называется всероссийской империей.

Eczasez l'infâme ! *

Мы понимаем, что этот клич может мало кого удовлетворить, как программа, потому что представляется лишь чистым отрицанием. Но мы не понимаем, почему бы всем не соединиться временно под этим лозунгом, представляющим все же первое и ближайшее решение всех задач. Во всех программах людей, угнетенных Вавилоном иудейских пророков с их идеальными стремлениями и языческих вождей, поднимавших только знамя национального освобождения, был один общий крик: Гибель Вавилону! Представьте, что завтра Вавилон рушится, искусственные узы разваливаются с уничтожением общего узла, насилие обессиливается, потеряв общий центр, вся машина останавливается, как часовой механизм, когда лопнет главная пружина, как чудовище моря, спрут, повисает бессильно как тряпками своими могучими прежде щупальцами, когда разрезан центральный мускул, так беспомощно развалится страшный земной исполин русской империи, когда пересечется жила самодержавия.

И тогда настанет свобода для борьбы идей и идеалов.

Поэтому, повторяем, общее дело теперь в том, чтобы давить, губить подлую империю.

ЖУРНАЛИССИМУС ГРАФ СУВОРИН-НАДПОЛЬНЫЙ

Нынче все графы. Петербургский палач, повесивший Дубровина и расписавшийся в этом — граф, одесский палач, известный прежде под именем Севастопольского героя, Тотлебен [1] aus Riga ** — граф, виленский палач Муравьев был тоже граф, а теперь потомство его графы. Немудрено, что и Суворин попадет в графы, если он побед ни при каких Рымниках не одерживал, то во всяком случае давал большое к ним поощрение, и хотя никого не повесил, но всегда выражал готовность повесить. Что касается титула «журналиссимус», то, лестно это или нелестно для русской надпольной журналистики 70-х годов, од-

* Уничтожить бесчестие *(фр.)*.

** из Риги *(нем.)*.

нако несомненно, что он ее вождь, глава, перл и прототип, как Булгарин был в 50-х и Катков в 60-х годах.

Так вот этот-то самый журналиссимус и граф месяца четыре тому назад объявил нам, подпольным: «Иду на вы! Обличу ваши неправды, раскрою и запродам ваши тайны, вникну во всю вашу суть, подобно тому, как мой Скриб[2], Молчанов, он же М-в, он же Друг, он же сотрудник «Набата»[3], проник в тайны Стамбульского дворца, и лорда Гладстона[4], и астраханских рыботорговцев, и проч., и проч.».

Мы, подпольные, натурально струсили: просто душа ушла в пятки. Да оно и понятно. Если лейтенант журналиссимуса, несчастный А. Молчанов, alias* Друг, alias М-в, может в один день рассказывать в «Нов. Вр.», как он беседовал в Париже с Гамбетой, в Лондоне с Гладстоном, в Константинополе с Мухмуд-пашой, в Астрахани с рыботорговцами, то мы ожидали от Суворина не более не менее, как обстоятельнейших сообщений о душевных излияниях ему г. Лаврова[5], о признаниях на груди его г. Ткачева[6], о тайнах, поверенных ему Г. Драгомановым[7], о посрамлении им редакций «Земли и Воли» и «Общего Дела» и т. д. Прочтя его угрозы, мы не сомневались, что все это будет пропечатано прескверным шрифтом на сквернейшей бумаге в «Нов. Времени» и чувствовали себя заранее бессильными. Войдите, читатель, в наше положение, в самом деле, в положение нашей братии, подпольных. Возьмем хотя бы меня многогрешного (перед III отделением). Расскажет Суворин в фельетоне «Нового Времени», что, напоив меня, нижеподписавшегося, пьяным в Café du Nord, выведал от меня то-то и то-то и посрамил так-то и так-то. Что мне делать? Его надпольный голос трубит во всех весях и дебрях пространной России, а мой протестующий вопль едва проникает сквозь щели в полу. При таких неравных условиях победа его обеспечена, и мне остается из-под моего пола сквозь землю провалиться.

Но дурак не сообразил своих выгод, и поэтому вышло, что «наделала синица шума, а моря не зажгла». Верно или неверно (этого я не скажу — пусть страдает), дурак думал, что карающая подпольная десница может повсюду его настигнуть, и к вечному стыду своему выступил после всех громовых увертюр с обличением — кого же? — издателя какого-то поэтического журнала, чего-то в роде

* он же *(фр.)*.

«Вестника Истинной Веры», который относится к русской заграничной прессе, как какой-нибудь мормонский журнал к прессе Соединенных Штатов. Месяца через два, набравшись духу, он попробовал еще коснуться «Очерков России», но ему опять примерещилась, должно быть, карающая десница, потому что он наболтал такого вздора, что не разберешь, критика это или комплименты. Затем, когда его в России взяли за уши за пасквилянство, он ни к селу ни к городу заявил, что купается «в волнах Бискайского залива». Если он этим намекал, что думает смыть с себя свое свинство, то напрасно. В каком бы заливе он ни купался, все будут знать, что это не более, как тот же Тряпичкин, который в 1873 г. по случаю убийства собственной жены настрочил репортерский фельетон Коршу и получил с него построчную плату. Теперь, возвратясь в Петербург, он думает пустить пыль в глаза хвастовством, что с одной розничной продажи получает по 400 р. в день. Но и это напрасно. Хоть ты вызолотись или, более по-русски, облепи себя радужными, все-таки все знают, что настоящая цена тебе грош, по прежней таксе Корша, а что в золото ты попал единственно потому, что новое время есть старое время Булгарина.

Таким образом, благодаря спасительному страху карающей десницы, миновал нас грозный финал, готовившийся нам из руки этого проходимца. Иначе попасть бы нам в одну кашу с несчастным Гладстоном, которого Друг-Молчанов, вероятно для вящего соблюдения Coulear locole *, называет «вашим превосходительством», с Махмуд-пашой и с астраханскими рыболовами.

НОВАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ

Старая мораль умерла. Еще во имя ее раздается правосудие, и прокуроры мечут свои молнии, но уже общественная совесть отвергла ее и предала забвению. На двух противоположных концах Европы, в России и во Франции, суд присяжных беспрепятственно заявляет об этом разделе общественной совести с старой моралью, говоря «невинен» там, где она вопиет: «распни его!» Это повторяется так часто, что уже защитники старой морали выступают против самого учреждения присяжных,

* местный колорит *(фр.)*.

Кроме ее сиротеющей челяди, никто, конечно, не пожалеет о покойнице. Это была лицемерная лгунья, весь авторитет ее был основан только на массе тупейших предрассудков. Эта чопорная старая дева учила терпеть проституцию и предавать позору брак, заключенный без участия попа и чиновника. Нана[1] гарантирует ей часть ее поклонниц, а Ромео и Джульета для нее débauche! * Она учила драконовски карать голодного за покражу куска хлеба и равнодушно смотрела на периодическую гибель сотен рабочих в рудниках для увеличения дивидендов акционеров. Шейлок[2] перед ней был только потому неправ, что забыл оговорить в контракте кровоизлияние.

Эта мораль была наследницею длинного ряда других, которые все в свое время жили, судили, рядили, пока, истаскавшись и обветшав, не предавались забвению и не заменялись новой. Были морали, не только допускавшие гладиаторские побоища, но считавшие безнравственным уклонение от них; были морали, требовавшие сжигания детей в руках раскаленного идола и вдов на костре мужа. Каждая из них была продуктом известного общественного строя, резюмировала его идеи и отношения, изменялась вместе с ними и вместе с ними погибла. Так, напр., от Моисеева законодательства до прошлого века лихва во всех моралях признавалась одним из безнравственнейших явлений, каралась и религиозным, и гражданским законом. Вместе с появлением машинного производства и капитализма явилась утилитарная мораль Бентама, признавшая лихву законной, и в настоящее время она открыто делит власть над миром с его старым царем — насилием.

Таким образом мораль так же несовершенна, изменчива, разнообразна, как несовершенны, изменчивы, разнообразны общественные условия и отношения, которые она выражает. Разочарование в них ведет к разочарованию в ней; их отрицание есть вместе с тем и ее отрицание. Но как, помимо всех временных и изменчивых форм и условий социальной жизни, всегда остается неизменным и вечным факт общежития, без которого человек немыслим, так и помимо разных условных, меняющихся моралей остается факт человеческой нравственности, без которой человек является уродом. Как мораль порождается известной социальной формой, так нравственность есть результат самой общественности, и потому она вечна. Нравст-

* разврат *(фр.)*.

венность в человеке есть совокупность понятий его о нормальных отношениях своих к другим людям; эти понятия поселяются в нем и прививаются ему отчасти бессознательно, в детстве, как понятия времени и пространства, отчасти вырабатываются в нем сознательно, когда он начинает мыслить. Нравственный человек тот, который имеет довольно самообладания, которого я довольно энергично, чтобы следовать этому своему идеалу нормальных отношений к людям, не давая минутным интересам, вспышкам животного эгоизма, увлечениям физических страстей отвлекать себя от него. Нравственный человек — человек сильный. Безнравственный человек также поклоняется идеалу нравственности, но его задерживающие центры слишком слабы, чтобы противиться рефлективным движениям животного инстинкта. Отсутствие нравственного идеала есть психическая болезнь, известная в психиатрии под именем schizophrenia *, и совершенно аналогичная с другими уродливыми дефектами и атрофиями. Такие люди так же редки, как безголовые, безногие и безрукие от природы люди или как слепорожденные. Недавно, впрочем, один психиатр (г. Якоби)[3] доказал, что это уродство развивается роковым образом, как скоро человек будет изъят из своего нормального состояния общежития. В таком ненормальном положении находятся Робинзоны на необитаемых островах и тираны в своих дворцах. И Робинзон, и тиран совершенно изолированы от людей, живут вне человеческих отношений; правда, тирана окружают человеческие существа, но он не имеет к ним тех отношений взаимности, которые связывают всех людей друг с другом. Если тиран вышел из общества и, стало быть, имел нравственный идеал, он скоро атрофируется в нем от бездействия и уже не передается наследственно его детям, которые не могут и приобрести его извне, таким образом, уже во 2, 3 поколении являются такие уроды, как Калигулы, Комоды и ныне благополучно царствующие потентаты[4], и чем дальше, тем безголовее, пока не прекратится неживучая порода монстров.

Но оставим уродов. Нормальные люди одной эпохи и одинакового общественного положения имеют в огромном большинстве одинаковые нравственные понятия, потому что хотя в выработке их и участвуют индивидуальное мышление, по главная масса их дается общими впечатлениями бо-

* шизофрения *(лат.)*.

лее или менее одинаковыми. Поэтому огромное большинство современников одного общества руководствуются одною моралью, вместе идут за ней и вместе бросают ее, когда обнаруживается ее ложь. Тогда наступает тяжелое, роковое переходное время, когда старая мораль умерла, а новая еще не укрепилась, не выяснилась, не приобрела авторитета и господства над умами. Против людей, открыто отвергающих старый общественный строй, а следовательно, и вытекающую из него мораль, раздаются обвинения в безнравственности. Я говорю не о тех заинтересованных обвинениях, которые бессмысленно слышатся из пастей продажных и бессовестных защитников старого порядка, защищающих его по стольку-то за строчку и повторяющих один за другим избитые фразы о развращенности подрывателей основ, эти кликуши не заслуживают, чтобы о них говорить. Я говорю о людях, глубоко убежденных в негодности старого порядка и его морали, но которые тем не менее смотрят со страхом на отсутствие всякой определенной нравственности в переходный момент. Так, напр., Андре Лео[5] так начала ряд своих статей о «Новой Морали»: «Страшный разброд, в котором мы живем с тех пор, как не существуют более старая вера и старая нравственность, есть зло и болезнь нашего времени, в нем и тайна нашей слабости в то время, когда дело наше имеет за себя и дряхлость старого порядка, и число, и общий интерес, и право, и силу вещей, двигающую ныне человека на новые пути. Слишком многие из нас довольствуются простыми отрицаниями, слишком многие, конечно мужественные и искренние, полагают, что достаточно знают, что нужно делать, если знают, что нужно уничтожать. Это просто, но этого недостаточно».

Вот что говорит писательница, которая сама принадлежит к партии, обвиняемой в безнравственности. Но что же делать? Мораль есть выражение известного общественного строя. Новый строй, который должен заменить разрушаемый старый, существует пока только в теории, породить новую мораль он еще не может, логикой мы можем заранее угадать черты этой новой морали в том виде, как она должна вытечь из известных нам в теории новых социальных основ. Но жить и руководствоваться ею мы не можем, такая попытка была бы так же наивна, как попытка устраивать в старом порядке образчики нового, Икарии, фланстеры и коммуны, эти попытки принадлежат к периоду социализма мечтательного, можно сказать, ре-

лигиозного, а не научного, и разумеется были обречены на полнейшее фиаско. Андре Лео в своих статьях именно и старается очертить начала той новой морали, которая вытечет из будущего нового строя общества, но верно или неверно указывает она их, во всяком случае эти указания не пополняют того недостатка, на который она жалуется. Для нас эта мораль не может существовать, как бы ни была она верна для будущего человечества.

Откуда же взять мораль? Из положений общей, вечной нравственности? Но они слишком общи, чтобы иметь практическое значение. Истинны правила: «Поступай с другим так, как желаешь чтобы с тобой поступили», «Возлюби ближнего своего как самого себя», «Все за одного, один за всех» — но далеко ли уйдешь с ними в обществе насилия, хищничества, предательства, лжи? В нравственности, как во всем, временная условная форма нераздельна с вечным абсолютным содержанием, только извлекатели квинтэссенций делают между ними различие: нравственность вечна и абсолютна, но является всегда в определенной форме какой-нибудь условной морали, как и вечный факт общежития, из которого она вытекает, является в конкретной форме известного социального быта, поэтому отвлеченная, абсолютная нравственность не может никак заменить недостаток положительной морали.

Люди, которые, подобно мне, были молоды 20 лет тому назад, в начале 60-х годов, в увлечении борьбы против старой, заеденной трихинами морали, довольствовались тем отрицанием, о котором говорит Андре Лео. Мы прошли в школе старой нашей наставницы такие тиски, что думали только, как бы вырваться на свободу. Свободы! Свободы! думали мы, свободы от всего, на свободе все само собой хорошо устроится. Иные из нас, как Д. И. Писарев, доходили до отрицания всякой абсолютной нравственности, до проповедывания полнейшего индивидуализма в понимании добра и зла. Мы боялись слов «долг», «обязанность», «право», прибегали к перифразам, когда наталкивались на эти слова. Я не жалею об этом увлечении, я считаю его естественной и необходимой фазой развития, но нельзя не сознаться, что оно приводило к печальным недоразумениям и злоупотреблениям. Один так называемый женский вопрос дал множеству самых пошлых дон Жуанов возможность разыграть под личиной свободомыслия множество пошлейших историй. Человек, которого уже, конечно, никто не заподозрит в умеренности, покойный друг

мой, М. А. Бакунин, писал в хранящемся у меня частном письме в ответ одному из ярых обвинителей молодежи в безнравственности: «Старая нравственность, основанная на религиозном, патриархальном и словесно-социальном авторитете, безвозвратно рушилась. Новая далеко еще не создалась, она предчувствуется, но так как действительно осуществить ее может только коренной социальный переворот и ни одно лицо, отдельно взятое, не в силах ее создать, она еще не существует, молодое поколение ее ищет, но еще не нашло, отсюда колебания, противоречия. Все это правда и все это очень неприятно, больно и грустно, но натурально и неминуемо».

Письмо это писано в 1867 году. С тех пор прошло еще 10 лет в тщетных исканиях новой нравственности. Наконец она явилась сама собой, как скоро возникло необходимое для выработки ее общество. Мы, люди 60-х годов, протестовали по мере сил наших, страдали, жертвовали, но все это делалось вразброд, пассивно, как агнецы шли мы на заклание за наши убеждения, но как ни многочисленны были закалываемые жертвы, все они были одиночны. Мы так же не составляли воинствующего лагеря, как олени парка перед охотниками. Происходила не борьба, а травля. Наконец, по сигналу героини, имя которой будет жить в памяти цивилизованных народов, как имена Гармодия и Телля, такое пассивное положение прекратилось. Против лагеря «обагряющих руки в крови» восстал строем «стан погибающих за великое дело любви», погибающих не пассивно, а с честью, в сильной, порой победоносной борьбе.

В одно поистине прекрасное утро лагерь старого порядка, лагерь старой морали, лагерь шпионов, прокуроров, крепостников, обратившихся к буржуазному идеалу, буржуазов, раскаявшихся в отрицании крепостничества, лагерь всяких ликующих, вместо пассивной массы, с которой он привык иметь дело, увидел против себя настоящее общество среди общества, увидел людей, тесно сплоченных общей целью, общим идеалом, общими чувствами и понятиями, одним словом, всеми связями, конституирующими общество.

Раз явилось новое общество, явилась в нем и новая мораль. Эта мораль до сих пор не формулирована ни в каком декалоге, не начертана ни на каких скрижалях. Дураки до сих пор могут поэтому повторять, что мы не признаем никакой нравственности, что, отвергая старое, мы

ничем не заменяем его. Единственный писатель, почуявший новую нравственность, г. Тургенев, не мог или не умел выставить ее (в романе «Новь») иначе, как в самых тусклых чертах. Но и в своих бледных или карикатурных обликах он провел мысль, что истинная, вечная нравственность вся целиком перешла на сторону новой морали, оставив совершенно людей старой морали. Эта основная мысль проведена так ясно, что я своими глазами созерцал пену у рта «ликующих и праздно болтающих», когда они восклицали: «Стало быть, выходит, что мы все подлецы, а те все честные!»

Отметить главные черты этой новой морали и есть задача настоящей статьи.

Так как всякая мораль есть выражение породившего ее общества, то понятно, что мораль общества по преимуществу воинствующего носит воинствующий характер. Как первый проповедник христианской морали, бывшей при нем тоже новой, провозглашал: «Кто не за нас, тот против нас»! — так и новая нравственность берет за основание правило: «Благо есть то, что служит революции или вредит старому порядку, зло есть то, что вредит революции или служит старому порядку». Ханжи нравственности, потому что нравственность еще более чем религия имеет своих ханжей, готовы будут поднять крики о безнравственности этого принципа. Стало быть, скажут они, вы отрицаете даже положение той вечной и неизменной нравственности, с признания которой вы начали? Вы отрицаете ее безусловность, принимая или отвергая ее правила, смотря по их пригодности или непригодности для ваших целей?

Мы ответим этим ханжам, покажите нам какую бы то ни было мораль в истории, какое бы то ни было нравственное учение, которое поступало бы иначе. Абсолютная нравственность гласит: не убий! И тот же человек, который начертал ее на скрижали, вслед за тем велит своему народу избить 23 тысячи мятежников. «Убийца — преступник»,— говорит мораль прокуроров и тут же, обращаясь к солдату, прибавляет: «Ты будешь преступник, достойный казни, если по команде начальства не убьешь брата твоего, стоящего в рядах бунтующей толпы».

Есть много других фактов, которые сами по себе индифферентны и потому общей нравственностью вполне допускаются, но которые оказываются несовместимы с моралью борющегося общества. Возьмем, наприм., патрио-

тизм. Чувство невинное, даже, пожалуй, похвальное. Не признавать в природе вида лучшего, как вид Москвы с Воробьевых гор, не признавать иного кваса, кроме московского, не знать зрелища более возвышающего душу, как зрелище пасхальной процессии в Кремле,— все это дышит безобидностью и святой простотой. Но ежели у этой божьей коровки вырастает жало скорпиона, если она вносит разладицу, воскрешает затихшие распри, силится раздуть искру потухших антисоциальных предрассудков и страстей, тогда она делается глубоко безнравственной и требует позорного клейма.

Такова новая нравственность. Она уже есть, живет и повелевает нами. Сознательно или бессознательно, мы следуем и повинуемся ей. Новое поколение, растущее теперь, всасывает ее с молоком, воспринимает с первыми впечатлениями, и в нем она будет действовать со всей силой категорического императива. В нас же она еще не может иметь этой силы, потому что мы восприняли ее уже сознательным мышлением. Чтобы еще в нашем поколении приобрести эту силу, ей необходимо вооружиться тем, что всегда дает силу всякой новой морали — нетерпимостью. Провозгласим же нетерпимость. Ханжи опять говорят против этого. Они искусно смешивают нетерпимость в деле веры с нетерпимостью в вопросах нравственности и стараются подвести вторую под непопулярность первой. Но в этом громадная разница. Вера не зависит от воли, и потому здесь нетерпимость — гнусная бессмыслица. В нравственности потачка злу есть сообщничество, отрицание нравственности, и потому здесь терпимость безнравственна. Будем нетерпимы не только ко всякому положительному злу, но и к индифферентным самим по себе фактам, если они прямо или косвенно служат тому, что мы признаем ложным, безнравственным. Всякая потачка злу есть измена благу, преступление против духа истины, тот Иудин грех, который не прощается.

Н. В. Соколов

ОТЩЕПЕНЦЫ

Когда Наполеон I водил на бойню свои армии и беспрестанно требовал у Франции пушечного мяса, тогда случалось, что в деревнях крестьяне отказывались умирать во славу великого императора и бежали от набора. Какое было им дело до громкой славы и до полета наполеоновских орлов, которые залетали в Берлин, в Вену, в Ватикан и в Кремль! Облака порохового дыма не доносились до хижин, повисших на обрывах гор или заброшенных в глубину долин. Крестьяне были привязаны к своим зеленым лугам, к своим желтым нивам; они крепко держались за свою почву, как деревья, которые на ней выросли, и проклинали руку, вырывавшую их из нее. Люди полей, они не признавали такого закона, который мог бы лишить их свободы, обратить их в героев, тогда как они желали остаться крестьянами. Они не боялись опасности, не содрогались при рассказах о сражениях; их пугали не сражения, а казармы; не смерть страшила их, а жизнь. Славным походам по всему миру они предпочитали уединенные ночные прогулки вокруг хижины, где умер их старый дед с длинными седыми волосами, хотя бы гулять приходилось на глазах жандармов. Утром того дня, когда рекруты должны были отправляться в поход, они вставали до восхода солнца и укладывали свои мешки — мешки бунтовщиков, снимали со стен старые ружья, отцы давали им пуль, матери снабжали хлебом, и, распростившись, они заходили в конюшню взглянуть последний раз на лошадушку, а потом уходили и терялись в дали полей.

Их называли: *«Отщепенцами»*.

Я буду говорить не о них. Мои *«Отщепенцы»* бродят в грязи городов, не обладают этими наивными добродетелями, не любуются восходом солнца.

Есть люди, покаявшиеся жить свободно. Вместо того, чтобы принять положение, которое свет предлагал им, они хотели сами добиться смелостью и талантами того места, которое им нравилось. Они думали, что могут силою своей воли разом достигнуть цели своего честолюбия, овладеть предметом своих желаний. Они не хотели смешаться с толпой и взять в жизни номер. Пошлость рутинной *практической* жизни была им невыносима: они не могли долго терпеть ее, расходились с обществом и отрешались от него. Вместо того, чтобы идти по большой дороге, они побрели в сторону по полям и очутились в страшном одиночестве, в безлюдной степи. Я называю их *«Отщепенцами»*.

Отщепенцы те, которые делали все и ничем не сделались; которые учились всему: правам, медицине, естествознанию, военным наукам, математике — и не приобрели ни чина, ни диплома, ни привилегии, ни ученой степени.

Отщепенец — профессор, сбросивший свою мантию,— офицер, променявший мундир на цветную рубашку волонтера,— адвокат, пошедший в актеры,— священник, сделавшийся журналистом.

Отщепенцы — спокойные безумцы, восторженные труженики, мужественные ученые, которые проедают свои гроши и проживают свою жизнь, отыскивая причины общественных зол и бедствий, проповедуя вечную республику, блаженное социальное устройство, личную свободу, гражданскую солидарность, экономическую правду.

Отщепенцы — беспокойные люди, жаждущие только шума и волнений, воображающие, что им непременно нужно выполнить какое-то призвание, совершить какое-то священнодействие, защитить какое-нибудь знамя.

Отщепенец тот, кто не стоит твердой ногою в практической жизни; кто не имеет ни профессии, ни состояния, ни ремесла; кто не может ничем назвать себя: ни мастеровым, ни художником, ни чиновником, ни военным, ни доктором, ни купцом, ни башмачником, ни священником; у кого нет ничего, кроме своей глупой или великой, жалкой или славной мании,— все равно, как и чем бы он ни занимался: или искусством, литературой или астрономией, магнетизмом, политикой или хиромантией; все равно,— чего бы он ни добивался: основать ли банк, школу или религию, журнал, фаланстер или республику.

Отщепенцы все те, кто не думал, не умел или не желал подчиниться общей доле; кто побрел наудачу, на произвол судьбы; все те бедные сумасброды, которые, выходя

в жизнь, надели семимильные сапоги и очутились в лаптях, далеко в стороне от дороги.

Отщепенцы, наконец, все те люди, ремесло которых не показано в статистических списках: изобретатели, поэты, трибуны, философы и герои.

Свет хочет обратить их в мытарей, в рабочих своих мастерских, в узаконенных, прописанных деятелей; но они удаляются от него, хотят жить особою жизнью, незавидной и горькой.

Сельский отщепенец пользуется, по крайней мере, дружбой поселян, любовью деревенских красавиц. О нем говорят на вечеринках; он всегда найдет под каким-нибудь камнем запас пороха и хлеба. Ему приходится бояться только жандармов, да и то, если «голубые» подойдут слишком близко, он подымет дуло своего ружья... еще шаг — и он выстрелит.

Но столичный отщепенец идет без хитрости и притворства, среди свистков и смеха, с открытой грудью, неся пред собой, как светоч, свою гордость. Приходит гонение и нищета и задувают этот светоч, схватывают безумца и свергают в пропасть. Я видел храбрецов, людей великодушных, благородных, которые увядали и умирали, потому что бесстрашно насмеялись в глаза практической жизни, потому что презрели ее требования и опасности. И она отомстила им, погубив их смертью медленною, в продолжительной агонии, полной жестоких огорчений, тяжких страданий, бесчеловечных мучений <...>

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОТЩЕПЕНСТВО

I

СТОИКИ [1]

В падении римской империи первый раз история представляет нам в громадных размерах зрелище смерти общества. Здесь мы встречаем трагические фигуры тогдашних отщепенцев, быть может, не умевших жить, но за то умевших умирать.

Когда, после веков дикой неурядицы и борьбы, победители подумали, наконец, о том, чтобы дать обществу, в котором они достигли господства по праву сильного, постоянные формы и прочные учреждения, они возвели в закон и право, в теорию и абсолютную истину все, что видели вокруг себя и что создалось насилием, смертельной

борьбой, анархиею и грубым варварством. Таким образом возникло первое основание римского права — уложение децемвиров [2]. Это уложение, эти так называемые Двенадцать Таблиц заключали в себе провозглашение государственным и гражданским правом всего, что произвели в обществе столетия кулачного права. Одно из основных положений их гласило следующее:

«Призови своего должника в суд.— Если он не пойдет, возьми свидетелей, принудь его. Если он будет противиться и захочет бежать, наложи на него руку. Если старость или болезнь не позволяют ему явиться, дай ему лошадь, но не давай носилок».

«За богатого пусть отвечает богатый, за пролетария — кто хочет. Когда он признает долг и дело будет решено, дай ему тридцать дней сроку, потом наложи на него руку и приводи к судье. Суд закрывается с закатом солнца. Если он не заплатит своего долга; если никто не захочет отвечать за него,— заимодавец уводит его и вяжет веревками или цепями, весом в пятнадцать фунтов; а захочет заимодавец, то и меньше пятнадцати фунтов. Пленник должен жить на свой счет. Если же не может, то дайте ему фунт муки или, если хотите, то и больше».

«Если он не заплатит, то держите его в узах шестьдесят дней; но трижды в торговые дни выводите его в суд и объявляйте на площади, сколько он должен».

«На третий торговый день, если заимодавцев несколько, пусть они разрежут тело должника. Отрежут ли они больше или меньше, никому нет дела. Если хотят, они могут продать его за Тибр [3] чужеземцам».

Таково было право, из которого выработалось и развилось позднейшее законодательство и шла несколько веков жизнь общества.

Это право имело гибельные последствия. Через 400 лет после того, как децемвиры формулировали в положениях Двенадцати Таблиц дух римского общества, Тацит [4] писал: «Лихоимство, наш старинный порок,— главная причина всех гражданских междоусобий и возмущений; постановления против лихоимства нарушались самими сенаторами, и ни один из них не был чужд этого преступления».

Общество, основавшее свое право на лихоимстве и насилии, а свою жизнь на рабстве и вечной борьбе, стало, наконец, неудержимо банкротиться. «Что защищать? Что преобразовывать? — писал Тиберий [5] сенату.— Эти громадные развалины, этот народ рабов, что ли?»

Действительно: преобразовать было поздно, защищать нечего. Увлеченное логикой своих принципов, общество неудержимо стремилось к ликвидации, вымиранию и разрушению. Конечно, мало кто из современников понимал это, а кто и понимал, то не всякий высказывался. Многим империя казалась спасительной реформой: льстецы славили вечный мир, дарованный миру Августом [6]. Идиот Клавдий [7] и свирепое чудовище Каракалла [8] совершали благодетельные и гуманные реформы; процветали искусства и литература; знаменитые юристы увенчивали величественное здание римского права; во главе науки стоял Плиний [9]; Тит Ливий [10] и Тацит писали историю; поэты предсказывали золотой век:

Hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, Augustus Caesar, divi genus; aurea condet saecula qui rursus Latio, regnate per arve Saturno quondam *.[11]

Однако, если сам император признавался в бесплодности всяких реформ, то, значит, зло было довольно велико и очевидно. Если сам защитник порядка говорил прямо, что не видит ничего, что было бы достойно защиты, значит, он понимал, что люди давно сами знают это и что разрушение общества для многих не секрет. Да и могло ли оно быть тайной, когда, при начавшемся банкротстве, погибли все немногие украшения, которые прикрывали несостоятельность и варварство общественных начал, погибли те внешние формы свободы и права, которые составляли благополучие, если далеко не всех, то по крайней мере аристократического меньшинства. Тогда-то пришлось испытать печальные результаты всего общественного строя и тем немногим, которым до сих пор этот строй был выгоден. Поэтому первый протест против разлагающегося общества вышел из среды аристократии. Протестантами явились те самые люди, которые, подобно Бруту [12], пускали деньги в рост на 50 процентов, подобно Катону [13], морили с голоду состарившихся рабов или, как Сенека [14], были первыми богачами своего времени и Нероновскими министрами.

С этой стороны упреки, делаемые большинству стоиков, совершенно справедливы, как справедливо, разумеет-

* Вот он, тот муж, о котором тебе возвещали так часто:
Август Цезарь, отцом божественным вскормленный, снова
Век вернет золотой на Латинские пашни, где древле
Сам Сатурн был царем *(лат.)*.

Перевод С. Ошерова

ся, и то, что такие протестанты не могли видеть истинных причин зла и обращать свое негодование против того, что действительно заслужило его. Так, Бентам [15] мог основательно заметить, напр[имер], что со стороны Сенеки и Плиния было крайнею близорукостью и мелочностью вопиять, как против величайшего преступления, против употребления духов или льда летом. Но недальновидность и узость многих представителей стоицизма не должна заслонить собою в наших глазах того, что в этом направлении было хорошего и законного. Оно было законно, как всякий протест против общества, подобного римскому времен упадка.

Несмотря на свой аристократизм и недостатки, стоики вообще были железные, сильные люди, которых не мог сломить деспотизм или коснуться растление общества. Они были достойные потомки Торквата [16], Муса и сенаторов гальского нашествия [17] и битвы при Каннах [18]: такие же суровые, непреклонные аристократы и такие же твердые, непоколебимые граждане. Как те, среди величайших опасностей частых войн, были недоступны чувству страха, так неустрашимы были стоики в виду жестокого насилия деспотизма. Как те, после самых страшных поражений, вели себя, как победители, и отвергали всякую мысль о мире; как те хотели, побежденные, предписывать мирные условия и отвечали торжествующему врагу, что до тех пор не может быть и речи о переговорах, пока последний солдат его не очистит Италии,— так и враги империи не допускали возможности никаких компромиссов с этим порядком вещей, держали себя с большею гордостью, чем сам император, и не хотели слышать о примирении с ним, пока он не возвратит похищенной свободы.

Но все было напрасно, и протест их не мог остановить упадка общества, положить предела развитию деспотизма.

Да, все, что современникам Цезаря [19] казалось временным бедствием, случайным неблагоприятным стечением обстоятельств, должно было кончиться не прежде, как с последнею искрою жизни в древнем мире. Все более и более приходилось убеждаться в этом людям позднейшего времени. Надежда на прекращение зла постепенно исчезала, и наконец каждому, кто еще пытался плыть против течения, представилась ясно, как дважды два четыре, роковая дилемма: или заключить с действительностью полюбовное соглашение, или выйти вон из общества. Стоики всегда избирали второе решение. Они отказывались от со-

глашений без всякой задней мысли, хотя не могли не видеть, к чему их поведет такое решение вопроса.

Жить свободным в обществе, подавленном деспотизмом, жить среди доносчиков и развратников, жить разумно в мире, управляемом безумием или прихотью Калигул [20] и Неронов,— невозможно. Тогда человеку, нежелающему мириться с негодным порядком вещей, дорожащему своею личною чистотою, своим человеческим достоинством, уважающему себя и верующему в себя, остается одно из двух: если у него есть в будущем верования и надежды, если идеал его впереди, то он найдет в себе силы, не отказываясь от жизни и деятельности, направить их против того, что ему ненавистно, и победить или умереть в этой борьбе. Но если человек не предвидит в будущем ничего; если идеалы его все в прошлом, позади его; если, короче, он не желает, а жалеет, тогда ему остается только выход из общества, отречение от жизни.

Человек с заглушенною совестью, как Тиберий, поняв эту безнадежность общества, обратил бы его не только в орудие своего честолюбия, но и в средство оправдать себя перед нравственным судом. Он сказал бы, что общество пало так глубоко и низко, что поднять его невозможно; что всякого, кто попытается сделать это, ожидает гонение и отлучение этого же самого общества; что, следовательно, всякий должен думать только о себе, и умный человек может делать с таким стадом все, что нужно ему для своих интересов, не обращая внимания ни на его мнение, так как оно льстиво и продажно, ни на *право* и нравственность, так как их не существует.

Но стоики были люди слишком честные, чтобы обратить свое понимание общества в средство покутить на его счет и оправдать этот кутеж. Они не хотели торговать своим взглядом на современную им жизнь и выковывать себе из него броненосную совесть и медный лоб, для совершения самых вопиющих злодеяний, для участия в самых цинических оргиях. Но не имея в то же время идеала впереди себя, не видя, откуда могло бы прийти спасение, отчаявшись в человечестве, они смело решались на удаление из жизни и часто доводили это решение до крайних его последствий — до самоубийства. Этим они доказали, что умеют делать логические выводы из принципов, а главное, не робеют перед этими выводами и принимают их чистосердечно, с полной готовностью последовать всему, что они укажут им.

Конечно, такие люди не отступали перед другими последствиями своего взгляда на жизнь. Плиний-младший [21], например, будучи адвокатом, ни разу не взял ни малейшего вознаграждения от тех, кто обращался к нему с делом, находя, что защита истины, права или невинности — не такая вещь, которою позволительно промышлять. Плиний-младший действовал таким образом в эпоху, когда все было продажно. Впрочем, он не был единственным стоиком, умевшим соглашать принципы с действиями. Если история более говорит нам о геройских самоубийствах людей этого направления, чем о великих подвигах самоотверженной деятельности их жизни, то это потому, что в их положении, с их безнадежным взглядом, не возможна была честная деятельность.

Как Тиберий, так и стоики находили, что исправлять и защищать нечего, только делали из этого другой вывод. «Если так,— рассуждали они,— то, стало быть, не может быть никакой деятельности; практическую жизнь с ее треволнениями и передрягами следует предоставить подлецам, которых она одних достойна и которые одни способны не брезгать ее помоями. Честный человек должен отказаться от всякого дела (а это ему было тем легче, что в распоряжении его был труд сотни или тысячи рабов) и уйти в самого себя, пока, наскучив своим одиночеством, не найдет самым простым и лучшим — вскрыть себе жилы».

Самые последовательные и честные стоики не те, о которых больше всего говорит история. Это не мудрые философы, не бескорыстные адвокаты, не благодетельные проконсулы, как Плинии. Это не Сенека, который, воспитывая Нерона, воображал, что может принести пользу миру, дав ему идеального повелителя. Это не Марк-Аврелий [22], который, при своем безнадежном миросозерцании, был убежден, что все в жизни vanitas vanitatum *. Нет, настоящие, искренние стоики стоят в истории на заднем плане: их строгие, величественные, грустные фигуры виднеются как бы в тумане, в глубине мировой сцены, занятой толпами алчущих, дерущихся, добивающихся жизни и ее благ, ищущих, озабоченных, суетливых. Это — люди, которых заставляла говорить только их смерть, которые после долгого молчания выступают вперед лишь затем,

* суета сует *(лат.)*.

чтобы пронзить себе грудь,— люди смерти, а не жизни. Это — Тразеа[23], Лабиен[24], а из всемирно-исторических имен разве один Эпиктет[25] — этот римский аскет — брамин, этот предшественник Антониев[26] и Пахомиев[27].

Это весьма понятно: честному стоику были заказаны все пути. Что ему было делать? Управлять обществом в качестве государственного человека, когда он признавал только свободное общество, а в современном свобода была немыслима! Двигать вперед науку? Зачем? Наука для науки? Да, для такой деятельности был только один честный результат — броситься в Везувий. А иначе зачем наука такому обществу? Учить умирающего, просвещать труп, развивать столетнего старика? Какая интересная деятельность! Или, быть может, принять участие в делах общества, в звании проконсула или другого чиновника, под ведением такого благонамеренного администратора, как Траян? Утешать себя мыслью, что хоть немного облегчишь кое-какое частное зло, хоть кому-нибудь сделаешь сносным существование, не допустишь двух, трех случаев грабежа? Но достойно ли это честного человека, который видит, что зло не в каких-нибудь злоупотреблениях, а в самом корне общества, что общество безапелляционно осуждено на погибель, что грабеж не случайность, а неизбежность?

А если так, то стоит ли решаться падать в эту грязь и жертвовать своими убеждениями, идти на компромисс из-за того только, чтобы зло коренное, необходимое и неизлечимое давало себя несколько времени слабее чувствовать! Не следует ли лучше желать, чтобы оно поскорее дошло до своего апогея, чтобы скорее все почувствовали и увидели воочию невозможность такого порядка вещей! Кто решился бы сделаться врачом, имея в перспективе не излечивать болезни, а лишь протягивать агонии, не избавлять людей ампутациями от страданий, а лишь продолжать на лишнюю неделю их гниение заживо? Как назвать такого врача?

Наконец, во времена римского упадка для людей с воззрениями стоиков невозможна была и та деятельность, которую особенно любят все отщепенцы и протестанты,— деятельность народных трибунов. Императоры могли не без успеха выдавать себя за защитников интересов народных масс. Та свобода, о которой вздыхали стоики, была свобода аристократическая, узкая, основанная на тирании, эксплуатации и рабстве. Представители кровавого права

Двенадцати Таблиц — что могли они ответить на крик народа — usura?!

Ответить на него было суждено людям другого нрава, других принципов, другого идеала.

Итак, вот почему протест стоиков был бессилен и мог заключаться лишь в отречении от деятельности с логическим заключением к самоубийству. Отрицая современный им порядок, они сами принадлежали по понятиям к ветхому миру, который умирал и которого этот современный порядок был законным детищем.

Вот почему отрицание их должно было останавливаться на полдороге. Они не враждовали с основаниями общественного быта, а только с теми явлениями его, которые возникли в последнее время. Они не отрицали ни рабства, ни завоевания, ни своего беспощадного права собственности, узаконенного точно драконом для Шейлока [28], ни своего семейного быта с рабством женщины, с освещенным самодурством отца. Они не отрицали мудрости своих юристов, ни политики своего сената, ни экономического антагонизма своих патрициев и плебеев, ни лихоимства своих всадников [29]. Все это казалось им непогрешимым, вечным, необходимым, без чего общество, государство были немыслимы, что стояло вне всякого сомнения и отрицания. Но все это как было основанием республиканского общества, так и осталось основанием общества имперского. Следовательно, чтобы отрицать порядок императорского Рима, необходимо было начать его с существенных оснований общества, а до этих-то оснований они и не подумали коснуться. Значит, истинными отщепенцами они не были и быть не могли.

Тем не менее на них с уважением и любовью обращались взоры позднейших, других отщепенцев иных обществ. И они, без сомнения, вполне заслуживают такой симпатии, потому что, если не могли придать своему отрицанию более глубокого смысла, не могли выразить его деятельностью, зато никто лучше, сильнее и *честнее* их не заявлял своего разрыва с обществом. Печален ряд этих мучеников без венца, без рая впереди, этих героев, осужденных на бездействие, этих скованных титанов...

Много еще жертв пожрал после них сфинкс, свирепствующий на пути прогресса человечества. Много жертв погибло в бою, на кострах и эшафотах, с голоду и в пытках, в застенках и на улице,— но едва ли не всех трагичнее была участь этих именитых и сановных, важных и аристо-

кратических самоубийц. Все, кроме их, умерли с верою, пали в борьбе. Одни они должны были сами произнести себе смертный приговор за неумение ужиться с обществом и за неспособность сильнее отрицать его.

Вот как изображает один современный отщепенец [30] личность одного из этих людей.

ТИТ ЛАБИЕН

Слыхали вы о Лабиене? То-то был странный человек! Представьте себе, что он непременно хотел остаться гражданином страны, где были только подданные! Возможно ли это? Есть ли тут смысл? «Civis Romanus sum» *,— говорил он и знать ничего не хотел. Он думал, как Цицерон [31], умереть свободным в стране свободы. Какое безумие! Быть гражданином и свободным! Разве это не сумасшествие? Без сомнения, голова его была не в порядке; мозг его был опасно поражен; по крайней мере так уверял врач Августа, знаменитый Арторий, который называл такой род безумия *резонерством* и советовал лечиться больному тюремным заключением. Лабиен не последовал докторскому совету и потому, как увидим, не выздоровел.

Тит Лабиен [32] носил имя, уже дважды прославленное честными гражданами. Первый Лабиен, полководец Цезаря, покинул его при переходе через Рубикон, чтобы не быть сообщником в его преступлении; второй [33] — предпочел служить скорее парфянам [34], чем триумвирам. Наш герой был третий в роде. Одна строка Сенеки-ритора вполне обрисовывает нам великую личность Лабиена, который сказал: «Я убежден, что правда, высказанная мною, поймется только после моей смерти». Первоклассный оратор и историк, Лабиен достиг славы, победив тысячу препятствий. О нем справедливо говорили, что он не вызвал, а так сказать — вырвал из груди своих современников крик невольного к себе удивления. Лабиен писал историческое сочинение, из которого по временам прочитывал несколько страниц верным своим друзьям... и то притворив двери.

По поводу этого сочинения в первый раз выдумали жечь книги, следуя совету одного сенатора, которого впрочем самого постигло вскоре придуманное им нака-

* Я — римский гражданин *(лат.)*.

зание. Таким образом, Лабиен первый в Риме заслужил честь вызвать против себя преследование власти за свободу убеждения. Это дикое преследование уже не новость в настоящее время либеральной подлости. Бедный погорелый историк не мог пережить своего сочинения: он скрылся навеки в могильном склепе своих предков. Лабиен думал, умирая, что творение его погибло,— но ошибся. Друг его, изгнанник Кассий, знал наизусть все, что он написал, и был, по собственному выражению, «вторым изданием сочинения Лабиена».

Смерть Лабиена была так же безумна, как и жизнь: он кончил самоубийством, как настоящий стоик. Стоило умирать из-за того, что сожгли книгу! Сенат не желал смерти виновного; он только хотел дать ему, как говорится, предостережение, которым следовало воспользоваться. Но этот отщепенец римской империи был так непрактичен, что решился лучше умереть добровольно, чем жить без воли, пресмыкаясь в рабстве и позорной трусости. Вот почему он спокойно и сознательно стал в ряды тех славных стоиков-самоубийц, тех последовательных и непреклонных противников империи, тех непрактических мудрецов, которые даже своею смертью хотели выразить протест и, вскрывая себе жилы, воображали, что делают неприятность императору. Некоторые убивали себя только для того, чтобы побесить государя, который смеялся над ними со своими наушниками и окончательно убеждался в достоинствах своей политики, видя, что дело делается само собою.

Таков был Лабиен, неисправимый, упрямый чудак!!. Дальше вы увидите, что он чудил постоянно и в суждениях своих никогда не мешал правды с кривдой и не терпел лицемерия. Разве это не смешно? Кто не согласится, что это был человек отсталый, потому что свобода была в то время старой штукой; он был реакционер, потому что желал возврата к убитой республике; он был приверженец старого порядка, потому что любил старую свободу и ненавидел новое рабство; короче, он был неисправимый отщепенец.

Да, Лабиен был из тех опасных людей, которых сильная власть должна приводить в трепет для успокоения добрых граждан, то есть для усыпления нечистой совести и развития общественных зол. Мало того, Лабиен был неблагодарен: в виду гордого владычества цезаризма, в виду славы, пожиравшей общее благосостояние, в

виду, наконец, разгула грязных страстей отупевших подданных, он отрицал благодеяния, которые щедрою рукою сыпал на людей второй основатель Рима, спасенного от республиканской свободы. Оп бесновался, глядя на падших римлян, и таил непримиримую ненависть к насилию. Злоба его была безграпична; власть Августа душила его; он не мог ни говорить, ни писать, ни действовать, ни двигаться, и потому по целым часам, на Сублициевом мосту, неподвижный и молчаливый, с яростным взором и угрожающим видом, точно статуя Марса-Мстителя, точно окаменевший трибун, стоял он на берегу Тибра, стоял под грозой и бурей.

«Пока длятся пищета и позор,— говорит Микельанджело [35],— всего лучше забыться сном или обратиться в камень». Лабиен не дремал, но был камнем неподвижным, твердым, как капитолийская скала (immodile saxum) *. Он не поддавался тирании и был неприступен для империи. Это был римлянин старого закала, которого ничто не могло своротить на путь бесчестья. Одинокий стоял он, как Коклес [36], между армией и пропастью, презирая обе. Он не боялся Августа и улыбался смерти. Пожалуй, в этом была доля хорошего, но говоря вообще, какой ужасный характер, какая железная воля! Ему не нравились даже великолепные медали Октавия, на которых были изображены три соединенные руки триумвиров и громкий девиз: «Спасение человечества!» Лабиеп уверял, что подобное спасение хуже убийства и повторял слова Горация [37];

«Когда тиран спасти вас обещает, гоните вон его; он ваш убийца!»

Старый Лабиен был из числа тех, которые видели республику. Это, конечно, была не его вина; но он имел глупость помнить это: вот в чем беда. Оп видел славное правление и был недоволен им. Есть же люди, которые всем недовольны! Сорок лет славы вместо того, чтобы открыть ему глаза, совсем ослепили его; оп походил на человека, который видит скверный сон, и действительность практической жизни казалась ему адским видением. Чудак! — Он постоянно удивлялся и никогда не верил совершившимся фактам. Эпименид [38], проспавший целое столетие, менее дивился, пробудившись, чем этот сумасброд. Среди всемирной радости он был печален; среди римской оргии он был мрачен и сердит. Живя в

* неподвижная скала *(лат.)*.

римском обществе, Лабиен был совершенно чужд ему и походил на грозное привидение, которое явилось будто с целью нарочно поразить ужасом живых и напомнить им о смерти. Его можно было принять за мертвеца, восставшего с поля битвы при Филиппах[39], за любопытную тень, пришедшую взглянуть, что делается. Когда приятели выражали ему свое сожаление, он отвечал им, что жалеет их самих.

Лабиен всегда ворчал про себя, глядя на империю, как на царство гадов. Его ни в чем нельзя было разубедить, ничему нельзя было научить, и все, что он знал, того не забывал. Современный порядок вещей понимал он по-своему, потому что в нем коренились все старые брутовские понятия. Он был пропитан до мозга костей греческим миросозерцанием, которое в Риме давно уже было неуместно. Он казался ветхим, как XII Таблиц, и держался обычаев Фабриция[40] и Камилла[41].

Какие невероятные фантазии, какие идеи приходили ему на ум! И в довершение всего, какая дикая, необъяснимая страсть! Вообразите себе: он любил свободу! Дело ясно: Тит Лабиен был не в своем уме. Любить свободу, понимаете ли — свободу!! — Ведь это отсталость, ретроградство, как думают либералы. Эти люди всегда любили либеральничать на словах, а на деле постоянно отвергали свободу, как опасную утопию, еще во времена Лабиена. Этот республиканец не был, конечно, либералом, в современном смысле, и не понимал, как можно, рассуждая о свободе, оставаться рабом и трусом.

Время шло своим чередом, а с ним и новые идеи: один Лабиен был неподвижен. Он верил еще в справедливость и в совесть. Вот сумасшедший мечтатель! Вот непрактичный гражданин! Он рассуждал о человеческом достоинстве, о гражданской свободе; он толковал о трибунах, комициях, не видя, что все это уже давно растаяло, как снег, и стекло в громадную клоаку, на краю которой он стоял почти одинок. Лабиен продолжал вести летосчисление по консулам, так как Август не уничтожил их, не желая уничтожить республиканской формы и воображая, что может обмануть словами. Лабиен сочинял по-прежнему речи к народу, как будто был еще народ; он говорил о законе, как будто в самом деле были законы. Империя казалась ему явлением временным, нелепой и позорной страницей в летописях Рима. Ему хотелось поскорее перевернуть эту страницу или изорвать ее. Он думал даже,

что это скоро кончится, и ласкал себя этой надеждой! Все считали его за сумасшедшего, и, как видите, он действительно был не в чужом уме.

Впрочем, Лабиен был добряк; — скорей упрямый, чем злой; — неспособный зарезать цыпленка, а тем более пожелать зла кому бы то ни было, разве, может быть, одному только Августу, да и то сомнительно. Добродушие его доходило до того, что он за наказание желал сослать Августа только на галеры ворочать веслом, между тем как все прочие единомышленники его хотели повесить. Притом, следуя стоикам, Лабиен полагал, что наказание отчасти полезно виновному: потому, можно сказать, он и Августу желал того благополучия, какое только можно было пожелать,— то есть искупления.

Однажды, гуляя вечером под портиком Агриппы [42], Лабиен встречает Галлиона [43]. Лабиен был старый чудак, а юный Галлион — практический мудрец, молодой человек серьезный и кроткий, образованный и изящный, вежливый, осторожный, внимательный, пожалуй даже — умеренный стоик. Полуподданный, полугражданин, Галлион был одновременно человеком старого и нового поколения; по крови метис, по убеждениям тоже; он служил нашим и вашим. По временам, как Гораций, он обращал растроганный взор на гробницу свободы, а потом также приветливо взирал на колыбель империи; он оплакивал Катона и улыбался при имени Цезаря. Вообще Галлион был юноша добродушный и любил немножко всех и каждого, даже Лабиена. Он приходился братом Сенеке, которому наскучило жить, и дядей Лукану, который не умел умереть. В это время только изредка попадались еще порядочные люди, а герои совсем вывелись. Народ падал и разваливался в прах, прежде статуй своих богов и храмов. Кое-где можно было еще встретить несколько римлян сомнительного достоинства, и к числу их принадлежал Галлион. Этот лицемер писал стихи для любимцев Мецената [44], и критики называли его «остроумным Галлионом». Да и как же было не считать его умником, когда он носил звание проконсула! По имени его называли «галлионистами» всех индеферентистов в религии, то есть тех, которые не поклонились истуканам, а молились своим богам — императору и его фаворитам. Именем Галлиона следовало окрестить и тех, которые были равнодушны к политическим вопросам.

Лабиен, ругая молодежь своего времени, вероятно, прошел бы мимо Галлиона, не поклонившись ему; притом Ла-

биен был вообще не очень вежлив.— Он был не любезнее тех знаменитых сенаторов, которые некогда так холодно встретили галлов, гордо сидя среди форума. Да и Галлион, может быть, в другое время не решился бы остановить Лабиена; но в ту минуту он был так счастлив, так взволнован; ему так хотелось кому-нибудь высказать то, что он слышал; ему так хотелось наконец посмотреть, какое впечатление произведет на Лабиена его известие, что он остановил его.

— Здравствуй, Тит! quid agis, dulcissime, rerum? * как твое здоровье?

— Плохо, если здорова Империя.

— Ладно! Все давно знают, что ты не весел; но я хочу сообщить тебе новость.

— Для меня не может быть ничего нового, пока живет Август.

— Знаю, знаю, что ты сердишься вот уже 30 лет и ни разу не улыбался со времен триумвирата. Знаешь ли, однако, что на днях вышли «Записки» Августа?

— С каких же это пор разбойники стали писать книги?

— С тех пор, как честные люди выбирают императоров.

— Жаль!

— Итак, любезный Тит, ты не будешь читать «Записок»?

— Прочитаю, Галлион, прочитаю со слезами стыда.

— И ты, конечно, станешь отвечать, разбирать, критиковать, короче — напишешь Анти-Цезаря, как Цезарь написал Анти-Катона?

— Нет, Галлион, я ничего не хочу писать об этом, потому что нельзя же спорить с человеком, у которого 30 легионов! В стране, где нет свободы, не следует касаться современной истории, потому что критика ее невозможна.

— Так ты не хочешь просвещать общество?

— Нет, я не желаю только участвовать в надувательстве его, потому что в настоящее время все, что пишется для публики, не может быть хорошо и ничего дельного появиться не может. Я стану продолжать свою историю и пошлю рукопись в верные руки Севера. Я спасу правду, послав ее в ссылку.

— Но все говорят, что критике будет дана свобода; тирания даст литературе восьмидневный отпуск.

— Дадут они свободу, знаю я,— свободу обманчивую,

---

* Что ты творишь, милейший мой? *(лат.)*

свободу карнавальную, декабрьскую свободу, libertas decembris,— как говорит Гораций.— Не надо мне такой свободы! Я не хочу писать против этой книги и вызывать месть Октавия или милосердие Августа. Я не хочу, подобно Цинне [45], дать шуту случай разыграть роль великодушного государя и взыскать, то есть опозорить меня своей милостью. Если книга хороша, то хвалить ее все-таки нельзя, потому что рискуешь смешаться с теми, которые будут хвалить ее по другим причинам. И так мне нельзя ни хулить, ни хвалить ее. Да притом книга не хороша и не может быть хорошей. Когда человек так глуп и подл, что делается деспотом и велит себе поклоняться, как богу, такой человек не может писать истории. Всем известно, что у него нет ни здравого смысла, ни совести. Он не может ни знать правды, ни высказать ее, если бы даже и знал. Зачем же берется он не за свое дело? Зачем писал этот венценосец? Император, желающий сделаться историком, должен начать с отречения. Август не сделал этого: дурная примета! Впрочем, я знаю уже, что в своем сочинении он оправдывает проскрипции [46] и защищает узурпацию [47]! И ты хочешь, Галлион, чтобы я писал разбор этого глупого и гнусного произведения, вышедшего с одобрения двух тысяч цензоров и рекомендованного публике преторианцами?.. ...Критика!! Тебе следовало сказать: осада. Неужели ты не видишь, мой миленький Галлион, что это один из самых забавных фокусов нашего коронованного гаера!

Да, Галлион, мы выродки римлян. С Цезаря мы попали на Августа, из Харибды в Сциллу [48], от насилия стали искать спасения в коварстве, от дяди попались в руки племянника. Фу, какая гадость! Нет, сам я не попаду в эту литературную западню и не заманю в нее других. Нет, я не буду критиковать «Записок» Августа; — царей учит молчание народов, и я, Лабиен, дам такой урок Августу.

Впрочем, будь покоен: если тебе так хочется читать разборы этого императорского произведеньица, то не унывай. Дождем польются ученые рассуждения, остроумные и забавные критики, вежливые заметки. Ты начитаешься вдоволь раболепной лести, холопских возражений, эпиграмм, острот, которые не колят, а только приятно раздражают. Насладишься вдоволь резкими, но приятными упреками, сладчайшими любезностями, благоухающими букетами риторики, подлой лести, облеченной в жесткие и суровые фразы. Тебя засыпят цветами красноречия и зальют потоками медоточивых хвалебных гимнов. Перед тобой на

бархатных подушках понесут ученые возражения и на серебряных подносах будут подаваться критические заметки; всего будет довольно, милый Галлион.— Запляшет от радости хор государственных муз; сам Меценат откроет эту пляску. Для Августа не будет недостатка в читателях, ценителях, судьях, критиках, истолкователях; на все это найдутся люди! Кто создал Виргилия, тот может создать и Аристархов [49]; они ему нужны и не замедлят явиться: будь покоен!

Уже вся литература пришла в волнение: Варий [50] плачет от радости; Флавий нежно улыбается; Гатерий готовится к публичному чтению, а Тарпа к декламации; Помпей Мацер уверяет уже, что настала пора величия и славы, и посылает три роскошные экземпляра сочинения Августа в публичные библиотеки, которые недавно основал; Фенестела прибавил новый том к своей истории литературы; Метелл, заготовляющий для государя такие прекрасные речи, выставит на вид все ораторские красоты его книги, а грамматик Верий — красоты грамматические; в придворном журнале историк Марат напишет ученый разбор, а любимец Октавия, Атеподор, заготовит особые выписки для придворных дам и принцесс. Вот уже целый десяток! Я легко мог бы насчитать и тысячу. Все эти люди пройдутся пред императором церемониальным маршем и будут приветствовать его во все горло, как солдаты на параде. А он будет скромен и величествен: уста его будут говорить: «довольно», а улыбка: «еще», и толпа будет надрываться изо всех сил. Чернь семи холмов рукоплескала же подвигам тирана: почему же черни литературной не похвалить его сочинения?!

Рукоплескания будут: но беда в том, что они раздадутся с одной стороны; в этом-то и обнаружится весь комизм его исключительного положения, как писателя. Несчастный! может быть, он не предвидел этого; но что же делать, если успех его сочинения будет заказной! Это горько, неприятно, но помочь горю нельзя. Власть имеет для писателя свои неудобства: путь венценосного автора усеян не одними розами. Иначе и быть не может; и сам Виргилий не избежал бы этой беды. Приходится испытать участь, которую сам искал; приходится глотать позор, которого сам жаждал. Итак, подожди, любезный Галлион: праздник скоро начнется; он будет шумен; посетителей будет много. Музыканты уже на местах; они настраивают свои инструменты и готовятся начать концерт. Смотри же и слушай,

если тебе хочется. Я уверен, что зрелище позабавит тех, кто может еще смеяться.

Я знаю, что в сочинении говорится о последней гражданской войне и даже о последних минутах жизни Юлия Цезаря. Скажи по совести, любезный Галлион, неужели ты поверишь словам Августа?

Ведь он пишет сочинение о революции, которую сам затеял! Что сказать о преступнике, который оправдывает свое преступление? По-моему, это новое преступление удастся не так легко, потому что удобнее сделать пакость, чем оправдать ее. При всем том, новая затея Августа преступнее первой, потому что пагубнее по своим последствиям. Прежде Август посягал на жизнь людей; теперь же он грозит не только их жизни, но посягает уже прямо на совесть всех граждан. Прежде он губил только современное ему поколение; теперь хочет погубить и будущее. Это уже государственный переворот в нравственности, извращение человеческой совести, укоренение лжи, пощечина правде, славословие позора и подлости, короче — это венец всех преступлений и торжество безнаказанной подлости. Сочинение Августа — собственная его похвала своим подвигам, которые он выставляет для подражания. Вот почему это сочинение обращается в устав злодейства и настоящее руководство для подлецов.

И такую книгу ты предлагаешь разбирать при деспотизме! Ты желаешь вызвать против Августа литературную оппозицию! Какой вздор! Критика против Октавия? Не смешно ли это! Разве сам Октавий Август критиковал Цицерона? — Нет, он просто убил его. Как! злодей вас душит и, проповедуя убийство, прежде чем покончить вас,— спрашивает вашего мнения насчет своего поступка! Он желает, чтобы вы сообщили ему откровенно свои убеждения политические и выразили ему свой взгляд на произведение его пера! Какой добряк, подумаешь! Ему ужасно хочется залезть к вам в душу, сделать в ней повальный обыск, а потом, когда добьется вашего признания, он пошлет вас беседовать с палачом! Где же у тебя голова, милый Галлион? Подумай, чего ты от меня добиваешься!

Что сказал бы ты, если бы вор Веррес [51] написал сочинение о собственности? Неужели стал бы ты рассуждать с ним? А что такое «Записки» Октавия? Разве это не теория узурпации, написанная узурпаторами? Разве это не школа заговора, открытая заговорщиком, который избежал заслуженной казни?

Рассуди же, наконец, что автор может говорить только о том, что ему известно. Он знает, как грабить города, как резать сенаторов, как обирать храмы Юпитера. Он знает, как обманывать народ, как подкупать избирателей или обходиться без них. Он знает, как отделываться от соперников и опасных друзей, как казнить и ссылать врагов. Короче, ему знакомы игры деспотов в обман, насилие и вероломство. Он знает, как по методе первого Цезаря можно занимать у одних и давать взаймы другим и таким путем приобретать друзей направо и налево. Он знает, как обходить все препятствия, как переходить Рубиконы и потом, становясь выше всех законов, делаться владыкой и полубогом. Все это знает Август! Но он не смыслит ничего ни в истории, ни в политике, потому что не признает нравственности, кроме той, наследственной, которую выдумали для себя деспоты-злодеи с целью убить в себе совесть.

Итак знай, что в книге Августа напрасно искать чего-нибудь дельного, полезного и честного. В ней нет и быть не может даже намека на здравый смысл и совесть; зато, конечно, вдоволь всего, что отравляет ум и сердце. Какую же критику способна вызвать такая возмутительная пакость, как книга Августа? Неужели разбирать его литературные достоинства, филологические, археологические познания и спорить с ним о каких-нибудь мелочных подробностях? Дурак, кто сделает ему такую честь!

Да, что бы ни делали и ни говорили люди, подобные Августу, они все-таки чувствуют себя извергами общества. Насилием и преступлением отделились они от честных людей и хотят тайком пробраться в их среду. В заключение всех низостей, их разжигает одно желание сравняться с людьми, сохранившими честное имя. Для достижения этой цели они скрывают свою волчью натуру в овечьей шкуре и притворяются добродушными, мягкосердыми. Они даже готовы плакать, чтобы заявить свое мягкосердие, и, подражая крокодилам, плачут иногда, как дети. И все это делается с умыслом возбудить в людях если не любовь и уважение, о котором не имеет понятия, то, по крайней мере, сострадание к своей жалкой и позорной роли. Август добивается прощения! Этот кровопийца жаждет теперь уже не крови, которую сосал до сих пор: нет, похититель власти желает теперь похитить доброе имя и присвоить себе то, что имеют другие. Но он добивается невозможного! Это отчаянное усилие Августа подняться в глазах честных людей, эта последняя борьба Цезаря с общественным мне-

нием, которое его подавляет,— и смешны и отвратительны, как последняя гримаса висельника, как улыбка гладиатора, желающего умереть с грацией.

Книга Цезаря — туалет приговоренного к смерти. Цезарь так гадок, что от него отвернется сам палач. Вот почему он хочет умыться перед публикой и обращается к ней с надеждой, что она бросит на него взгляд сожаления. В предисловии своего сочинения Август осмеливается взывать к читателю! Нет, пусть лучше прямо обращается к палачу; с ним ему надо иметь дело, а не с читателем.

II

ХРИСТИАНЕ

Рядом со стоиками и непосредственно после них возник против римского мира другой протест, бесконечно более высокий и сильный. Явились другие отщепенцы, которым было суждено победить.

Общество сейчас же увидело, что перед ним на этот раз более опасные враги. Стоиков оно не столько чуждалось, сколько они сами чуждались его. Их считали безумными, сумасбродными, даже опасными; но в то же время уважали их, признавали в них *свою* философию, *свою* мудрость. Их жалели, а не преследовали. Сами они гораздо больше подписали себе смертных приговоров, чем императоры. Им удивлялись и не клеветали на них; зато и не увлекались ими. Даже когда центурион являлся к ним с приглашением не возмущать своею грустью веселое настроение граждан, благоденствующих под властью своего «господина и бога» — *Dominus ac Deus* — то и тогда в них видели не врагов общества, а только врагов императора и империи. И в самом преследовании было заметно уважение, которое воздавалось им, как почтенным, хотя и вредным членам общества.

Совершенно иначе старый мир взглянул на христиан.

«Когда апостолы распространяли божественное учение,— говорит Иоанн Златоуст [52],—когда они обходили всю землю, всюду сея слова веры, искореняя заблуждения, отменяя древние законы государств, преследуя неправду, очищая под ногами своими почву и повелевая людям бежать от идолов, храмов, алтарей, празднеств и мистерий их, с целью возвыситься до понимания Единого Бога, Властителя вселенной, и до чаяния будущих благ;— когда они

говорили об Отце, Сыне и Святом Духе, рассуждали о Воскресении и проповедовали о царствии небесном; — тогда возгорелась великая, зверская война, и мир исполнился смут, грома и раздоров, охвативших все города, все народы, все семьи, все страны, и цивилизованные, и варварские. Понятно, что древние учреждения подорвались в основах своих, и покачнулся так долго царивший предрассудок при вторжении новых, неслыханных дотоле верований. Против их могущества негодовали императоры, враждовали проконсулы, роптали граждане, кричал форум, обращалась страстная ненависть судов, обнажались мечи, готовилось оружие и свирепствовал закон. Всюду возникали казни, пытки, угрозы; всюду господствовал ужас. Волны разъяренного моря, извергающие из пучин своих обломки кораблей, могут представить картину того порядка вещей, где, во имя веры, сын отрекался от отца, невестка от свекрови, ссорились братья, господа гнали слуг, вся природа вступала в раздор сама с собою и всюду разгоралась война, уже война не только гражданская, но и семейная. Слово, как меч, проникало всюду, вызывая на великий бой, на великую распрю, и всюду порождая ненависть и гонения против верующих (Chrysost. De gloria in tribulat) *.

Против христиан поднялись все.— Общественное мнение называло их атеистами, развратниками, «врагами богов, императора, государства, человечества, преступниками, виновными во всевозможных преступлениях» (Tertull) **.— О них рассказывали, что будто они поклонялись ослиной голове, что они убивали и ели детей, что они предавались величайшему разврату. Им приписывали все бедствия, поражавшие империю. Нерон жег их за пожар Рима; а народ, подражая своему тирану, кричал при всякой беде: «в цирк христиан, на растерзание львам!» По словам Августина [53], не было того несчастия, за которое не обвинили бы христиан. Pluvia defit, causa Christiani, нет дождя, значит, виноваты христиане, говорил глас народа.

Язычник, обращавшийся в христианство, становился этим вне всех законов общества: он считался с этих пор чудовищем, извергом, достойным всех мук. Власти, которые так часто противятся общественному мнению, когда

---

* Златоуст. О славе в муках *(лат.)*.
** Тертуллиан *(лат.)*.

требования его разумны и справедливы, на этот раз были очень угодливы. Конечно, в политическом отношении проповедь евангелия была неопасна могуществу цезарей, и многие администраторы, судя с этой точки зрения, не видели необходимости преследовать людей, так мало занимавшихся политическими вопросами. Случалось, как напр[имер] при казни Св. Поликарпа [54], что проконсулы уступали только страстным требованиям толпы. Давно уже замечено, что гонителями христианства были не те свирепые тираны, которые и думать не хотели о каких-нибудь принципах и об интересах общества, а те мудрые и прославленные правители, которые считали себя призванными спасать общество и заботиться о религии и нравственности.

Сами стоики показали себя достойными членами старого общества. Благонамеренный и просвещенный проконсул Плиний облагодетельствовал, между прочим, свою провинцию и тем, что посылал на казни христиан.— Мудрый венценосный философ Марк-Аврелий, несмотря на свои гуманные правила и разочарованность, вменял себе, в числе других обязанностей, преследование назареян [55].

Чисто политические причины совершенно не оправдывали этих преследований, потому что христиане были люди мирные, не замышляли никаких заговоров, не имели ничего общего со стоиками и вообще политическими врагами империи в порицании современного порядка вещей. Поэтому чиновники императора относились к ним гораздо снисходительнее общества.

Общественное мнение ненавидело и преследовало их хуже разбойников и всяких злодеев, и с своей точки зрения, с точки зрения язычества, основанного на насилии и эксплуатации, было вполне право. Действительно: что значили противники политических учреждений в сравнении с этими отщепенцами всего строя ветхого мира, со всеми его понятиями, основаниями, принципами и формами! Что значили стоики, отрицавшие некоторые явления в жизни общества, в сравнении с христианами, отрицавшими его вполне!

«Солнце светит одинаково для всех,— проповедовали они.— Всех одинаково освещают луна и звезды; для всех равно идет дождь и веют ветры. Будем же подражать Творцу: поделимся с братьями нашими благами, дабы все человечество одинаково наслаждалось благодеяниями Бога».— «У Христиан ничего не должно быть собственно-

стью; мы все происходим от одного Отца, и все должны иметь равную возможность пользоваться божественными дарами. Будем милостивы для всех; будем считать все общим; милосердие да будет связующею нитью этого общего исповедания».— «Мы не родимся собственниками: наги выходим мы из чрева матери, наги возвращаемся в землю. *Мое* и *твое* — пустые слова. Солнце, земля, все, созданное Богом, есть общее достояние. Мы собственники только по наружности, а в сущности все, принадлежащее одному, принадлежит всем. То, что называют собственностью, есть лишь исключительное право владения, предназначенного Творцом для всех». «*Мое* и *твое* — слова жесткие, источник бесчисленных войн».— «Каков должен быть естественный порядок, порядок, учрежденный Богом? Он должен состоять в том, чтобы земля была в общем владении, чтобы все имели равные права на ее произведения. Природа требует общинности; человеческий грабеж создал личную собственность».— «Вся земля принадлежит Господу. Он равно дал его и бедным, и богатым, или, лучше сказать, для него нет ни бедных, ни богатых: все люди равно созданы из земли».— «Богатые — хранители богатства, которые поручены им; они не могут распоряжаться ими, а только пользоваться.— Провидение вручило их некоторым, дабы, умно распределяя их, они восстановляли равенство между людьми».— «Горе тому богачу, кто забывает это: он похититель благ, принадлежащих Богу и всем; он — жестокий тиран, свирепое чудовище, ненасытный грабитель. Между ним и вором нет никакой разницы».— «Я часто смеялся, писал Златоуст,— читая в завещаниях: собственность мою оставляю такому-то, а пользование доходами — такому!!. Мы можем только пользоваться, но сама собственность не принадлежит никому».— «Исключительная собственность,— подтверждает Астерий,— есть пагубнейшее заблуждение».— «Собственник имеет право лишь на то, что ему крайне необходимо для жизни; весь излишек принадлежит бедным. От него требуют не милостыни, а исполнения обязанности; отдавая излишек бедным, он только возвращает настоящим собственникам их достояние».

«Честный отец не должен оставлять детям больше того, сколько им крайне необходимо».— «Какая разница между вором, который тайно похищает чужое, убийцею, овладевающим имуществом своей жертвы, и богачом, который, беря процент, присваивает себе то, что ему не принадлежит?» — «Несправедливо брать больше, чем даешь. Тот,

кто делает это, уподобляется врагу, строящему козни своему противнику; он злоупотребляет нуждою ближнего, чтобы окончательно ограбить его».

Такая проповедь шла вразрез со всеми понятиями ветхого мира Двенадцати Таблиц. Она отрицала его сверху до низу, отвергала все его основания и потому казалась язычникам слишком вздорною, смешною, безумною, короче — непрактичною.— Христиане возражали им с невозмутимым спокойствием, что вопрос в том: справедливо ли то, что они говорят, или нет? можно ли это считать божественною заповедью или нельзя? — «Иисус Христос приказывает нам поступать так,— говорили они,— наше дело повиноваться. Не спрашивайте нас: возможно ли? — Тот, кто заповедал нам это, сумеет подчинить своему закону самую невозможность».

«Как! — спрашивали язычники, а теперь за ними спрашивают уже современные либералы, желающие отличиться легкомысленным отношением к христианской религии: как! — по-вашему, опыт, условия жизни, ее практика, ее факты — ничего не значат? Вы больше верите сумасбродным теориям? Вы хотите подчинить действительность вымыслам вашей фантазии? Безумцы, вредные мечтатели! Нет, знайте, что мы слишком благоразумны и практичны, чтобы презирать действительность. Нами руководят не утопии, а здравый взгляд на вещи, наука, политическая экономия, как выражаются новомодные люди... Если вас послушать, то что́ же будет? Невозможна станет жизнь в обществе, погибнут все учреждения, государство, права, законы, полиция и богатство,— словом, вся ваша тысячелетняя цивилизация — от мудрости греческих философов и величии наших древних богов до нашего государственного порядка, до пышности нашего искусства, до славы наших завоеваний, до чудес нашей торговли и промышленности. Вы разрушаете трон, алтари, науку, законодательство и богатство, и зачем!! Чтобы на место всего этого поставить общую бедность! Вы все разрушаете и кроме утопий ничего не даете».

«Мы не говорим уже о том, что вы отрицаете наших богов: мы и сами им плохо верим, и наши поэты позволяют себе премилые и преигривые шуточки на их счет. Это пикантно, остро и безвредно, потому что подрывает только веру, а не суеверие. Но вы своими нападками уничтожаете предрассудок, а это уже посягательство на весь наш общественный порядок, потому что суеверие — одна из основ

его. Но это далеко еще не самое безумное, не самое дерзкое из ваших покушений!»

«Кредит — нерв торговли и промышленности, творец общественного богатства. Но в нашем обществе, где всякий за себя, всякий для себя, а Юпитер за всех, кредит невозможен, немыслим без лихвы, без процента. А вы осуждаете лихву, как величайшее преступление, уподобляя человека, берущего процент,— вору, разбойнику! Этим вы противоречите всему нашему законодательству, мало того — уничтожаете возможность всякой торговой и промышленной деятельности, т. е. обрекаете нас на нищету, варварство. О, да вы притом последовательны и не скрываете безумных последствий ваших нелепых учений!»

Не алчность ли душа торговли? И не она ли вместе с тем корень вопиющих зол? Лихва несовместна с христианскими чувствами, значит, несовместна с ними и торговля. Христос порицает торгашей; он ставит купцов рядом с идолопоклонниками.

«Без судов,— говорили язычники,— жизнь невозможна: это было бы дикое состояние, где люди перерезали бы друг друга в самый короткий срок до последнего человека. Наше законодательство имеет целью обуздывать человеческие страсти, предупреждать и карать преступления. Что же? как относятся христиане к нашим законам? Как смотрят они на обязанности судей? Они отказываются от должностей, говоря, что, приняв их, «были бы принуждены судить о жизни и чести, постановлять приговоры, осуждать на казнь, позор и пытки». И все это они считают величайшими преступлениями! Их священники смотрят, как на отъявленных преступников, на всех судей, произнесших смертный приговор! Мало того: они явным образом нарушают общественный порядок и останавливают руку правосудия, открытою силой вырывая у палачей осужденных!»

«Могут ли быть терпимы такие понятия, такие люди?! Не довольствуясь презрением к нашим жрецам, к нашим ростовщикам, они обращают свою злобу и против первых граждан нашего общества — против судей и палачей! Что сталось бы с миром, если бы эти бредни были осуществимы! После упадка религии и, вследствие этого, окончательного развращения нравов, после общего обеднения оставалось бы уже уйти окончательно в варварство и дать простор резне всех со всеми! Без лихоимца общество, конечно, обнищало бы; без палача люди вырезали бы друг

друга. Нищета и смерть — вот идеал, который эти вредные мечтатели противопоставляют миру, счастию, богатству и славе империи!»

«Слава империи! Да, они очень о пей заботятся! Для своих утопий они готовы пожертвовать десятком наших провинций, чего! — готовы открыть варварам дорогу в Рим! Если их послушать, то война — бедствие, убийство, злодейство, и никто не должен браться за меч для защиты отечества. Для них убийство всегда убийство!» «Как может христианин идти на войну?» — рассуждают они: «Как может он еще в мирное время носить оружие, когда Господь обезоружил нас?» Они сравнивают воинов с обыкновенными убийцами и отлучают служащих в войске от своей церкви! Они бесцеремонны! В то время, когда наши орлы летают победоносно по всем странам света; когда непобедимые императоры распространяют славу римского оружия и раздвигают пределы империи; когда легионы железною стеною ограждают от вторжений варваров наши владения,— они бесцеремонно объявляют, что «война — разбой в обширных размерах!»

Было бы величайшим бедствием, если бы все эти нелепости проникли в ряды наших войск. Всякая дисциплина была бы уничтожена, и славные римские легионы обратились бы в шайки бродяг и разбойников. Вот чего можно ожидать от проповеди евангелия, и вот какие поступки расхваливают учителя и писатели христиан!

«На днях,— пишет один из них,— светлейшие императоры раздавали награды. Солдаты в лагере, увенчанные лаврами, поочередно подходили получать подарок. Между ними был один, воин Христа, с душою твердою и спокойною, убежденный, что нельзя служить зараз двум господам. Он стоял с обнаженной головой, держа лавровый венок в руках, а не на голове. Все заметили его издали, стали смеяться над ним и бранить его. Поднялся ропот. Когда ряд, в котором он стоял, подошел к начальнику, последний спросил его: «Отчего ты отличаешься от прочих?» — «Мне нельзя,— отвечал он,— наряжаться подобно им: я христианин!» — Его судили и казнили.

«Итак, они отрицают все и ненавидят всех,— говорили язычники.— Для них все равно преступны, кто не разделяет их сумасбродств. И ты, храбрый воин, самоотверженный защитник отечества; и ты, честный, неподкупный судья, карающий порок, оправдывающий невинность; и ты, деятельный, трудолюбивый торговец, законно приобре-

тающий барыши и дающий стране, осчастливленной твоими оборотами, богатство и жизнь; и ты, красноречивый адвокат, и ты, блестящий поэт, и ты, мудрец и философ — вы все в глазах этих людей равно преступны и гнусны, как последний злодей, как осужденный разбойник и вор! Будь честен, будь мудр, деятелен,— как скоро ты не христианин, как скоро ты вместе с ними не отвергаешь всех основ общества — они приравнивают тебя ко всем преступникам. В суждениях их о людях нет середины — все крайность: или святой, или злодей. Если кто не отрицает условий и законов общества, тот негодяй, будь он хоть Соломоном [56], Платоном [57] или Сократом [58]! Какой ужасный, опасный, преступный фанатизм!»

«И кто же эти люди, которые осмеливаются так дерзко судить обо всем заветном и священном? Кто они? — ученые, мудрецы, государственные люди, жрецы? Нет, это большею частью подонки, отребье общества, невежды, нищие. Дерзость их возмутительна! Напрасно бы стали обличать их невежество, доказывать им, что они не понимают ни философии, ни искусства, ни условий практической жизни! Напрасно советовали бы им читать Аристотеля [59] и Платона, с целью убедиться, что рабство законно и неизбежно и что без него немыслимо самое совершенное общество: все это напрасно! Они стоят на своем и не уступают ни доказательствам, ни пыткам. У них вечно на языке нелепые фразы их невежественных учителей про преступность лихоимства, про бесчестность наслаждения среди общих страданий, про злодейство войны, про бессовестность судей, книжников и практических мудрецов!

Чего ожидать от людей, выше всего ценящих невежество и нищету? Эти отщепенцы постоянно твердят: «Блаженны нищие духом, блаженны страждущие, блаженны неимущие и алчущие! Горе счастливым, сытым, богатым!» Оно и понятно: такие нелепости могут прийти в голову только людям, помраченным невежеством, озлобленным страданиями, и вообще тем, кому нечего терять. Поэтому нельзя не согласиться с одним писателем их, который между прочим говорит:

«Богатый дрожит за свой дом, за свою собственность и находится в вечном страхе, чтобы его не ограбили. Но бедный всегда на все готов; у него нет этой заботы. Он выше всех мелких треволнений, и потому не боится пролить кровь и пожертвовать жизнью. Он могущественнее и богаче всех тиранов и царей. Я докажу, что это правда и

что, говоря это, я не думаю льстить бедным. Я докажу, что тот, у кого нет ничего — чист и свободен душою. Сколько богатых, сколько сильных людей было во времена царя Ирода [60]! Но кто восстал против него? Кто покарал тирана? Не богатый, а тот алчущий и бедный, у кого не было ни стола, ни постели, ни жилища, ни крова — пустынножитель Иоанн [61]. Он наказал тирана, и, кроме него, не нашлось на это никого. Он восстал против его кровосмесительного брака и проклял его перед лицом всех его царедворцев. Так точно, раньше Иоанна, великий Илия [62], не имевший ничего, кроме плаща, с тем же благородным мужеством покарал презренного Ахава» [63].

«Ничто не делает нас до такой степени свободными, ничто так не возвышает и не проясняет нашего разума, как бедность! Ничто не дает нам такого мужества в опасностях, такой безбоязненности и непреодолимой силы, как нужда и отчуждение от всех земных попечений. Кто хочет достичь высокой добродетели, тот должен быть бедным, должен не дорожить жизнью и презирать смерть. Он один сделает больше, чем все богатые и сильные мира сего!»

«Таким-то образом они возвели бедность в добродетель и на этом построили всю свою нелепую общественную теорию! Конечно, такие сумасбродства сами по себе неопасны, потому что каждый видит неосуществимость и несообразность их идеалов. Но они опасны тем, что возбуждают в обществе вредные страсти, вызывают невежественную и голодающую чернь на ненависть к просвещенным, господствующим классам, подрывают уважение [к] религии и судам и уничтожают в войсках дисциплину. Нельзя же допускать этого! А между тем, убеждением ничего нельзя сделать. Поэтому, во имя богов, во имя закона, во имя собственности, во имя цивилизации и прогресса, во имя спасения общества и империи — львам этих христиан, львам на растерзание!»

Триста лет следуя этой системе, христиан мучили, пытали и казнили. Судьи и палачи сами недоумевали, за какие преступления подвергают они мукам и смерти столько тысяч невинных людей. Плиний [64] писал императору, что переказнил многих, но решительно не знает за что, а между тем находится вынужденным казнить еще гораздо больше, потому что сами христиане выдают себя и оказывается их чрезвычайно много. Мудрый император отвечал, что не должно разыскивать христиан; но тех, которые сами выдают себя — казнить. По смерти мудрого блюстителя

древних нравов эклектизм Адриана[65] удерживает на некоторое время усердие палачей. Но философ Марк-Аврелий объявляет весь мир в осадном положении и с новым рвением приступает к истреблению мирных врагов общества. С тех пор каждый правитель, считающий себя призванным спасать общество и восстановлять добрые нравы, принимается травить христиан зверями и разводить для них костры.

Писатели не отстают от администраторов.— Лукиан[66] осмеивает христианство; Цельз опровергает его. Все, что есть мудрого и сильного на свете, восстает против невежественных бедняков, отщепенцев римского общества. Христианам остается в утешение только видеть, как с каждым днем возрастают беззакония старого мира и как он все ближе и ближе подходит к своей пропасти. Из сорока цезарей, от Нерона до Диоклетиана[67], только семеро умерли естественной смертью. Армия обратилась в дикую орду и поступала с гражданами Рима, как с германцами и парфянами. Лихоимство и накопление богатств в немногих руках кончилось общим банкротством и нищетой. Искусство и литература исчезли: артистами императорского Рима были гладиаторы, а ваятели и живописцы воспроизводили в храмах августейшую педерастию. Литература же отпала от старого мира и нашла убежище у христиан, оставив язычеству только компиляторов[68]. Наконец, во все пределы империи ломились варвары, шедшие положить конец старому варварству и водворить новое.

И такое-то общество вопияло о нарушении прав и законов, о презрении религии, о стремлении разрушать государство и основы социальной жизни! Какая ирония!

III

СЕКТЫ

Римская империя и весь древний мир рушились с таким страшным грохотом; падение их сопровождалось таким ужасным разрушением и такими страданиями; нахлынувшие народы до того изменили все существовавшие до тех пор политические отношения и так изгладили все следы древней цивилизации,— что, казалось, будто в новом обществе, развившемся из хаоса варварской эпохи, не может быть ничего общего с погибшим старым; что все основания его должны быть иные; что из новых элементов должно выработаться нечто совершенно новое и небывалое.

Но что же, так ли было? Правда, внешние формы во многом изменились.— Древнее государство пало и долго не было ничем заменено; рабство переменилось на крепостное право; обычаи варваров заменили на некоторое время мудрость юстиниановских чиновников; классическое просвещение уступило место монашеским фантазиям и монастырской схоластике. Могло показаться, что общество действительно учредилось на других началах и руководствуется иными интересами. Однако, если, не останавливаясь на внешности, взглянуть на действительную сущность дела, окажется совершенно иное. Древний мир был основан на грабеже, эксплуатации и рабстве. «Все наши раздоры и междоусобия происходят от лихоимства»,— говорил Тацит. Все историки согласны в том, что настоящий смысл всех политических смут и переворотов Рима заключался в борьбе эксплуататоров с эксплуатируемыми, обдирал с обдираемыми — скажем по-русски. «Самая жестокая война — война патрициев с плебеями»,— говорил Ливий. «Рим перестал быть общим отечеством римлян; это два различные города: в одном нищета и рабство, в другом — изобилие и господство». Патриции и плебеи вовсе не аристократы и демократы в том смысле, как понимали эти выражения революционеры прошлого века: это кредиторы и должники. В этом грубом обществе все отношения еще откровенны, просты и сводятся к двум категориям: лихоимство и насилие — плебеи и рабы. Рабство — плод физического насилия, военной победы, условие повергнутого наземь с ножом у горла противника; лихоимство — плод мошенничества, победы на более обширном поле борьбы за существование в анархическом обществе, условие жертвы, гибнущей с голода. Из этих двух отношений развилось все древнее общество и вся его история.

Точно то же представляет нам и новый мир. Лихоимство и рабство остаются его главными основаниями, когда все прочее исчезает. «Различие сословий было произведено не кровью, не расой, а собственностью»,— говорит один весьма благонамеренный историк, т. е. лихоимством, должно прибавить. Здесь лихоимство тесно сливается с открытым грабежом, так что в века кулачного права нельзя разобрать, где начинается грабеж, где кончается собственность.

Феодальная собственность вышла из завоевания, говорят все писатели, от аристократа Буленвилье до сочинителей «Прав Человека и Гражданина» [69]. Ее дальнейшее

существование в феодальном мире соответствует этому началу. Каждый собственник — разбойник. Капитал его — неприступный замок, добрый конь и хорошее вооружение; проценты с него — добыча грабежа. Нет еще ни банков, ни биржи, ни акций, ни векселей, ни облигаций; дело делается просто: он собственник — он грабит, без лукавства и притворства, без страха и упрека — по-рыцарски. Духовенство, живущее в таких же укрепленных аббатствах, как и замки рыцарей, умеющее также хорошо ездить верхом и управлять копьем,— тоже собственник и тоже грабит. Кроме того, оно не пренебрегает пускать в ход и духовное оружие. «Кошелек или жизнь?» — говорят рыцари. «Десятину или душу?» — вторят им аббаты. «Плати или умри!» — предлагают первые. «Плати или иди в ад!» — подтверждают вторые. Барон де-Куси вымогал у проезжих деньги, вешая их за большие пальцы ног. В 585 году Маконский собор обещал такое же наказание, но в вечности, всем, кто не заплатит десятины. Барон был лучше императорских мытарей Рима: нужно было быть только осторожным и не попадаться ему. Аббаты и епископы были хуже: от них не мог укрыться никто. Мытари стучались в дверь бедняка; епископы стучались в его душу.

Духовенство господствовало в средние века, и не мудрено: оно было самым крупным капиталистом. Оно владело всем, чем и дворянство, и кроме того церковными громами. Церковные должности делали человека тем, чем теперь векселя Ротшильда; неудивительно, что в них вкладывались значительные капиталы, когда, помещенные таким образом, они приносили так много. Благочестивые люди возмущались продажностью церковных должностей. «Можно ли уважать то, что продается?» — говорил папа св. Григорий Великий[70]. «Продажное все презирают. Церковь не может существовать там, где ею торгуют». Папа рассуждал непоследовательно и притом непрактично. Если церковь может приносить хорошие проценты, отчего же нельзя торговать ею? Очевидно, что церковные должности, дающие доход и большой доход, должны рассматриваться, как капиталы, и подлежать всем правилам торговых оборотов. «Бог,— проповедуют епископы,— дал богатым имения для того, чтобы выкупать грехи». Это, конечно, не похоже на принципы христианства Иоаннов Златоустов, Василиев[71], Григориев и Тертуллианов[72], но верно характеризует социальное положение церкви в средние века. Пастыри имеют власть разрешать и связывать; они поку-

нают свои места на наличные деньги. Надо же стараться извлечь из капитала побольше процентов! Итак, религия обращается в лихоимство.

Пипин[73] богато одарил монастыри и тут же откровенно сознался, что сделал это в видах лихоимства. «Я отдал малость,— объявляет он с такою же невозмутимостью, как нынешние капиталисты,— чтобы приобрести громадные сокровища». Церковь отвечает на это составлением таксы на все грехи.

Другое основание римского общества — рабство существует и в новом мире во всей своей силе. Тупоумные историки много толкуют о прогрессе, совершившемся при переходе от рабства к крепостному праву; кропотливые ученые тщательно раскапывали и разбирали все отличия между тем и другим.

Все это глупость или адвокатство. Действительной разницы нет не только между рабом и вилланом[74], но между рабом и современным, как его титулуют, —самодержавным и великодушным» народом. Если человека бьют и обирают, то все равно, под каким бы названием он ни терпел эти операции. Признают ли его крючкотворцы в своих мараниях вещью или свободною личностью, бесправным или равноправным, как скоро он бит и обобран, то не может быть никаких рассуждений: он раб, раб именно в смысле древнего мира, т. е. побежденный враг.

Средние века судились различно: поэты восхищались ими и воспевали рыцарей и их подвиги; люди серьезные и напыщенные своим прогрессом ужасались их варварству. Картина была, правда, не красивая, и две главные язвы человеческих обществ — лихоимство и рабство слишком открыто красовались на ничем неприкрытом общественном организме. В это время первый раз люди с грустью заметили, что они друг для друга — волки. Но такой наглый повальный грабеж едва ли не лучше предшествовавшего и последующего порядков. Конечно, при недостатке организации грабежа и лихоимства нередко лихоимствовали и грабили до того, что во Франции, в конце царствования короля Роберта, на площадях появлялось в лавках человеческое мясо. Не красиво, конечно, общество, где существует Wildfangiatrecht — право на пойманную дичь,— так называлось право, существовавшее в Фальце, по которому каждый владетель мог охотиться за всеми прохожими по его владениям, как за дичью, и, поймав, обращать их в рабство. Но такая откровенность безобразия имеет свои

хорошие стороны уже потому, что зло никогда не признается законным, а всегда только терпится, как печальный факт, и люди принуждены постоянно упорно искать себе выхода.

В обществе, представлявшем такую картину, образовалось два различные стремления. Одни хотели устранить все, что в картине этой было слишком циничного и неблагопристойного, систематизировать грабеж, дать легальную форму насилию и организовать взаимное самопожирание правильным образом. Этого стремления придерживались все практические, умные и преподлые люди, и ум и подлость их, разумеется, одержали верх. Они достигли своей цели, и созданные этим стремлением нынешние формы общества основаны именно на организации социальной борьбы, систематизации грабежа и легализации рабства.

Представители этого направления чрезвычайно многочисленны, и знаменитейшие из них приобрели себе громкие имена, как основатели тех условий, в которых живут нынешние общества. Это — короли, соборы, университеты, юристы, города, словом, все почтенное, славное, высокое. Они часто борются между собою, по-видимому действуют в совершенно противоположных направлениях, по-видимому исключают и губят друг друга. Но все это лишь по-видимому. На самом деле все они более или менее трудятся над одним делом обращения варварского общества в цивилизованное без изменения коренных основ его.

Доктора́ богословия и прав сочиняют теории из фактов, представляемых им обществом, приводят эксплуатацию в систему, дают грабежу санкцию религии и науки. «Грабьте отныне правильно, и можете не краснеть и не подвергаться такому риску, какой представляет жизнь наивного грабителя с большой дороги».

Короли сокрушают силу феодального разбойничьего рыцарства. Каким образом? Уничтожая разбой? Нет — организируя его. В числе разбойников, опустошавших в средние века все страны, были некоторые особенно страшные. Тогда как обыкновенные рыцари грабили каждый за себя и для себя и подкарауливали прохожих по своим владениям, другие занимались грабежом в более обширных размерах и правильнее. Они составляли шайки, которые, под названием «черных шаек, кондотьери[75], брабансонов» и др., грабили и опустошали все страны. Это были страшные разбойники, и, в сравнении с этими странствующими толпами грабителей, разбой владельцев замков был шут-

кой. Но в общем мнении они вовсе не считались хуже рыцарей, а только страшнее. Подвиги их громко воспевались, многие короли и герцоги заискивали их услуг; в Италии они свергали и возводили династии, и очень часто делались сановниками, графами, владетельными князьями. Оно и понятно; они делали то же, что и все рыцари, но только сообща, с некоторой уже системой, так что были гораздо вреднее.

Короли воспользовались зачатком организации, какую представляли эти разбойники, и, охотно прибегая несколько веков к их услугам, кончили тем, что окончательно соединили с ними свою судьбу, дали им правильную организацию, постоянное жалованье, определили на государственную службу, которую в то время изобретали в сообщничестве с юристами, и сделали из них постоянные войска. Помощью их они разделались с феодалами.

О церковном грабеже и говорить нечего. Он с самого начала имел за себя и санкцию, и порядок; в теории и в системе у него никогда не было недостатка. Хлопотать о его узаконении много не приходилось.

Таким образом из бесцеремонной шайки хищников, обдирал, разбойников, грабивших в силу своего кулачного права и не помышлявших ни о каких теориях, политика королей, религия пап и наука юристов выработали трех главных представителей, три столпа современного общества — солдата, продавца индульгенций и палача, во всем их благочинии, во всей их законной помпе, во всем величии их сана.

Грабеж и лихоимство организовались — практики победили. Историки прогресса называют это началом нового времени, восходом солнца цивилизации над ночью варварства!

Историкам прогресса очень хорошо знакомы все факты, на которых можно бы, казалось, основать правильный и истинный взгляд на вещи. Но им не до того: они подавлены несчастной, односторонней мыслью показывать, как развивался в человечестве прогресс к добру. Они зазубрили себе на носу выдуманное каким-нибудь глупцом правило, что все, что ни делается, все к лучшему, и, руководствуясь этой idée fixe, радуются и рабству, как первому следу гуманности, и грабежам феодалов, как зародышу личной свободы, и войнам, как средству распространения цивилизации.— Словом, нет той мерзости, в которой они не нашли бы чего-нибудь хорошего и не порадовались. Вот

истинно нищие духом, довольствующиеся всем, что ни дай им, хотя бы каплю розового масла в бочке грязи!

Но еще в XVII веке один писатель, приверженец Стюартов[76], королей божьею милостью, и их абсолютного, божественного права, изложил истинный взгляд на смысл европейской истории. Теория его основывалась не столько на исторических фактах, сколько на взгляде его на природу человека и на силе его диалектики.— Логика его была так непобедима, что о нее разбились все двухсотлетние усилия озлобленных либералов, и теория его стоит доселе, обходимая, предаваемая забвению, но неопровергнутая. Дело, конечно, не в диалектике, а в том, что этот писатель прав, как перед судом логики, так и истории.

— Я ваш! — (таков был смысл его похвал деспотизму), да и как мне не быть вашим? Посмотрите, как создалось общество, в котором мне довелось жить: началось с общего взаимного пожирания. Варвары, уничтожившие римскую империю, представляют нам естественное состояние людей, не вымышленное, не идиллическое, а настоящее. Они только что вышли из лесов: смотрите, это еще не общество, а толпа. Толпа эта управляется потребностью каждого бороться за свое существование. Поэтому каждый грабит всех и каждого, кого может, а если не может никого, то его самого грабят. Homo homini — lupus *! Затем смотрите, как из этой толпы составляется общество, государство. Вы думаете, что устранением старой борьбы, созданием солидарности интересов, уничтожением эксплуатации? Нет, все остается на старых основаниях, только приводится в систему, имеющую целью уменьшить риск грабителей, обеспечить им мирный способ эксплуатации и безопасное пользование добычей. Стал ли человек для человека братом? Нет, по-прежнему волк, но волк прошколенный и дрессированный, а не безумно смелый и дикий, как прежде. Я сам принадлежу к волкам, я сам из числа эксплуататоров и лихоимцев; и живу спокойно и безопасно, не пачкая рук кровью, не подвергаясь риску: этим и обязан систематизации грабежа, представляемой нынешним порядком вещей. Могу ли я отказаться, следовательно, от вас, когда, благодаря вам, я могу безнаказанно грабить и разбойничать, сидя спокойно в кресле, у приветливого камина. Нет, я хочу продолжать свой грабеж, и потому мне нужны ваши солдаты, ваш продавец индульгенций, ваш палач. Нет, я

* Человек человеку — волк! *(лат.)*

волк, а вы мои заступники; и потому, Mitwölfe *, я ваш, как бы вы от меня не отмахивались!»

Вот сущность того, что говорит Гоббс[77], этот великий ум, который понял верно смысл истории европейских обществ и, как Маккиавелли, удостоился ненависти тех, кого, по-видимому, защищал!

В средние века должно было обнаружиться и действительно обнаружилось еще другое направление. Рядом с позитивистами и реалистами Лувра, Сорбонны и Ватикана были и утописты, бедные мечтатели, люди непрактичные и сумасбродные. И здесь, как в Риме, являются несносные отщепенцы, с теми же признаками, с тою же печатью отвержения на лбу.

Но нужно и их судить справедливо. По правде сказать, мир был так обманут, что протест имел полное право заявиться. Рим пал, империя исчезла с лица земли, христианство распространилось по всей земле,— но из всего этого ничего не вышло. Все будто хлопотали главным образом из-за того, чтобы заменить свободой, равенством прежнее насилие, лихоимство и войну. Совершился катаклизм, потрясся весь мир, новые племена заняли место древних народов, рушилась религия,— и что же? Гора родила мышь. Насилие и лихоимство господствовали попрежнему, как ни в чем не бывало, как будто все это их не касалось, как будто вовсе и не было никогда сказано: «Блаженны алчущие, горе сытым!» Какое разочарование!

И вот новый мир, едва создавшийся, уже видит среди себя отщепенцев от себя, людей недовольных им, обвиняющих его в возвращении к старому, в обмане, в забвении истины.

В церкви была в то время сосредоточена вся духовная жизнь общества. Притом церковь была основана на том, во имя чего должен был совершиться переворот, в ожидании которого обманулись. Вот почему протест против нового мира вышел из церкви и прежде всего обратился против нее. Отщепенцы от общества были прежде всего сектаторами, еретиками.

«Нам обещали, что не будет ни рабства, ни лихоимства»,—говорили люди и обвиняли церковь в подлоге и в ереси.

Двенадцать веков, один за другим, безостановочно поднимались эти протесты, всегда кроваво подавляемые, но возвращавшиеся постоянно снова с удивительным однооб-

* Такие же волки, как и я *(нем.)*.

разием во внутреннем смысле и значении. Что же касается внешней формы их, то, конечно, спор шел большею частью о таких пустяках, что ожесточение, с которым одни преследовали, а другие упорствовали, будет совершенно непонятно, если за этой мелочной внешностью не видеть серьезного социального содержания.

Сам Иннокентий III [78], учредитель инквизиции и зачинщик религиозных войн, соглашался, что первая причина раскола — испорченность духовенства. До него другой великий папа, Григорий VII [79], считал возможным спасти христианство только совершенной реформой не только церкви, но и всего общества. Для обоих было очевидно, что дело не в личных недостатках некоторых духовных особ, а вообще во всем строе церкви.

Действительно, недостатки эти были так велики, что нельзя было не видеть их и не сознаваться в них даже папам.

В XI веке сама церковь сознала́ это: реформа Григория VII имела в виду полное преобразование не только церкви, но и всего средневекового общества. Он был возмущен современным ему порядком и тем разногласием, какое видел между ним и основными положениями христианства. Папа этот был один из величайших революционеров.— Письма его напоминают речи французских якобинцев. «Кто были первые короли? — писал он,— люди насилия, люди, опозорившие себя всевозможными преступлениями по внушению дьявола, чтобы приобрести господство над подобными себе».— Он ненавидел церковную мораль, превратившуюся в финансовую спекуляцию для прокормления тунеядцев, и жестоко преследовал лихоимство и продажность духовенства.

Старик этот объявил войну всему обществу. Сперва духовенству он предъявил требования, казавшиеся неисполнимыми, чудовищными, возмутительными. Он требовал, чтобы оно отказалось от всяких денежных выгод, которые привыкло извлекать из своего положения, покинуло свои семьи, свое общественное положение, как феодальной аристократии, и возвратилось бы к чистоте первобытного христианства. Григорий VII отнесся к католицизму, как сектаторы IV и XVI веков: он отлучил современное духовенство от церкви, т. е. другими словами, сам отложился от современной церкви. Духовенство, возмущенное неслыханным посягательством, объявило папу еретиком, отлученным и низложенным. Против Григория поднялся анти-

папа, за которого была почти вся церковь. Борьба была неравная. Григорий изнемогал и желал смерти. Его смелые желания казались неосуществимыми, и погибель его неизбежною.

Но безумный старик, не довольствуясь, что вооружил против себя все духовенство, смело вступил в борьбу и со светским порядком, развратившим церковь. Отлученный, низложенный, он не только не искал опоры себе в светской власти, но ни минуты не поколебался восстановить ее против себя и вступить в смертельную борьбу с императором. На что же рассчитывал он, восставая один против всего, что было сильного и авторитетного?

Как все отщепенцы, он обратился к демократическим началам общества. Он кликнул клич к народу, задавленному и ограбленному. Он пробудил его от долгого сна, дав ему почувствовать беззаконие лежавшего на нем ига. Он запретил ему обращаться к недостойному духовенству и этим вызвал в нем озлобление против продажных представителей церкви. По одному знаку его, народные массы гнали вон низложенных им епископов. Он встал на сторону ограбленных императором саксонцев и поднял против Генриха его подданных.

То торжествующий, то побежденный, Григорий видел императора у ног своих, видел врагов своих низвергнутыми, но видел и торжество грубой силы, разбойничьих орд Генриха, был изгнанником, беглецом. После непрерывной и геройской борьбы он умер, говоря: «Я любил истину, ненавидел неправду, и потому умираю в изгнании». Его железная воля могла унизить императора, могла даже победить старые формы и, по крайней мере во внешности, добиться своего. Но истинного преобразования церкви и общества он не мог достигнуть и умер в сознании своего бессилия, разочаровавшись во всем, кроме правоты своего дела. Революционер сам, он имел своими преемниками инквизиторов. Друг народа,— он оставил свое наследство деспотам и грабителям. Мечтатель, имевший безумие отрицать лихоимство и насилие, он был предшественником практиков, обративших награды и наказания загробной жизни в предмет торга и спекуляции.

Но, конечно, настоящими предшественниками и преемниками Григория VII были не те, кто до и после него занимал римский престол, не Иоанны XII [80] и не Александры VI [81]. У него был другой ряд предков и потомков, ряд достойный его, ряд таких же благородных мечтателей и

людей несокрушимой воли, таких же врагов установившегося порядка, как и он.

Этот ряд начинается тотчас по утверждении христианства, как господствующей религии. Еще в IV веке являются *донатисты*[82]. Спросите богослова, откуда явилась эта секта? Он скажет вам, что ее вызвало неправильное избрание одного африканского епископа. Но историк судит иначе: донатисты — это анабаптисты[83], жаки[84], санкюлоты[85] IV века. Секта донатистов — восстание рабов.

Когда, после упорной борьбы с язычеством, христианство восторжествовало, надо было ожидать полного преобразования общества на идее равенства, любви и свободы. Но крест победил, а все осталось по-старому. Христианство не принесло рабам свободы, угнетенным спасения, ограбленным избавления, голодающим хлеба. «Горе богатым и сытым!» — говорила религия. Но вот она победила, а богатые по-прежнему лихоимствуют, сытые по-прежнему отнимают последний кусок у голодающих. Те, которые ждали себе спасения от новой религии, почувствовали это противоречие и разлад слов с делами. Это вызвало страшное негодование, увлекло многих в странные крайности. Все, кому было плохо, видели себя обманутыми и обвиняли господствующие классы в фальсификации христианства, в извращении его, в богоотступничестве!

«Новая вера обещала спасение, но спасение не пришло. Неужели виновата вера? Нет, евангелие свято и божественно, а виноваты те лицемеры, которые вместо евангельского христианства дали людям прежнее язычество в новых формах, старое вино в новых мехах. Ведь язычество было религией рабства: оно освящало, узаконяло и поддерживало насилие и лихоимство. Христианство — благая весть, потому что возвещало свободу и братство, осуждало грабеж, сулило царство униженным, кару деспотам и ростовщикам. Но та религия, которую выдают за победившее христианство, подобно язычеству проповедует насилие и грабеж; подобно ему освящает лихоимство; следовательно, религия эта не заповедь Христа; следовательно, члены ее — лицемеры, переодетые язычники, преступники, уличенные в искажении божественного слова!»

Мы удивляемся теперь мелочности поводов, возбуждавших разногласие католичества с его сектами. Нам кажется странным, что какой-нибудь текст мог служить причиною разрыва и борьбы. Но мы не видим, что и нам самим приходится во многом поступать точно так же.

Сектаторы обвинили католицизм в искажении христианства, и спор, сущность которого состояла в социальных вопросах, нередко вращался около догматов и сводился к богословским тонкостям. Но разве не то же самое все новейшие ученые препирательства, происходящие в области философии, права, естествознания? Нас удивляет, что вопрос о первородном грехе мог возбуждать столько толков, столько интереса, столько ожесточения. Но взятые сами по себе все наши научные вопросы разве могут претендовать на бóльшее значение? С точки зрения не относительного, а абсолютного значения вопроса, разве споры о свободе человеческой воли, о теории государства, о праве общества над жизнью человека, о происхождении видов — смеют ставиться выше спора о предопределении или о предстательстве святых? Спорить о происхождении видов! Какое варварство, какая гнусность! Разве деспот низвергнут, разве лихоимец наказан, разве голодный накормлен, разве уничтожена эксплуатация, обуздано насилие и грабеж, дарована свобода? Разве все эти кровавые, жгучие, смертельные вопросы, осаждающие всех и каждого от зари до зари, всякий день, всюду и во всем — разрешены и удовлетворены? Разве зажат рот лжи и тупоумию, устранены на веки ужасы общественной анархии, водворены спокойствие и порядок? Нет, нет, тысячу раз нет!

Направо и налево, здесь и там, всюду людей убивают, мучат, давят, лишают свободы, морят с голоду, обирают,— а мы спорим о происхождении видов! Что это? Немилосердная жестокость сытого брюха или непонимание идиота? Наглость ума, извращенного оргиями насилия, или крайний разврат совести, погрязшей в лихоимстве? У многих, к сожалению,— и то, и другое.

Но часто все эти вопросы, столь непристойные, по-видимому, среди общего плача и скрежета зубов, только прикрывают собой более жизненные. Оттого-то споры о них ведутся с таким одушевлением, с таким жаром, с таким фанатизмом. Конечно, слово не дело; лучше, по примеру Христа, гнать торгашей и негодяев из храма, чем тратить время на споры с ними.— Но гнать их могут только соединенные усилия общества, а частным людям приходится поневоле ограничиваться словами. В XVIII веке споры шли на всех бесчисленных пунктах знания и религии и велись не даром: пришло, наконец, время, когда можно было начать делать дело, и тогда словесные препирательства стали неуместны. «Республике не нужна наука»,—

сказал судья, судивший Лавуазье, и был прав, потому что республика эта еще ничего не сделала в важнейших вопросах человечества и потому не имела права на науку.

Но в IV веке круг умственной деятельности был слишком тесен и сосредоточивался исключительно в религиозных вопросах. Поэтому споры поневоле ограничивались тем или другим католическим догматом и, как теперь, часто за этой внешностью вовсе пропадало внутреннее значение споров. Социальный вопрос, прикрытый богословским, часто вовсе забывался, и оставался только богословский. Средние века имели своих академиков, профессоров и ученых писателей, с тою только разницей, что препирались они не о происхождении видов, а о предопределении, и вместо микроскопа были вооружены крестом и облатками.

Но часто также дело выходило за пределы богословского диспута. Донатисты не заботились о тонкостях догматики; они знали, что им была обещана свобода и что свободы этой они не получили. Поэтому они объявили войну на жизнь и смерть сильному и властвующему. Циркумцеллионы, как их называли, т. е. бродяги вокруг домов (circum cella *),— ходили из города в город, истребляли богатых, проповедывали равенство и коммунизм и беспощадно мстили притеснителям, исказившим слово божие. Последователи Карпократа и Евстафия [86] хотели общинности имуществ и уничтожения семьи и брака. Крайняя секта Каинитов возвела в высшую добродетель все то, что презиралось и преследовалось обществом, как величайшее преступление. Каиниты — римские Лассенеры. Они доказывали законность и святость убийства и войны с обществом всеми средствами. Идеалом их был первый преступник Каин.

Конечно, нельзя верить всему, что католические писатели рассказывают о сектаторах первых веков. Известно, как бессовестно и тупоумно клеветали на христиан язычники, пока были в силе, и впоследствии паписты на вальденцев, альбигойцев и других еретиков. Однако весьма может быть, что в первое время христианства отщепенцы от церкви доходили до гораздо больших крайностей, чем первые христиане и последующие сектаторы. Дело в том, что христиане были полны веры в свое учение, ожидали от его торжества полного преобразования мира, не сомневались

* круглая комната *(лат.)*.

в своей победе и потому не имели ни разочарования, ни ожесточения против врагов своих, которых считали скорее достойными сожаления заблуждающимися несчастными, чем преступниками. Точно такая же вера одушевляла и позднейших еретиков, предшественников реформации. Но сектаторы первых времен были полны разочарования и негодования на обман и измену христианству.

Церковь и государство обратили против еретиков все свои силы. Но пока власти занимались их истреблением, для них самих настал последний час. Лихоимство и насилие нашли наконец себе достойное наказание. Варвары уничтожили империю, и на несколько веков водворился хаос, пока из нахлынувших диких орд вырабатывался новый общественный порядок. Мы уже видели, каков он был; мы говорили уже, что новое общество, как и старое, основалось на грабеже и эксплуатации и что сама католическая церковь совершенно усвоила себе эти основания и развивалась совершенно на тех же началах, как и все другие общественные элементы. Безуспешная попытка исправления Григория VII не помогла делу: папа потерпел неудачу, и практики восторжествовали.

Но если даже с высоты римского престола раздался наконец протестующий голос, то тем более должны были найтись протестанты и отщепенцы в низших сферах общества. Действительно: начиная с XI до XVI, история показывает нам бесконечную вереницу ересей и постоянную борьбу с ними церкви и общества.

В самом начале XI века церковь начинает жечь во Франции так называемых манихеян [87]. Они проповедуют против суеверий, распространяемых церковью, отвергают главнейшие ее догматы, а главное, живут скромно и бедно, ненавидят и избегают торговлю, ведущую ко лжи и обманам, живут трудом рук своих, как работники, и даже священники их занимаются ремеслами. Они довольствуются малым, отвергают богатства, постоянно работают и учат; на молитвы они не тратят времени, следуя правилу: *кто работает, тот молится.*

За ними в XI, XII и XIII века являются одни за другими катары [88], вальденцы [89], лионские бедняки, альбигойцы [90]. «Истинная церковь только в нас,— говорили катары,— мы одни следуем Христу, одни живем по апостольски. Мы не ищем благ сего мира, не владеем ни домами, ни землями, ни деньгами, потому что Христос сам ничем не владел и запретил ученикам своим иметь собственность.

А вы наживаете дом за домом, землю за землей, лихоимствуете и крадете. Мы же, бесприютные бедняки, ходим из города в город, как овцы среди волков, терпим гонения, как апостолы и мученики».

Вальд, богатый лионский купец, вошел однажды, как рассказывают, в церковь и услышал слова евангелия: «Если хочешь идти за мной, раздай все имение свое бедным». Он немедленно продал все свое имущество и разбросал деньги в грязь, в знак глубокого презрения своего к ним.

Лионские бедняки не имели ни собственности, ни пристанища; они ходили всюду, проповедуя правила чистого христианства.

Наконец, среди всех этих сектаторов, сжигаемых и истребляемых всячески с дикой яростью, встречаются имена таких людей, которых церковь не могла объявить прямо еретиками и даже признала святыми, хотя, впрочем, всегда с неудовольствием смотрела на серьезное проведение в жизнь их правил. Таков был св. Франциск Ассизский [91], который говорил своим ученикам: «Братия! Бог призвал меня идти путем простоты и смирения за *безумием* креста и сказал мне: Франциск, я хочу, чтобы ты был в мире *безумцем* и проповедывал бы речами и делами *безумие* креста». Вот слова настоящего отщепенца, врага практической лихоимствующей и насилующей мудрости, человека, желающего правды и свободы и брошенного в общество, где правда и свобода считаются безумными бреднями, где высшей мудростью признается бесконечный ряд цепляющихся друг за друга компромиссов.

Франциску Ассизскому не посчастливилось еще более, чем Вальду. Последователи Вальда погибли на кострах инквизиции и в пожаре разоренного Лангедока; последователи Франциска обратились в толстых, бесстыдных, грязных монахов нищенствующих орденов и своей жадностью и развратом еще хуже опозорили и без того уже опозоренный католицизм.

В следующих веках протест не умолкает, несмотря на все злодейства и ухищрения духовных и светских властей. Являются английские лолларды [92] и богемские иоанниты [93], Виклеф [94] и табориты [95]. По примеру своих предшественников, они вооружаются против грабежа, господствующего в обществе. Виклеф проповедует против лихоимства церкви. Народ, возбужденный его учением, предводимый Уатом Тайлором [96] и лоллардскими проповедниками, восстает про-

тив королевских чиновников и подступает к резиденции короля. Ричарда [97] спасает только изменническое убийство народного вождя; преемники его казнят лоллардов массами. Генрих V [98] устраивает общую резню их; они погибают, но через двести лет воскресают в пуританах и индепендентах. Все они стремятся ниспровергнуть тиранию, уничтожить разврат сильных и богатых и водворить порядок на справедливости, равенстве и свободе.

То же самое происходит и в других странах. В Богемии иоанниты проповедуют евангелие Св. Иоанна, как они называли учение о свободе и равенстве. И здесь также, под видом богословского, догматического разногласия, идет борьба бедняка против богатого, честного против подлого, угнетенного против деспота, сына и младшего брата против отца и старшего брата, работника против лихоимца, слуги против хозяина.

Богемские еретики, восставшие мстить за казнь Гусса [99], говорят языком пророка Самуила и папы Григория VII. Когда народ требовал низложения Венцеслава, один проповедник стал защищать его: «Братья,— сказал он,— хотя король наш тунеядец и пьяница, но где же найти лучшего? Напротив того, его можно считать образцовым государем: мы сильны его слабостью. Помолимся же господу о его здравии и пропоем ему многие лета!» И народ с хохотом подхватил: «Многие лета!»

Несмотря на победы Чишки и Прокопов [100], движение таборитов было подавлено. Но народы европейские, как некогда народ иудейский, постоянно высылают из среды своей храбрых Гедеонов и могучих Сампсонов [101]. Немудрено, что в эти времена борьбы угнетенных против организованного грабежа взоры восстававших с любовью обращались к этим поэтическим образам Ветхого Завета, что у всех были на устах речи Самуила и Исаи и рассказы о подвигах вождей народа божьего против безбожных филистимлян [102]. Удивительные примеры книги Судей были у всех на глазах. Чуть не каждое поколение имело своих Навинов и Сампсонов. Напрасно тираны изменчески убивали Тайлоров и Гуссов: продолжатели их не заставляли себя ждать, и борьба, подавленная на минуту, вспыхивала с новою силою, пока не разразилась наконец громовым ударом в движениях XVI века.

Движения, сопровождавшие реформацию, были последним великим проявлением борьбы в религиозном духе. Поэтому в них всего сильнее и полнее выразился смысл всех

сект. Тома Мюнцер[103] был последним сектатором и высказал все задушевные мысли своих предшественников.

Таким образом, по мере того, как грабеж все более и более развивается и возводится в систему, протесты против него раздаются все громче и громче. Выйдя из веков грубого насилия, из бесцеремонности кулачного права, общество должно было содрогнуться от ужаса, взглянув на себя. Так вот к чему привели целые века исторической жизни! Так вот идеал, о котором мечтали люди, измученные вечной войной! Нечего сказать: было на что́ порадоваться!

Духовенство, с папою во главе, торгует святыней, утопает в разврате и тянет деньги с правого и виноватого,— духовенство невежественное, тупое, жестокое, без веры, без всякого другого отношения к обществу, кроме обирания его. С ним рядом громадное скопище убийц по ремеслу тунеядствует, грабит и не имеет другого назначения, кроме самозащиты и защиты своих атаманов и приживалок их — аббатов, юристов и торгашей. Вот что́ представляли собою государства XIV—XVI столетий, государства, основанные и державшиеся фальшивою монетою, фальшивым правом, фальшивыми декреталиями[104], фальшивою наукою и союзом с разбойниками против мирных граждан, с арманьяками[105] против жаков, с ландскнехтами[106] против крестьян Франконии[107] и Швабии[108]! Государства — воплощенные противоречия, где анархия считается порядком, добыча грабежа — собственностью, а все бесчестное, нелепое и насильственное — священным, разумным и справедливым!

Практики видели это и мудро решали, что нужно совершенствовать и преобразовывать. Но что же совершенствовать? Насилие и лихоимство? Кроме того больше ничего не было. Какие возможны реформы? Что преобразовать? Все практики, от Филиппа IV[109] до Лютера, от преобразователя государства до преобразователя церкви, занимались только совершенствованием эксплуатации и узаконением грабежа. От вымогательства силою перешли к мошенничеству подделкою денежных знаков; от финансовой системы Филиппа Красивого к финансовой системе Филиппа Орлеанского[110]; от обмана к обману, от надувательства к надувательству, и рядом банкротств, ликвидаций и революций пришли к Наполеоновской империи, к оборотам Фульда, к née plus ultra * воровской ловкости!

* *до предела (лат.).*

В других отношениях реформы шли также непрерывно и успешно. От абсолютизма переходили к конституциям, от конституций к республикам, от аристократии к буржуазии и демократии; от папского авторитета к лютеровскому и от лютеровского к гегелевскому. Все эти реформы прославлены, возвеличены, как будто к чему-нибудь привели, кроме того, что изощрили ловкость плутов и заменили лом подпилком.

Мюнцер представляет пример человека, понимавшего нелепость и бесплодность этих реформ. Он и современные ему люди этого направления решительно отложились от практики доктора Лютера, доктора Лгуна, как они его называли. Они видели, что его пресловутая реформа не сто́ит гроша, потому что вовсе не касается главнейших язв современного общества. Они разошлись с ним, стали отрицать все то, на чем он строил свои реформы, и сделались отщепенцами не только папской, но и лютеранской церкви, не только злоупотреблений, но и порядков государства.

Никто лучше Мюнцера не выразил истинного смысла отрицания. «Надо искать веры в неверии, неба в аду»,— сказал он; другими словами: чтобы верить, надо отрицать, чтобы строить, надо разрушать, чтобы любить, надо ненавидеть.

Он высказал решительно то, чего всегда хотели и что всегда проповедывали все сектаторы и отщепенцы, во имя чего они отрицали современные общества. Omnia simul communia *, все должно было быть общим, и *каждому по потребностям его:* таков был его коренной принцип, во имя которого он восстал против грабителей и лихоимцев, против их защитников и прислужников.

«Наши князья и господа,— писал он,— рассол лихоимства, воровства и разбоя. Они все забирают себе в собственность: рыб в воде, птиц в воздухе, растения на земле; все принадлежит им. И для оправдания своего явного грабежа, они толкуют беднякам о заповеди Божьей, говоря: Бог повелел не красть! Но до них эта заповедь не касается. Они обирают и грабят бедных поселян, рабочих, словом, всякого живого человека. А других за малейшую провинность вешают, и доктор Лгун приговаривает: «Аминь». Поэтому и говорю прямо, что хочу восстать и восстану».

«Встаньте, встаньте, встаньте!» — писал он рабочим в

* Все сообща *(лат.)*.

рудокопнях Мансфельда. «Пора! злодеи оробели, как псы. Зовите братьев, ведите их сюда, потому что мера переполнилась! Встаньте, встаньте, встаньте! Не склоняйтесь на милосердие, если Исав будет задобривать вас добрыми словами (Быт. 33). Не обращайте внимания на плач безбожных, не щадите их, когда они станут умолять вас и рыдать, как дети, ибо Бог так повелел Моисею[111] и то же заповедал нам. Да не остынет меч ваш в крови!»

К самим тиранам он обращается так: *«Да трепещет злодей!»* (Рим. 2).

«Так-то злоупотребляешь ты, тиран, словами апостола? Ты думаешь доказать законность злодейской власти, подобно папам, которые обратили св. Петра и Павла в палачей?! Но неужели ты не подумал, что Господь во гневе своем может, наконец, возбудить неразумный народ низвергнуть тебя!»

«Не о тебе ли и тебе подобных сказано (Лук. I), что Господь унизит гордых и возвысит униженных, которых ты презираешь? Не видел ли ты в своей лютеровской каше или виттенбергской похлебке, что пророчит Иезекииль[112] в 37 гл.? Не видел ли ты хоть в мартиновской пачкатне, как говорит этот пророк, в 39 гл., о том, что «Бог прикажет всем птицам небесным пожирать тело князей». «И дикие звери будут пить кровь великих мира сего» (Апок. 18 и 19). «Проклят,— говорил он духовенству,— кто проповедует миру сладкого Христа, потворствуя грязным поползновениям богатых. Вы говорите, что достаточно быть добрым христианином, что вера обойдется и без дел. Фу, фу, книжники и фарисеи проклятые, какую вы подлость несете! Вы убийцы и воры, потому что не печалите, не огорчаете, а веселите и утешаете».

«Справедливо говорит Иезекииль, что сердца проклятых превращаются в камень, как, напр., у пасторов и у подобных им (у юристов); они читают свои книги и самодовольно говорят: мы мудры и знаем закон Господа. Они, как журавли, ходят по лугам и с алчностью глотают лягушек из луж и потом изрыгают их в гнезда своим птенцам. Они, эти псы, пожирают целиком тексты, но неспособны понять их. Ах, ах, не втолковать им истины, не возьмут они ее в толк (Ah, ah, frangere non possunt!) * Увы, увы, они проповедуют, как Валаам![114] — Божье слово на устах,

* Ах, ах, разрушить они не в силах *(лат.)*.

но от сердца далеко» (Oh vae, vae et in aeteruum vae, instar Balaam praedicantibus!) *.

Эксплуататоры рассуждали иначе. «Прошу вас, друзья, мужественно сразиться с этими злодеями и убийцами»,— говорил своим ландскнехтам Ландграф Гессенский перед Франкенгаузеном. Сам бог заповедал почитать власти, ибо Павел говорит: противящийся властям наказан будет, потому что всякая власть от бога. Я говорю вам это не с тем, чтобы унижать крестьян, а потому что это правда. Я знаю, что мы часто заслуживаем наказания, потому что мы люди и часто грешим; но восстание все-таки недозволительно. Бог приказывает почитать власть, а когда же можно воздать ей бо́льшую честь, как не тогда, когда она в ней больше всего нуждается? А власть всего больше нуждается в чести, когда унижена или когда совершила проступок; и подданные должны помочь ей перенести свой позор, почтить и прикрыть, как Сим прикрыл Ноя, дабы остаться в мире и согласии.— Крестьяне платят небольшие подати, за то могут жить спокойно, кормить и воспитывать детей; подати налагаются для их же спокойствия. Скажите, кому от них польза, как не самим же подданным?»

Но не только князья и военные предводители, а и сам Лютер утверждал, что «уничтожить крепостное право — дело противоевангельское и разбойничье, потому что грабеж — лишать господина владения человеком, принадлежащим ему, как собственность. Сам Авраам [114] и другие патриархи имели крепостных, и Павел пишет (Гал. 4), что «господин и раб во Христе нераздельны».

Таким образом самые вопиющие насилия и безобразия находили себе и тогда очень красноречивых и почтенных защитников. Лютер, не побоявшийся еще недавно пойти по следам Гусса, по дороге, приводившей доселе всех, кто шел по ней, к костру, доказывал доводами и примерами законность рабства и беззаконность его уничтожения! Он стоял за священные права собственности так же горячо и твердо, как нынешние демократы и либералы, и находил, что уничтожать рабство — просто разбой! Ландграф Гессенский был также государь либеральный и просвещенный; его речь даже мягче и не так явно нелепа, как проповедь Лютера. Он допускает, что власть может погрешать; он не говорит, что князья имеют абсолютное и священное право обирать народ; напротив того, он указывает как на

* О горе, вечное горе тем, кто преклоняется перед образом Ваала *(лат.)*.

вещь нормальную и справедливую, что народы платят для собственной пользы, выражая этим правило новейших либералов: правительство для народа, а не народ для правительства. Все, чего он просит и желает,— он, владетельный князь и главнокомандующий,— чтобы народ не ставил ему всякую строку в лыко, не упрекал бы его за всякую несправедливость, но прикрыл бы великодушно его наготу, когда ему случится обнаружить ее перед другими. Чего умереннее? До сих пор еще либеральные парламентские ораторы всегда громко не одобряют то, что они называют déconsidération du gouvernement *, унижение правительства в общественном мнении,— что совершенно то же, что нелестное для правительств сравнение Ландграфа.

Но все эти доводы, очень основательные в глазах тех, кому более выгодны, казались народу и его вождю такими же бессмысленными и бессовестно-глупыми, какими кажутся нашим современникам речи, писания и проповеди либеральных консерваторов и консервативных либералов.

Новомодные либералы с ужасом и негодованием рассказывают о жестокостях церковных властей против сект и сектаторов. Действительно, мартиролог сект несравненно богаче мартиролога церкви даже со всеми ее 11.000 замученных дев и таким же количеством умерщвленных детей. Гонения христиан при императорах могут показаться временами кротчайшей гуманности и просвещенной веротерпимости в сравнении с преследованиями еретиков церковью. Прославленные злодеи императорского Рима не казнили и двадцатой доли того, что истребили благочестные короли Испании и Франции. В ряду палачей человечества имена Сигизмунда [115], Филиппа II [116] и Людовика XIV [117], Иннокентия III и Пия V, Торквемад [118], Альб [119], Гизов [120] и других подобных страшилищ стоят далеко выше всевозможных Фаларидов и Антиохов, Неронов и Лициниев [121] древности. Индейские *туги*, знаменитые *ассасины*, корсары Алжира и турецкие янычары погубили меньше жертв и были великодушнее христианских монахов св. Доминика [122] со святою инквизицией, были человечнее страшных палачей в кардинальских шляпах и герцогских коронах, которые заседали в советах наихристианнейших и наикатолических королей. Сибарисский бык, иллюминация нероновских садов, сивашская расправа Тамерлана [123] помрачены мадридскими auto de fé ** [124], эшафота-

* объединение правительств *(фр.)*.
** букв.— акт веры *(исп.)*.

ми Гревской площади [125], штурмом Магдебурга. Только невероятные летописи персидского двора могут дать понятие о тайнах Версаля [126] и Сент Джемса, Ватикана и Эскуриала [127].

Черная, густая тень бесконечного ряда страшных преступлений покрывает страницы церковной истории. Что ни год, то где-нибудь во имя ее льется потоками кровь «ad majorem Dei gloriam» *. Римское духовенство дошло наконец-то до того, что историк затрудняется, кого скорее признать в рясе — ростовщика или палача. Свершились факты, до того чудовищно нелепые, что самое смелое воображение не могло бы выдумать ничего подобного. Монашество, основанное некогда отщепенцами общества, монашество — приют людей, бежавших в безлюдные степи от жестокостей и разврата лихоимствующего и палачествующего общества; монашество столпников [128], порожденное чувством святым и законным при известных условиях, чувством знакомым и мудрецам Индии, и европейским пророкам, и стоикам Рима, и обманутым жизнью благородным героям наших времен,— монашество, последнее слово философии всех времен и последнее прибежище честного человека во времена повальной подлости,— монашество, кто бы поверил этому? — обратилось в шайку лихоимцев, мало того, в палачей! Вот до чего доводит неумолимая логика истории.

Когда основание истинно, то логика приводит к правде, иногда так скоро и неожиданно, что блеск этой правды поражает людей удивлением, и они благоговейно преклоняются перед ней. Или же, когда ложь лежит в основании жизни, то логика вдруг раскрывает перед нами такую бездонную пропасть неправды и зла, такое невероятное извращение всякого смысла, что мы в отчаянии спешим закрыть летописи человечества, которые являются нам в эту минуту медицинским свидетельством в его неизлечимом умопомешательстве.

Никакая святость, никакие добродетели членов католической церкви не искупят ее прошлого, не оправдают ее инквизиции, ее кровавых подвигов и религиозных войн. Двойной позор лихоимства и палачества покрыл ее на веки, и в этом проигранном деле равно погибла и память святых, и память преступников. Нынешние бойцы за правду и свободу без сочувствия смотрят на людей, которые некогда, подобно им, боролись за правое дело и погибали в

* к вящей славе Божией (девиз ордена иезуитов) *(лат.)*.

этой борьбе. Но венец мученичества, надетый на них Римом католицизма, хищным, алчным и жестоким более, чем Рим язычества, лишил их па долго ореола славы в благодарных воспоминаниях народов о героях, потрудившихся для них. И католичество лишилось возможности с справедливою гордостью указывать на имена своих героев, служивших не ему, а человечеству, и заплативших жизнью за желание освободить людей. Оно не смеет указывать на свой мартиролог [129], потому что у врагов его есть свой, иной мартиролог, и в нем на имя каждого мученика церкви найдутся сотни имен ее жертв.

Так, без ответа и оправдания, стоит церковь перед судом истории, перед неподкупным судом потомства. Ее благословляющие пальцы в крови: белые ризы ее в кровавых пятнах, и никакие фимиамы не уничтожат запаха жженого человеческого мяса, которым она пропахла; никакие гимны не заглушат замогильных голосов казненных, замученных жертв, тех голосов, которые раздаются в памяти народов. Слова оправдания замирают на устах того, кто, движимый состраданием, хотел бы сказать в ее пользу доброе слово. Не сулят ей пощады и устремленные на все холодные взоры присяжных и свидетелей, и в глазах их не светит сочувствие. И судьи готовы уже надеть черную шапку... Fiat justitia! *

Но вот — верх срама и бесчестия! — против преступницы подымается голос ее сообщника! Тот подымается против нее, кто участвовал во всех ее преступлениях, кто, то ссорясь, то мирясь с нею, действовал всегда с ней за одно и для кого она совершила свои величайшие преступления, свои самые нечеловеческие злодейства. Против нее подымается ее же собрат, сообщник и любовник, который похитил у нее евангельскую непорочность, который из святой девы обратил ее в кровожадную фурию, в алчную развратницу; подымается светский теолог, юрист, солдат, представитель государственной мудрости!

Он видит ее унижение, ее позор, ее неизбежное осуждение и спешит предательством, отступничеством закупить судей, выйти целым и невредимым из рокового процесса. Презренный, он представляет против нее новые факты; он помогает памяти свидетелей; он уличает ее в самых задушевных ее стремлениях и намерениях, которые она поверяла ему одному в те минуты, когда, лежа в объятиях друг

* Да свершится правосудие! *(лат.)*

друга, они сообща составляли свои черные планы, грозящие бедой народам. Он добродетельно ужасается ее злодеяниям, взывает ко мщению, радуется ее унижению, готов открыть для нее в своих застенках самые жестокие орудия пытки и отыскать в своем уголовном праве самую медленную казнь!

Но нет, этой лжи, этой презренной уловке не удастся восторжествовать. Та самая история, которая дала факты для осуждения одной, обвинит и другого. Сама преступница, в которой все, что было еще благородного, вспыхнет негодованием при этой неслыханной измене, подымет голову и заговорит, чтобы взвести с собой на плаху своего бесчестного сообщника и обличителя.

Католические, клерикальные историки справедливо отвечают на гнусные выходки либералов, что церковь казнила и гнала не во имя теологической правды, а во имя государственных интересов. Сектаторы погибли на кострах и виселицах не потому, что не соглашались с церковью в том или другом догмате, а потому что *все без исключения* были врагами старого общественного порядка, противниками не церкви, а государства и социальных условий. Вот за что́ погибли они не столько от руки духовных, сколько светских властей, погибли не под громами анафем, а под секирою палачей, под ударами сабель и штыков, по приговорам юристов и королей, полководцев и чиновников.

Кто убил предательски Тайлора? — Лордмер Лондона, министр Ричарда II. Кто предательски выдал Гусса? — Император Сигизмунд.— Кто истреблял лоллардов и иоаннитов, гугенотов [130] и цвинглиян [131]? — Короли Англии, Богемии, Франции и аристократии Швейцарии.— Кто обратил в пустыню цветущий Лангедок, родину вальденцев и альбигойцев? — Армии французских королей. Неужели несколько монахов сожгли сотни тысяч еретиков в Испании, Бельгии и Англии? Нет, их сожгли государственные власти, короли, наместники, регенты, сожгли не за мнения об евхаристии [132], а за восстание против насилия и грабежа.

Правда, во всех этих случаях духовенство играло важную роль. Из Ватикана раздавался голос, призывавший царей и народы на священную войну против сект и еретиков. Духовенство заседало в «кровавых» советах, где задумывались и решались «кровавые» свадьбы. Монахи поджигали костры и благословляли убийц на новые зверства. Но главным виновником было не духовенство, и дело шло вовсе не о духовных интересах.

История секты анабаптистов и крестьянского восстания Мюнцера лучше всего показывает, кто был настоящий виновник и о чем шла речь между гонимыми и гонителями.

Пока речь шла о церковной реформе, до тех пор никто не помышлял серьезно противодействовать этому движению. Напротив того: князья были очень рады случаю воспользоваться владениями и доходами духовенства. Но когда за Лютером явились другие проповедники, понявшие, что беда не в индульгенциях, не в папской власти и не в безбрачии духовенства, а во всем социальном устройстве; когда под евангельским учением стали разуметь, по примеру прежних сектаторов, учение равенства и свободы,— тогда началась борьба. В этой борьбе духовенство принимало участие только в качестве светских князей и помещиков, а не в качестве блюстителей чистоты католической веры. Из числа государей, особенно отличившихся деятельностью, многие сами были еретики в смысле католического учения, а тот, кто громче всех кричал против движения, был в глазах истинно верующих самим антихристом.

Тем не менее борьба между высшими сословиями и крестьянами, между государями и Мюнцером, между старым обществом и «новым евангелием» имело вполне характер войн религиозных. Мюнцер был и глава секты, и политический вождь. По выражению историка, «в нем, как в фокусе, отражались и сосредоточивались все явления будущих времен; он был микрокозмом будущности». Не только будущности, но и прошедшего, потому что он — предшественник революционеров XVIII и социалистов XIX века, который подает в истории руку всем сектаторам и, как звено, соединяет в общую цепь весь ряд исторических отщепенцев. Историк говорит о нем, «что дух его до сих пор парит над европейскими странами, веет в хижинах крестьян и проводит глубокую морщину на челе мыслителя за полунощною лампой; этот дух живет в речах честных защитников народа». Да, это тот самый дух, который никогда еще не умирал в истории, который жил в стоиках Рима, в христианах, в сектах и в политических деятелях новейшей истории.

Этот дух всегда вступал в борьбу с коренною ложью общества и возбуждал против себя самую непримиримую ненависть и самое ожесточенное гонение. Так же упорно и озлобленно велась с ним борьба и в шестнадцатом веке, когда он снова явился на мировую сцену в лице Мюнцера,

последнего сектатора и первого социального демократа новой истории.

В это время средневековый мир приближался к тому же концу, который, при начале христианства, стал грозить миру древнему. Банкротство верований и учреждений было полное, и ликвидация казалась непредотвратимой. Правда, соединенным усилиям всех, кому она грозила гибелью, удалось отсрочить ее еще на два века, но какими же средствами! Нужен был орден иезуитов [133], нужна была политика Карла V [134], нужно было истребление людей в неслыханных размерах, чтобы протянуть дело еще на 250 лет. Но в первой половине XVI века все эти средства еще не были пущены в ход, и развязка, по-видимому, приближалась быстрыми шагами.

В Германии раздался первый решительный удар против средневекового общества. Одно время, правда недолго, всего одну короткую майскую ночь, как говорит историк, казалось, что удар этот сразу сломит обветшалый и обанкротившийся мир насилия и лихоимства. «Факелами осветился старый Кифгейзер, где столько веков спит в заколдованном сне император Рыжая Борода; встревоженные вороны в испуге вылетели из своих гнезд, и, казалось, настала минута, когда на новом майском поле соберутся свободные народы».

Но сила была на стороне врагов свободы, и сила восторжествовала. Отщепенцам, как Мюнцер, не суждено одерживать побед в поле: им суждены победы только нравственные. Франкенгаузенское сражение решило судьбу демократии XVI века и судьбу Мюнцера. Он был взят в плен и предстал перед судом своих победителей. На упреки их он отвечал, что поступил хорошо, предприняв наказать государей за измену евангелию и христианской свободе; что он, побежденный и пленный, остается при убеждении, что им необходимо видеть узду и намордник; что если крестьяне разбиты, это не его вина,— так, стало быть, им было суждено.

На эту смелую, благородную речь отвечал юный тиран Филипп Гессенский. Он отвечал ему в духе Лютера цитатами из библии против возмущения и о повиновении властям.

Мюнцер не удостоил его ответом. Что́ ему было говорить? Спорить с палачом, уже занесшим над ним топор? Это хуже, чем проповедывать в пустыне. Тогда его повели на пытку. Государи присутствовали при ней, и тешились,

и злорадствовали. Затем его перевезли к жестокому Эрнсту Мансфельду, его личному врагу, у которого его ожидали новые истязания.

Наконец, в лагере перед Мюльгаузеном, совершилась казнь. Князья снова присутствовали, как будто для того, чтобы как можно хуже опозорить себя перед потомством своей жестокостью и глупостью. Его, святого мученика, готовившегося испить последнюю чашу горести за свое дело, его, фанатика, восторженно шедшего навстречу казни, стал увещевать мелкий саксонский тиран, католический герцог Георг. «Пострадай, Томас,— сказал он ему,— за то, что вышел из своего ордена, снял духовную рясу и взял жену». Но другой палач, лютеранин Ландграф, прервал его: «Нет, Мюнцер, за это не стоило бы тебе страдать; а за то пострадай, что взбунтовал народ!» Так разыгрывались перед мучеником глупые споры и мелочные раздоры его венценосных мучителей.

Он поднялся на своей тележке, в которой был прикован цепью; мучения пытки и тюрьмы, близость смерти не смущали его ясного духа. Смело, спокойно и громко начал он говорить, что задумал дело великое, и оно превзошло его силы; но что советует победителям быть умереннее и ослабить гнет, подавляющий народ, потому что иначе, рано или поздно, снова настанет для них горький час; он указывал им на изречения книги пророков и царей, где они могут найти примеры того, как гибнут тираны, и узнать себя в этих примерах.

Затем он замолк.

Благочестивый герцог Брауншвейгский, исполняя, по своему наивному убеждению, обязанность доброго христианина, счел долгом прочитать ему отходную. Наконец прозвучали последние слова, которыми убийца провожал в могилу свою жертву, и секира пала на главу Мюнцера.

Лютер возликовал, узнав о поражении и казни Мюнцера. Реформатор мог быть спокоен; реформа его остановилась на веки на том значении, которое он придавал ей: она остановилась на полдороге, там, где он ее оставил, и эта золотая середина устояла против усилий героев, хотевших вести ее далее, ко всем ее логическим следствиям. Утописты, отщепенцы снова погибли, потерпели поражение, подверглись позорной казни. Лютер радовался их неудаче и смерти их от руки палача, считая ее позором, который навсегда запятнает их дело.

В своей ненависти к людям, доказавшим ему своей дея-

тельностью, что реформы его ничтожны, что сам он не преобразователь общества, а жалкий член его, что истинно новые люди так же далеки от него, как и от пап, он забывал, что казнь позорит не отщепенцев, а палачей их. Тот, кто был казнен за полторы тысячи лет до Мюнцера, мог бы послужить примером всем свирепым безумцам, которые, взывая к его имени, в то же время осмеливаются презирать его заповедь: «обнаживший меч от меча и погибает»,— и решаются судить о жизни и смерти подобных себе. Враги Распятого судили точно так же, как и они, во имя религии, закона, справедливости и государственной пользы. И они говорили: «пусть погибнет лучше один человек, чем из-за него погибнут тысячи», и приговорили его к позорной казни, смело восклицая в уверенности своей правоты —

«Кровь его на нас и на детях наших!»

Прошли века, и позор обратился в божественную славу, орудие бесчестной казни в эмблему величайшей святости, и проклята по приговору человечества память его судей и палачей. На каждом шагу все символы и священные легенды христианства твердят людям про истины, заключенные в этом примере; но люди крестятся, молятся на кресты, целуют распятие и не видят, не слышат урока, который дает им пример распятия.

Так и этот ханжа, этот изувер, этот женатый доминиканец, этот университетский папа, в своей запальчивости труса и в кровожадности лицемера, воображал, что позорная казнь может опозорить великое и славное дело. А государи и князья спешили довершить унижение побежденных. Не довольствуясь казнью демократического вождя, они яростно преследовали его помощников, товарищей и последователей. Тысячи людей погибли от разъяренных князей и дворян, которые изобретали всевозможные казни, чтобы как можно ужаснее отомстить за себя и опорочить память своих врагов. Быть может, с этою мудрою государственною целью, один благородный рыцарь решился нанести молодой беременной вдове Мюнцера то ужасное оскорбление, которое привело в негодование даже Лютера. По этому случаю в вспыльчивом реформаторе в последний раз проснулось благородное негодование, и тяжелые слова осуждения посыпались из уст его на победителей, которых он еще так недавно возбуждал к немилосердной резне народа.

«Яростные, бешеные и безумные тираны,— писал он,—

не могут упиться кровью и после битвы. Они никогда не помышляли о Христе, и толковать им о нем я считаю излишним. Таким кровожадным псам все равно, кого бить, виновного или невинного, служить Богу или черту, лишь было бы кого резать; поэтому и предоставляю учителю их, дьяволу, вести их, куда ему угодно».

«Я слышал, что в Мюльгаузене один высокородный господин призвал к себе бедную жену Мюнцера, беременную и овдовевшую, встал перед ней на колени и сказал: «милая, позволь...» О какой благородный, рыцарский поступок! О какой смелый герой, какой неустрашимый рыцарь! Что же толковать с такими мерзавцами и свиньями! Св. Писание называет таких людей бестиями, т. е. лютыми зверями, каковы — волки, гиены, медведи и львы; стало быть, обращать их в людей мне не приходится».

Так в потоках крови было задушено последнее религиозно-политическое движение народов Европы, и так погиб последний сектатор христианства. Его смерть заставляет грустно оглянуться на весь ряд его предшественников, которые все боролись за правое и святое дело, боролись с верою и одушевлением и погибли мучительною смертью под ударами церкви и государства.

Полторы тысячи лет учение евангелия вызывало людей на бой за истину против насилия и лихоимства. Полторы тысячи лет из рядов церкви и общества беспрестанно выходят люди, отлагающиеся от них, возвращающиеся к чистоте первобытного евангелия и желающие страстно спасать общество от богохульников, гнетущих его и извращающих смысл божественного слова. В них, в этих отщепенцах, не угасает евангельская традиция. Они — верные хранители того учения, которого содержание выразилось в Нагорной проповеди. Из уст Основателя христианства раздалась речь против лихоимства и насилия. Христиане первых веков еще подражают своему учителю и развивают с кафедр евангельские истины. Святые Амвросии и Иоанны Златоусты не боятся говорить христианскую правду в глаза царям, деспотам, богачам и знатным. В соборах Византии и Медиолана, с престолов архиепископов и патриархов, раздаются громоносные обличения преступлений императоров и лихоимства высших классов.

«Таковы-то ваши благодеяния, о богачи! Вы даете меньше, чем получаете; *вы грабите, даже помогая; вы извлекаете себе пользу из самой нищеты.* Тот, кто платит вам лихву, находится в нужде; он должен занять у вас,

чтобы расплатиться с необходимыми долгами, и остается ни с чем. А вы, милосердые люди, вы снимаете с него чужие цепи, чтобы сковать его покрепче своими! — *У него нет хлеба, и он платит лихву!* Есть ли что-нибудь нелепее этого? Он просит у вас лекарства, а вы даете ему яд; он просит хлеба, а вы показываете ему меч; он ищет свободы, а вы берете его в рабство; он жаждет избавления, а вы затягиваете петлю, которая его душит.

«Вы пьете, а другой плачет; вы едите, и ваша пища душит других; вы наслаждаетесь симфониями, а другой изнывет в рыданиях. Вы наживаетесь горем; вы ищете выгод в слезах; вы, считая себя богатыми, тем не менее отнимаете у бедняка его скудный заработок. Но слышали ли вы, что сказал Спаситель: *горе вам, богатые, имеющие отраду.* Val vobis, divitibus, qui habetis consolationem!» *

Вскоре церковь забыла евангелие и обратилась в язычество, т. е. стала служить насилию и проповедывать лихоимство. Но сектаторы 10 веков сряду выступали против нее и напоминали людям, что не тому учит евангелие, которому они поклоняются, не в том состоит христианство, членами которого они себя считают.

И что же? Все они умерли, кто на костре, кто на плахе, и после погибели последнего из них не являлось более сектаторов, не было более религиозных революционеров, отщепенцев во имя евангелия. По-видимому, насилие восторжествовало: палач и торгаш индульгенциями сделали свое дело. Голос правды, голос Спасителя, Златоустов, Григориев и Василиев, голос Вальда и Мюнцера замолк навсегда. Неужели они боролись тщетно, умерли бесполезно? Неужели лихоимство и насилие победили действительно, окончательно, заставив навсегда замолкнуть голос правды? Неужели, наконец, все усилия, весь героизм, вся правда их были употреблены на дело, которому никогда не суждено победить, которое осуждено жизнью навеки, так что история их трудов и страданий способна только исторгнуть вопль мучительного разочарования?

Но нет, деятельность их прошла не даром! Последний из них, Мюнцер, подает свою доблестную руку, руку, ниспровергавшую алтарь и митру, ряду других отщепенцев, в которых живет вечная, бессмертная идея и которые продолжают протест во имя свободы, равенства и братства,

---

* Горе вам, красноречивым, твердившим слова утешения! *(лат.)*

против насилия и лихоимства. Сектаторский религиозный дух умер, конечно; но идея, жившая в нем, осталась жива и только переменила знамя. Философия заменила религию, наука — предание. Мученики религиозной борьбы могли только сказать, умирая:

«Поднимаем руку к небесам и клянемся: мысль наша бессмертна!»

КАК ПРОПАДАЮТ ВЕРОВАНИЯ

Близится конец царству старого учения — и настает пора глубокого равнодушия к вере отцов. Конечно, такое равнодушие нельзя еще назвать сомнением или безверием: сомневаться не думают, отрицать веры не желают, но веруют уже не по-прежнему, веруют не искренно и с увлечением, а бессознательно и по привычке.— Мертва та вера, которую поддерживает одна рутина!

В начале, когда учение только зарождалось и распространилось,— его приняли и усвоили, потому что признали его за истину. В ту пору вера была жива и сильна: люди знали тогда, во что́ и чему они веруют.

Прошли века за веками, и потомство верующих стало уже веровать по преданию и привычке, мало-помалу теряя сознание и чувство заветной веры. И вот она исподволь меняет свою основу и, не опираясь более на убеждения, начинает уже покоиться на авторитете и окончательно превращается в мертвящую рутину. Передаваясь из рода в род по завещанию, старое учение постепенно искажается, утрачивает прежнее свое значение, а вера обращается в притворное чувство и сохраняется только на словах. Как ни звучны эти слова, но нет в них выражения веры, той чистосердечной и пылкой веры, которая некогда заставила людей волноваться, страдать и умирать. Старое учение еще господствует, но только по наружности; ему следуют, но уже без веры в его истину. Вот почему оно неизбежно извращается и разлагается, наконец, в бессмыслицу, на которую перестают даже обращать внимание.

Такое тупое равнодушие к заповедному учению не может, впрочем, долго продолжаться. Рано или поздно, в среде того самого общества, которое не верует искренно, а живет только суеверными привычками, появляются люди с пытливым умом и с чувством правды. Для них немыс-

лима вера без убеждения и противен им разлад слова с делом. С невольным отвращением смотрят они на бессмыслие и лицемерие толпы, которая притворяется, будто бы во что-то верует и чему-то поклоняется. Совесть их возмущается при виде этого повального нравственного разврата, и в уме их зарождается тяжелое сомнение в истине веры, которая на практике обратилась в пошлую обрядность и позорное шутовство. Это сомнение совершенно законно и разумно. Мало того: умные и совестливые люди, которые презирают подложное чувство веры и видят в нем разврат мысли, вовсе не думают сперва посягать на самую веру или отрицать учение, которое ее вызвало. Нет, они желают только разгадать истинный смысл этого учения и оправдать его правила своим разумом, с целью веровать не слепо, а с убеждением.

Напрасное желание! — Века изуверства и лицемерия так исказили смысл господствующего учения, что оно бессильно уже воскресить в сердцах погибшую веру и рассеять сомнения. В нем была правда и правдой держалось оно время, пока шла борьба за его существование. Борьба кончалась торжеством; победители отпраздновали свою победу и, вскоре затем, впали в то спокойное, равнодушное состояние, которого не знали прежде, когда боролись за свое правое дело, за веру и убеждения. Как сперва борьбой укреплялось новое учение, так потом победой ослабилось его значение, потому что бойцы охладели к нему и перестали им увлекаться. С этой самой поры гаснет вера, а с нею вместе и сознание ее смысла. Начиная с того, что самое учение о вере теряет свой отрицательный характер, получает догматический тон и заключается в узкие формы, в виде правил, наставлений, молитв, которые заучиваются и повторяются потом уже бессознательно. Таким образом, все более и более позабывается настоящий смысл общепринятого учения и тем дается возможность произвольно искажать его формы и практическое значение. И вот эгоизм и невежество обезображивают его окончательно так, что оно делается сводом самых изуверских правил, вопиющих противоречий и нелепостей, в которых нет даже тени здравого смысла. Властолюбие, своекорыстие, лицемерие, тупоумие, короче, все, что позорит и унижает человека, возводится уже в добродетель и мудрость того учения, которое возникло для борьбы с насилием, грабежом и всякою неправдой.

Понятно, что в таком безобразном и развратном виде

старое учение не может возбуждать в честном и умном человеке ничего, кроме чувства отвращения. Вот почему люди, которые начинают добросовестно изучать влияние правил веры, обращенной в практику лжи, обмана и насилия, скоро кончают тем, что отрекаются от нее навсегда. Совесть и разум заставляют их не верить тому, что ложно, и не уважать того, что достойно презрения. С этой поры, освобождаясь умственно и нравственно от деспотизма старого учения, они проникаются новыми, светлыми убеждениями и чувствами. В них загорается пламень иной веры, веры в правду своего отрицания господствующего учения. Такая вера жива, потому что сознательна, жива, потому что выражает собой пробуждение человеческого разума после вековой дремоты; она жива, потому что увлекает и оживляет тех, кто ее чувствует впервые; она жива, наконец, потому что в ней залог революции, которая должна вызвать общество к новой, честной жизни.

И вот, в порыве страстного увлечения, отрицатели подложной веры громко заявляют свое отречение и взывают к здравому смыслу и совести общества. В этих живых и честных людях нет уже того благоразумия или, говоря вернее, того малодушия и лицемерия, которое боится правды и старается скрывать ее под разными предлогами. Кто верует в правоту своего дела, кто убежден в могуществе своей идеи и проникнут ею до мозга костей, тот не знает страха и говорит по совести все, что чувствует. Вот почему, без рассчета и тайного умысла, отрицатели отважно провозглашают, что старое учение ложно, и обращаются к обществу с сильною, выразительною речью, в которой так и звучат слова давно забытой, но вечно сущей правды. С этой торжественной минуты во всех слоях общества проявляется какое-то тревожно-томительное настроение, и вскоре вспыхивает ужасная борьба.

Погруженное в спячку общество вздрагивает, пробуждается, начинает прислушиваться к голосу новых пророков и, оглядываясь на себя, замечает, что оно или ни во что́ не верует, или верует, само не зная чему. Закрадывается сомнение в умы людей, привыкших верить на слово, и в умы людей, которые никогда не проверяли своих понятий и взглядов, а действовали всегда слепо, повинуясь рутине. Смутно и медленно проникает в такие умы первое, неотразимое сомнение во истине старого учения. Хотя общественный разум и готов потом отказаться от него, но зараза привычной апатии так еще сильна, что масса лю-

дей не скоро решается на прямое и откровенное отрицание своего прошлого.

Вот почему, не смотря на свое пробуждение от умственной дремоты, общество не вдруг поддается обаянию новых, оживляющих идей и как будто выжидает той минуты, когда разыграются страсти и завяжется борьба интересов.

Совсем иное происходит в среде партии, которая управляла и жила во имя старого учения. Люди этой партии давно уже привыкли к безмятежному владычеству и потому перестали помышлять о возможности опасного для них переворота. Но вот, почуяв нежданно грозящую беду, они протирают глаза и готовятся встретить врага в полном вооружении. Что же, однако, оказывается? — Самозванные защитники старого учения давно уже забыли смысл его и не знают, как и почему утвердилось оно и стало господствовать над умами. Они помнят только то, что сумели воспользоваться правилами этого учения для достижения своих целей и обратили его в оружие обмана и насилия. Таким образом, когда настает пора обличений, когда общество обращает внимание на партию властвующих консерваторов,— они не могут прямо оправдаться и чувствуют, что кругом и под ногами все колеблется, шатается и разваливается <...>

...Не задумываясь долго, они решаются подавить в зародыше новые идеи и потому обращают всю свою злобу на виновников умственного движения, то есть на отрицателей старого, извращенного учения.

Смелость этих свободных мыслителей так сильно раздражает слепых защитников рутины, что, не задумываясь долго, они решаются преследовать их и убивать, как опасных врагов.— Так начинается первая борьба; с одной стороны — разумное отрицание неправды и чисто нравственная сила убеждения, а с другой — вооруженная власть и грубое насилие во всем его безобразии.

Кровь первых мучеников свободы слова не пропадает, однако, даром: она смывает толстый слой нравственной грязи, под которым гноилось общество, и в нем воскресает чувство правды, проявляется сострадание к жертвам насилия и закипает ненависть к палачам. Осуждать и казнить людей за то, что они откровенно высказывают свои задушевные мысли, свои честные и разумные убеждения — разве это не вопиющее беззаконие и зверство? — спрашивает общество, и совесть его возмущается, и в го-

лосе его слышится проклятие убийцам. С минуты на минуту разгорается сочувствие к осужденным и гонимым, а мысли и убеждения их, освященные кровью, проникают в общественное сознание и находят жарких последователей.

Таким образом, чем сильнее и упорнее преследуются новые идеи, тем скорее и глубже укореняются они в обществе и тем живее выражается его отвращение к старым понятиям и обычаям, во имя которых казнится все новое, разумное и свободное. Как ни сильна рутина, но она не может никогда сковать разума и воли людей так, чтобы они не поддавались обаянию новизны и не желали дышать свежим воздухом свободы и правды. Как ни продолжителен и глубок тот сон, в который погружается общество, под одуряющим влиянием рутины, тем не менее не может оно спать вечно и, рано или поздно, должно очнуться, пробудиться, ожить. Но жизнь невозможна для людей без сознания, без мысли и постоянного ее развития. Поэтому, чем больше новых и свежих идей появляется в обществе, тем лучше оно пользуется жизнью и тем быстрее развивается.

Запивая свою злобу горячей кровью свободных мыслителей, фарисеи старого учения с досадой замечают, что общество начинает их ненавидеть и грозит от них отложиться. С этой поры они решаются действовать осторожнее и стараются избегать возмутительных казней, чтобы не возбуждать общего негодования. При всем том, проповедь отрицателей не умолкает, и враги их волей-неволей принуждены отстаивать свое постыдное дело. И вот они начинают сами обращаться к общественному мнению и представляют на суд его правила того учения, которое исказили по-своему и требовали, чтобы его признавали и почитали без рассуждения.

Но в этой новой борьбе с отрицателями кровожадные и лицемерные консерваторы обнаруживают жалкое бессилие. Начиная с того, что самое условие борьбы ставит их в невыгодное положение: вступая в спор с противниками, которые не защищаются, а только нападают, им приходится выставлять на вид безобразное противоречие своего учения и оправдывать все, что ложно и подложно, что подло и нелепо. Настоящий, первобытный смысл этого учения так гнусно извращен веками изуверства и лицемерия, что защищать его в таком отвратительном виде — значит доказывать крайнюю глупость или подлость. Что́

же остается делать староверам, которые сами не веруют в свое учение, сами не отдают себе ясного отчета в нем, а тем не менее должны отражать нападение людей отрицания и критики? Неужели они будут так честны и разумны, что согласятся признать себя побежденными и, не продолжая спора, объявят, что старое учение утратило свой прежний смысл, исказилось в руках лжецов и плутов и стало орудием обмана и насилия? Неужели они пожелают очистить свою совесть искренним покаянием и скажут, что сами были лжецами, мошенниками, грабителями?

О нет! Не о покаянии думают бессовестные поборники старого учения, которым так долго и выгодно пользовались. Они думают о том, как извести и уничтожить отрицателей, смело срывающих с них маску веры. И вот, в то самое время, когда отщепенцы позорной рутины обличают ее неправду и вызывают к себе сочувствие здравомыслящих и честных людей,— неисправимые консерваторы пускаются на разные выдумки, чтобы оболгать, оклеветать и унизить своих врагов в общественном мнении. Они сознают, что не в силах бороться с ними одинаковым оружием и защищать правила своей бесчестной жизни. Они уверены заранее, что всякое оправдание с их стороны невозможно, что всякое их объяснение будет смешно и нелепо, и потому решаются бесцеремонно клеветать на отрицателей и оскорблять их, в ожидании удобного случая для кровавой мести.

Между тем общество, заинтересованное борьбою старой и новой партии, видит, что защитники рутины не рассуждают, а только бесятся от злости. Это еще более заставляет его ненавидеть их, как палачей, и презирать, как низких клеветников. И чем более пытаются они унижать отрицателей, тем сами ниже падают в общем мнении и доводят себя, наконец, до такого постыдного положения, что над ними начинают смеяться, как над забавными шутами.

Так настает пора насмешек над рутиной и над всеми, кто не отказывается от старых понятий и верований. Здравый смысл торжествует, и отрицательное направление мысли делается господствующим.

Опозоренные и осмеянные консерваторы смолкают. Но сдавленная злоба кипит в их сердце. Проходит еще несколько времени — и успех отрицания вызывает заклятых врагов его на отчаянную месть. Дело в том, что в обществе, разделенном на враждебные сословия, развращенном постоянной борьбою интересов и запуганном грубою

силой, в таком обществе не может скоро укорениться отрицательное направление, которое требует свободы и только свободы. Поборники рабства и застоя понимают это хорошо и потому, отдавая невольную дань отрицанию, которому поддается общество в минуту своего пробуждения, не теряют надежды одержать, рано или поздно, решительную победу. Избирая удобный случай, они начинают разжигать личный эгоизм, возбуждать повальный страх и действовать вообще на грязные интересы людей, извлекающих какую-нибудь пользу из общественной неправды. Они жалостно проповедуют, что отрицание старого учения и вообще всей рутины грозит бедой всему обществу; что с уничтожением заветных верований и правил жизни падет и та власть, которая их сохраняет и поддерживает; что с упадком власти исчезнет всякий порядок и сила перейдет в руки опасных честолюбцев, которые не замедлят перестроить общество в свою пользу. Короче, рассчетливые защитники рутины уверяют, что революция идей, вызванная отрицанием, повлечет за собою страшный, материальный переворот и нарушит все господствующие интересы.

Коварные наущения консерваторов достигают своей цели — и в среде общества раздается протест против «опасного отрицания». Протестует, конечно, та часть общества, которая живет неправдой, наслаждается всеми благами жизни на счет угнетенных и ограбленных и потому более всего опасается потерять выгоды своего положения. В этой шайке развратных, тунеядных и своекорыстных людей, восстающих против отрицания, развивается отчаянная трусость и подлость. Один лишь страх, одна лишь забота во что бы то ни стало спасти свои бесчестные интересы связывают таких людей и заставляют их действовать сообща против отрицателей. В этой стачке интересов, в этом союзе малодушных негодяев заглушается всякое нравственное чувство и гаснет последняя искра совести и веры. И что же? Подобный заговор подлости прикрывается маской «благонамеренности», и сообщники бесчестья, помышляя о своих интересах, нагло уверяют, будто желают поддержать нравственность, религию, право собственности и законный порядок. Разврат мысли и чувства доводит их до того, что они осмеливаются даже утверждать, будто грязное их дело — общее, народное дело!

Лицемерие, коварство, подлый страх, своекорыстие, властолюбие, желание обеспечить свое господство — все

это придает партии старого порядка силу страшную и тем более опасную, что отрицатели, полагаясь на сочувствие общества, презирают своего врага и считают его побежденным. Действительно: представители рутины потерпели поражение и дело их пропало в общественном мнении. Но они удержали, однако, прежнее свое положение и, не смотря на потерю нравственной силы, сохраняют еще материальную, которой недостает отрицателям. Мало того: консерваторы, пользуясь властью, несравненно сильнее своих противников тем, что составляют огромную и плотную шайку опытных, практических и ловких заговорщиков, которые действуют под влиянием страха и с одною только целью спасения своих интересов. Что́ же касается отрицателей, то между ними нет прочного союза и, сперва нападая сообща на старый порядок, они разделяются потом на отдельные партии и секты, которые взаимно ослабляются разногласием и спором. Завязывается междоусобная распря: каждая секта выдумывает свои догматы, выставляет своих учителей и проповедников, старается увеличить число своих последователей и добивается исключительного господства.

Так исчезает прежнее единство отрицательного направления и развивается раскол в среде людей, которые так мужественно и единодушно начали борьбу против старого учения и его правил.

А между тем общество, которое не принимало еще прямого и решительного участия в этой борьбе, продолжает сочувствовать отрицателям. Оно видит в них провозвестников правды и сознает ложь существующего порядка, основанного на извращенном учении и подложной вере. Никто уже не уважает этого порядка и не доверяет его защитникам. Но, при всем том, что общество склоняется на сторону новой партии, которая доказала ему нелепость и гнусность рутины, оно невольно смущается, замечая явное разногласие между отрицателями. Не они ли с таким самоотвержением и бескорыстием боролись за правду своего отрицания? Не они ли так единомысленно осуждали практику лицемеров и бессовестных ханжей! Не они ли так увлекательно и правдиво обличали пагубную вражду личных и сословных интересов! И что же? Вот они ведут между собою догматические споры и сами отрицают свое отрицательное направление, сами хотят сделаться практиками и потому соперничают друг с другом лицемерием, честолюбием и своекорыстием. Куда де-

валось прежнее единодушие? Чем кончилась проповедь отрицания? Где вера в его несокрушимую силу? Такими вопросами задается общество, глядя на печальный разлад, который побуждает отрицателей чуждаться и даже ненавидеть друг друга в виду общего врага.

Консерваторы торжествуют. В свою очередь, они нападают то на тех, то на других противников существующего порядка, осуждают и осмеивают их учение, выставляют на вид их противоречия и обвиняют в злонамеренности, недобросовестности, своекорыстии, короче — во всех пороках, в которых обвинялись сами. «Вот какие люди желали стать во главе общества! Вот какие эгоисты и честолюбцы притворялись праведниками и, обманывая легковерных и недальновидных, пытались подорвать доверие и уважение к законной власти и тому учению, которое она защищает для общего блага и спокойствия!» — Так с поддельным увлечением ораторствуют консерваторы и укоряют общество за то, что оно поддалось обольщению отрицателей, поверило их речам и правоте их дела.

Обществом овладевает, наконец, страшное разочарование. Кругом себя оно видит одних только обманщиков, которые пользуются его легкомыслием и умышленно сбивают его с толку. И вот, отчаиваясь в истине, оно приходит к тому убеждению, что свобода, равенство, справедливость, нравственность, вера,— все это пустые слова, которыми не следует увлекаться, чтобы не сделаться игрушкою в руках отъявленных плутов и лицемеров. «Нельзя верить ничему; все вздор, все обман!» — говорят люди, которые еще недавно верили, что есть правда и что ее следует защищать, во всяком случае и без всякой задней мысли! — Таким-то образом остывает в сердцах малодушных и вообще забитых людей тот священный жар, который поддерживает страсть и силу убеждения. Пропадает увлечение правдой, и развращается разум и воля: честные и высокие мысли сменяются своекорыстными, низкими расчетами, и личный интерес делается единственным правилом жизни. Вся мудрость заключается уже в том, чтобы заботиться только о себе, жить и промышлять для себя, а об остальном не думать.

Не волнуется общество, не стремится выйти из заколдованного круга обычной рутины и равнодушно смотрит на свое безобразное положение.— Вот чего желали всегда и добивались защитники старого порядка. И теперь, когда общество опять засыпает, они не стараются господство-

вать над ним нравственно, не заискивают его уважения, доверия или даже расположения; еще менее того желают они обратить его на путь истины, добра и счастья. Общество равнодушествует — и консерваторы довольны; они убеждены в своей силе и знают, что могут пользоваться ею совершенно безнаказанно, могут делать все, что им вздумается, не встречая опасного сопротивления. Общество равнодушествует — и отрицатели не подозревают этого: они уверены еще, что враги не посмеют напасть на них по-прежнему, и надеятся, что общественное мнение всегда поддержит их в минуту опасности и спасет от преследования. Они жестоко ошибаются: нет им спасения.

Готовится страшная развязка.

Глядите! — Вот они, гнусные консерваторы, собираются с силами, тайно сговариваются, потом осматриваются кругом и, убеждаясь окончательно, что общество погружено в глубокий сон, внезапно бросаются вдруг на свою жертву и с наслаждением мучат, терзают и душат ее. В этих убийцах по ремеслу пропадает даже сознание того, что они творят: жажда мести безумит их, а воспоминание о позоре и опасности, которой они подвергались, разжигает страсть палачества, страсть необузданную и зверскую. Кровью несчастных и безоружных противников своих тушат они ненасытный пламень злобы, а на трупах празднуют победу и провозглашают тост в честь деспотизма, который отныне должен упрочить их подлое беззаконие, прославить их позор и преступления.

И вот торжествующие палачи спешат облечь в законную форму свое систематическое злодейство и свой заговор против правды. Наученные опытом, они заботятся прежде всего о том, чтобы убить в обществе тот роковой дух отрицания, который напугал их, чтобы истребить окончательно то семя святой правды, которая дает плоды, отравляющие подлецов.

Замыслы консерваторов приводятся в исполнение — и наступает ужасная пора. В общественной жизни исчезает все, что может напомнить о человеческом достоинстве... Нет более ни убеждений, ни верований, ни совести, ни даже стыда: люди обращаются в отвратительных гадов, которые извиваются и ползают в ногах властей и не смеют поднять голов своих. На лбу кровожадных консерваторов красуется клеймо их преступлений, в улыбке их выражается удовлетворенное чувство мести, а в глазах сверкает, как и прежде, зверская неугасимая ярость. Эти чу-

довищные натуры, эти нравственные уроды не ограничиваются тем, что обращают самих себя в диких зверей; нет, они воспитывают еще, по своему подобию, особую породу вредных животных, под названием «практических» людей, которые исполняют их волю и делаются слепыми орудиями деспотизма. Все удается консерваторам, даже выделка подлецов!

И вот размножается в обществе класс отчаянных негодяев, для которых нет ничего святого: они готовы на всякий бесчестный поступок, на всякое преступление по одному лишь знаку своих господ, которые нанимают их и содержат на счет общества. Таким образом, в распоряжение консерваторов поступает огромная армия сыщиков, шпионов и всяких мерзавцев, которые обязаны знать и сообщать властям все, что делается в обществе. Эта армия получает правильную организацию и пользуется особенным расположением поборников старого порядка, потому что они считают ее надежным оплотом своего могущества и рычагом своей власти.

Понятно, что в обществе, в котором утверждается царство таких гадов, пропадает даже тень гражданской свободы и, кроме консерваторов и наушников их, каждый носит намордник и ходит на уздечке под плетью. Никто не смеет открыть рта и высказать мнения, которое не нравится партии старого порядка. Приверженцы этой партии не признают за обществом никаких прав; их надо считать не членами его, а извергами, живущими не по-человечески, а по зверскому инстинкту, который побуждает их предаваться грабежу и насилию.

Что остается делать в обществе, которое управляется такими хищниками? Чего можно, наконец, ожидать от общества, которое бесстрастно позволяет преследовать и казнить людей за убеждения, верования и за свободное их выражение? Погибли отрицатели, бойцы за правду, погибли на глазах общества, и оно не только равнодушно смотрело на их погибель, но даже само отдалось потом в руки палачей свободной мысли, которые стали насиловать и развращать его более прежнего!

Да, страшно жить в таком обществе, где честному человеку нет другого исхода, кроме самоубийства или позорной казни!

Да, страшно жить в таком обществе, где приходится терять веру в достоинство человеческой природы и отчаяваться в правде людской!

Еще страшнее заживо хоронить себя в подобном обществе, подчиняясь подлым правилам его обычной жизни!

Но нет, нет! — да не клянет честный человек судьбы своей. Всему есть мера: почему не быть и мере подлости и позора?! Как низко ни падало бы и ни развращалось общество, как бы оно ни топтало правды, но дойдет же, наконец, повальный разврат до своего крайнего предела и подымется же правда, подымется и восстанет она во всем своем величии, во всей своей святости и силе! Мужайтесь, добрые люди, если в вас тлеется еще искра веры в совесть человека, веры в его будущее искупление от правственного падения. Вы видите, что общество пало и лежит во прахе. Не смущайтесь, не падайте духом: общество пало, это правда; но оно лежит не в прахе, а только в обмороке, который может, конечно, продолжаться долго, очень долго, и все-таки не бесконечно, не вечно. Этот обморок сулит не смерть, а воскресение, возрождение к новой, лучшей жизни. Будьте уверены, что в те самые минуты, когда вы с отчаянием глядите на замирание общества, человеческая природа делает над собою страшное усилие, чтобы не пасть окончательно, и это усилие не напрасно. Знайте, что оно воскрешает общество и заставляет развиваться в нем семенам будущей жизни, и эта жизнь зарождается в среде видимого гниения и разложения.

Отрицатели погибли под ударами неумолимых защитников старого порядка, погибли, потому что желали оживить общество, которое враги их осуждали на смерть. Но не погибло то дело, которому они служили. Не даром они жили в обществе, не даром и пожертвовали собою: они нанесли смертельный удар царству старого порядка, царству лжи и насилия. Защитники этого порядка знают теперь, что они держатся только грубою силой, без всякой надежды поддержать себя нравственно и снискать уважение и доверие общества. Они знают это и давят, давят людей, пока не подавятся своим позором, пока не переполнят меры общественного презрения и ненависти. Они знают также, что, не смотря на все гонения и казни, в обществе живет и бодрствует дух отрицания, который грозит им неотразимой бедой.

Ложь старого учения доказана. В среде того же общества, которое будто подчиняется еще правилам этого учения, а в действительности в него не верует, зарождается новая вера, вера в человека, в его совесть, в его разум и в его будущность. Новые люди лелеют и воспи-

тывают в себе и других эту новую, животворящую веру и на ней покоят все свои нужды. И люди эти являлись уже и продолжают являться все чаще и чаще в среде общества, и в их честных руках его спасение и будущее счастье. И люди эти всегда были и будут апостолами и учителями общества, потому что отличаются искренностью и смелостью убеждения, чистотою своих намерений и презирают пошлость практической жизни и отрицают ее неправду и разврат. Они понимают смысл прошедшей жизни народов, знают, во что́ прежде веровали и почему теперь практические мудрецы, кроме своего интереса, ни чему не верят.

Таким образом люди новой веры сознают свое призвание и чувствуют свое нравственное отчуждение от старого мира лжи, безверия и подлости. Мало того: они сознают уже то, чего не сознавали отцы их, чего не хотят и даже не могут сознать развращенные тираны: они сознают смысл и назначение *революции,* потому что носят ее в мозгу и в сердце своем, потому что выражают ее словами и делами.

Старые отрицатели только прозревали революцию и угадывали ее цель. Но им не суждено было предвидеть тех благодеяний, которые обещает человечеству грядущая революция. Им не суждено было понять этого, потому что приходилось бороться с неправдой учения, обращенного в практику грабежа и насилия. Пока длилась эта борьба с переменным счастьем, пока надо было отрицать старую веру и не было времени еще создать новую, до тех пор революция, конечно, оставалась загадкой. Ее могли предчувствовать, но не сознавать и не чувствовать. Притом религиозные вопросы так сильно поглощали внимание прежних отрицателей, христиан и сектаторов, что они поневоле должны были упускать из вида вопросы политические и социальные, которыми только и живут революционеры конца XVIII и XIX веков.

Живой о живом и думай! Отщепенцы, люди живые, отрицающие мертвечину старого общества, веруя непоколебимо в будущее, с чувством непритворного горя, близкого к отчаянию, смотрят на бедствия самого многочисленного и бедного класса людей, на бедствия и страдания рабочего народа. И вот, желая всеми силами разума и воли облегчить его жалкую участь, они вступают в борьбу с его вечными и неизменными врагами, с тунеядцами, лихоимцами и палачами. Этой борьбе они, бесстрашные от-

рицатели, философы, революционеры, посвящают свою жизнь и готовы жертвовать ею, даже без надежды помочь своим самоотвержением. Тем не менее они не отчаиваются в своем деле и, умирая, завещают свое дело народного спасения всякому честному человеку, который одарен светлым умом, добрым сердцем и верует в непобедимую силу революции. Такой человек и с такою верою, становясь в ряды защитников народа, делается олицетворением самой правды: она говорит его словами, заявляется его делами, повелевает его волей. Такой человек живет уже не для себя, а для правды, которою мыслит, дышит и наслаждается. Он пророчит во имя спасения народа от грабежа и насилия; он умирает во имя ее с верою в это неизбежное спасение. Другими словами: он — пророк и, если придется, будет мучеником новой веры.

Так умирают старые верования; так кончаются старые порядки и так, на развалинах их, восходит лучезарное светило новой веры!

IV

УТОНИСТЫ

В то время, когда умолкал протест во имя религии, явились люди, протестовавшие против организованного грабежа во имя философии. Их называли «утопистами», по примеру первого из них, назвавшего свой общественный идеал: «Утопия». Но они были отщепенцами, подобно христианам и сектаторам, и судьбы их совершенно схожи. Эти благородные мыслители, подобно христианам и еретикам, смело указывали на порочность общественных учреждений и возвышали голос в защиту попранных прав. Презрение, насмешки и гонения были обычною данью благодарности за их великодушную смелость; но они не боялись их и рисковали всем, защищая дело слабых, бедных и угнетенных. Эти независимые характеры не увлекаются жалким желанием играть роль в обществе лихоимцев и грабителей. Интересы этого общества чужды им, и они, не обращая внимания на презренные передряги плутов и тиранов, ревностно трудятся, отыскивая истину и обличая неправду. Они не хотят вдаваться в бесконечный лабиринт интриг, в котором самодовольно пребывают их современники. Они видят бессодержательность и ничтожность всех этих хлопот и поползновений, презирают те измышления житейских мудрецов, которы-

ми общество гордится и которым оно радуется, и умирают, не дождавшись не только признания смелых истин, поведанных ими миру, но даже прощения себе за провозглашение этих истин.

Таковы были Мор, Кампанелла [135], Морелли [136], Мабли [137], словом, все авторы социальных утопий, как *Утопия* Мора, как *Атлантида* Бэкона [138], как *Океания* Гаррингтона [139], как *Город Солнца* Кампанеллы, как *Базилиада* Морелли. Все эти идеалы счастья были осуждены практическими мудрецами, которые называют их бреднями и химерами и только в припадке великодушия решаются признать их *мечтами честных сердец*.

Конечно, планы утопистов остались неосуществленными, тогда как практика их противников существует доселе. Тем не менее в их мечтах гораздо больше здравого смысла, чем в нелепой практике современных им обществ. Дело, конечно, не в частностях и подробностях их социального идеала, а в общем и существенном характере его. Сущность их утопий состоит в том, что они желали человеческому обществу мира, спокойствия, равенства, отношений братских, нравственных, дружелюбных, что они желали исключить из этих отношений всякого рода несправедливость, всякую эксплуатацию одного другим, всякое насилие, всякий грабеж, всякого рода вражду и страдания. Разве это так безумно? Но чего же желают, по крайней мере на словах, все законодатели, все правители, все практические деятели? Разве они сознаются всенародно, что желают упрочить несправедливость, утвердить насилие, поощрить лихоимство, водворить навеки анархию и войну?

Правда, законы их часто громко свидетельствуют, что действительно такова их цель. Огромное большинство положений всех законодательств клонится единственно к тому, чтобы сверху и донизу, снизу доверху организовать и упрочить насилие и лихоимство. Законы освящают всевозможную эксплуатацию и всевозможный деспотизм — отцовскую власть, рабство женщины, нищету и зависимость бедняка, безнаказанность барышника, произвол тирана, бесгласность угнетенных. Они дают санкцию всякому насилию и лишают насилуемых всякой возможности сбросить иго. Они признают преступлением свободную речь против грабежа, врожденное стремление человека к независимости, даже самые мирные попытки бедняков выйти из-под ига ростовщиков. Их уголовная юстиция — вечное осадное положение общества; их иерархиче-

ский порядок — идеал, утопия эксплуатации и рабства; их теория государства — пасквиль на человечество и провозглашение безвыходности анархического состояния общества.

Все это так. Но, к чести человечества, насилие и лихоимство, защищаемые на практике, в теории отрицаются самими разбойниками и ростовщиками. Не было примера, чтобы законодатель объявил прямо своею целью учредить несправедливость и анархию. Были законы, кровавыми мерами защищавшие лихву; были законодательства, признававшие справедливыми рабство, нищету и всякое неравенство. И многое, что ужасает нас в законах Ману [140] и Двенадцати Таблиц, живет еще полною жизнью в современных кодексах. Но даже все это делалось и делается во имя справедливости и общественной пользы, которые всегда признаются целью и идеалом всякого законного порядка.

Итак, сущность общественного порядка утопистов не имеет в себе ничего такого, что не признавалось бы и людьми практической мудрости. Почему же последние относятся к ним с таким пренебрежением? В чем же заключается, по их мнению, их превосходство над этими мечтателями? Что же такое та практическая мудрость их, с которой они носятся, как курица с яйцом, тыча ею в глаза всем, кто осмеливается осуждать их муравейник, в котором они копошатся в вечной борьбе друг с другом, среди вопиющих несправедливостей и безвыходных страданий? Неужели в том, что утописты желают осуществления своего идеала, а практики полагают, что принципы и идеалы — вещь хорошая сама по себе, но жизнь людей должна идти своей колеей без всякого отношения к ним?

Да, главная вина, главная нелепость утопистов, в глазах практиков,— их последовательность, их убеждение, что принципы должны быть слиты с фактами, что теория и жизнь не могут противоречить друг другу. Практика состоит, следовательно, в постоянном противоречии своим принципам, в бесконечном ряде соглашений со всевозможными встречающимися по пути условиями, в осуждении себя на деятельность, заведомо ложную в теории, в самоотречении, в самоунижении, в нравственном самоубийстве. Какая мудрость!

Практические мудрецы, насмехаясь над их утопиями, забывают, какое позорное поражение претерпевали всегда их собственные мудрые и практические планы социального устройства.

Что сталось с вашими монархиями, республиками, союзами, империями, конституциями? Сколько было у вас споров насчет лучшего политического устройства! Сколько раз каждая из споривших партий имела случай доказать на опыте превосходство своей системы! И что же? Выдержало ли хоть одно из ваших практических изобретений опыт времени? Республиканцы! где ваш идеал? Что сталось с вашими Афинами и Римами, Венециями и Флоренциями? Монархисты! чем кончили ваши всемирные монархии, ваши мечты всеобщего мира под сильной рукой единого главы? Вот вы, практические мудрецы, и пренебрегаете утопиями отщепенцев, но что же такое ваши-то построения, что же такое ваши создания?

Макиавелли показал вам, что это такое. Напрасно триста лет прикидываетесь вы не понимающими его; напрасно клевещете на него и с серьезным видом пишете на него глубокомысленные возражения, называя его именем злоупотребления и дурные крайности своих систем. Все это напрасно: история, опыт жизни научили народы понимать и его, и вас. Теперь все знают, что в своей злой сатире он хотел только показать, чем должны вы быть ради последовательности и чем непременно бываете во имя законов логики. Он показал, что ваши монархии и республики не что иное, как заговоры меньшинства против большинства; что заговоры могут удаваться на время, но что, рано или поздно, обманутые массы просыпаются; что таким образом ваши государства, продержавшись несколько времени путем всевозможных злодейств, неизбежно кончают падением; что, наконец, поэтому вы нелепы и смешны с вашими практическими затеями, которые вы в глупом самообольщении называете «вечными», «божественными», «всемирными» и которые на самом деле осуждены на неизбежную гибель, не нынче, так завтра, смотря по тому, насколько будет велика смелость преступления и непреклонность жестокости.

Скажите практическому мудрецу: что, по-твоему, лучше: постоянная борьба каждого против всех, то состояние, где homo hominis — lupus, где каждый скалит зубы на другого и дрожит за выкраденный кусок; где никто о других знать не хочет и, пока сыт, не обращает внимания на умирающих с голоду, зная, несчастный, что, может быть, завтра настанет день, когда он будет голоден, когда ему придется тщетно умолять о сострадании, когда другие пойдут, сытые и довольные, мимо него, не обращая внимания на его

страдания: — то состояние, где каждый хлопочет только о себе, нынче насытиться и как можно больше поотнимать у других, чтобы иметь запас «на черный день», где все ненавидят и боятся друг друга; или то, где господствуют братство, солидарность, взаимность, обеспечение? Конечно, скажет он,— второе. Ну, так хлопочи же создать равенство, обуздать хищников, словом, вывести людей, в том числе и себя, из первого состояния во второе, из-под египетского ига с его страшными язвами в землю обетованную. Если ты все это понимаешь, то бери же знамя свободы и равенства и иди, и веди за собой. Почему останавливаешься ты на пути перед золотым тельцом? Почему забываешь и цель свою, и призвание, как скоро па дороге натыкаешься на жирную поживу, и над ней, забыв свои идеалы, забыв счастье, ожидающее тебя впереди, спешишь нажраться и издыхаешь от алчного обжорства в виду пределов ханаанских? Или ты не веришь сам в свой идеал? Но посмотри же па все чудеса, которые тебя окружают! Взгляни на светлый столб прогресса, указывающий тебе путь! Посмотри, как под чудотворным действием взаимности и соединенных усилий людей, связанных солидарностью, камни источали воду, побеждались гады, священный огонь пожирал нечестивых, падала с небес манна, словом, побеждалась человеком природа на каждом шагу, который человечеству приходилось делать в печальной степи, где оно бредет еще доныне! Взгляни же на эти чудеса и поверь, поверь, что́ впереди предстоят еще большие победы над условиями природы, что взаимность, солидарность и труд дадут человечеству многие, еще более славные торжества над грубыми силами материального мира и ослепленных невежеством людских страстей!

Все это так, ответит мудрец; но это невозможно. Конечно, братство, мир и свобода — вечные и справедливые идеалы человечества. Но они неосуществимы, по крайней мере при *нынешних* условиях (так говорит он и в древнем Риме, и в X, и в XVI, и в XIX веках христианства). При настоящих условиях остается только организовать насилие, возводить лихоимство в систему и придумывать разные казни, чтобы устрашать грабителей, желающих грабить не по системе, признаваемой обществом, а по-своему, и чтобы поддержать ту систематическую анархию, которую мы принуждены считать порядком, за невозможностью иметь истинный порядок.

Вот на что́ сводится защита современного общества

практическими мудрецами! И прикрывшись этими жалкими софизмами, они влачат общество по бедственному пути насилия и лихоимства, взывая, как бы в насмешку над собой, к идеалу братства и свободы. Так живут они в непроходимом болоте разных практических гадостей и не смеют сделать ни малейшего усилия вылезти из него ни в общественных вопросах, ни в своей частной деятельности, ни взяться за перестройку общества, ни за переделку своего личного положения. И эти-то бессильные карлы, эти жалкие воины дела, осужденного ими самими, эти несчастные глупцы, обрекшие себя вечно пресмыкаться в грязи данных общественных условий, считают себя истинными житейскими мудрецами и называют нелепостью всякое желание дать в жизни место идеалам счастья!

В утопиях отщепенцев, конечно, много фантастического, мечтательного, ошибочного. Но надо помнить, что они писали не конституции государств, подобно практическим мудрецам и мерзавцам, а только *приблизительный* очерк того состояния, к которому может подойти человечество, отказавшись идти путем насилия и невежества и вступив на путь братства и разума.

Вслед за этими врагами правды и другие бессмысленно повторяют их нелепые выходки против утопистов. Но что́ сказали бы они, если механик стал утверждать, что нельзя на практике устроить колеса́, что теория чистой математики — утопия, потому что в природе не может быть математического круга? Что́ сказали бы они, если бы оптик отказался делать оптические стекла, обвиняя теорию в нелепости, потому что нельзя уничтожить аберрацию? Что́ сказали бы они, если бы купец обвинял покупателя в делании фальшивой монеты за то, что в червонце, который он ему дал, есть лигатура? А между тем они сами рассуждают точно таким образом. Им рисуют желательный идеал, а они говорят, что он неосуществим в своих частностях, и потому лучше оставаться при кулачном праве. Им предлагают червонцы, а они спешат произвести химический анализ и, открыв в них присутствие лигатуры, остаются при своем навозе!

Такова-то эта практическая мудрость!

Но обратимся к утопистам и, чтобы понять смысл их утопий, посмотрим, как глядели они на современное им общество.

«Вы жестоко казните воров, — говорит Мор, — но не лучше ли было бы обеспечить существование всех членов

общества, чтобы никому не было нужды воровать и потом гибнуть за это? Общество заботится об этом, отвечаете вы: промышленность, земледелие представляют народу множество средств к жизни; но есть люди, предпочитающие преступление труду. Постойте... я не буду говорить о тех, которые искалечены или стали уродами; взглянем на то, что происходит ежедневно».

«Главная причина общественной нищеты — это множество аристократов, тунеядных лихоимцев, кормящихся чужим пóтом и трудом, и которые возделывают свои земли, обдирая до крови арендаторов, чтобы умножить свои доходы. За ними следует толпа праздных слуг, неспособных иначе зарабатывать себе пропитание».

«С какой стороны ни взглянешь, эта громадная толпа тунеядцев оказывается совершенно бесполезною, даже на случай войны, которую впрочем всегда можно избежать. В мирное же время это сущая язва».

«Дело дошло до того, что даже овцы, животные столь кроткие, неприхотливые, обратились у нас в таких прожорливых хищниц, что поедают людей и опустошают поля, дома и деревни. Всюду, где собирается с них лучшая шерсть, являются толпы вельмож, богачей, священников и оспаривают друг у друга каждый клочок земли. Этим *беднягам* мало их рент, бенефиций, процентов; они отнимают у земледелия обширные пространства земли, обращают их в пастбища, разрушают дома, деревни и оставляют целою только церковь, чтобы обратить ее в овечий хлев... Таким образом лихоимец присваивает себе тысячи десятин и спешит загородить их стеною. И честные земледельцы изгоняются из своих жилищ, одни обманом, другие силою, а третьи, счастливейшие, придирками и прижимками, которые вынуждают их продавать свои имения. Несчастные бегут из-под кровли, под которой родились, продают за бесценок все, чего не могут унести. Когда истощатся у них скудные средства, вырученные от этой продажи, что им останется делать? — Воровать и идти на виселицу (id cum breviarondi insum prerint quid restat alind, quam uti furentur et pendeant) *.

Или, быть может, они предпочтут идти по миру? Но их не замедлят посадить в тюрьму, как бездомных бродяг без рода и племени. Но в чем же их преступление? В том,

* если есть такие, что гибнут и застревают на мелком месте, что остается тем, кто идет вперед *(лат.)*.

что никто не хочет принять их услуг, которые они предлагают с такою готовностью».

«Обуздайте же лихоимство богатых; лишите их права грабить. Истребите тунеядцев. Пока вы не исправите всех зол, которые я указал вам, не говорите мне о вашем правосудии — оно ложь. Вы отдаете миллионы детей в жертву порочному и безнравственному воспитанию. На ваших глазах разврат губит эти юные растения, которые могли бы расцвесть для добродетели, и, когда сделавшись взрослыми, они совершат преступления, привитые к ним с колыбели, вы поведете их на казнь! Что́ же вы делаете? — Воров, чтобы иметь потом удовольствие их вешать (quid aliud quaeso quam facitis fures, et inde plectitis)» *.

«О вы, неумеющие управлять, сознайтесь наконец, что вы недостойны и неспособны повелевать свободными людьми. Или исправьте свое невежество, свою гордость и леность. Создавайте учреждения, которыми зло предупреждалось бы и пресекалось в корне».

«Конечно, правду, откровенно высказанную, не замедлят встретить насмешками. Но подло и глупо скрывать истины, осуждающие общественное зло, потому только, что их примут за нелепые новости и за неосуществимые химеры. Ведь так пришлось бы спрятать евангелие и скрывать от христиан учение Иисуса».

Так говорил Томас Мор, лорд-канцлер Англии. После него так же смотрели на общество и другие люди, отрицавшие практическую мудрость.

«По-моему,— говорил Мерсье (Homme de fer, 1786), ** — кто, родившись, не имеет на земле угла, где приклонить голову, необходимо враг всех собственников. Лапландец, родившись, получает по крайней мере хоть оленя, а когда у него прорежутся зубы, ему дают другого; в Европе же есть миллионы людей, у которых нет своего ни одного дерева. Можно было бы написать страшную книгу по поводу слова *«собственность»*.

«Самые бедные люди, вдобавок еще, принуждены кормить и воспитывать людей, которые со временем за ничтожную плату будут служить шайке богатых. Право, нельзя достаточно надивиться тому, что творится в обществе!»

«Люди, изобретающие разные планы народного воспи-

---

* если, делая трудное дело, ищешь более легкого — будешь наказан *(лат.)*.

** Железный человек, 1786 *(фр.)*.

тания,— говорит федералист Бриссо [141] (в брошюре 1787),— забывают одно, что народ, ничего не имеющий, не может иметь и хорошего воспитания. Без собственности у него нет отечества; без собственности против него все, и сам он должен быть вооружен против всех. Общество кричит ему: уважай собственность богатого соседа! Он же может спросить его: а уважило ли ты мои права? Правительство кричит ему: неприятель овладел моими владениями; вооружайся, защищай меня, умри, если нужно! Умирать? За что? — может он ответить.— Да разве у меня есть что-нибудь? Разве неприятель, сделавшись моим господином, будет ко мне жестокосердее тебя? Разве он может наделать мне больше зла, чем ты? Разве он может придумать для меня худшее иго?»

«Что ответить этому несчастному?»

«Гордец, презрительно оскорбляющий несчастных среди роскоши, в которой ты плаваешь, перестань называть собственностью плоды своего лихоимства! Перестань оснащать их неправыми законами и устрашать строгими карами невинных, восстающих против них! Да, эти рвы, эти стены, которыми ты окружаешь свои парки, эти заставы, которыми ты преграждаешь вход в свое имение,— все обличает твою тиранию».

«Яков называет себя собственником сада; имеет ли он больше прав на него, чем Петр? Нет, конечно, нет. Родители Якова передали ему это наследство; но на каком основании обладали они им? Проследите какой угодно порядок наследственности, и вы увидите, что первый, назвавшийся собственником, не имел никаких прав на свое владение».

«Все эти соображения делают очевидною противоестественность принятых начал гражданской собственности. Могло ли естественным путем возникнуть такое существо, как откупщик? Может ли разум представить себе существование субъекта, именующего себя собственником 300 десятин земли, лежащих на 200 верст от его местожительства и которых он даже не видел?»

«Гордец! у дверей твоих люди мрут с голода, а ты считаешь себя собственником! Лжешь! Вины твоих погребов, запасы твоих кладовых, твоя мебель, твое золото — все это принадлежит им: они — хозяева всего этого. Таков закон природы».

«Нарушено естественное равновесие между людьми. Изгнано равенство, и возникли ненавистные различия

между богатыми и бедными. Общество разделилось на два класса: первый — собственников и второй, гораздо многочисленнейший,— народа. И для поддержания жестокого права собственности были изобретены жестокие казни. Нарушителя этого права называют вором, а между тем настоящий вор — богач, имеющий излишек. В обществе же вор тот, кто отнимает что-нибудь у этого богача. Какая путаница в мыслях, какой хаос в понятиях! (Resherches philosophique sur le droit de propriété et de vol. 1780)» *.

«Лихоимство и насилие,— говорит Ленге,— овладели светом. Они согласились давать владение землею только тому, кто примет их сторону. Поэтому, у кого нет паспорта, выданного этими двумя тиранами, тому не найдется на земле ни одного угла для убежища».

«В наших цивилизованных странах все стихии обращены в рабство. У каждой есть свои господа, которые продают позволение пользоваться ею. Самое бесплодное поле непременно принадлежит какому-нибудь деспоту, который может обвинить в преступлении путника, осмеливающего дышать свежим воздухом на его владении. Богач, присвоивший его себе в исключительную собственность, может не согласиться даровать другим право на воздух своих владений. Чтобы получить согласие его на пользование его сокровищами, надо согласиться участвовать в их умножении».

«Он вечно подозревает бедняка, которого грабит, и считает независимость покушением на свои права, свободу — бунтом. Он громко говорит, что ему одному принадлежит право мыслить. Он постоянно хлопочет о том, чтобы как можно больше подавить бедных из опасения, что, очнувшись, они сделают из сил своих не то употребление, которого он требует. В отношении бедных он следует примеру египтян, угнетавших израильтян: он обременяет их работою, чтобы лишить их времени думать о причине своего бедствия».

«Горе гордому и сильному, который, презирая общественное порабощение и не желая иметь с обществом ничего общего, отправился бы в пустыню искать утраченного достоинства своего рода. Приходится отказаться от этих мечтаний о независимости и свободе. Приходится сообразовать свой образ действий с общественными условиями.

* Философские исследования о имущественном праве и хищениях. 1780 *(фр.)*.

Приходится найти такое занятие, чтобы можно было кое-как добывать себе средства к жизни. Приходится предаться духу барыша и, под влиянием самой настоятельной необходимости, согласиться бороться против всех прочих людей, одушевленных теми же принципами и так же движимыми необходимостью жить, одеваться и пользоваться теми пошлыми развлечениями, которые у нас величают именем наслаждений. (Théorie des lois civiles, 1767)» *.

«Главная задача общества— избавить богатого от труда. Уничтожив рабство, не уничтожили ни богатства, ни его преимущества. О восстановлении равенства никто и не подумал; богатый отказался от своих преимуществ, но лишь для вида. На самом же деле все осталось по-прежнему. Большинство продолжает жить жалованьем и в зависимости от меньшинства, которое присвоило себе все. Рабство утвердилось на земле на веки и только переменило название».

«Наши города и деревни населены рабами, известными под именем поденщиков, работников и т. д. Их не бесчестят блестящие ливреи холуйства; они покрыты отвратительным рубищем — ливреею нищеты. Они никогда не пользуются благами, источник которых — их труд. Они заменили в нашем обществе рабов старого общества и составляют большинство всех наций. Рассматривая их положение, приходится сознаться, что низшие классы обогатились от уничтожения рабства лишь постоянным страхом голодной смерти, тогда как предшественники их в задних рядах человечества были, по крайней мере, обеспечены хоть от этого несчастия».

«Раба кормили даже тогда, когда он не работал. Но свободный работник, получающий мало, даже когда работает, без работы окончательно гибнет. О нем никто не заботится. Никто и не пожалеет его, когда он, наконец, погибнет от истощения и нищеты. Кому нужна его жизнь? Он ни к кому не привязан, и никто не привязан к нему. Когда в нем есть надобность, его нанимают, как можно дешевле, жалкая плата, которую ему обещают, едва равняется цене припасов, крайне необходимых для дневного пропитания. За ним ставят надсмотрщиков, чтобы понукать его в работе; его насильно торопят, боясь, чтобы как-

* Теория гражданского права, 1767 *(фр.)*.

нибудь он не избежал каторжной работы, на которую его осуждают».

«Хозяин дорожил рабом, которого покупал за деньги. Но поденщик не сто́ит ничего развратному лихоимцу, нанимающему его. Во времена рабства человеческая кровь сколько-нибудь ценилась. Рабы ценились хоть на ту сумму, которую за них платили. С тех пор, как их перестали продавать, они потеряли всякую цену. В армии лошадью дорожат гораздо больше, чем солдатом, потому что лошадь дорога́, а солдат получается даром. С уничтожением рабства этот военный расчет перешел и в обыденную жизнь; с тех пор каждый зажиревший буржуа смотрит на людей глазами героя».

«Поденщики рождаются, ростут и воспитываются для служения богатству, не стоя ему ничего, подобно дичи, которую оно стреляет в своих владениях. По-видимому, современные капиталисты открыли секрет, которым напрасно похвалялся бедняга Помпей. Им стоит ударить ногой оземь, чтобы из земли вышли легионы тружеников, оспоривающих друг у друга честь служить им. Едва выбудет кто-нибудь из толпы наемников, воздвигающих их здания и выравнивающих их сады, как место его в ту же минуту занимается само собой, без всяких хлопот для собственника. Легкость, с которой замещаются рабочие, увеличивает бесчувственность к ним богатых».

Обличая так верно, так метко общественные язвы, утописты противополагали этому ужасному социальному состоянию свои идеалы. В этих идеалах, конечно, не все безукоризненно верно, и во многих частностях утопии их расходятся друг с другом. Но сущность их всегда одинакова и всегда выражает одно и то же желание учредить на развалинах старого порядка противоположный ему новый, где насилие и лихоимство были бы заменены свободой и взаимностью. Это — вечная мечта всех этих честных утопистов и мечтателей, кто бы они ни были, отцы церкви или атеисты XVIII века, вожди восставших рабов или канцлеры и министры, философы или невежды, патриархи или энциклопедисты.

Мы уже знаем, каков был идеал христиан: общность имуществ, братство, взаимность, труд, презрение к роскоши; такова «Утопия» Деяний Апостольских, монастырских уставов и отцов церкви. Эти утописты попробовали

осуществить свою утопию среди общества, погруженного в разврат и преданного грабежу. Что вышло — мы видели. Монастыри, эти фаланстеры, где должны были царствовать труд, бескорыстие и братские отношения, обратились, под тлетворным дыханием окружающей среды, в притоны тунеядства, роскоши, честолюбия, лихоимства и разврата. Кончилось тем, что нация, возмущенная нелепостью и безобразием католичества, с восторгом приветствовала и громовые речи реформаторов и насмешки Этьена, Рабле и Вольтера, обращенные против церкви. Монастырская жизнь представляла немало пищи и серьезным обвинениям, и сатире. И обвинители, и насмешники не преминули обвинить за все ее нелепости самый христианский идеал, во имя которого она была некогда основана.

Это простительно людям, увлеченным негодованием против гнусного зла; но нельзя не сознаться, что увлечение это было крайне и несправедливо. Виноваты ли идеи равенства и братства в том, что люди не умели или не могли, при известной обстановке, осуществить их? Точно так же не виноваты они, если после монахов не сумели бы осуществить их, в среде лихоимствующего общества, другие люди: это не помешает им остаться истинными и продолжать быть по-прежнему идеалом всех благородных умов, не выносящих практики существующего порядка.

Живучесть их удивительна. Едва успел католицизм уронить и опозорить окончательно монастырскую жизнь; едва народы, по голосу передовых мыслителей своих, успели с отвращением отвернуться от недостойных представителей христианского идеала, как идеал этот в ту же минуту уже воскрес во всей своей евангельской чистоте в умах мыслителей, совершенно иного направления, в умах, воспитанных только что возродившеюся философией греков. Послушаем Мора:

«Если бы я вздумал рассказывать теорию республики Платона или обычаи, ныне существующие у жителей «Утопии», обычаи, столь далеко превосходящие наши понятия и нравы, все сочли бы меня выходцем из другого мира, потому что у нас каждому принадлежит право исключительной собственности, тогда как там все имущества составляют общее достояние. (Hic privatae sunt possessiones, illic omnia sunt communia) *. Но там, где существует частная собственность, где все измеряется на день-

* Тут — частное владение, там — все общее *(лат.)*.

ги, там невозможна справедливость и процветание государств».

«В «Утопии» законов мало; администрация заботится об всех гражданах. Достоинство всегда вознаграждается, и в то же время национальное богатство распределено так равномерно, что каждый пользуется всеми удобствами жизни (ut tamen aequatis rebus, omnia abundent omnibus) *. У нас же, где освящено начало исключительной собственности, недостаточно миллионов законоположений, чтобы доставить каждому собственность и дать ему средства защищать ее и отличать от чужой!»

«Когда я думаю об всем этом, я не могу не отдать полной справедливости Платону и не удивляюсь, что он не хотел учреждать законов для народов, не желавших ввести у себя равенства имуществ. Этот великий ум видел ясно, что без равенства невозможно общественное благосостояние и что единственное средство учредить равенство заключается в уничтожении исключительной собственности; потому что иначе каждый будет всячески стараться оттягать в свою пользу как можно больше. И как бы ни было велико общественное богатство, но дело кончится непременно тем, что меньшинство приберет его к своим рукам, оставив прочих в нищете. Вот почему я убежден, что, для установления равенства и справедливости и для упрочения общего благосостояния, необходимо предварительно уничтожить собственность. (Res aequabiti ac justa aliquâ ratione distribui, ac feliciter agi cum rebus mortalium, nisi sublatâ prorsus proprietate, non possint) **. Пока она будет существовать, самый многочисленный и достойный класс всегда будет иметь уделом лишь голод, страдания и отчаяния».

«Я знаю, что есть средства, которыми можно облегчить зло; но ими нельзя излечить его радикально. Можно, например, установить maximum для частных владений землею или деньгами (как в *законах* Платона) или издать сильные законы против деспотизма и анархии. Средства эти, может быть, превосходны, как паллиативы, способные до некоторой степени усыпить боль; но недействительно восстановление сил и здоровья, пока будет существовать

* стоит установить равенство, как у всех всего будет вдоволь *(лат.)*.

** Для удачного решения вопросов равенства и справедливости их надо решать вместе с другими вопросами судьбы человеческой и вместе с вопросами собственности *(лат.)*.

частная собственность. (Ut sanentur vero atque in bonum redeant habitum, nullo omnino spes est, dum sua enique sunt propria)» *.

«В «Утопии» работают только по 6 часов в сутки. Мне скажут, быть может, что этого недостаточно и что вскоре должна ощутиться нужда. Нисколько; напротив того, этого не только довольно, но даже достаточно для произведения всех удобств жизни. Вы легко поймете это, если примете в соображение, сколько людей у других народов ничего не делают. Во-первых, все женщины, составляющие половину населения, и большая часть мужчин. Вся эта огромная толпа монахов и членов тунеядного духовенства (sacerdotum ac religiosorum, quos vocant, quantacumque otiosa turba) **. Далее все эти богатые собственники (adjice divites omnes praediorum dominos)*** и вся стая лакеев и ливрейных бездельников».

«В «Утопии» праздность и леность невозможны. Всеобщее изобилие является плодом этой деятельной жизни, и довольство распространяется равномерно на всех членов общества. Когда в одной местности урожай, а в другой недостаток, принимаются меры для восстановления равновесия безвозмездно. Город, который отдает свой излишек хлеба, ничего за это не получает; и сам получает даром все, что ему нужно. Словом остров «Утопия» представляет весь как бы одну семью (ita tota insula velut una familia est)» ****.

«Вот какова эта республика! По-моему, она не только лучшая из всех существующих, но единственная, заслуживающая имени республики. Всюду, в других странах, люди, толкующие об общих выгодах, помышляют только о собственных; между тем как там, где ни у кого нет ничего собственного, все серьезно заняты общественною пользой, потому что она действительно сливается с частною».

«В общине ни у кого нет ни в чем недостатка, потому что государственные имущества распределяются справедливо. Нет ни бедняков, ни нищих, и хотя ни у кого нет

---

* Надежда на подлинное излечение и на доброе здравие тогда только есть, когда есть необходимые лекарства и средства лечения *(лат.)*.

** (из тех) святых и верующих, которым внемлют, как бы праздна ни была толпа *(лат.)*.

*** обратитесь (сюда), богатые, владельцы земель и имуществ *(лат.)*.

**** ведь этот остров точно одна семья *(лат.)*.

ничего своего, однако все богаты. Утопийская республика печется о всех, как о тех, которые трудятся, так и о старцах и больных, отслуживших свой век. Можно ли сравнить с этим наши порядки, где человек, ничего не производящий, наслаждается бездельем и роскошью, тогда как работник, земледелец, ремесленник живут в убийственной нищете, едва добывая себе самое скудное пропитание. Они принуждены работать так долго и обречены на такую тяжелую работу, что ее не выдержит вьючное животное, и до того необходимую, что без нее общество не просуществует и года. Положение скота, право, лучше: он работает меньше, кормят его лучше, соответственно его вкусу, и притом животного не тревожит будущность».

«Но какова участь работника? Бесплодный, машинный труд гнетет его в настоящем, а в будущем его сокрушает перспектива жалкой старости. Богатые ежедневно что-нибудь похищают из скудной платы бедняков разными хитростями и даже нарочно издаваемыми с этой целью законами. По-видимому, ничего не может быть несправедливее такой неблагодарности к людям, которые всех поят и кормят; но богатые обратили эту несправедливость в чудовищное мошенничество, освятив ее законами. Рассматривая самые цветущие наши республики, я вижу в них просто заговор богатых, обделывающих свои делишки под пышным титулом республики. (Nihil aliud quam quaedam conspiratio divitum de suis commodis respublicae titulo nominaeque tractantium)» *. Заговорщики стараются всеми хитростями и вообще всеми средствами достичь своих целей. Цели эти, во-первых: обеспечить себе спокойное и прочное владение состоянием, нажитым более или менее подло; во-вторых: пользоваться нищетою бедных, злоупотреблять ими, как скотами, и как можно дешевле покупать их работу. И эти-то махинации, устроенные богатыми от имени государства, следовательно, в том числе от имени самых бедных, обратились в законы! (Haec machinamenta ubi semel divites publico nomice hoc est etiam pauperum decreverunt observari) **.

---

* Не может ничто, присваиваемое и скрываемое богатыми в своих интересах, получить имя и звание государственного, общего дела *(лат.)*.

** Стоит богатым начать производить махинации, прикрываясь общим благом, как тут же становится очевидным еще большее обнищание бедных *(лат.)*.

Прошли века, и мечты утопистов не забыты. Напротив того, они постоянно все более и более выясняются и принимают философское основание и определенный, разумный характер. Влияние философии XVIII века отражается на утопиях Морелли и Мабли, которые дают уже предчувствовать Фурье и Овена.

«До сих пор,— говорит Мабли (Législation, ou Principes de Sois, 1776; Doutes proposés aux économistes sur l'ordre naturel des sociétés politiques, 1768) *,— общество представляло всюду скопище угнетателей и угнетенных. Тысячи жестоких революций уже тысячу раз изменяли вековые порядки и уничтожали самые великие государства. Однако этот вековой опыт не вразумил еще нас и не убедил, что мы ищем счастья в том, в чем его нет».

«Напротив того, мнимая философия, приняв все нелепости, совершающиеся в мире, за правило того, что должно быть, помогла нашим предрассудкам и придала им вид разумности; вследствие чего они могут простоять еще долго. Шарлатаны льстили нашим прихотям и, желая поучать нас, сами еще не выйдя из невежества, насказали нам софизмов, которые мы приняли за истину».

«А между тем, исследуя сердце человеческое, мы видим, как искусно развиты различные потребности, которым мы подчинены, чтобы сделать нас необходимыми друг другу и обратить наш эгоизм во взаимное расположение и братство. В нашей душе живут многие социальные качества, служащие для нас невольными инстинктами, благодаря которым нам дорого счастие ближних. И мы, под влиянием любви к наслаждению и опасения страдания, стремимся сближаться друг с другом, любить помогать и делать друг другу взаимные услуги. Мы чувствуем сострадание, благодарность, потребность любви, страх, надежду, соревнование, славолюбие и т. д.»

«Когда я думаю об этом и читаю описание какого-нибудь пустынного острова, где небо ясно, вода чиста, мне всегда приходит в голову отправиться туда, учредить там республику, где все были бы равны, все богаты, все свободны, все братья и где первым законом для всех было бы отсутствие частной собственности».

Таковы были мечты и утопия отщепенцев, из века в век повторявших свой протест против господствующего

* Законодательство, основанное на юридических принципах, 1776; Соображения о естественном порядке в политических обществах, предлагаемых для рассмотрения экономистам, 1768 *(лат.)*.

порядка и напоминавших о своем социальном идеале равенства, братства и свободы.

Практики весело смеялись над ними и продолжали, не смущаясь, бражничать, бездельничать, свирепствовать или проповедывать религиозную реформу на манер Генриха VIII [142], любить по способу Людовика XV, учреждать свободу на образец Иосифа II [143]. Их деятельность казалась им такою практической, такою осмысленной, такою прочной, а эти утопии такими смешными бреднями...

Но ударил гром, налетел ураган, земля затряслась, и совершился страшный катаклизм. И когда взошло солнце нового века, оно осветило одни мертвые развалины.

РАЗВАЛИНЫ

Размышление о падении государств

(Вольней)

Приветствую вас, пустынные развалины, священные могилы, немые камни!

Между тем как вид ваш поражает тайным ужасом воображение невежды,— сердце мое волнуют глубокие чувства, и, глядя на вас, в уме моем зарождаются высокие мысли. Как много поучительных уроков, как много увлекательных и крепких дум задаете вы тому, кто умеет вас спрашивать! Не вы ли, славные развалины, возвышали порабощенному и безгласному люду те горькие истины, которые так ненавистны тиранам, те истины, которые выражали святой догмат *равенства* людей перед смертью, одинаково пожирающей царя и его последнего раба! Не вы ли теперь вызываете во мне, страннике, сознание *свободы,* не той свободы, которая рисуется невежде и безумцу в образе палача, а свободы в образе великого судьи, который воздает каждому народу по делам его!

О могилы! Сколько в вас добродетелей! И как страшны вы тиранам! Невольным содроганием и трепетом казните вы их в разгаре позорных наслаждений. От вас бегут они и запираются во дворцах, малодушно избегая вашего грозного вида. Да, вы казните гордого повелителя. Вы похищаете награбленное богатство лихоимца; вы мстите за бедняка, которого он обокрал. Вы вознаграждаете нищего страдальца за его лишения, проводя на лбу развратного богача морщины подлости и позора. Вы утешаете несчастных, давая им последнее убежище после

горькой жизни. Вы приводите, наконец, взволнованную душу в то спокойное настроение, в то чудное равновесие сил и чувств, которое составляет настоящую мудрость и науку жизни. Соображая, что все придется покинуть, разумный человек не станет гоняться за пошлым величием и жаждать лишнего богатства; он удержит себя в границах права и правды, будет жить честно и действовать на благо ближнему.— Так умеете вы, добродетельные развалины, обуздывать насилие и разврат, умирять душу среди разгула страстей и возвышать ее над грязными интересами будничной жизни! И вот, глядя на вас, передо мной воскресает погибший мир с его неправдой...

О смерть! Как не благословлять тебя, когда ты можешь учить живых и наставлять их на путь истины и добра! О смерть, богиня моя, поведай мне тайну горькой жизни народов и, на развалинах прошлого, освети мой ум светом животворящей истины!

Так взывал я в виду развалин древней Пальмиры[144], куда бежал от общества, которое отравляло мою жизнь своим гнусным устройством, своим суеверием, рабством и безумием. Так размышлял я на свободе, в виду могил и немых памятников старины, в которой и стал искать разгадку прошлой жизни, с целью понять настоящую, современную. И вот что после долгих исследований и размышлений рассказала мне седая старина.

Куда девалось величие и могущество древних государств? Где Пальмира, Нинивия, Вавилон, Тир, Сидон, Фивы и другие славные и богатые столицы древнего мира? Все они лежат в развалинах! Та самая, например, Сирия, в которой считалось некогда до ста огромных, населенных городов, стоит теперь почти безлюдной пустыней. Там и сям на ней виднеются обломки толстых стен, колонны разрушенных храмов и дворцов, в которых жили и пировали разные цари ассирийские и вавилонские. Давно уже, на месте этих коронованных гадов, копошатся мириады ящериц, змей, скорпионов, и царству их не предвидится конца. Гадами жили люди и гадов развели после своей смерти. Чему тут удивляться!

Вымерли древние народы, все народы верноподданные, которые имели своих царей и богов, судей и жрецов, которые строили дворцы и храмы, платили подати и молились. Вымерли эти народы, и не спасла их от смерти ни покорность, ни набожность. Заплатило дань смерти рабство и невежество, и вот из могилы своей оно уверяет еще,

будто во всем виновато божество и его неизреченная воля! И народы, живые народы прислушиваются до сих пор к этому замогильному, мертвящему голосу и верят ему, как голосу исторической правды!

Но мертвым срама нет. И так пусть стыдятся живые, которые хотят жить по образцу мертвецов. Как они жили — о том говорят не они, а могилы, куда преждевременно загоняло их рабство и суеверие. Этими бичами казнились народы и под их ударами умирали бессознательно, испуская глухие стоны, в которых слышался вопль мольбы и проклятия.

Кто же обратил рабство и суеверие в орудие пытки народов? Неужели божество, которое снилось всегда людям, страдавшим наяву?

Нет, не карою небесной, а насилием и грабежом казнились народы, обращенные в рабство и обессмысленные суеверным страхом. *Насилие* и *грабеж* — вот два неиссякаемые источника народных бедствий и страданий. Что же касается невежества и суеверия, то они всегда и везде укоренялись неизбежно, вследствие развития грабежа и насилия.

Первым правом человека, в диком, первобытном его состоянии, было *право сильного*. Его породила борьба за существование, та зверская и кровавая борьба, в которой сильный убивал слабого, брал себе его добычу и жадно пожирал ее. Так жили и живут дикари и варвары, повинуясь животному инстинкту самосохранения.

Итак, в постоянной борьбе за существование, люди сперва убивали и пожирали друг друга, потом стали обращать друг друга в рабство и, наконец, решились жить стадом или, говоря нежнее, обществом, в котором узаконили право сильного над слабым и власть господина над рабом или тунеядца над работником. Итак, на основании того, что сильный, способный убить слабого, вздумал оставить его в живых, создалась общественная жизнь с целью прекратить кровопролитную борьбу за существование и вернее обеспечить жизнь победителей на счет побежденных и властителей на счет подвластных и рабов. Этот вид людоедства, постепенно совершенствуясь, показался таким необходимым и законным условием жизни двуногих, что они и по сие время почти не думают изменять его. Постоянно глядя на неравную борьбу сильного со слабым, люди пришли к тому убеждению, что неравенство — закон самой природы, и потому неравенство стало правилом

9 Заказ 1044

житейских отношений. На этом пагубном предрассудке устроилась жизнь семейная, гражданская и политическая со всей ее формальною неправдой.

Прежде всего, отец семейства сделался, по праву сильного, грозным повелителем своей жены и детей. Он стал смотреть на них, как на свою собственность или вещь, и распоряжался ими по личному соображению и прихоти.

По образцу *отцовского,* семейного деспотизма завелся с незапамятных времен деспотизм *государственный,* политический.

Как насилием и грабежом начиналась политическая жизнь народов, так точно насилием и грабежом она и кончалась. Эту роковую истину подтверждает история древних государств, давно исчезнувших с лица земли.

Действительно: логика грабежа и насилия беспощадно казнила народы во веки веков и осуждала их на жалкую и позорную смерть. С одной стороны, грабеж порождал всегда в среде каждого общества ту отчаянную борьбу за существование, в которой сильные давили слабых. С другой стороны, по праву сильного, победители всегда обращали в рабство побежденных и, под страхом казни и смерти, заставляли их признавать свою власть. Затем властители, обеспечив себе тунеядное существование, разделялись на партии и начинали взаимную борьбу с целью захватить в свои руки исключительное господство над рабами. И вот, эта борьба, кончаясь торжеством одной партии, вызывала, в свою очередь, междоусобную вражду новых победителей, пока наконец кому-нибудь из них не удавалось подавить соперников и добиться самовластья. Таким путем постоянной, кровавой войны создавались те чудовищные, деспотические империи, в которых один человек мог распоряжаться судьбою миллионов. Но лишь только народы доходили до такого безобразного политического состояния, как немедленно обнаруживались все признаки неизбежной их смерти.

Разложение и падение государств, основанных на деспотизме, заявлялось всегда тем, что тираны, предаваясь необузданному грабежу и насилию, истощали все производительные силы народов и обращали свои громадные владения в пустыню, где могли жить не люди, а дикие звери. До какого безумия способны доходить деспоты, нагляднее всего показывает нам жизнь разных ассирийских, вавилонских, персидских царей и римских императоров.

Ничто так не развращает и не безобразит человека, как

насильственная власть его над другим человеком, власть, которою он всегда злоупотребляет для удовлетворения своих личных желаний, прихотей и страстей. И чем более людей насильно покоряются воле одного человека, тем он становится развратнее, безумнее и опаснее. Вот почему деспотизм не мог никогда возбуждать к себе других чувств, кроме отвращения и ужаса. История свидетельствует, что деспоты, играя судьбою своих подвластных, как будто с умыслом убивали в себе все человеческое, чтобы не походить на простых смертных. От скуки и пресыщения они предавались крайнему разврату и старались доказать свое безумие какими-нибудь отчаянно нелепыми выходками. Им приходила фантазия устраивать висячие сады, осушать реки и проводить из них воды на высокие горы, чтобы она падала оттуда каскадами. Им нравилось обращать пахотные поля в леса и рощи, рыть озера среди степей или на горах, воздвигать громадные пирамиды и строить стены на протяжении тысячи верст. В течение веков деспоты заставляли миллионы людей работать с утра до ночи над сооружением совершенно бесполезных зданий, храмов, мавзолеев, дворцов из мрамора и порфира, и эта непроизводительная, каторжная работа пожирала людей хуже чумы и всякой заразы.

И безумие деспотов, утопавших в грязи самых гнусных наслаждений, быстро истощало и подрывало народное благосостояние. По мере того, как нищали народы, их грабили сильнее и беспощаднее. Подати и налоги возрастали беспрерывно и, не удовлетворяя алчности грабителей, разоряли в конец все население. Земледельцы, теряя надежду на безопасное существование, покидали свои поля или продавали их за бесценок, желая спастись от грабежа и насилия. В руках правителей и богачей-лихоимцев скоплялись страшные богатства и расточались на бессчетные и омерзительные удовольствия. Забитые и нищие народы обращались в стада двуногих скотов, без крова и корма, а хозяева их соединились в шайки разбойников и воров, которые бессовестно мучили этих скотов и гоняли их гуртом на кровавую бойню. Война питала войну мясом и кровью народов, изуродованных, измученных деспотизмом. Победители обращали в рабство побежденных; государство падало за государством; тиран сменял тирана. Круг побоища народов все более и более расширялся.

И вот, на окраинах древнего мира, ставшего добычею

римлян, появляются, наконец, варвары, которые и наносят ему последний, смертельный удар.

На развалинах старого рабства зарождается новое. Появляются государства, и в основание их ложится опять право сильного. Каждое общество составляется из покоренных и завоевателей, крепостных и господ, бесправных и полновластных. Между теми и другими нет ничего общего; их не связывает даже та самая религия, которая, под именем «христианской», распространяется по Европе с начала средних веков. Отвратительное насилие и необузданный грабеж возводятся в *законное* право победителей. Духовные пастыри освящают это кулачное право и сами пользуются им, наравне с королями, баронами и рыцарями. В удел народу снова достается нищета с невежеством и суеверием.

В эти темные века́ изуверства и бесправия не перестает литься кровь человеческая. Нет у людей ни желания отказаться от зверского образа жизни, ни веры в лучшую судьбу свою на земле. «Там, на небесах,— говорили они,— насладимся мы счастьем, которого здесь нет. Сам Бог осудил нас влачить жалкое и греховное существование, чтобы мы надеялись на загробную жизнь и верили в царство небесное, которому не будет конца. Итак, станем презирать настоящее и откажемся от земных благ, в надежде на будущее».

И осудили себя народы на самозаклание и принесли себя в жертву врагам своим, палачам и грабителям. Что́ же вышло? Рабство гражданское и политическое, которое душило народы, усилилось еще рабством религиозным. Кроме власти светской, развилась еще власть духовная; при деспотизме политическом укоренилось еще лихоимство и насилие церкви. Повсюду на Западе духовенство обратилось в шайку тунеядцев и стало не только жить на счет народа, но и действовать заодно с его тиранами.

Под маской *бедности* эти тунеядцы наживались всякими неправдами, богатели и наслаждались земными благами, не ожидая небесных.

Притворяясь *набожными,* они вели развратную жизнь и, проповедуя о любви к ближнему, презирали и ненавидели его от души.

Помышляя только о том, чтобы жить на чужой счет, они постоянно воспевали *милостыню* и ставили ее в число первых *добродетелей.*

Желая обратить на себя общее внимание, они выду-

мывали пышные церемонии и процессии. Жажда власти и почета побуждала их сближаться с аристократическою знатью и сановниками, от которых они надеялись добиться великих и богатых милостей. С этой целью становились они духовниками вельмож и королей и, с подобострастием покорных слуг, управляли ими, как хотели. Когда власть угождала им, тогда они проповедывали, чтобы ее уважали и боялись. Когда же она не нравилась им или противилась их желаниям, тогда они унижали ее, возбуждали к ней презрение и ненависть. Злоба доводила их часто до того, что они жестоко мстили властям, взывая к восстанию и проповедуя убийство.

Всякое посягательство на свои интересы называли они *святотатством* и беззаконием. Опасаясь потерять влияние на народ, они восставали всегда против образования и заботились удержать за собою монополь воспитания.

Наконец, всегда и везде они достигали своих целей и были сыты, когда народ умирал с голода, и были спокойны среди общего волнения и, во имя Христа, под видом бедняков, собирали такие огромные подати, каких не мог собрать ни один король. И все их ремесло заключалось в том, что они торговали *словами* и *жестами*, продавая их, как товар, по возможно высокой цене.

В средние века́ католическое духовенство управляло народами по своей прихоти и вело их не путем спасения, а рабства и унижения. Светская власть видела это и радовалась, что ей самой не приходится много хлопотать о своих интересах. Но, при всем этом, не взирая на частые войны, не взирая на чуму, голод и другие бедствия, народы размножались и по временам стонали от нестерпимой боли так громко, что правители обращали на них внимание и насильно заглушали эти стоны. Пока велась еще упорная борьба королей с баронами, пока кулачное, феодальное право не заменились еще *государственным*,— грабеж и насилие, конечно, развивались, но не возводились, по крайней мере, в *науку деспотизма* и не освящались законами. Эта наука появилась и стала совершенствоваться только с XV века, со времени утверждения королевской власти.

И вот, по образцу церкви, которая имела *казуистов*, сочинявших катехизисы и правила изуверства и лицемерия, каждое государство обзавелось *юристами*, которые измышляли судебники и уставы грабежа и палачества. Участь народов была решена: власти духовные и светские

обратили их в стада двуногих скотов и стали пасти их, и драть с них шкуру, и водить на бойню... И народы терпеливо сносили иго деспотизма и топтались в грязи, и утопали в лужах своей крови.

Проходит век, проходит другой, и восстает один народ, восстает и сбрасывает с себя тяжелое ярмо. Молния революции освещает Францию, и старое, феодальное здание разваливается.

Что́ за чудо! Униженный, забитый народ возвышает свой голос и громко говорит: «Много нас, французов, и живем мы в стране, щедро наделенной природою. Но, несмотря на то, что мы работаем, нищета у нас страшная. Платим мы огромные подати, а нас уверяют, что платим мало, и требуют все больше и больше. Кто же грабит нас? Кто наш враг?»

Из среды многочисленной толпы народа на этот вопрос отвечают: «Врага узнать легко: пусть народ, рабочий народ отделится от тех, которых он даром поит и кормит; они враги его».

И народ отделился от дворянства и духовенства и допрашивал каждое из этих тунеядных сословий, по какому праву они кормятся на его счет.

Аристократы отвечали: «Мы рождены не для работы».

Народ спросил: «Как же вы скопили такие богатства?»

Аристократы: «Мы управляли тобою».

Народ: «Как! Мы работаем, выбиваемся из сил, а вы наслаждаетесь! Мы производим, а вы только потребляете и расточаете! Все богатства создаются нашим трудом, а вы, забирая их себе, желаете еще распоряжаться нами, управлять нашей судьбою! Нет, тунеядцы, грабители и угнетатели: если вы намерены так жить и поступать с нами, то мы не хотим вас знать. Удалитесь, оставьте нас в покое и живите одни. Посмотрим, как вы проживете без труда!»

Услыша такую угрозу, аристократы стали совещаться. Между ними нашлись люди совестливые и правдивые, которые сказали: «Пора нам отказаться от своих старых прав: они беззаконны. Сблизимся с народом и станем жить его жизнью. Наши крепостные такие же люди, как и мы: притом они еще содержат нас своим трудом».

Но другие дворяне говорили с досадою:

«Нет, нам позорно сближаться с народом, с этою низ-

кою чернью, которая должна служить нам и слепо повиноваться нашей воле. Мы люди *благородные;* в наших жилах течет чистая, дворянская кровь, которая делает нас господами. Итак, напомним грязной толпе наше высокое происхождение и наши наследственные, неотменимые права».

И аристократы обратились к народу с такою высокомерною речью: «Разве ты, черный народ, забыл, что мы владеем тобою по праву собственности? Разве ты не знаешь, что мы обратили тебя в рабство из милости? Мы могли лишить тебя жизни, но даровали ее великодушно с условием, чтобы ты работал и повиновался. Помни же это и покоряйся нашей власти, освященной обычаем, временем и законами».

Народ отвечал: «Аристократы! Вы говорите о праве собственности. Лучше замолчите! Иначе вам докажут, что ваше право не право, а насилие и грабеж».

Партия аристократов с бешенством стала грозить народу и звала к себе на помощь солдат. «Бейте непокорных рабов, бейте эту чернь!» — вопили они.

Народ, завидя солдат, сказал им: «Неужели вы станете бить своих родных, своих отцов и братьев? Если погибнет народ, то кто же станет кормить вас?»

И солдаты, не подымая оружия, отвечали аристократам: «Мы готовы поражать неприятеля; но с народом нашим биться не станем: он не враг, а друг наш и кормилец».

Тогда аристократы с отчаяньем обратились к духовенству и умоляли его запугать суеверный народ страшным судом и вечными муками ада.

И фарисеи начали торжественно говорить народу: «Братья! Сам Господь дал нам власть над вами, власть вязать и решать дела ваши. Покайтесь и смиритесь!»

Народ возразил: «Где же доказательства вашей власти, фарисеи?»

Они отвечали: «Веруйте, а не рассуждайте!»

Народ: «Но разве, властвуя над нами, вы не рассуждаете? Или вы управляете людьми, лишенными разума?»

Фарисеи: «Жить следует мирно, и вера требует смирения».

Народ: «Без справедливости нет мира и согласия».

Фарисеи: «На что́ вы жалуетесь, братия? Если вам дурно живется, то не удивляйтесь. Знайте, что в этой жизни мы осуждены на горе и страдания».

Народ: «Подайте нам сами пример такой горькой жизни».

Фарисеи: «Братия, повинуйтесь властям! Или вы думаете обойтись без них?!»

Народ: «Мы только не желаем, чтобы нас угнетали и грабили».

Фарисеи: «И вы думаете, может быть, обойтись и без нас, заступников ваших и молельщиков за грехи ваши?»

Народ: «Нет, фарисеи, ваши молитвы обходятся нам слишком дорого. Лучше всего мы станем молиться сами за себя. Знайте, что мы люди рабочие, и работа — наша молитва».

И, услыша эти последние слова, фарисеи и аристократы горько возопили: «Все пропало: народ прозрел!»

А народ радостно воскликнул: «Все спасено, потому что я прозрел. На моей стороне правда, и право, и сила. Правом, святым своим правом, а не грубою силой хочу я пользоваться, хочу быть свободным и независимым. Я желаю свободы: в ней правда, в ней залог жизни».

Так французский народ сбросил с себя ненавистное иго политического рабства и стал *отщепенцем* старого, феодального мира.

Так рухнули два гнилых столпа этого мира — *дворянство* и *духовенство,* которые двенадцать веков сряду поддерживали грабеж и насилие.

Политическая революция свершилась. На обломках здания аристократии и церкви устроился новый порядок.

Но как, после религиозной революции, произведенной проповедью евангелия, удержалось *рабство политическое*, так, после переворота 1789 года, уцелело еще *рабство экономическое.*

Вот почему идея свободы, то есть идея исторического Отщепенства, должна была выразиться отрицанием этого последнего рабства. И она, действительно, выразилась в лице современных отщепенцев буржуазного порядка, в лице *социалистов.*

СОВРЕМЕННОЕ ОТЩЕПЕНСТВО

СОЦИАЛИСТЫ

Старый мир лежал в развалинах. Первые лучи восходящего солнца Разума разгоняли безобразные призраки, уродливые привидения, вампиров и оборотней с кладбища

человеческой мысли. С воем и жалобным стоном исчезали они, скрываясь в свои могилы, или разлетались, как туман, оставляя по себе лишь неприятное воспоминание, как от тяжелого ночного кошмара.

Правосудие Логики совершилось: жившее мечом от меча и погибло; лихоимство кончилось банкротством; насилие привело к революции, а истина, задавленная и заглушенная столько веков, сбросила, наконец, с себя цепи и готовилась создать новый мир во имя свободы, равенства и братства.

Практики были посрамлены. Все их «вечное», «абсолютное» и «божественное» оказалось несостоятельным и невозможным. Смешны казались усилия их спасти свои верования и учреждения. Смешна была эта утопия, обращенная к прошедшему, эта надежда на воскресение трупа, это горячечное желание удержать рассеивающиеся образы галлюцинации.

Казалось, цель человечества была достигнута: идеал готов был обратиться в действительность, слово — воплотиться, отщепенцы — сделаться практиками. Те самые люди, которые еще недавно назывались утопистами, которые мыслили свой идеал только в воображаемых «Океанах» и «Базилиадах» и в доисторическом, досоциальном «Золотом Веке» человечества, теперь стояли во главе современного им общества, руководили им, устраивали судьбу его, были óрганами и представителями современной действительности.

Те самые принципы, которые еще недавно стояли вне всех условий общества, вне всякой действительности, вне реальной, практической жизни, теперь одушевляли собрание законодателей, жили в решениях их, стали законами для всего общества.

«Перед лицом мира, перед очами бессмертного законодателя» народное собрание провозгласило основанием современного порядка следующие положения:

«Все люди равны и свободны, и целью каждого общества должно быть обеспечение равенства и свободы».

«Свобода есть принадлежащая человеку власть пользоваться всеми своими способностями. Цель ее — справедливость; границы — права других людей; принцип — природа; обеспечение — закон».

«Право собственности, по природе своей, ограничено и подчинено закону. Собственность основана исключительно на труде (кто не работает — не должен есть!); поэтому

каждый, по справедливости, имеет только право на вознаграждение за свой труд; все превышающее это и достающееся помимо труда есть эксплуатация, противная правам человека. Современное общество состоит из богатых и бедных. Закон должен лишать первых излишка и давать вторым необходимое. Обладающий излишком должен помогать тому, у кого нет необходимого; он перед ним в долгу, и закон обязан определить только способ уплаты этого долга».

Таким образом, это было то самое, что проповедывали отщепенцы всех времен, что заключала в себе проповедь евангелия и христиан первых веков.

Но теперь это говорили не изверги, не отщепенцы общества, не благородные мечтатели, не простые, безвестные, неученые люди. Речь эта не была уже протестом униженных, гонимых против гнетущей их действительности.

Это говорили знаменитейшие, ученейшие, наиболее уважаемые люди своего времени, те, которых общество поставило во главе своей, те, которым оно поручило создать ему новый порядок, люди торжествующие, люди дела.

Какое торжество Отщепенства! Какое блистательное оправдание всех этих погибших героев, распятых, сожженных, обезглавленных, побитых камнями за отрицание насилия и лихоимства, за веру в справедливость, в истину, в человечество, за протест против обществ XII Таблиц и феодального права!

Жизнь, сама история решила долгий процесс между ними и их гонителями; приговор произнесен: позор и смерть рабству и грабежу, слава и жизнь свободе и равенству!

Навеки незабвенна останется эта эпоха, когда был произнесен подобный приговор. Это была великая и святая минута, когда целый народ устами своих представителей и нравственных вождей решил тысячелетнюю тяжбу принципов. Эра утопий кончилась. Она вела свое летосчисление с того времени, когда впервые, во всей чистоте и ясности, были выражены принципы свободы и равенства. Справедливо, чтобы момент, когда принципы эти перестали быть утопией и восторжествовали в жизни над старым порядком насилия, послужил началом новой веры.

Это был момент, когда с вышины общества, из уст его руководителей раздалась, наконец, та самая речь, которая

доселе звучала лишь в катакомбах римских отщепенцев, в тюрьмах инквизиции и в застенках полиции, где казнили отщепенцев феодализма.

«Свобода невозможна, пока есть несчастные, недовольные общественным порядком; а они будут, пока все не будут собственниками, пока будут эксплуататоры и эксплуатируемые. Не должно быть ни бедных ни богатых».

«Бедный стойт выше правительства и сильных земли; он должен повелевать ими... Надо осуществить этот принцип и обеспечить всем все необходимое».

«Богатство — подлость; нищенство — преступление общества. Все должны трудиться и уважать себя».

Это речь христиан, Вальда, Мюнцера, Мора; но ее говорит теперь не отщепенец, не мятежник, не изгнанник, не осужденный— ее говорит Сен-Жюст[1], законодатель, вождь и оратор народа, проконсул республики, представитель правительства. Он говорит ее не палачам, не в следственной комиссии, не на эшафоте, а на трибуне перед лицом целого общества, которое рукоплещет ему и желает себе порядка, основанного на этих началах.

В истории Отщепенства и всего человечества не было минуты, важнее этой. Только одна может сравниться с нею,— это та чудная минута, когда Христос говорил свою нагорную проповедь.

Тогда это было обращение к принципам равенства и свободы религии. В ветхом обществе Рима и религия, и государство, и экономический порядок с своим освященным, узаконенным и организованным рабством были враждебны этим принципам. Христианство явилось победить язычество и принести человечеству добрую весть его освобождения. Оно начало этот трудный подвиг тем, что дало ему религию, основанную на равенстве и свободе, другими словами, обратило принципы Отщепенства в религию.

Но мы уже видели, каким образом религия была побеждена лицемерием; каким образом старый порядок, утвердившись в политическом и экономическом порядке, устоял против силы христианства и как истинным хранителям евангелия пришлось, по-прежнему, быть вне общества и терпеть всевозможные гонения.

Наконец, после почти двухтысячелетней борьбы, Отщепенство одержало вторую победу: оно покорило себе — кого же! — самого лютого врага своего — государство.

Представители государства, диктаторы, проконсулы и легисты, люди декретов и полиции, Неккеры[2] и Тюрго[3],

Робеспьеры [4] и Сен-Жюсты проповедуют равенство и свободу! Если бы мертвые могли чувствовать, как радостно при этом вздрогнули бы сердца тех, которых некогда, во имя государственного порядка и во имя законной справедливости, растерзали львы на аренах Рима и сожгли монахи на площадях Мадрида! Как содрогнулись бы в гробах своих все эти теоретики и практики насилия, судьи, короли, юристы и политики!

Их потомки, их достойные сыны, кость от костей и плоть от плоти их, изменили рабству и насилию, которым они так честно послужили, и предлагают все оружие политики к услугам безумцев, которых они казнили! Они говорят им: «Вы правы; в вас живет истина; ваши враги — наши враги, а с врагами своими, как известно вашим предшественникам, мы умеем справляться. Отныне мы отрекаемся от того дела, которому служили до сих пор, и представляем в ваше распоряжение весь арсенал наших законов, войск, тюрем, эшафотов, полиции и судов. Вы хотите равенства — вот вам декрет; вы проповедуете свободу — наша полиция к вашим услугам; вы ненавидите насилие — вооружайтесь нашим уголовным правом; вы желаете истребить лихоимца — вот указ и гильотина!»

Таков смысл обещания, данного политическими революционерами жертвам эксплуатации, всем злосчастным классам голодных и неимущих — *даровать переворот экономический путем переворота политического.*

Новообращенные всегда усердствуют и тем более, чем сильнее прежде гнали то, чему начали служить. Государство и политика стали Савлом нового христианства. Они готовы были на все, чтобы услужить ему. Законы максимума, миллиард налога с богатых, содержание бедных на свой счет, гильотина откупщикам, полицейский надзор за дворянами — всем готовы они были служить своему новому союзнику. Церковь некогда была ими самими развращена и унижена до служения насилию и лихоимству,— и за это указом правительства католицизм навсегда отменен, служители его в тюрьмах и на эшафоте, шпион, вчера доносивший духовенству, нынче доносит на него...

Но здесь-то именно и более чем когда-либо обнаружилась вся непрактичность отщепенцев. Вместо того, чтобы радоваться содействию такого могущественного союзника и подать ему руку, и принять его услуги, отщепенцы более прежнего разошлись с обществом и с его мнением.

Правда, впрочем, и то, что практика этого общества

могла также более прежнего оттолкнуть от себя умных и честных людей и что мудрость практических политиков потерпела еще невиданное посрамление.

Люди, в лице которых государство заразилось принципами Отщепенства, сами вышли из рядов утопистов. Можно было бы, кажется, ожидать, что, перестав быть отщепенцами, примирившись с обществом и предприняв среди его практическую деятельность, они в своей политике и посредством ее осуществят в обществе те идеалы, во имя которых отрицали практику старого порядка. Напрасная, вздорная надежда! Они только еще раз и самым блистательным образом доказали, что учреждения старого порядка не могут служить даже орудиями для водворения нового,— и что общественные формы, выработанные вековой практикой насилия и лихоимства, каковы все политические учреждения, несовместны с началами свободы и равенства; другими словами, что политические перевороты, или, вернее, перемещения, никуда негодны, как средство к перевороту социальному, т. е. к утверждению равенства наряду со свободою.

Потомство оценило личные достоинства вождей революции. Едва затихли возбужденные против них страсти, как клеветы рассеялись и замолкли, обвинения были посрамлены, и история воздала должную дань уважения их мужеству, их гражданской доблести, их чести и бескорыстию. Но на деятельности их все-таки остался неизгладимый упрек неопределенности, бессознательности, двойственности и неоконченности. Отщепенство никогда не признáет их своими героями. Сильные своими принципами, они речами своими взволновали весь мир, окончательно потрясли старый порядок и открыли последний акт тысячелетней борьбы между насилием и справедливостью. Но, в то же время, они были политиками, людьми государства, практическими мудрецами, и в этом отношении они душой и телом принадлежат старому порядку. В этом отношении они были бессильны и нелепы, как он, как он, посрамлены и осуждены на бесплодность, и не создали ничего, кроме новых форм грабежа и насилия. Отщепенцы были правы, когда в лице Фурье и Прудона отвернулись от этих новых практиков и отвергли всякий союз с политической мудростью, предоставив пользоваться ею грабителям и лихоимцам в новой шкуре.

Несмотря спачала на проповедь религии, потом на отпадение государства, старый мир эксплуатации и насилия

остался по-прежнему, только переменив некоторые внешние формы. Законы XII Таблиц, наивное право собственности рыцарей, узаконенный грабеж легистов расцвели в обществе, вышедшем из революции, с прежнею силой в том порядке, который заменил все прежние формы монархии, аристократии и теории под именем *Плутократии*, т. е. владычества капитала.

Теория плутократии отличается такою же откровенною грубостью, таким же циническим признанием насилия и лихоимства незыблемыми основами общества, как и римское уложение, как и теория феодальной собственности. Послушаем ее теоретиков: мы найдем в них достойных подражателей всех проповедников грабежа древних и средних веков.

«В каждом государстве,— говорит Монтескье [5],— всегда есть люди, отличенные богатством, рождением или почестями. Если бы они были смешаны с народом, если бы голос их не имел силы — общая свобода была бы их рабством. Им было бы невыгодно защищать ее, потому что все решения народа были бы бо́льшею частью направлены против них. Следовательно, размеры участия их в законодательстве должны соответствовать размерам других преимуществ их: они должны составлять особое сословие, которое имело бы право останавливать предприятия народа».

По поводу этого вопиющего возведения факта лихоимства, неравенства и насилия в учение и в идеал один писатель говорит:

«Только в глубокой древности можно найти примеры законодательств, основывающих право на привилегии. Такой пример представляют касты. Индия спрашивала себя, отчего существуют на свете брамины, ктатрии, вайзии, судры и презренные парии, и на вопрос этот отвечала тем, что обратила необъяснимый факт в религиозный догмат. С тех пор прошло 50 веков, и ни один законодатель не обращал в идеал факт и привилегию».

«В Индии буддизм, за десять веков до христианства, восстает против факта во имя права, отрицает касты и уничтожает их. За пять веков до Будды, Моисей выводит из Египта, страны каст, евреев, этих египетских париев и, во имя Бога, дает им законодательство, где человеческое равенство сияет, как лучезарное солнце, от которого все исходит. В Греции Минос [6] делает то же. Ликург [7] воскрешает реформу Миноса, и по следам его идет Солон [8]. Равенство, священное начало дорийских обществ, проникает

к дикарям Лациниума[9] вместе с религиозным культом Нумы[10]. Все древние народы знали добродетель, знали право, единственное основание которых есть понятие равенства. Наконец пришел Христос и поставил бессмертным идеалом общее братство человеческого рода и распространил божественное начало равенства на все племена и народы».

«Возможно ли теперь законодательство, совершенно чуждое идеалу, который человечество столько веков разработывает, которым оно живет?»

«Да, такое законодательство существует. Из грабежей средних веков вышло такое законодательство, отвергающее идеал и признающее только факт».

«Английская конституция не признает права; для нее право — факт».

«Английская конституция не признает равенства; напротив,— она освещает неравенство».

«Английская конституция не признает добродетели; она признает лишь привилегии» (П. Леру)[11].

И вот английская конституция, высшее выражение плутократии, сделалась образцом и целью грабителей, плутов и лихоимцев всех стран света!

И вот это чудовище явилось, после разрушения феодального общества, овладеть его наследством и на развалинах его утвердить свое гнусное могущество!

Плутократия нелепее и возмутительнее аристократии. Феодальный грабитель мог, указывая на свою добычу, сказать по крайней мере: «я приобрел это своим кулаком, ценою тяжелой борьбы, с опасностью жизни, рядом ночей, проведенных в засаде, рядом дней, проведенных в боях».

Но что́ скажет о своей добыче барон капитала, плутократ? Может ли он чем-нибудь объяснить, не говорю уже, оправдать свое владение? Может ли он, по примеру аристократов, сказать: мои предки добыли это своею кровью; вот почему я владею этим, и если не все земли принадлежат нам, аристократам, то это потому, что у нас несправедливо оттягали их. Но плутократ, нажившийся без трудов и опасности, что ответит он, если у него спросят, откуда у него богатства, владения, привилегии, власть? Вышел ли он из благородных уст Брамы или помазан на владычество священным елеем? Добыл ли он себе эти spolia opima * в открытом бою, лицом к лицу с врагом, или пер-

* доспехи, снятые с вражеского полководца *(лат.)*.

вый водрузил свое знамя на необитаемых землях, открытием которых распространил владения человечества?

Нет! Плутократ — скептик, атеист, волтериянец: он не верит ни в Браму, ни в елей. Нет, нравы его мирны, он враг войн и сражений; он называет завоевание разбоем, а что касается до открытий, то Колумбы не родня ему, и он открывает только свои конторы и лавки в странах, открытых другими.

Кроме обмана, эксплуатации, плутовства и лихоимства, ему не на что́ указать, как на источник богатства и власти, и потому он предпочитает умалчивать вовсе об источнике и просто говорить: «Я хочу грабить».

Плутократия — царство бездельников, плутов, разбогатевших бесчестными средствами и в обществе столь же диком и анархическом, как то, которое в VI и VII веках вышло из лесов Германии, но где плутня заменила насилие, а мошенничество — открытый разбой на большой дороге. Как всякое анархическое общество, где учреждения взаимности и гарантизма не обуздывают первобытные варварские явления борьбы за существование, современное общество представляет собою вечную вражду угнетенных и угнетателей. Угнетатели — это рыцари меркантилизма, феодалы торгашества, сеньоры капитала, бездельники и плуты. Угнетенные — те же рабы, крепостные под именем пролетариев. Пролетарии, по словам одного писателя плутократии, это все те, «кто живет тяжелым поденным трудом своих рук. Вчерашний заработок — вот все, что они имеют сегодня. Люди, не имеющие поземельной собственности, которые никогда не будут иметь ее, которым не смеют даже обещать ее; люди бедные, темные, лишенные наследства, переходящего от отца к сыну; люди, вся потомственная традиция которых состоит в необходимости заработывать себе каждый день насущный хлеб; люди эти — *пролетарии*, а состояние их — *пролетариат*».

<...>... эти работники — пролетарии, рабы, крепостные люди, вся судьба которых представляет ряд невозможных, по-видимому, противоречий. Они работают и ничего не имеют, ничего не имеют и, в то же время, служат жертвой постоянного, каждодневного и каждочасного грабежа. Они содержат общество и находятся в глубоком презрении. На них паразитами живут наука, искусство, роскошь, все чудеса цивилизации, а сами они, ее кормильцы, погружены в безвыходное варварство и в мрачную грязную нищету. Рабочий кормит общество, кормит правите-

лей, ученых, литераторов, художников, судей, духовенство, войско и палача. <...>

Да, мораль высоких бездельников, мораль плутократии, эта насмешка над моралью, клеймит нищего и вора, преследует их своим презрением и судом. Но мораль эта — не мораль пролетариев. Бездельники сами поставили себя в такое положение, что у них ничего не может быть общего с пролетариями,— даже нравственности. Иное дело нравственность сытого, обеспеченного бездельника, иное дело мораль голодного пролетария. Пусть первая будет возвышеннее, просвещеннее, утонченнее, она не то, что вторая. В глазах плутократов воровство и нищенство пролетариев бесчестны и презренны. Но в глазах пролетария — нищенство, единственное для него средство выйти из глупого положения работника на чужие желудки, из положения белки в колесе. Воровство же для него — единственно возможная для него форма личного, единичного протеста против эксплуатации. Весь смысл современной истории — в этой борьбе плутократии с пролетарием, как прежде в борьбе других угнетенных против других угнетателей. Каждый пролетарий, по самому положению своему,— отщепенец современного общества, сознательный или бессознательный. Сами плутократы сознают это, когда говорят, что пролетарий тот, кому нет места на пире жизни, т. е. другими словами, тот, кто стоит вне общества, за флагом, за порогом того дома разврата, где пирует высшее общество. У пролетария нет ничего общего с классом плутократии, не только в социальных условиях его быта, но и в понятиях, интересах, взглядах, желаниях, верованиях и надеждах. Общество, т. е. сословие жуирующее, насаждающее искусства и науки, разглагольствующее о нравственности и истине, совершенно чуждо пролетарию, у которого своя особая вера, особая нравственность, особая истина и особые упования. Как древний христианин смотрел с ужасом на каждого, кто не разделял его веры, не разбирая честного от подлеца, виновного от невиновного, мудрого от глупого, и смешивал в своей святой нетерпимости Платона и Плиния с последним палачом, с последним лживым авгуром[12], так и пролетарий считает равно виновными, равно бесчестными и вредными всех, кто питается чужим трудом, кто живет не работая, кто мудрствует, просвещается, наслаждается и прославляется на счет его, вечно голодного, вечно ограбленного пролетария, будь он первый ученый, первый поэт своего времени. Так точно

смотрит на женщин плутократии публичная женщина, равно презирая с высоты величия своего доблестного, смелого разврата всех этих непорочных девственниц и целомудренных жен.

Да, каждый пролетарий — истинный отщепенец плутократии, т. е. современного общества. Всякий необходимо должен быть отщепенцем, по логике своего положения, но много уже есть и таких, которые сознательно отщепенцы. Так, напр., когда, по примеру Монтескье, все европейские общества благоговеют перед высшей формой плутократии — английской конституцией со всеми выработанными ею явлениями в роде науки, как политическая экономия, философия — как позитивизм и т. д., в самой Англии пролетарии, простые работники, старики и отцы семейств, осужденные на казнь за покушение ниспровергнуть эту пресловутую, блаженную, великую конституцию, говорили в глаза своим судьям такого рода profession de foi * Пролетариата: «Милорды! Меня спрашивали, что могу я сказать, чтобы отвратить от себя выполнение произнесенного надо мною смертного приговора. Считаю этот вопрос насмешкой. Если бы я мог привести самые неопровержимые доводы и говорить с цицероновским красноречием, то мстительность лорда-канцлера Сидмута и лорда Кестльри может утолить только поток крови, текущий теперь в моем сердце. Это сердце трепещет энтузиазмом при идеях чести и патриотизма, неизвестных тем привилегированным изменникам нашего отечества, которые с наглым бесстыдством порабощают его себе и владычествуют над жизнью и имуществом державного народа. Я объясню вам мой образ действия, но заранее предупреждаю, что не имею ни малейшей надежды на ваше правосудие и честность. У вас правосудие утонуло в честолюбии и в раболепии, служащем честолюбию. Что касается до вашей честности, милорды,— я презираю ее. Не вздумайте предложить мне ваше милосердие; я желал бы только правосудия, если бы мог предполагать его в вас».

«Прежде всего я протестую против процесса в том виде, как вы вели его против меня. Судьи, которых обыкновенно считают у нас защитниками обвиненных, в процессах между народом и короной всегда бывают адвокатами второй, непримиримыми врагами первого».

---

* кредо *(фр.)*.

«Еще несколько часов — и меня не будет. Но ночной ветер, веющий над могилой, где буду я покоиться, пахнет в окна ваших дворцов, застучит ставней вашей спальни, и дыбом встанут у вас волоса и беспокойно будете метаться вы на ваших пуховиках при страшном воспоминании о том, кто жил для родины и умер за нее, когда свобода и правосудие были изгнаны из ее пределов шайкой злодеев, кровожадность которых превосходит лишь алчность их».

«Мне не жалко жизни. Но пока она еще во мне, я скажу несколько слов против клевет, которыми, я уверен, вы будете преследовать мою память. Я скажу, что побудило меня составить заговор против королевских министров и сравню мои побуждения с теми, которые руководят этими министрами в намерении погубить меня».

«Многие, кому известен подлый грабеж, которому я подвергся от лорд-канцлера Сидмута, подумают, пожалуй, что я руководствовался личной ненавистью. Протестую против этой мысли. Цель моя была — благо родины. Все честолюбие мое ограничилось желанием счастья моим голодным соотечественникам. Да, я сочувствовал их нищете. Но когда над ней насмеялись, когда болезненное чувство их было безжалостно попрано грубым насилием,— тогда я не мог сдержать себя. Мстить решился я тогда, и из вопля убийц сделать Requiem * за души зарезанных невинных жертв! Государственная измена была совершена против несчастного манчестерского народа. Правосудие не вняло мольбам безжалостно искалеченных, убиваемых. Принцрегент, по совету своих министров, благодарил убийц, еще дымившихся кровью жертв. Если бы в груди англичан тлела хоть искра чести, независимости, они восстали бы, как один человек. Восстание стало бы обязанностью гражданина, и кровь жертв сделалась бы зунгом мести убийцам».

(Верховный судья лорд Аббот прерывает оратора, но он продолжает:)

«Альбион [13] лежит в узах рабства; я покидаю его без сожаления; придет день, когда могиле моей будут молиться и поклоняться станут праху моему; но тело мое перейдет в землю, из которой вышло. Я скорблю только о том, что земля эта еще долго будет ареной рабов, мошенников и деспотов. Потомство оценит мои побуждения. Убивайте

* Реквием *(лат.)*.

же меня, милорды, ибо, повторяю, правосудия я от вас не жду, а помилования не возьму» *.

И сказал за ним Джемс Айнгс:

«Слуги Е.В. составили заговор против нас прежде, чем мы против них; они предписали нам законы, обрекавшие меня, мою семью и моих соотечественников на голодную смерть, и если я хотел зарезать этих министров, то, милорды, это все-таки лучше, чем принуждать людей умирать с голода. Манчестерская милиция кинулась на нас и била наших жен и детей. Она обнажала свои мечи, мы обнажали свои. Я умру, сомнения нет; но надеюсь, что дети мои будут жить и увидят, наконец, правосудие в окровавленном своем отечестве».

Так говорили эти отщепенцы перед медными лбами и каменными сердцами тиранов плутократии. И их казнили, и не дрогнула земля, и народ не восстал, как один человек, и не разнесли вдребезги эту чудовищную систему тирании, и не заклеймили клеймом богоубийц этих бездушных злодеев, убивших правовозвестников божественной истины и с спокойной, холодной самоуверенностью говоривших:

Кровь их на нас и на детях наших!

Что же это! Неужели же человечество вышло из варварского грабежа только для того, чтобы очутиться в грабеже цивилизованном? Неужели только для того перестали резать его, чтоб начать душить? Неужели не будет конца царствию лихоимства и насилия? Неужели не явятся ни мститель, ни спаситель?!

Этому измученному, разочарованному, готовому впасть в отчаяние человечеству нужен человек или бог, который вдохнул бы в его разбитую грудь живительный дух новой веры; который указал бы ему новый светлый идеал, лучезарный маяк, куда с новою энергиею обратились бы стремления народов; который дал бы ему силу веры и надежды в борьбе с этим безысходным несчастием, в тяжелых мы-

---

* Речь Артура Тистльвуда [14], осужденного за заговор в Cato street на жизнь министров Гарроуби, Ливерпуля, Веллингтона, Кестльри, Сидмута и др. и за намерение низвергнуть конституцию и казненного с четырьмя товарищами, Д. Брунтом, Д. Айнгсом, У. Давидсоном и Р. Тидом 1 мая 1820. Манчестерская резня совершилась в 1819 году над многочисленным собранием чартистского народа [15]. Английская литература, а за ней и континентальная, успели *замолчать* это событие, и имена героев его живут только в юридических сборниках и в памяти народной.

тарствах его в заколдованном круге лихоимства и насилия!

Этому оскорбленному, опозоренному человечеству нужен человек или демон, который поразил бы священным огнем гениального гнева тысячелетнее зло; который поставил бы к позорному столбу гнусную плутократию и каленым железом отметил бы ей на лбу память ее преступлений; который низверг бы в грязь развратницу и призвал бы людей водрузить на трупе ее знамя равенства и свободы!

Но где эти люди? Где верующие в искупление народа от грабежа и насилия плутократии, этой фурии цивилизации?

Эти люди, эти верующие — *социалисты,* которые вели и будут вести борьбу за освобождение самого многочисленного и бедного класса рабочих. Эти бойцы — апостолы XIX века. Несмотря на видимое разнообразие школ, на которые распадался Социализм, тем не менее значение и направление их одно и то же. Все социалисты проповедуют свободу, равенство и братство, все восстают против плутократического порядка, все отрицают его единодушно и, во имя народа, во имя его права и достоинства, все желают и требуют прекращения грабежа и насилия.

«Социализм,— восклицал Прудон,— *не спускает глаз с капитала!»* Другими словами, Социализм защищает права рабочего народа и предупреждает лихоимцев, тунеядцев и всех вообще вампиров-плутократов, сосущих его кровь, чтобы они были осторожнее.

Социалистов не запугает нечистая сила богатства! Они веруют в правду своего дела и потому не боятся угроз шайки негодяев, у которых «на лицах наглость, в сердце страх».

«Вспомните,— говорил Иоанн Златоуст людям IV века,— вспомните, сколько христиан приняло венец мученичества! Их убивали, пытали, бросали скованных в темницы, как последних преступников, изгоняли из отечества, преследовали, как диких зверей, и лишали их всего, что дорого человеку. Мечи обнажались, кровь лилась, власти бесновались и придумывали для христиан самые страшные казни и мучения. И что́ же? Не взирая на все это, верующие во Христа были непоколебимы и тверды, как скалы. Они желали лучше подвергаться всяким истязаниям и мукам, чем жить по примеру подлецов и преступников. Так вели себя не только мужчины, но и женщи-

ны. В этой борьбе за правду женщины часто даже превосходили мужчин своим геройством. И все они, эти славные мученики, обессмертили свои имена. Но кроме их, мучениками следует назвать и всех тех, которые страдают от людской злобы».

Как христиане были отщепенцами римского мира, так точно являются и социалисты отщепенцами старой европейской цивилизации. Как те, так и другие — люди верующие, ведущие борьбу с лицемерием и подлостью.

Пятнадцать веков после Иоанна Златоуста Прудон писал из тюрьмы:

«Пусть власти составляют заговоры против народов;

Пусть антихрист-папа проклинает свободу;

Пусть республиканцы падают под ударами штыков и умирают под стенами городов;

Но равенство, свобода и братство остаются все-таки идеалами общественного устройства!

Да, социалисты, мы побеждены, унижены, обезоружены, скованы и заключены.

Но, социалисты, разве мы перестали быть людьми будущего? Разве мы потеряли веру в себя и в свое дело?

А вы, малодушные и кровожадные плутократы, вы лицемеры и подлецы семейства и собственности! Спокойно вам теперь живется? Весело празднуете вы свою победу? Я слежу за вами, любуюсь вами, и что́ ни слово, что́ ни жест ваш — я говорю: *вы пропали*!»

Плутократия — вонючий труп старого общества, труп, над которым социалисты производили самые поучительные опыты, наблюдения и научные исследования.

В этом отношении социальной науке полезнее всех были примерные отщепенцы — **Фурье и Прудон.**

ФУРЬЕ

Фурье принадлежит бесспорно к числу самых замечательных и редких мыслителей нашего века. Одаренный глубоким нравственным смыслом и проницательным умом, он рано понял всю гнусность старого общественного порядка и стал в ряды непоколебимых отщепенцев.

Фурье провел всю свою честную и полезную жизнь почти в совершенном одиночестве. Такая жизнь, конечно, развила в нем идеализм и заставила его мечтать о создании нового общественного порядка, который дал бы *гармоническое* развитие всем способностям и страстям человека.

Не говоря о плане этого нового порядка, который практические мудрецы или, вернее, глупцы называют *фантастическим*, заметим, что Фурье, как отщепенец, любил народ и защищал его права.

Фурье раньше всех провозгласил *право на труд*, без которого нельзя обеспечить участи самого многочисленного и бедного класса людей.

Фурье раньше всех заговорил об *ассоциации*, конечно не подозревая, что практики исказят его здравую мысль.

Фурье громче и разумнее всех ратовал *за свободу женщины* и первый объявил, что без этой свободы нет прогресса.

За все это Фурье заслуживает бессмертную славу.

Этот образцовый отщепенец прославил себя также критикой цивилизации, которую он искренно презирал и ненавидел.

После переворота 1793 года иллюзии рассеялись: политические и юридические теории опошлились, и к ним окончательно потеряли всякое доверие. С тех пор стало ясно, что нельзя ожидать никакой пользы от старых учений, что надо искать общественного блага в какой-нибудь новой науке и открыть новые пути политическому и социальному развитию. Стало очевидно, что ни политики, ни законодатели не умели помочь общественным бедствиям и что самые постыдные язвы, между прочими и нищета, не перестанут существовать, пока не падут все старые учения.

«Это соображение навело меня,— говорит Фурье,— на мысль об общественной науке, которой даже не подозревали. Во мне зародилось желание открыть ее, и я не побоялся привести его в исполнение. Я мечтал только о славе сделать такое открытие в области науки, какого даже не грезилось мудрецам-практикам».

«Бодро выступил я на этот новый путь и стал разоблачать заблуждения веков и в особенности бедствия общественной жизни: нищету, воровство-мошенничество, торговый монополь и многие другие язвы, которые заставляют считать цивилизацию наказанием самой природы».

«Я пришел к тому убеждению, что, если человеческие общества страдают, по мнению Монтескье, «изнурительною болезнью, внутреннею язвою и заражены скрытым ядом», то излечить их можно не иначе, как сойдя с того пути, по которому шли наши практические мудрецы в течение стольких веков. На этом основании, я поставил сво-

им правилом: *безусловное Отрицание* и *безусловное Отщепенство.* Надо определить эти два метода, потому что до меня никто еще не давал им полного, всестороннего развития».

«1) *Безусловное Отрицание.* Декарт понимал его. Но восхваляя и проповедуя отрицание, он прилагал его частным и неуместным образом. У него являлись смешные сомнения. Так например, он сомневался в собственном существовании и только мудрил над старыми, избитыми софизмами, а не заботился об открытии полезных истин».

«После Декарта[1], метод отрицания совсем искажается».

«Лжеотрицатели пользовались им только в тех случаях, когда старались подорвать веру в такие учреждения, которые им почему бы то ни было не нравились. Так например, они отвергали не суеверие, а только обрядность, потому что враждовали с духовенством. Но при этом они ни за что не решались подрывать доверия к тем системам и теориям, юридическим и политическим, которыми кормились».

«Не имея ничего общего с этими шарлатанами, я решился отрицать безразлично все ходячие, рутинные теории и стал смотреть подозрительно даже на то направление мыслей, которому вообще сочувствовали. С отвращением и презрением смотрел я на современную цивилизацию, на этот идол практических мудрецов, который они так страстно обожают».

«Что́ может быть нелепее этой цивилизации, которая порождает и развивает столько бедствий и страданий! Что́ может быть сомнительнее ее пользы!»

«Нет, следует непременно отрицать цивилизацию, следует сомневаться в ее необходимости, в ее совершенстве, в ее прочности. Но на такое отрицание не способны философы рутины. Они не способны, потому что, отрицая цивилизацию, стали бы обличать, вместе с тем, и ничтожество своих теорий, неразрывно связанных с цивилизацией. Эти теории пали бы тотчас под ударами отрицания, и на развалинах их появилась бы новая наука, наука общественного благосостояния и правды».

«Практические мудрецы и ученые осуждены лгать, лицемерить, тупеть и пошлеть, потому что не помышляют об интересах общества и о научной правде, а желают только поддержать суеверие и невежество и обеспечить свое тунеядное существование. Вот почему они обходят

молчанием все важные общественные вопросы или, еще хуже, искажают их значение самым плутовским образом».

«Мне не приходится защищать обман и насилие. Я не принадлежу к партии практических мудрецов, и потому могу смело отрицать цивилизацию с ее пагубною ложью и коварством».

«2) *Безусловное Отщепенство.* Я отлучаю себя сознательно и добровольно от всех партий старого порядка, от всех политических и философских школ, которые не оказали обществу никакой полезной услуги и только всегда держали его в пеленках детства и скудоумия. Несмотря на все чудеса промышленных изобретений, нищета рабочих остается неизлечимою и хроническою болезнью общества. Вот почему я не доверяю учению экономистов, прославляющих современную промышленность, и презираю их надутый либерализм. Они неспособны создать экономическую науку, и на всех писаниях их лежит печать умственного бессилия. Настоящие вопросы общественной жизни их не занимают, и они поют только старые песни на новый лад».

«Я отлучил себя от рутины. Меня не волнуют интересы старого государственного порядка. И не стану я трактовать о правах королей, об обязанностях министров, судей и палачей. По сие время все практические мудрецы постоянно добивались общего блага путем законодательных, административных, судебных и полицейских мер. Но я отрицаю пользу всех подобных мер и признаю действительными только те реформы, которые ведут к улучшению быта рабочих и не требуют вмешательства властей, как светских, так и духовных».

«И вот, на безусловном отрицании всех старых понятий и предрассудков, на безусловном отщепенстве от рутины я строю здание новой общественной науки, непонятной нашим практическим мудрецам».

«Цель моя — *не исправлять цивилизацию*, а обличать ее и возбуждать желание организовать новый общественный порядок. Практика цивилизации нелепа в целом и в частностях. И что́ же? Новомодники, вместо того, чтобы размышлять, все более и более погружаются в политическое безумие. Лучшим доказательством этого могут служить последние бредни их о чудесах торгашеского духа, против которого восстают и разум, и природа».

«Природа никогда не ошибается в тех общих побуждениях, которые она дает человечеству. Когда большинство

народов презирает *торгашество*, когда презрение это внушается ему естественным инстинктом, то поверьте, что в предмете, вызывающем такое чувство, таится какая-нибудь пакость».

«Кто прав: новомодники, уважающие торгашество, или древние, презиравшие торгашей, *Vendentes et latrones*, торгашей и воров, говорит Евангелие, считавшее их за одно. Так думал Иисус, который бичом изгонял купцов из храма, приговаривал: «Вы обратили дом мой в воровской притон». «Fecistis lam speluncam latronum!!»

«Как Иисус, так и все древние приравнивали купцов к ворам и поручали их заодно покровительству Меркурия. В это время торгашество считалось почти бесчестием. Златоуст говорит, что *«купец не может быть приятен Богу»*. Итак, купцам нет места в царствии небесном, хотя там есть представители всех сословий и даже один прокурор, именно Св. Ив.»

Я упоминаю о всех этих подробностях, чтобы яснее показать взгляд древних, с которым хочу сопоставить воззрения современников. Я далеко не разделю мнения древних: истреблять и преследовать купцов так же нелепо, как нелепо и превозносить их до небес. Но из этих двух нелепостей взгляд древних, по-моему, несравненно разумнее.

«Древний предрассудок, обрекавший торгашество презрению, господствовал долго. Еще в 1788 году школьники в ссорах своих обзывали друг друга *купеческим сыном*, и это считалось жестокой обидой. Этот дух господствовал особенно в провинциях; дух же торгашества был сосредоточен в портовых городах и в столицах, где живут знатные банкиры и великие барышники. Только в 1789 году купцы вдруг обратились в полубогов: подлые ученые громко стали защищать и прославлять их, как полезных граждан».

«Итак, вначале торговля была в общем презрении и заслужила уважение в глазах ученых, когда обстоятельства дали ей торжество. С тех пор, как откупщики и разные подрядчики стали разъезжать в каретах шестериком, ученые восхваляют их добродетели и пожирают их обеды. Прежде философы занимались раскапыванием разной старины и религиозными ссорами, не обращая внимания на торговлю. Наконец они увидели, что новая политика торгашества и монополия может дать им материал на множество толстых томов и успех в обществе. И вот появляется шайка так называемых «экономистов», которые в

самое короткое время успели уже извести бездну бумаги и обещают пероблудствовать без конца».

«По обычаю всех софистов, эти мнимоученые стараются как можно больше запутать дело, чтобы иметь возможность заводить полемику и, по этому поводу, без устали строчить, живя на счет своих читателей. Можно сказать, что экономисты не только ничего не открыли, но даже сами не знают, о чем толкуют и к чему существует их так называемая наука. Но им, впрочем, какое дело? Типографские станки все терпят, книги раскупаются, и цель пероблудия достигается».

«Не спрашивайте экономистов, чего они хотят, чего добиваются и предполагают ли бороться против политических зол, против возрастания налогов, грабежа крючкотворцев, увеличения армий, развития банкротства и фискальной подлости. Не спрашивайте их, потому что, со времени появления на свет экономических теорий, все эти бедствия быстро возрастали. Не лучше ли было бы поменьше строчить вздора и побольше хлопотать о разрешении существенных вопросов? С какой стати решились экономисты восхвалять ложь, т. е. торгашество? Что́ такое торгашество? Ведь это ложь со всеми ее принадлежностями: банкротством, ажиотажем, лихоимством и плутовством всякого рода. Но политическая экономия набрасывает покров на эти скандалы. Где же причина такого бесстыдства?

«Решившись восхвалять торгашество, экономисты мерили все только на вес золота. Они видели, как быстро наживаются торгаши, как ловко умеют они обманывать и безнаказанно грабить, сохраняя вид приличия и пускаясь на самые подлые увертки. Конечно, всякий осел может в один месяц изловчиться и обратиться в искусного торгаша. Но, при всем том, роскошь лихоимцев и спекуляторов, которые соперничают с аристократами и сановниками, обольстила экономистов, а надежда поживиться заставила их подличать перед толстыми карманами. Плутусы торгашества поразили их своим величием, и вот они стали холопами барышников».

«И как, право, не удивляться лихоимцам, которые...

Sachant pour tout secret
Cinq et quatre font neuf, ôtez deux — reste sept.
(Boileau)» *.

* Зная по секрету, что пять плюс четыре — девять, а если от этого отнять два — останется семь (Буало [2]) *(фр.)*.

«При помощи такого знания, они умеют наживать дома и дворцы в тех самых городах, куда пришли в лаптях. В столицах они ведут самую роскошную жизнь, ни в чем себе не отказывают, даже в знакомстве с экономистами. На обедах у какого-нибудь торгаша экономист сидит рядом с архиепископом и посланником. Как же не прославлять ему таких кормильцев!»

«В цивилизации правдой не проживешь! Малодушные экономисты преклонились перед золотым тельцом и не смеют написать ни страницы без лести торгашеству».

«А между тем они могли бы возвратить себе утраченное уважение общества, если бы захотели обличать разбой торгашей, которые презирают их».

«Разбор торгового разбоя покажет, что сословие торгашей — просто шайка пиратов, стая коршунов, пожирающая промышленность и земледелие и порабощающая себе все общество».

«В оправдание их можно сказать, что они не понимают, до чего они вредны. Но даже если бы и понимали, то можно ли обвинять их, когда они поступают по всем правилам цивилизации, обратившей общество в арену грабежа, обмана и насилия?»

«Торгашеский дух развращает политику и нравы народов, как доказывают примеры Карфагена и Англии. Вероломная политика их, *punica fides* *, вошла в пословицу. Жидов, образцовых торгашей всех стран и народов, верно характеризует один писатель. «Они рыскают,— говорит он,— по Лондону, подстрекая слуг обкрадывать хозяев, и платят фальшивыми деньгами за краденные вещи» <...>.

«Паук — эмблема *цивилизованной торговли*».

«Надо постоянно беречься паука, который всегда готов завладеть каждым углом, оставленным хоть на сутки без внимания».

«Торгаш также водворяет свою лавку или свой магазин всюду, где только может — в самых грязных улицах, у самых великолепных памятников; стоит только не присмотреть за каким бы то ни было местом, чтобы завтра же там появились торгаш и паук».

«Лавка и паутина представляют в различных видах своих все переходы от прекрасного к безобразному: одни грязны и отвратительны, другие блистают чистотой, по-

* Пунийская верность (вероломство) *(лат.)*.

рядком и симметриею. И здесь, и там остроумный механизм проволок и звонков извещает хозяина о прибытии постороннего».

«Хозяин,— торгаш или паук,— проводит всю жизнь в углу своей лавки или паутины. Уши и глаза его постоянно настороже: он смотрит, прислушивается; в этом все его дело».

«Лавка воздвигнута, паук уселся на свое место. Горе неосторожному, двуногому или многоногому, кого роковая судьба приведет в его паутину. Едва вступил он на нее, хозяин уже знает это, и участь пришлеца решена. Торгаш или паук кидается на него, хватает добычу, обволакивает ее слизистыми нитями или медовыми речами. И опутав его члены или рассудок, они погружают ему в сердце или кошелек свое жадное сосало».

«Тогда они принимаются сосать и сосут, пока не высосут все, и затем с пренебрежением отворачиваются от этого бескровного трупа, от этого пустого кармана».

«У паука голова покрыта глазами, громадное брюхо, длинные, крючковатые лапы; но груди, сердца нет. Паук пожирает подобных себе; самка жрет самца и детенышей. Торгаши также ведут друг с другом вечную войну, не щадя ни родных, ни соотечественников; толстые всегда пожирают тощих».

«Труд паука и торгаша состоит в том, чтобы раскидывать паутину и хватать добычу; от этого труда они жиреют на счет других, но для общества труд их бесплоден; на что годна паутина?»

«Цивилизованная торговля — паук; а промышленность — муха, которую она сосет, истощает и убивает. А между тем секта экономистов неистово кричит: *«Дайте полную свободу купцам»*, laissez faire les marchands!» *

«Торговля грабит общество и порождает в нем множество самых возмутительных преступлений, которые ускользают от законного преследования. Самые очевидные и гнусные преступления торгашества заключаются в банкротстве, кулачестве, ажиотаже или лихоимстве и паразитизме или тунеядстве».

«1) *Банкротство* грабит общество в пользу купцов, которые ничем почти не рискуют, ничего не теряют. Расчетливый торгаш вычисляет заранее, сколько он должен брать процентов, чтобы барышами обеспечить себя на

* Пусть это делают купцы *(фр.)*.

случай несостоятельности. Если же купец нерасчетлив или крайне плутоват (эти два качества в торговле очень сходны), то он не замедлит сам вознаградить себя банкротством и вернуть все, что потерял от двадцати других банкротств. Таким образом весь ущерб наносится одному лишь обществу, а купечество благоденствует».

«2) *Кулачество* грабит общество возвышением цен скупленных товаров и продуктов, заставляя потребителей платить огромный налог».

«3) *Ажиотаж* грабит общество отвлечением капиталов от производства на биржевую игру. Фабрики, заводы и все ремесла, нуждаясь в капиталах, принуждены доставать их за страшные проценты».

«4) *Паразитизм*, т. е. тунеядство, вследствие размножения непроизводительного класса торгашей, грабит общество двояко: уменьшая число рабочих рук и побуждая купцов и лавочников вести междоусобную войну, в которой сильные давят слабых и добиваются монополя продажи. Торговая конкуренция развивает обман, подлог, гнусное шарлатанство и вызывает умышленную подделку и порчу товаров и, в конце концов, разрешается банкротством и монополем».

«Такова цивилизованная торговля в общих своих чертах. Очевидно, что она требует обуздания. Дело в том, что всякий торгаш, который сам не производит и не потребляет вещей и товаров, должен считаться *ответственным их хранителем*, а вовсе не полновластным собственником. Все купцы и вообще торговые посредники должны подчинять свои действия общей пользе, а не заниматься мошенническими оборотами, которые страшно вредят обществу».

Для обуздания торговой конкуренции, Фурье думает, что полезно брать с купцов, кроме пошлины за право торговли, известный денежный залог и ежегодно его увеличивать. Этою мерою достигается та цель, что число торгашей с году на год будет уменьшаться, а чем их будет меньше, тем легче за ними уследить и обуздать их. Денежный залог купца, кроме того, может идти на уплату его долгов в случае несостоятельности.

Фурье всегда возмущался, что торгашам, неспособным или нежелающим работать, *дается право воровства-мошенничества*, между тем как беднякам, которые просят работы, не хотят даровать *право на труд*. Все для мошенников и воров, а ничего для рабочих! Вот до чего дошла цивилизация!

«Цивилизованные народы! Отчего ваши общества и учреждения уничтожаются так быстро и часто. Вы жалуетесь постоянно на непрочность своих созданий. Перестаньте приписывать времени и случаю эти перевороты; они происходят от несостоятельности и неуместности ваших социальных систем, которые не упрочивают за бедным ни труда, ни средств к жизни».

«Человек имеет право *есть*, право, которого никогда не хотели признать за ним философы и законодатели. Они не смеют отрицать принцип, что кормиться следует только трудом рук своих. В таком случае член общества, способный трудиться, имеет право на труд, и, заставляя его работать, чтобы жить, общество обязано дать ему работу, за неимением которой он может, как дикарь, брать все, что ни попадется ему под руку. На это философы отвечают, что нет больше работы, нет больше земель для возделывания, нет заказов на фабрике; следовательно, он должен обходиться без еды и умирать с голода вместе с женою и с детьми во имя прогресса прогрессивной цивилизации. Эти несчастные негодуют, отказываются умирать голодной смертью и думают не без основания, что общество и правящие им ученые должны были бы отыскать способ назначить людям, оставленным без работы, необходимые средства для пропитания. На этом основании они идут и стараются разжалобить прохожих и вымолить подаяние. Власти хватают их и внушают им, что нищенство преступно и потому наказывается. Страх голодной смерти или тюремного заключения побуждает более смелых и решительных заниматься просто воровством. Их тоже хватают и вешают за то, что они пожелали пользоваться правом жить, правом, которого не оспаривают ни у одного из существующих животных, потому что никогда не вели процесса с собаками и с кошками за то, что они едят, когда захочется, да еще даром, между тем как голодные бедняки предлагают за это свой труд».

«Чудный результат цивилизации! Человека запирают и тащут на виселицу, когда он хочет пользоваться самым постоянным из своих прав — кормиться, работая. И в таком-то обществе шарлатаны науки смеют говорить о гарантиях, балансе, равновесии!»

«Очевидно, что цивилизация так бедна средствами, что не может и думать выполнить условия общественных и личных гарантий и обеспечить право на труд».

ПРУДОН

Прудон родился в 1809 году в г. Безансоне, где родились также Фурье и Виктор Гюго.

Отец Прудона был бочаром, а мать кухаркой; они имели пятерых детей и жили в крайней бедности.

«Кто беден, тот мне родня»,— говорил всегда Прудон, и сам жил и умер бедняком в 1865 году. Вот что писал он в 1837 г., когда вступал на поприще общественной деятельности:

«Я родился и воспитался в среде рабочего народа; с ним делил я радость и горе; с ним жил умом и сердцем. Цель моей жизни — работать без устали на пользу тех, кого люблю я называть своими братьями и товарищами. И эта цель будет достигнута, и буду я счастлив, если мне удастся посеять в народе семена того учения, которое я признаю законом нравственного мира».

Прудон сдержал свое обещание. Вся жизнь его прошла в труде и в борьбе за народное дело.

Во время июльской монархии, в самый разгар общественного разврата, молодой и пылкий Прудон принялся за дело народного воспитания. Прежде всего, как настоящий отщепенец, не гоняясь за личной выгодой и положением в обществе, он стал внимательно изучать социальные вопросы. Текущая литература и журналистика его не занимали. В них он видел пустое словоизвержение, вздорную игру разных партий, которые увлекались ежедневными спорами и вовсе не думали о логическом проведении своих идей.

Желая разгадать смысл современной цивилизации, Прудон углубился в изучение памятников исторического Отщепенства и обратил особенное внимание на Библию и Евангелие <...>.

Но этот отщепенец не мечтал сделаться ученым археологом и академиком. Он изучал и писал не для стяжания похвал и наград, а с целью образовать себя и других. Не упуская из вида вопросов социализма, от Библии он прямо перешел к разбору политической экономии.

И вот в 1840 году появляется знаменитое его сочинение «Что́ такое собственность?» — (Qu'est-ce que la Propriété). Это сочинение он посвятил той самой академии, которая наградила его медалью за первую брошюру и сделала его своим пенсионером. В своем посвящении Прудон говорит:

«Вы, академики, назначая мне пенсию, поставили условием, чтобы я ежегодно отдавал вам отчет в своих занятиях. Я исполняю ваше желание и считаю долгом напомнить вам, что постоянно занимался, с целью принести пользу моим согражданам и в видах *умственного и нравственного развития самого многочисленного и бедного класса рабочих.*— Вы одобрили эту цель, и мне остается только представить на суд ваш мое сочинение, написанное по вашей программе».

«В этом сочинении я рассуждаю о собственности. Спешу предупредить вас, что я дурно отзываюсь о законоведах и жестоко нападаю на экономистов. Я не люблю вообще этих господ: их чванство и скудоумие меня бесят. Кто понимает их, конечно, не осудит меня за обличение их нелепостей».

«Еще несколько слов о значении моей книги: в ней нет литературных достоинств. По моему искреннему убеждению, в наше время и в нашем обществе писателю не следует заботиться о красоте слога; литераторство — нелепость и неуместность. *Говори без страха все, что знаешь* — вот правило, которое обязательно теперь для писателя, а вовсе не риторика».

Безансонские академики единогласно осудили сочинение Прудона, как антисоциальное, и публично заявили, что исключают его из списка своих пенсионеров. Прудон отвечал:

«После подобного приговора мне остается только просить читателей не думать, что все мои земляки так же глупы, как члены Безансонской академии».

В то самое время, когда ученые предавали анафеме книгу Прудона, ему уже угрожало судебное преследование. Но, по совету экономиста Бланки, министр юстиции велел остановить дело без последствий.

Сочинение Прудона «Что такое собственность?» навело ужас на всю буржуазию. Действительно, было чего испугаться!

Прудон говорил:

«Если бы меня спросили: *что́ такое рабство*? и я ответил бы — *убийство*, то мне не пришлось бы доказывать этого. Я не удивил бы никого, потому что лишать человека мысли и воли, то есть обращать его в раба, значит посягать на его жизнь, т. е. убивать. Почему же на вопрос: *что́ такое собственность*? я не могу сказать — *кража*, и

надеяться, что меня поймут? Разве это последнее предложение отличается от первого?»

«Но сколько шуму и криков подымает мое определение собственности!

— *Собственность — кража!* Да это набат 93 года! Это воззвание к революции!

— Читатели, успокойтесь! Я вовсе не поджигатель восстания, не агент заговорщиков. Я только выражаю ту истину, которую вы напрасно пытаетесь обойти незнанием. *Собственность — кража!* Это определение вам кажется богохульством. Но знаете ли, что оно стало бы для нас громоотводом, если бы вздорные предубеждения не мешали нам понимать его, как следует. К сожалению, сколько интересов и предрассудков восстает против него!.. Что́ делать, однако, если развязка приближается, если сила событий берет свое, независимо от всякого предсказания! И разве можно, наконец, не признавать правды и отказаться от разума?

Итак, читатели, не смущайтесь моим определением собственности. Имейте несколько мужества, чтобы следовать за мною. И если ваше желание искренно, а воля свободна и совесть покойна, если ваш рассудок умеет связать два предложения и вывести из них логическое заключение, то уверяю вас — мои мысли сделаются вашими. Бросая вам, в начале книги, ее последний вывод, я желал только предупредить вас, а не поразить наглостью. Мне верилось и верится еще, что я добьюсь непременно вашего одобрения. Все, что я стану доказывать, покажется вам так осязательно, верно и неоспоримо, что вы невольно изумитесь и скажите про себя: «как же, однако, я не подумал об этом раньше».

«Как поборник равенства, я буду говорить с вами без гнева и злобы, с независимостью мыслителя, с твердостью и спокойствием свободного человека».

Такими словами начинает Прудон свое сочинение; кончается же оно так:

«Старая цивилизация умирает. Восходящее солнце равенства освещает уже землю, и скоро закипит она иною жизнью. Пусть промелькнет еще поколение, пусть дряхлые вероломцы доживут последние дни. Но ты, молодежь, негодующая на разврат нашего века, ты, молодежь, жаждущая правды, борись смело за *свободу*, если любишь родину и признаешь интересы человечества. Очищай с себя грязь эгоизма и бросайся в народный поток *равен-*

ства. В нем освежатся и окрепнут силы твои, и ты почувствуешь небывалую мощь: расслабленный ум твой приобретет несокрушимую логичность, а сердце, быть может уже развращенное, станет чистым и пылким. И все представится в истинном свете глазам твоим. С новыми чувствами зародятся и новые мысли: вера, нравственность, право — все заявится тебе в ином, прекрасном и величественном виде. И с упованием и с увлечением будешь ты приветствовать зарю общего возрождения к новой жизни».

«А вы, бедные жертвы ненавистного закона! Я знаю, что вас грабят и унижают; я знаю, что труд ваш бесплоден, а отдых безнадежен... Но утешьтесь: ваши слезы переполнили меру. С горем и отчаянием сеяли отцы, но с радостью пожнут дети».

Прудон, называя собственность кражей, возбудил против себя страшное негодование... но только со стороны людей недобросовестных и преступных, со стороны всех тех, кто живет на счет чужого труда и считает свою покражу — благоприобретенною собственностью.

Прудон назвал собственность кражей. На каком основании? На том, что он считает лихоимство воровством, а экономисты объявляют это преступление правом собственности и с негодованием восстают против законов о лихве.

Лихоимство = право собственности.

Лихоимство = кража.

Лихоимство за лихоимство, в результате остается: собственность = кража.

Так и сказал Прудон. Разве он виноват, если экономисты, ярые защитники права собственности, доказывают, что лихоимствовать, то есть красть, значит пользоваться этим правом?!

По убеждению Прудона, собственник — вор вовсе не потому, что имеет собственность, а потому что лихоимствует, крадет. Уничтожьте лихоимство, и собственность перестанет быть кражей. Вот все, чего желает Прудон. Что́ же преступного в этом желании? Не того ли самого желали Моисей, Иисус Христос, апостолы и отцы церкви, которые осуждали и проклинали лихоимство! «Не украдь!» — говорит заповедь Моисея и Христа. «Бери лихву», т. е. воруй,— говорят экономисты. На чьей стороне правда?

Итак, если собственность приобретается, сохраняется и увеличивается путем лихоимства, то она обращается в кра-

жу. И подобная собственность, по словам Прудона,— преступна, потому что порождает и развивает нищету рабочего народа, укореняет разврат в обществе, извращает совесть людей и отрицает их свободу, равенство и братство.

«Экономисты должны знать,— говорит Прудон,— что задельная плата, которую получает работник, должна давать ему возможность выкупать произведение своего труда. И зная это, почему они осмеливаются защищать законность лихоимства, как права собственности? Почему они решаются уверять, что брать барыши не бесчестно? Хозяин платит работнику три франка, а сам продает произведение его труда вдвое, втрое, вдесятеро дороже, лихоимствуя и на счет материала, и на счет рабочей платы. Разве он поступает честно и справедливо?!»

«Во Франции 20 миллионов рабочих занимаются всевозможными отраслями производства и приготовляют массу вещей и товаров, необходимых и полезных для общества. Сумма всех заработков равняется ежегодно, положим, 20 миллиардам франков. Но вследствие того, что взимаются подати, пошлины и всякие налоги, берутся взятки, получаются проценты, барыши, доходы, короче, вследствие того, что существует лихоимство, все произведения труда продаются не за 20, а за 25 миллиардов. Что́ это значит? Это значит, что масса рабочего народа, которая должна жить плодами своего труда, не может ими пользоваться: ей приходится платить 5 за то, что сработано только за 4, или голодать один день из пяти».

«Пусть найдется во Франции такой экономист, который докажет мне, что мой расчет неверен, и я тотчас принесу публичное покаяние и отрекусь от слов: «Собственность — кража».

Такого экономиста, разумеется, не нашлось не только во Франции, но не найдется никогда и в целом мире, пока будут жить люди и существовать математика.

Итак, лихоимствующая собственность несправедлива, преступна и, в заключение всего, нелепа, т. е. логически невозможна.

В своей книге Прудон логически и математически доказал:

1) Собственность невозможна, потому что сама по себе ничего не производит, а требует, чтобы для нее работали, т. е. давали собственнику средства жить без труда на чужой счет.

2) Собственность невозможна, потому что требует лихвы и заставляет платить себе больше, чем сама дает.

3) Собственность невозможна, потому что без труда уничтожается, а при труде от него избавляется. Другими словами: она не может существовать без рабочих, а с рабочими развивает класс тунеядцев и воров.

4) Собственность невозможна, потому что убийственна. Она постоянно грабит работника, лишает его средств к жизни, оставляет без труда и заработка и, в конце концов, морит медленным голодом, убивает рядом лишений и страданий.

5) Собственность невозможна, потому что с нею общество доходит до самопожирания. Общество пожирает себя насильственным прекращением и застоем работ и возвышением продажной цены произведений труда. С одной стороны, не всем работникам удается работать, и они осуждаются голодать, а с другой — все рабочие, которым позволяется трудиться, не в состоянии пользоваться плодами своего труда.

6) Собственность невозможна, потому что порождает деспотизм, поддерживает и укореняет насилие власти. Собственность несовместна с политическим и гражданским равенством; следовательно, она невозможна.

7) Собственность невозможна, потому что лихоимство, которым она живет и держится, тоже невозможно: в обществе чистый доход несмыслим.

8) Собственность невозможна, потому что, посягая на труд, посягает и на себя: собственники губят не только рабочих, но и собственников путем монополя и конкуренции. Говоря иначе: собственность отрицает, уничтожает собственность.

9) Собственность, наконец, невозможна, потому что доводит до взаимности воровства, грабежа, насилия, убийства и обращает людей в диких зверей, а общественную жизнь в людоедство.

Вот что такое собственность, против которой восставали разум и совесть всех народов, всех святых и честных людей. Кто защищает собственность, основанную на тунеядстве и лихоимстве, тот, значит, отрицает здравый смысл и правду, тот плюет на Евангелие и распинает Христа.

«Собственность,— говорит Иоанн Златоуст,— будет законна и справедлива только в том случае, когда мы будем пользоваться ею сообща. Обожатели собственности валя-

ются как свинья в грязи, копошатся, как жуки в навозе, и воображают, что наслаждаются! Зачем ты, человек, так любишь собственность? Что нашел ты в ней привлекательного? Она вовсе не делает тебя умнее, великодушнее, умереннее, добрее и человечнее. Она не учит тебя обуздывать гнев и побеждать дикие страсти. Она не только не может укоренить ни одной добродетели, но напротив того — искореняет все добрые качества, сушит и мертвит душу пагубными пороками — своекорыстием, алчностью, безумною злобою, гордостью и тщеславием.— Да, непримиримый враг и убийца наш — собственность, которая всегда изменяет своему хозяину.— Теперь нельзя положиться ни на кого, ни на друга, ни на брата. Всюду свирепствует гражданская война, не открытая, а тайная, изменническая война. Всюду видишь только лицемерие и маски; всюду волки в овечьей шкуре. Скорее можно жить среди явных врагов, чем в обществе таких граждан. Кто вчера нам льстил, унижался и целовал руки, тот сегодня снимает маску и вступает во вражду. Что за причина? Жажда богатства, страсть к деньгам, та неизлечимая болезнь, та чума, которая заражает все общество».

Что́ было во времена Златоуста, в IV веке по Р. Х., то и теперь.

Работайте, твердят беспрестанно народу, работайте, копите деньги и делайтесь в свою очередь собственниками. Работники, вы — рекруты собственности. Когда она достанется вам, когда вы отведаете человеческого мяса, тогда будете довольны и забудете прежние лишения.

Из пролетариата попасть в собственника! Из раба превратится в тирана! Из жертвы в убийцу!

— Что́ такое пролетарий?

Пролетарий — работник, который трудится на глазах хозяина, собственника. Такому работнику говорится: «Тебе нет дела до собственности; ты не должен рассуждать о ней и проверять ее права и преимущества. Тебе дают задельную плату и больше ничего. Делай, что прикажут сегодня, а завтра ты будешь волен делать, что захочешь, если тебя оставят без работы. Travailler pour les autres, c'est mourir pour les autres! *

«Каждый собственник,— говорит Прудон,— пользуясь чужим трудом, в глубине своей грязной души питает мысль об убийстве.— Напрасно уверяют, будто собствен-

* Работать для других, означает умирать для других! *(фр.)*.

ник, который трудится и, вместе с тем, получает доходы, не тунеядствует. Он только заставляет платить себе больше, чем обыкновенный дармоед, который живет одними доходами. Что бы ни делал собственник, во всяком случае доход его — вознаграждение за право тунеядства, то есть грабеж. И заметьте, что подобный грабеж, который осуждается разумом, совестью и христианскою верою, оправдывается экономистами и защищается законниками!»

«Присутствовали вы когда-нибудь при допросе обвиненного? Замечали вы, как он хитрит, увертывается, отговаривается, путается? Его допрашивают, опровергают, доказывают ложность его показаний, короче — преследуют, как зверя на охоте, и ловят на каждом слове. Он то соглашается, то возражает, запирается, отрицает и поминутно впадает в противоречие».

«Так точно ведет себя собственник, когда вызывают его на объяснение и оправдание права собственности. Сначала он вовсе отказывается отвечать и только возмущается, негодует и угрожает взглядом, в котором выражается злоба. Затем, когда ему приходится поневоле объясняться, он начинает подбирать разные избитые доводы, пускается рассуждать об условиях общественной жизни, о необходимости порядка, о законности, о правах наследства, о свободе договора, который освящает личную собственность, и т. д. Разбитый на всех этих пунктах, собственник выходит из себя и, с пеною у рта, бешено кричит: «Я владею законно, потому что работал, производил, улучшал, *создавал*. Этот дом, эти поля, эти деревья — плод трудов моих, произведение рук моих. Я строил, садил, сеял, обращал пустыню в плодородную землю. Я присматривал за рабочими, платил им, и, если бы не нанимал их, они давно бы околели с голода. Никто за меня не расходовал и ни с кем я делиться не хочу».

«Ты работал, собственник! Зачем же ты болтал о порядке, о законах, о наследственном праве? Как! разве ты не был уверен в своей правоте или желал только потешиться над людьми и правдой?»

«Ты работал! Но что общего между трудом, который обязателен для всякого, и присвоением того, что принадлежит всем безраздельно? Разве ты не знал, что земля, как вода, воздух и свет, не может поступать в частное, исключительное пользование?»

«Ты работал! Но не заставлял ли ты работать за себя других? — вот что́ скажи. Каким же образом, работая для

тебя, они потеряли то, что приобрел ты, не работая для них?»

«Ты работал! Прекрасно. Но посмотрим, однако, что ты сделал. Мы высчитаем, свесим, смерим, и тогда берегись! Если окажется, что ты разбогател на чужой счет, ты отдашь все до последней полушки». (Qu'est ce que la Propriété) *.

«Капиталисты! Нападая на собственность, я вовсе не отрицаю права на пользование плодами честного труда; я отрицаю только *барыши с капитала* и доходы с собственности. Поймите же это!»

«Вы говорите часто, что собственность сама по себе хороша, но дурны только те собственники, которые злоупотребляют своим правом».

«Прекрасно! Но что такое собственность, спрашиваю я вас? Разве это не право пользования и, вместе с тем, злоупотребления? Как же отделить одно от другого? Как запретить, например, собственнику не злоупотреблять? Разве закон может определить для каждого случая, где кончается пользование и начинается злоупотребление собственности? Нет. Итак, что же оказывается? Оказывается то, что по принципу и сущности собственность безнравственна».

Все отщепенцы, начиная с апостолов и отцов церкви и кончая Прудоном, отрицали собственность. Отчего же законники и судьи, называя себя христианами, не признавали и не признают этого отрицания? Почему они считают себя вправе преследовать и наказывать тех, которые разделяют убеждения людей святых? Собственность лихоимствует, крадет, истощает и убивает бедняков и рабочих, а законы и суды защищают ее! Где же правда?

«Да,— восклицает Прудон,— и законы, которые поддерживают собственность, даже безнравственную,— позорны, и суды позорны, и полиция позорна». (Contrad. écоnom. 2 vol.) **

В другом месте он говорит: «Собственность, в экономическом смысле этого слова,— не что иное, как veto, т. е. запрещение, которое капиталисты налагают на обращение всех произведений труда. Чтобы снять это запрещение, приходится платить собственности известную пошлину, которая, смотря по обстоятельствам, называется доходом,

* Что такое собственность *(фр.)*.

** Экономические противоречия в 2-х т. *(фр.)*.

процентом, барышом, учетом, привилегией, премией, монополем, взяткой и т. д.»

«Эта чудовищная система налогов поддерживается полицией, судами, одним словом — государством. Она порождает целый ряд преступлений — торговый и промышленный обман, монополь, ажиотаж и т. д.»

«Итак, отрицая собственность, как причину этих зол, я отрицаю: 1) все господские права собственности, под какими бы названиями они ни заявлялись; 2) всех спутников собственности, несмотря на их величие, блеск и силу; 3) все палиативы или полумеры, которыми желают, не посягая на собственность, ослабить ее пагубное действие».

«Я доказал, что́ такое собственность,— говорит Прудон.— Верьте мне: я не изменю своей клятвы и буду верен делу отрицания, несмотря на скрежет зубовный». (Qu'est-ce que la Propriété) *.

С 1840 года, в течение двадцати пяти лет, Прудон не переставал отрицать старого порядка, основанного на грабеже и насилии, и умер в святости Отщепенства.

В 1849 году Прудон воскликнул с трибуны: *«Социализм не спускает глаз с капитала!»* Этими словами он хотел сказать, что коренной вопрос Отщепенства заключается в отрицании прав капитала.

С этой поры «Социализм» стал пугалом для капиталистов и камнем веры для рабочих.

«Я за рабочих против капитала,— говорил Прудон.— Я не желаю никем управлять и не желаю также, чтобы управляли мною».

«Чтобы не было эксплуатации человека человеком посредством капитала».

«Чтобы не было эксплуатации посредством насилия человека над человеком».

«*Свобода!* — Вот первое и последнее слово общественной жизни».

«Защитники эксплуатации говорят: *«Социальная революция есть цель, а революция политическая* (т. е. перемещение власти из одних рук в другие) — *средство»*. Другими словами, они говорят: дайте нам право жизни и смерти над вами, и мы сделаем вас свободными!.. Вот уже более шести тысяч лет, как то же самое проповедуют отъявленные мошенники и тираны».

---

* Что такое собственность *(фр.)*.

«Нет,— говорю я,— наоборот — *политическая революция — цель, а социальная — средство.* Воспитайте людей так, чтобы они не гонялись за властью, не старались бы эксплуатировать друг друга и считали бы себя *равными* — и цель ваша достигнута: политический порядок устроится и не потребует ни полиции, ни суда, ни жандарма, ни палача».

Облегчить участь бедного и самого многочисленного класса рабочих, обеспечить их труд и развить их умственные способности — вот задача Социализма. Всему своя пора! Довольно уже рабочий народ потрудился для тунеядцев; пора ему подумать и о себе.

«До революции 1789 года,— говорит Прудон,— церковь, как заботливая и нежная мать, утверждала: все для народа, но все с согласия духовенства. Монархия, в свою очередь, объявляла — все для народа, но все волею короля. Дворянство, наконец, уверяло: все для народа, но все по желанию господ».

«Затем, революционеры сказали: все для народа, но все по закону государства, по воле правительства».

«Наконец, плутократы решили: все для народа, но все в интересах буржуазии».

«Кто же, в заключение, заявит — *все для народа и все народом?* Отщепенец, социалист или никто. Все для народа: промышленность, торговля, земледелие, образование и т. д. Все народом: промышленность, торговля и т. д.»

«О рабочий народ, бедный, забитый, ограбленный народ! Когда ты перестанешь слушать шарлатанов и плутов, которые обещают постоянно облегчить твою жалкую участь путем *политических* реформ. Сообрази же, наконец, что всякая такая реформа основана на произволе, насилии и эксплуатации, то есть на всем том, что следует искоренять».

«А вы, великие политики! Вы толкуете о правах народа, а сами стойте на коленях перед золотым тельцом. Откажитесь поскорее от всяких обещаний, объявите прямо о стачке своей с лихоимцами, будьте искренними консерваторами и не лицемерьте во имя народа. Ваше настоящее дело — реакция; вы ничего лучше не придумаете, потому что не понимаете действительных желаний народа и не хотите их понимать. Народ не разделяется на партии. Но вы служите интересам известных партий, следовательно, действуете не в пользу народа, а против него. Консер-

ваторы, вы считаете себя ловкими политиками и не замечаете, что вы слепы и водите за нос слепых».

«Социальный порядок отрицает всякое политическое устройство»,— говорил Прудон и, в силу этого принципа, считал каждую конституцию если не обманом, то нелепостью.

«Как! — восклицал он,— вы желаете сделать людей свободнее, разумнее, честнее и, приступая к исполнению этого желания, требуете, чтобы они предварительно отказались от воли, разума и отдались в полное наше распоряжение! Кто вы такие? Откуда вы взялись? Почему считаете себя мудрецами и полагаете, что прочие не сумеют подумать сами о себе? Все, что есть разумного, полезного и справедливого в обществе, создалось свободою и логическим развитием прежних фактов. Что же касается власти, то она существует только для поддержания старого порядка. Желая придать ей другое значение, желая обратить ее в рычаг движения, вы делаете ее только орудием деспотизма и насилия. Кроме *полицейской* обязанности, государство не должно знать ничего. Всякое новое постановление, всякая новая мера с его стороны только помеха общественному развитию и нарушение порядка. Его труд — лихоимство; его поощрение — монополь, привилегия; его влияние — порча. Можно написать тысячи томов о государственных проделках и злоупотреблениях в политике, в религии, в промышленности, в публичных работах, в финансах, в администрации и т. д.»

«Зачем вам власть? Зародилась в вашей голове полезная идея? Сделали вы важное открытие? — Спешите заявить об этом вашим согражданам, затем приступайте сами к делу, предпринимайте, действуйте и не просите у правительства никакого пособия. Обращайтесь к обществу, будите его, вызывайте в нем охоту к самодеятельности. Вместо того, чтобы нанадать на власть, старайтесь избегать ее вмешательства и учите народ обходиться без нее для достижения богатства и порядка».

«Так понимал я всегда социализм; говорю по совести. И это всегда удаляло меня от разных практически-политических школ. Участвуя в законодательном собрании, я почти всегда подавал голос отрицания. Кроме одного проекта, предложенного мною этому собранию 31 июля 1849 года, когда я желал заявить новые принципы социальной жизни, я не обращался никогда к правительству ни с какою просьбою, ни с каким предложением. Как со-

циалист и отщепенец, я не ожидал от власти ничего, кроме насилия, и требовал только свободы, одной свободы».

«Но вот раздаются громкие голоса...

«Власть,— восклицают плутократы,— должна устранять и уничтожать тех непримиримых врагов общества, которые ненавидят всякий порядок. Эти враги — *отщепенцы*».

«Мы не будем оспаривать их теории. Скажем только, что нет той крайней свободы, которая удовлетворила бы их, нет слов, которыми можно было бы успокоить их. Они опутали общество тайною сетью, с целью без сомнения преступною. Позволить им злоумышлить во мраке было бы пагубною слабостью.— Трудолюбивые и честные работники гнушаются ими столько же, как и мы. Они знают, что отщепенские воззрения, *стоящие вне права и нравственности*, нелепы и неосуществимы; что, отняв у одних излишек, не доставишь другим даже необходимого; что такой образ действия убил бы кредит, уничтожил бы общественное богатство и породил бы общую нищету и отчаяние. Они знают, что только свободный труд под покровительством сильного и справедливого правительства может развить собственность и даровать благосостояние большинству.— Правительство должно положить конец этому пагубному влиянию *во что бы то ни стало*».

«Отщепенцы стоят вне права и нравственности, говорите вы,— отвечал им Прудон.— *Вне права и нравственности!* Следовательно — *вне закона! И во что бы то ни стало* следует поразить Отщепенство!»

«В первую революцию у нас были отщепенцы, люди бедные, недовольные общественным порядком, никогда не сказавшие свободе — *довольно*! Это были люди, обожавшие разум, утверждавшие совесть человека, верившие в справедливость и бывшие честными. Их называли в то время *санкюлотами*».

«Но знаете ли, что я скажу вам, плутократы и деспоты? Если бы санкюлотство, отщепенство, было таково, каким вы его представляете; если бы в эту годину политического и общественного отчаяния я был бы действительно бессовестен, беззаконен и безжалостен — знаете ли вы, что я сделал бы!»

«Я не писал бы и не говорил о принципах, потому что в принципах кроется спасение для обществ и для правительств. Пусть, среди общего молчания, империя душит

ненавистные принципы 89 года. Не боясь шпионов, я помалкивал бы и посмеивался втихомолку».

«Если же, не устояв против искушения, я решился бы писать, то ограничил бы мысль свою пределами беспощадной оппозиции. Вместо того, чтобы философствовать, я мстил бы. Умалчивая о принципах, я таил бы свое негодование и прятал бы свои когти. Пускаясь только в ученую критику, я сделал бы с моралью то же, что доктор Штраус с преданием церкви. Я показал бы, что справедливость не имеет основы ни в религии, которая ставит предмет ее вне человечества, ни в философии, которая обращает ее в отвлеченную идею; что ничто не доказывает в нас присутствия совести, и что поэтому право и обязанность — просто условные отношения; преступление — только военный риск, а общественный порядок — страховая премия. Доказав все это, я закончил бы презрительною насмешкой над свободой, равенством и добродетелью. Церковь со всеми религиозными сектами была бы раздавлена, уличена в противоречии и лицемерии. Наконец, в довершение моей мизантропической радости Отщепенство, которое всегда стремилось возродить общество к честной жизни, это самое Отщепенство, изобличенное в бессилии, обратилось бы в миф, в химеру!»

«Вот что я мог бы сделать и чего не захотел сделать. В моем ужасном Отщепенстве я предпочел говорить обществу со всею независимостью моего разума и со всею энергиею моего нравственного чувства. Я видел, что для Отщепенства пришла пора или навсегда уничтожиться или, воссоздав справедливость, подать утопающему обществу руку спасения».

Отрицание существующего порядка грабежа и насилия — вот значение и назначение Отщепенства.

«Отрицать, беспрестанно отрицать! — восклицал Прудон в порыве страстного увлечения правдой Отщепенства.— Цель этого постоянного, неизменного отрицания состоит в том, чтобы освобождать человека от рабства мысли, в котором держит его практическая жизнь с ее позором и преступлением».

Такое отрицание, разумеется, непонятно и противно людям с *практическим* взглядом на вещи, людям старого закала, потому что они хотят во что́ бы то ни стало быть *мерзавцами.* Сто́ит ли, после этого, рассуждать с такими нравственными уродами и мертвецами! Им говорят, что они идут вспять и верх ногами, а они твердят о своей

практичности! Им говорят и доказывают, как дважды два, что они мерзавцы, а они обижаются и злятся! Что это — крайнее тупоумие и разврат совести или бессознательное, невольное признание своей подлости? Может быть и то, и другое.

Отрицая современный порядок со всеми его гнусностями, Прудон всегда вызывал против себя общее негодование.

«С 1849 года,— говорит он,— я стал в глазах общества, по выражению одного журналиста, «человеком ужаса», *homme-terreur*.

Не думаю, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь возбуждал против себя такое остервенение общественной, развращенной совести, как я, несчастный отщепенец. На меня лился поток насмешек, оскорблений, клевет и проклятий. Меня позорили и бичевали в журналах и газетах, в песнях и на сцене, в биографиях и карикатурах. Мне угрожали судом, тюрьмою, эшафотом, адскими муками. От меня отрекались прежние друзья, на меня доносили мои прежние единомышленники и во мне видели отъявленного врага мои старые товарищи и сотрудники. Набожные дамы присылали мне образа и ладонки, чтобы изгнать из меня нечистого духа. Публичные женщины и каторжники иронически приветствовали меня письмами, в которых выражался разврат общественного мнения. В законодательное собрание поминутно поступали просьбы о лишении меня депутатского звания...

Позволяя Сатане мучить Иова, Бог сказал: «Располагай его телом и душой, как хочешь, но не лишай его жизни».

«*Жить значит мыслить*.— Итак, посягая на мою совесть, извращая мои мысли и задушевные убеждения, общество поступало со мною хуже, чем Сатана с Иовом. Оно называло меня проповедником воровства, извергом, чудовищем...»

«Да, вряд ли кому так удалось, как мне, расшевелить общество и поразить его в глубь испорченного сердца и заглохшей совести. И что́ же? В то самое время, когда подобное общество, в лице своих практических мудрецов, навязывало мне свое бесчестие, я спокойно говорил ему: Опомнись! В моих словах ты глотаешь свой позор и свое осуждение».

«Лицемерное, святотатственное общество! Ты хвастаешь своими пороками, а между тем дрожишь при мысли о

смерти и, не веруя ни во что́, думаешь, однако, что надо же все-таки *во что-нибудь* веровать! В тебе погасла вера; но при всем твоем нравственном безобразии ты чувствуешь, что тебя не удовлетворяет практическая мудрость, и тебе хочется еще чего-то другого. У всех руки грязны, все запятнали себя воровством, а между тем каждый внутренно презирает лихоимство... Итак, нечего унывать! В этом гнилом обществе шевелится еще что-то человеческое — и оно может возродиться к честной жизни».

«Нам, отщепенцам, нам, пророкам новой веры, нечего ожидать в настоящем: оно нас отлучает. Сколько из нас погибает — и никто не оплакивает нашей злосчастной доли. Та самая толпа, которой мы пролагаем путь к прогрессу, равнодушно или презрительно проходит мимо нас и топчет наши могилы. Пусть идет... *Вперед, вперед!* — вот наш лозунг, наша вера, наш фанатизм. Правда, мы падем, все, один за другим, но наше дело не пропадет даром. Наука соберет плоды нашего геройского отрицания, а потомство насладится тем счастьем, которого нам не доставало. Пусть же настоящее нас отвергает: это отвержение придает нам силу, и без отщепенства мы были бы ничтожны, гадки и вредны».

Таков был Прудон, этот примерный отщепенец!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Блаженны алчущие и жаждущие правды! Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат нас, и будут поносить вас, и гнать и всячески злословить за Сына человеческого!»

Так говорил Иисус Христос ученикам своим, отщепенцам фарисейского общества.

Так должны утешать себя отщепенцы современного развратного общества *практических людей.*

«Что может быть подлее и бесстыдпее таких людей! — восклицает Иоанн Златоуст.— Что может быть грязнее их рук, гнуснее их лица и срамнее их глаз! Они не знают и не признают ничего человеческого, а всех и все считают на деньги и о деньгах только думают».

Горько, невыносимо горько жить отщепенцам в обществе подобных хищников! Жить с ними, сходиться, говорить, а тем более действовать с ними заодно — мучение, наказание и нравственная смерть.

Да минует всякого молодого, неиспорченного человека грязная чаша практической жизни! Пусть он знает, что эта жизнь неизбежно развратит его мысль и совесть и неизбежно омерзавит все его поступки. Пусть он знает, что в этой жизни нет жизни, потому что практические люди — мертвецы, которые хоронят друг друга.

Живой о живом и думай! А нет ничего живее Отщепенства, в котором во веки веков искали и находили спасение все честные и разумные люди, начиная с первых христиан и кончая последними социалистами.

Не понять тебе, практическому тунеядцу и лихоимцу, бессмертной идеи отщепенства, которое наводит на тебя невольный ужас. И страшно становится тебе за мерзкую практику, когда ты видишь, что есть живые люди, есть Отщепенцы, которые отрицают ее смысл и с отвращением от нея удаляются.

Н. В. Шелгунов

ИСТОРИЧЕСКАЯ СИЛА КРИТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

I

Говорят, что европейскую критику мысли создала реформация. Это правда, но только вполовину. Когда рядом с доктором Лютером явился Томас Мюнцер и стал также проповедывать евангелие, но такое, которое обещало всем немцам равенство и братство, доктор Лютер очень возмутился. Ему казалось, что думать критически позволялось только ему одному. Мюнцер был прав, и ему все-таки отрубили голову, а Лютер был не прав и остался жив.

В 1789 г., когда Франция начала проповедывать тоже равенство и братство, и эта проповедь не обошлась без казней, и если бы Лютер и Мюнцер дожили до этого времени, то конечно остался бы жив Томас Мюнцер.

Таких людей, как Мюнцер, и подобных ему зовут фанатиками, энтузиастами, мечтателями, идеалистами, сумасбродами, безумцами. Вообще для характеристики их подбирают такие эпитеты, которые бы намекали, что в головах этих людей царит беспорядок. Но отчего же именно фанатики увлекают за собою массы? Отчего именно они совершают громадные исторические перевороты? Отчего именно они, при известных благоприятных обстоятельствах, дают новое движение всей исторической жизни? Магомет был сумасбродом, страдавший галлюцинациями; Мартин Лютер был фанатик, тоже не чуждый галлюцинации; Мюнцер был энтузиаст. Целый ряд сумасбродов совершенно перевернул исторический ход Франции и начал для Европы новую эру. Неужели все это могли бы делать люди, если бы в головах их не было порядка? В чем же секрет нравственной силы подобных людей?

В жизни народов могут проходить целые века в однообразной смене одного дня другим, когда люди едят, пьют,

спят, плодятся, копошатся, что-то такое делают, и жизнь их тянется как канитель. Такой культурной муравейной жизнью жили, например, аравитяне. Но вот является Магомет и говорит: «Бог один, Бог вечный; нет Бога, кроме Бога; Бог не родился ни от кого, ему нет равного». И все аравитяне верят Магомету и бросают своих идолов и начинают молиться единому, вечному Богу, которому нет равного. Магомет говорит: «Добродетель не в том, чтобы во время молитвы обращать лицо к востоку или западу, а в том, чтобы думать о Боге и ради любви к нему помогать родным, бедным, странникам, выкупать пленных, творить милостыню, держать свои обещания и сохранять терпимость во вражде. Лучший человек есть тот, который делает наиболее добра своим ближним». И полудикие аравитяне задумываются над этими хорошими словами, и из разбойников слагается сильное государство, покоряющее себе полмира. Почему же сумасбродство одного человека создает такое чудо? Только потому, что среди недумающих людей лишь в одном сумасброде Магомете живет критическая мысль. Своим критическим умом Магомет проникает в окружающий его быт, исправляет свое суждение и исправляет суждение своих полудиких соотечественников, и ученики проникаются такою верою в новую правду своего учителя, что хотят спасти ею весь мир, как спаслись ею сами, и с огнем и мечом идут проповедывать ее другим народам.

Сумасброд Мюнцер был того же склада ума, как и Магомет. Мюнцер учился весьма серьезно и основательно, получил звание доктора теологии, и даже противник его Меланхтон[1] находил, что Мюнцер очень силен в священном писании. В Мюнцере с самой ранней поры обнаружился критический ум, и много раньше Лютера, совершенно независимо от него, молодой теолог выступил противником католической церкви. Еще учеником, в школе, Мюнцер составил тайный союз против архиепископа Эрнста II; целью союза было «преобразование духовенства». Кончив ученье и сделавшись проповедником, Мюнцер стал горячо нападать «на слепых пастырей слепых овец». Он поучал, что проповедывать исключительно на основании культа — значит проповедывать дурно, что к евангелию нужно прибавить многое, чего в нем нет, и если принять бедность евангельским основанием, то короли и знатные не должны собирать богатства, а должны быть бедными и нищими. С суровой последовательностью относил-

ся Мюнцер ко всему старому, католическому; он хотел вырвать плевелы из вертограда Господня, ибо Бог не повелел миловать идолослужителей, а повелел разрушать их алтари, посекать их дубравы и пожигать огнем изваяния их богов. Курфюрст саксонский, к которому Мюнцер обратился, конечно, не мог согласиться с такою демократическою проповедью. Тогда Мюнцер, полный веры в свою правду, обратился к народу, думая через него восстановить на земле царство братства, равенства, свободы и нравственности.

А Мартин Лютер? Разве сила его не в той же критике, которая вместо старой правды дала ему новую? Разве сила его не в твердой вере в новую правду, которою он хочет спасти людей?

У нас слово *критика* понимается значительнейшим образованным большинством совершенно своеобразно. Для одних — это насмешливое отношение к чьему-либо личному поведению: «ах, вы такой критикан, с вами и говорить страшно!» — услышите вы и нынче от провинциальной барышни. Для других критика есть непременно брань и безусловное порицание и критик такой человек, который с пеною у рта кидается на все встречное. По обиходному понятию критика всегда есть нечто внешнее, враждебное, порицающее, нечто вроде инспектора, надзирающего за нашим поведением.

Но всякий человек, если он родится с правильно устроенной головой, носит уже в ней начала критики. Критика есть способность мысли относиться с проверкой ко всем явлениям жизни и к своим собственным психологическим процессам. Ребенок, делающий первый неверный шаг, уже оценивает его и усиливается ступать так, чтобы не падать. Позже тот же ребенок и тем же процессом мысли приучается располагать свое поведение таким образом, чтобы известные, невыгодные для него явления не повторялись. Он делает то, что ему лучше, и избегает делать то, что причиняет ему неприятность. Поступая в школу, он оценяет людей по тому представлению о лучшем, которое в нем уже выработалось. Он дружится с одними, с другими держит себя дальше. Из числа тех, с кем он дружится, он делает новый специальный выбор и своим приятелем избирает того, кто полнее всех удовлетворяет его идеалу дружбы. Он оценивает своего друга, сравнивая его с другими, определяет все его особенности и затем получает из своего сравнения известный результат. Этот результат

есть вера в своего друга, которая и руководит обоюдным поведением друзей.

Школа кончилась; человек выступает на дорогу жизни. Жизнь есть действительная дорога, и человек в ней прибегает к тому же критическому процессу мысли, к какому прибегает путник, идущий большою дорогой. Он переступает с камня на камень, обходит лужи и выбирает места сухие. Идти твердо и с уверенностью учит критика, ибо только она дает известные положительные результаты, на основании которых человек действует с уверенностью.

В устройстве житейских отношений человек руководствуется тем же критическим приемом, каким он руководствовался, выбирая себе школьного друга. Человек оценяет пригодность каждого человека, с которым его сводит жизнь, определяет его достоинства и недостатки, уясняет себе, в каких случаях и насколько можно на него положиться. Когда человеку нужно великодушие, он обратится к тому, в ком встретит это великодушие; когда ему нужна помощь, он обратится туда, где найдет эту помощь. Что же научает его поступать таким образом? — только критика.

Таким образом, критика есть та основная способность, которая с первого дня рождения ведет человека по пути жизни. Только критика учит человека определять себя и других, и только она создает те результаты, на основании которых человек поступает безошибочно.

Размер критики и плодотворность ее результатов зависят от обширности умственного горизонта и от круга деятельности человека. Есть люди, для которых никогда не прекращается детский период критики. Провинциальная кумушка, весь свой век занимающаяся пересудами, также оценяет людей по их пригодности и на основании идеала, который себе выработала. Великосветская барышня, для которой идеалом служит привлекательность внешних манер, тоже ищет лучшего и умеет отличить его от худшего. Но разве это критика, которая создала Магомета, Лютера, Мюнцера? И провинциальная кумушка, и великосветская барышня, и все те, кто думает не дальше их, находятся в периоде не исторической, а только культурной жизни. Могут пройти века, а их критика все будет оставаться детской, если не явится на выручку какой-нибудь Магомет. Накопление опыта в культурный период так ничтожно, новые перемены так незначительны, что ум, направлен-

ный на оценку повседневных мелочей, нельзя еще назвать прогрессивной критической силой. Мысль становится критической, когда она делается социально-прогрессивной.

Для Европы начало современной критики положила французская философия конца XVIII века. Никогда еще критика не была так плодотворна и так всесторонне глубока. Зато никогда и бóльшая сила не одушевляла людей. Франция отнеслась критически ко всему. Она не оставила в покое ни одного авторитета средних веков. Весь социальный порядок был пересмотрен и проверен; все, доступное уму, было переисследовано и — старое феодальное государство рухнуло. Вот с какого времени начинается собственно для Европы период теперешней критики.

Миртов[2] в своих «Исторических письмах» разъясняет все значение критики, как прогрессивного исторического элемента. Он указывает на нее, как на единственную прогрессивную силу, управляющую коллективною жизнью людей. Народы, у которых не пробудилось критическое направление, не живут, а прозябают.

Критика,— говорит автор,— есть дело всей жизни,— привычка, которую человек должен приобрести и усвоить, чтобы иметь право на название развитой личности. Плох тот, кто до той минуты, когда видит гибнущего человека, не подумал и не усвоил себе убеждения, должно ли и как спасать погибающих. Тот не общественный деятель и не гражданин, кто чужд исторического движения и кого народный взрыв застает врасплох. Что сказать? что сделать? куда идти? за кем? Францию наводняют немцы; Наполеон в плену; обе армии сдались; ходят слухи об интригах Бисмарка; пророчат, что Наполеон во главе обеих армий, сбереженных прусаками, войдет во Францию, чтобы посадить на французский престол своего сына; поговаривают о домогательствах Бурбонов; одни проповедуют республику умеренную, другие — красную. Можно ли назвать гражданином того француза, который раньше не отнесся критически к положению своей родины и не уяснил себе, как он должен поступить для блага и спасения своего отечества! Теперь думать и решать поздно: нужно было думать и решать раньше, чтобы седанская катастрофа не застала врасплох. Предположите, что во Франции нет ни одного человека, думавшего критически,— нет ни Гамбетты[3], ни Трошю[4], ни Эскироса. Чтó было бы с бедной страной, населенной готентотами! Никто, конечно, не мог

предвидеть именно Седана, но каждый француз должен был знать, что́ может случиться, когда отечество скажет ему: «иди и делай». Может быть, Франция и никогда бы не сказала этого; может быть, Седана и никогда бы не было; но что́ бы вы сказали о том генерале, который стал бы учиться тактике, выступив в поход?

По обыденным понятиям, критика есть нечто разъедающее, лишающее человека прочности убеждений, заставляющее его колебаться и выбирать. Правда, человек колеблется в момент критической работы, ибо процесс критики заключается в сравнении разных очевидностей. Но каждой критике подводится, наконец, итог, и тогда наступает второй момент в развитии мысли — твердая вера, вызывающая действие. Чем была глубже и сильнее критика, тем могущественнее и жарче вера и тем упорнее и энергичнее действие. Откуда сила Магомета, Лютера, Мюнцера? В их глубокой вере, явившейся из глубокой критики. Вера превращает людей в титанов, а титаны двигают горами. Читатель понимает, что слово вера мы употребляем в широком, общем смысле: может быть вера в Бога; может быть вера в человека; может быть вера в непогрешимость своих политических убеждений. Миртов говорит о вере в последнем смысле, и эта вера двигает горами, если человек и заблуждается. Магомет проповедывал не христианского Бога и все-таки поднял и наэлектризовал массы, ибо он сам верил слепо в свои убеждения и точно так же слепо верила ему масса. Вера всегда тем сильнее, чем сильнее критика, ей предшествовавшая. В истории человечества истинными прогрессивными героями были только люди мысли. Только люди с убеждениями и с глубокой верой умели бороться и умирать за свои идеи. Припомните Джордано Бруно, Серве, Гуса, французских роялистов, умиравших на эшафоте конвента, и революционеров, умиравших под пулями и ножами роялистов. А герои теперешней Франции! Разве Трошю не тот человек, который критически отнесся к военной системе Наполеона! разве это не тот человек, который предсказал Франции невозможность борьбы с немцами!.. А энергия Гамбетты разве не результат той критики, с которою он всегда преследовал политический обман Наполеона! Современники еще не в состоянии оценить этих новых героев Франции, имена которых уже принадлежат истории и будут окружены ореолом славы, как бойцов за освобождение страны от иноземного нашествия. Только в

момент кровожадной страстности можно говорить — «какой-нибудь Гамбетта», как это делают немецкие журналисты. Но Гамбетта и Трошю не «какие-нибудь». Это современные герои Франции, и они не становятся меньше от того, что живут в 1870 году, а не в X столетии. Наполеон III, погубивший Францию и бывший некогда кумиром не одних французов, не делается больше от того, что он император.

Но вера, дающая силу человеку, создает не одних героев истины; она создает и героев лжи. Игнатий Лойола и Наполеон I тоже верили, но их вера не спасла мира. Мало того, чтобы мыслить, но нужно мыслить в прогрессивном направлении, в направлении полезного, истинного, справедливого. Вера, созданная ложной или ошибочной критикой, хотя тоже творит героев, но героизм их самоотвержения пропадает даром, потому что опирается на недостаточную критику. Такой герой, например, Бисмарк.

II

Давно в русской литературе не появлялось сочинения, заслуживающего такого внимания, как «Исторические письма» Миртова. В этих письмах мы видим прежде всего благородную, честную личность самого автора, одухотворенного и проникнутого той самой критической мыслью, выразителем которой он выступает. Если бы «Письма» г. Миртова отличались только логической последовательностью, которая в них прежде всего бросается в глаза, мы бы не придали им слишком большого значения. Логично думать может всякий. Но в них, кроме глубокой и твердо продуманной мысли, слышится в каждом слове горячая вера. Это не либеральный налет, который так же легко сходит с человека, как серебро с медной копейки. Здесь все серебро; больше — чистое, червонное золото правды, которою русские люди нас не избаловали.

Говорят, будто бы есть два способа изложения — объективный и субъективный. Я не знаю, кто выдумал это деление; но если бы его установил сам Магомет, то и тут аллах простил бы правоверным грех сомнения.

Никогда человек не может стоять вне себя, если он говорит о вопросах той жизни, которою сам живет. Человек всегда стоит под известным знаменем, которому он служит, и правда, которой он верует, всегда отпечатлеется на его слове и на его деле, как штемпель на монете.

Объективность не есть даже индифферентизм, который, конечно, хуже; она просто старая правда, которую так называемые объективные историки лишь выдают за новую и таким образом чеканят фальшивую монету. Неужели вы думаете, что *беспристрастное* изложение историков московской школы есть беспристрастие? И Шлоссер беспристрастен; но это живой человек, идущий вместе с живыми людьми и старающийся осветить им путь жизни критикой истории. Уж будто бы историки московской школы стоят под одним знаменем с Шлоссером; уж будто бы они освещают историю и помогают понимать события? Пощадите!

Миртов живой человек, живо чувствующий в прошедшем настоящее и в настоящем будущее. Для него местом действия истории не луна, а земля, на которой он живет теперь, в историческом водовороте которой он вращается, чувствует, что вращается, и понимает, что вращается.

Но Миртову мало того, что сам он знает. В каждом человеке есть потребность пропаганды, и начало ее — в чувстве любви к ближнему. Отчего Магомет стал проповедником истины, которую он считал истиной? Почему Лютер не ограничился результатами своей критики для себя и, подобно Магомету, готов был проповедывать свою правду огнем и мечом? Отчего Мюнцер после отказа саксонского курфюрста обратился к народу? Только оттого, что истину, которую они добыли, они считали спасительной не для одних себя, но хотели спасти ею всех. Можно сказать, что каждый человек родится миссионером и проповедником. Да, каждый и проповедник! Но не все Магометы, и не у всех всегда большой круг учеников и слушателей. Это зависит от свойств проповедуемой истины, от размера сил проповедника и от подготовленности слушателей.

Сделав попытку решать задачи, существовавшие во всякую историческую эпоху, и добыв путем критики твердое убеждение, Миртов хотел бы передать его и другим, научить каждого тому, что он сам узнал. Каждого! Какое скверное слово; где этот каждый? Но Миртов и сам знает, что подобная задача недостижима. Он скромно говорит, что его письма недостаточны и несовершенны, что они могут показаться и тяжелы, и отвлеченны, и неинтересны, и чужды вопросов дня; он прибавляет: «другой автор, при других обстоятельствах, мог бы написать и лучше, и занимательнее. Но я надеюсь, что в нашем обществе, хотя бы между читающею молодежью, найдется еще несколько

человек, которых не испугает необходимость серьезно подумать о вопросах минувшего, оставшихся и вопросами для настоящего. Для этих читателей недостатки исполнения, может быть, отступят на второй план пред содержанием. Эти читатели, может быть, поймут также, что вопросы дня получают свой действительный существенный интерес именно от тех вечных исторических вопросов, которых автор коснулся в своих письмах. Эти читатели поймут, что они именно, как личности, должны совершать критическую работу мысли над современною культурою, что они именно должны своею мыслию, жизнью, деятельностью заплатить свою долю громадной цены прогресса, до сих пор накопившейся,— что именно они должны противопоставить свое убеждение лжи и несправедливости, существущей в обществе,— что именно они должны образовать растущую силу для усиленного хода прогресса. Если найдутся хотя несколько подобных читателей этих писем, то дело автора сделано»...

Какое тяжелое сознание и какой безотрадный мучительный взгляд на микроскопичность растущей силы. Мы можем прибавить к этому только то, что автор вполне прав в своем мрачном взгляде на русских читающих людей. Мы знаем общественные библиотеки некоторых городов (а может быть, это и большинство городов) — в которых те №№ «Недели», где помещались «Письма» Миртова, не разрезывались; мы знаем также, что за чтение отдельного издания «Писем» Миртова некоторые принимались с полной готовностью и оставляли их на первом письме, потому что не выносили умственного напряжения. Что это такое, как не бессилие мысли, как не слабость ее при хороших намерениях? Дорогой же ценой приобретает себе человечество людей даже только способных читать серьезное. Как же дорого должны обходиться ему люди, способные мыслить самостоятельно и думать критически в прогрессивном направлении?

В четвертом письме Миртов говорит о цене прогресса, о той дорогой цене, какой купилась развитая мысль. Чтобы мысль могла развиваться, требовался прежде всего досуг, а этот досуг мог быть куплен путем порабощения, чтобы меньшинство имело время думать и культивировать свой интеллект в то время, как большинство несло на себе весь мускульный труд. «Целый ряд веков доисторического и исторического периодов шла неустанная борьба, и все немногое, чем теперь владеют люди, чем они

гордятся, все их знания, все стремления только результат этой борьбы и миллионов погибших жертв. Если бы счесть образованное меньшинство нашего времени,— говорит Миртов,— число жизней, погибших в минувшем в борьбе за его существование, и оценить работу ряда поколений, трудившихся только для поддержания своей жизни; если бы вычислить, сколько на каждого нынче живущего человека, живущего только *несколько* человеческою жизнью, приходится потерянных человеческих жизней, ценность всего их труда,— то каждый развитой человек ужаснулся бы, какой капитал крови и труда израсходован на его развитие». Но если окончательным итогом всех погибших жизней и сил, на которых, как на геологической почве, мы будем искать лишь цвет русского развития, будем собирать те немногие единицы, которые составляют нашу культурную силу, то какими горами золота придется ценить каждого читателя, которого Миртов считает способным заплатить долг прогрессу; считает способным противостоять лжи и несправедливости, способным образовать растущую силу для усиленного хода прогресса!

Следует пожалеть, что «Письма» Миртова менее доступны по своему изложению, чем бы они могли быть. «Другой автор при других обстоятельствах мог бы написать и лучше, и занимательнее»,— говорит про себя Миртов. Ну, а если нет ни этого другого автора, ни этих других обстоятельств, то что же остается делать? Конечно, только пожалеть о том, чего нет, и еще больше пожалеть о том, что не все люди с добрыми намерениями могли найти в «Письмах» Миртова поучительное для себя чтение. Так в средние века, когда наука жила отшельницей в кабинетах ученых, когда она излагалась по латыни, истина была не доступна не сама по себе, а только потому, что между нею и теми, кому она была нужна, стояла китайская стена. Если бы Миртов мог миновать эту стену и если бы тугое изложение, которым так страдают многие из современных русских писателей, не напоминало собою недоступной средневековой латыни, то, может быть, нам, писателям, приходилось бы сожалеть меньше, что нас читают немногие. Для мысли есть тоже свои законы приличия. Если невежливо затруднять своего ближнего письмом, написанным дурным, неразборчивым почерком, то еще хуже облекать свои мысли в печальную одежду и заставлять их в таком виде делать визиты читателям. Мысли должны щеголять по-праздничному, потому что они —

самое лучшее, что только в состоянии произвести человек. Поэтому каждый писатель должен завести для своих мыслей самый богатый гардероб, чтобы они выходили из дому хорошими, опрятными, красивыми, привлекательными, а не замарашками.

Это замечание применяется только частью к «Письмам» Миртова, которые если и затрудняют читателя, то, конечно, только потому, что сам читатель уже слишком дитя. Мы не находим в «Письмах» Миртова слишком сухого, ученого изложения; напротив, мы чувствуем в каждой их фразе горячее и энергическое чувство, с которым они писаны; они вполне живое слово не только о вопросах жизни, но именно о тех вопросах, которые мы еще так недавно переживали да переживаем и теперь. Миртов является с масличной ветвью примирения; он подводит итог тем недоразумениям, которые разделили наших прогрессивных писателей на два по-видимому враждебных лагеря; он хочет поставить их на верную точку, дать им в руки одну общую, руководящую нить, хочет, чтобы разрозненные силы думающих людей соединились в одну думающую силу.

В основных мыслях Миртова мы не находим ничего, в чем бы могли с ним не согласиться. Все в них верно, искренно и честно. Незначительные частности, против которых по-видимому можно говорить, суть не ошибки суждения, а может быть, лишь односторонность изложения. Поэтому главная задача настоящей статьи не в том, чтобы указать ошибки, которых нет, и предостеречь от них читателя, а, напротив, обратить на «Письма» внимание тех, кому они неизвестны, и показать важность их значения тем, кто не мог оценить их достаточно сам.

III

Еще недалеко то время, когда вопрос о важности естествознания поднимал в нашей журналистике целую бурю. Со времени известного афоризма Писарева о лягушке, спор о спасительности естествознания превратился решительно во всеобщее недоразумение.

Этот простой сам по себе вопрос запутывался не потому, чтобы стороны не понимали ясно, чего они хотят сами; он запутывался потому, что спорящие не хотели понимать, чего хотят их противники. Страстность, как и всегда, усилила еще больше недоразумение, разожгла по-

лемический задор, и сторонники одного знамени разделились, точно они и в самом деле враги.

Разъяснению этого спорного вопроса Миртов посвящает свое первое письмо.

Из тех настойчивых и подробных доказательств, к которым прибегает Миртов, мы заключаем, что и он остался не чужд общего недоразумения. Если бы нас спросили, что важнее — история или естествознание, то на вопрос мы бы ответили вопросом: «сколько лет ученику, о котором речь?»

Когда общество только что пробуждается к жизни, когда ему незнаком не только метод, но даже самый слабый механизм самостоятельного мышления,— когда оно не знает основных законов физической природы человека, когда оно считает гром треском колесницы на небе, когда оно самые обыденные физические явления объясняет, что так богу угодно,— когда метафизическое мировоззрение, воспринятое традицией, держит его в разных общественно вредных предрассудках,— когда общество не умеет ни ростить, ни воспитывать здоровыми своих детей,— позволительно ли посоветовать такому обществу познакомиться прежде всего с законами природы и узнать, что́ такое физический мир? Да, именно лягушка может спасти такое общество.

Если вы спросите, что́ важнее для таких темных людей и что́ им ближе — естествознание или история, то может быть только один ответ — естествознание.

История человечества, как простое заучивание чисел, подвигов генералов и описание кровопролитных битв, даже и такая бесполезная история ставится в школах после описания животных. Но как же преподать ту историю, которая пытается разъяснить законы человеческих знаний, борьбу начал утилитаризма с эгоизмом, социализма с индивидуализмом, борьбу между национальным объединением и общечеловеческим единством, отношение экономических интересов голодающей массы к умственным интересам более обеспеченного меньшинства, связь между общественным развитием и формою государственного строя? Сам г. Миртов говорит, что вопрос об истории, поставленный таким образом, хотя и самый важный вопрос, но все-таки вопрос второй.

Употребляя очень настойчивые и подробные доказательства для того, чтобы убедить читателя, что история важнее естествознания, Миртов точно продолжает старый,

забытый спор. Иначе зачем бы такие подробности, тогда как другие вопросы, сравнительно более важные, развиты у автора слабее. Нет ли тут продолжающегося недоразумения? Не оттого ли настойчивые и подробные доказательства, что, желая повершить спор, автор придает ему излишнюю живучесть? Теперь этот вопрос уже кончен. Те, кто так усиленно налегали на важность естествознания, делали это для того, чтобы навести просыпающееся общество на наиболее важный, основной, первый и доступный ему путь. Общество на него стало и пошло указанной ему дорогой, чему между прочим может служить доказательством необъятное количество появившихся у нас переводов и оригинальных сочинений по естествоведению; ясно, что дело тех, кто ставил на путь, кончилось, а с ним покончился и старый спор.

Для нового момента мысли нужна и новая пища, как для нового вина — новые мехи. Миртов совершенно прав, что для русского общества наступила теперь пора зреть мыслию на дальнейших очередных вопросах и эти вопросы — исторические,— тесно связанные с вопросами социологическими.

Заслуга Миртова именно в том, что после периода умственного затишья он первый наводит общественное сознание на новый путь, напоминая ему о том важном моменте, в который оно должно вступить, и открывает ему широкую панораму исторически-социального кругозора.

Уяснение себе законов жизни личности и общества невозможно без изучения истории. «Кто оставляет в стороне ее изучение,— говорит Миртов,— тот высказывает или свой индифферентизм в отношении самых важных интересов личности и общества, или свою готовность верить на слово той практической теории, которая случайно ему первая попадается на глаза». Миртов хочет застраховать читателя от подобных случайных практических теорий и, сближая события разных периодов истории, истолковывает читателю смысл фактов и дает руководящие выводы.

Теперешние европейские события явились, как нарочно, оправданием заключений Миртова. Война Германии с Францией не простое столкновение военных сил и армии короля Вильгельма с армией императора Наполеона; война эта даже и не доказательство перевеса хорошей военной администрации и дисциплины над дурной; война короля с императором превратилась в народную войну, в столкновение идей, изобретателями которых являются

два прогрессивные народа. Разбирая успехи одного и потери другого, каждый хочет углубиться в самую сущность этих отношений, в причины силы и бессилия, в рациональность и прогрессивность средств, дающих военную силу,— уяснить причины и сущность тех общественных форм, которые ведут к общественному несчастию. Чтобы понять все это, приходится задумываться и над прошлым, и над настоящим и искать в истории ответов на множество вопросов, которые могут быть разрешены только историей. Теперешняя война служит превосходной иллюстрацией к письмам Миртова, и он, конечно, не ожидал, что политические события так скоро придут ему на помощь. Но с другой стороны, и письма Миртова необходимое руководство для тех, кто хочет понять теперешние военные и невоенные события во Франции и в Германии и не желает остаться в исторических потемках.

IV

История! но что такое история? Из-за чего эта вечная борьба, вечное столкновение людей и народов? Какие скрытые силы, какие стремления заставляют волноваться Европу вот уже целое столетие? История есть борьба за прогресс, читатель, борьба за то лучшее, к чему стремится человечество. Но в чем же это лучшее и в своем идеале наивысшее благо? «Развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении, воплощение в общественных формах истины и справедливости — вот краткая формула, обнимающая все, что можно считать прогрессом,— говорит Миртов.— Эта формула,— продолжает он,— лежит в сознании всех мыслителей последних веков; а в наше время становится ходячею истиною, повторяемою даже теми, кто действует несогласно с нею и желает совершенно иного».

Какие же условия необходимы, чтобы эта формула прогресса могла осуществиться? Автор отвечает на этот вопрос так: «развитие личности в физическом отношении возможно лишь тогда, когда она владеет известным количеством гигиенических и материальных удобств. Это количество есть тот минимум, ниже которого начинаются страдания, болезни, совершенно задерживающие какое бы то ни было развитие, а, напротив, или ведущие к вырождению расы, или же к такой напряженной борьбе за су-

ществование, что улучшение физического положения становится совершенно невозможным».

Второе условие прогресса заключается в том, чтобы личность располагала возможностью умственного развития. Умственное развитие будет только тогда прочно, когда личность выработала себе потребность критического взгляда на все ей представляющееся, уверенность в неизменности законов, управляющих явлениями, и понимание, что личная польза солидарна с пользой общей.

Третье условие,— нравственное развитие личности тогда только возможно и вероятно, когда личность может развивать свободно самостоятельные убеждения и когда она сознала, что собственное достоинство каждого в уважении достоинства чужой личности.

Воплощение в общественных формах истины и справедливости предполагает прежде всего для ученых и мыслителей право высказывать свои положения; предполагает в обществе такой запас образования, который бы дозволил большинству понять эти положения; наконец предполагает такие общественные формы, которые бы допускали изменение, как только окажется, что эти формы устарели и мешают прогрессу.

Если добросовестный читатель, вникнув в смысл этих условий, захочет определить, насколько они осуществились в действительности, то ему сделается очень конфузно за скудость европейской цивилизации и мизерность результатов, которых она достигла. Какие громкие слова, какие тяжеловесные определения, сколько мелочных споров о словах, как все говорят о прогрессе, о благе человечества, о формулах и средствах прогресса — а чего достигло большинство? Где эти люди, для которых осуществились все условия прогресса, где личности, развитые вполне в физическом, умственном и нравственном отношениях?

На земном шаре считается 1300 миллионов людей. Но сколько из них живут едва по-человечески, а не как скоты; сколько из них стоят выше того минимума, за которым начинается голод, болезни, физические страдания; сколько пользуются достаточной и здоровой пищей; сколько имеют одежду, жилище, удовлетворяющие требованиям гигиены; какое громадное большинство проводит всю свою жизнь только в борьбе за материальное существование и занято исключительно заботой о куске насущного хлеба, в котором не уверено; сколько на земном шаре племен, которых материальная жизнь нисколько не выше

волков и лисиц? А среди цивилизованной Европы какая еще масса населения не уверена в завтрашнем куске хлеба и постоянно обречена всем случайностям лишений? Статистические исследования указывают на страшную смертность вследствие недостатка заработка, не позволяющего рабочему населению удовлетворять достаточно всем своим физиологическим потребностям. В то же время та же статистика указывает, как прирощается богатство и увеличиваются вообще материальные удобства жизни. Кто же пользуется выгодами этого приращения, когда у масс нет ни здорового жилья, ни достаточно теплой одежды и даже иногда нет хлеба? Только незначительная доля людей. И только эта незначительная доля застрахована от нужды, и только на ней одной, говорит Миртов, лежит в наше время *вся* человеческая цивилизация.

Как ни мала эта доля, но если бы умственное развитие осуществлялось в такой же степени, как материальное, то конечно Европа была бы гораздо счастливее. Мы уже не говорим о тех, кто не уверен в куске насущного хлеба — где уж им владеть умственным развитием и сберечь запасы умственной пищи, когда у них нередко недостает пищи материальной! — мы обратимся к меньшинству, «на котором лежит вся человеческая цивилизация». Кто из этого меньшинства привык думать критически; сколько людей, стоящих вне рутины мысли, свободных от предрассудков и нелепости обычая; много ли тех, чья мысль совершенно свободна от какого бы то ни было стесняющего ее авторитета? Редкие, самые редкие единицы — не более. А сколько из всего того человечества, на котором лежит вся цивилизация, найдется людей, которые бы не повторяли чужих мнений, не только не проверяя их, но даже и не зная, каким масштабом их проверить? А сколько людей, по-видимому, знакомых с законами явлений и которые не задумываются окунуться сразу, с головою, в мир чудесного и сверхъестественного, нисколько не сомневаясь в собственном здравомыслии. Шаткость и неустойчивость мнений, неуверенность в собственных умственных силах и средствах, вечное изыскание опоры и поддержки чужого авторитета — вот характеристическая черта того состояния умственного развития, в котором находится громадное большинство образованных людей. При такой шаткости мнений разве возможно твердое нравственное поведение? Нравственное развитие есть результат убеждения, а убеждение вырабатывается критикой. Когда же нет критики,

не может быть ни убеждений, ни твердо выработанного нравственного мировоззрения; человек никак не поймет солидарности своих интересов с интересами ближнего; справедливое и законное для себя он не будет считать справедливым и законным для другого, и, отрицая тем чужое человеческое достоинство, он отрекается и от своего. При такой высоте умственного и нравственного развития общественная жизнь несет на себе печать всяких видов насилия. Образованное меньшинство, считающее себя хранителем и поборником прогресса, в сущности его задерживает. История показывает, что каждому нарождающемуся поколению приходится непременно выносить умственное и нравственное давление и бороться за свое умственное и нравственное существование так же, как необразованное большинство борется за существование физическое. Если среди цивилизованного европейского человечества только самые редкие единицы составляют умственную силу, а характер и направление общественной жизни зависят от несложившегося умственно-цивилизованного большинства, то понятно, что и общественные формы не могут воплощать в себе того, что Миртов называет истиною и справедливостью.

Если бы все результаты прогресса гордящейся своей цивилизацией Европы было возможно изобразить цифрами; если бы можно было показать число людей, стоящих на минимуме материального удовлетворения, число людей, стоящих ниже его, число людей с досугом для развития мысли, число людей свободного практического ума, число людей, плетущихся за авторитетами и думающих чужими мыслями, число людей, зараженных предрассудками и стоящих ниже результатов современного знания; число людей, не понимающих, в чем заключается человеческое достоинство, и мешающих развитию его в других — о, какая печальная картина материальной и умственной бедности предстала бы пред читателем и сколько темноты вместо света увидел бы он в блестящей картине европейской жизни, наблюдаемой им с Итальянского бульвара в Париже или с Риджентстрита в Лондоне! Какое страшное большинство людей обречено повсюду на беспрестанный физический труд, забивающий все способности ума и чувства. И что желает то досужее меньшинство, которое, несмотря на свое обеспечивание, полно предрассудков и заблуждений! Следует ли удивляться, что для «вечно трудящейся человеческой машины, часто голодающей и все-

гда озабоченной завтрашним днем, прогресса нет; что ей мало дела и до культуры, стоящей над ее головою со своими дворцами, парламентами, храмами, академиями, музеями».

А сколько погибло на земле цивилизаций оттого, что развитое меньшинство не чувствовало и не понимало своей связи с трудящимся большинством? Отчего погибли бесследно Ниневия, Вавилон, царство инков, Греция, Рим? Где эти некогда славные страны, гордые своей силой, своим богатством, своим образованием? Даже камней не осталось от них. Когда между теми, кто пользуется плодами прогресса, и теми, кто служит ему лишь подкладкой и питающей почвой, нет связи, стоит только сдуть золотой налет и обнажить чернозем. Миртов грозит непрочностью даже и европейской цивилизации; он говорит, что «новая цивилизация Европы может рассчитывать на свою прочность лишь настолько, насколько материальные, умственные и нравственные интересы меньшинства, ее представляющего, будут связаны экономически с благосостоянием большинства, педагогически с его мышлением, жизненно с убеждением большинства личностей, что их достоинство солидарно с существующей цивилизацией». Мы думаем, что это зловещее пророчество несколько преувеличено. Европейской цивилизации не может грозить то, что грозило Риму; напротив, ее именно ожидает прочность и последовательность развития; ибо масса европейского населения уже становится на путь критической мысли, а число проповедников прогресса, принимающих на себя борьбу за него, растет все больше и больше, и борьба становится напряженнее и успешнее. Может быть, и недалеко то время, когда своекорыстный индивидуализм увидит, наконец, бесполезность борьбы и уступит давлению, как уступает английская аристократия давлению народа. Урок нынешней Франции — один из спасительнейших уроков новой истории. В нем есть аналогия с Ниневией и Вавилоном. Вот первая империя — блестящая, сильная, могучая, гениальная; все склоняется пред нею в благоговенном страхе и благоговенном повиновении. Но ряд столкновений, окончившихся Ватерлоо, уносит ветром весь золотой песок. Бежит император, разбегаются его блестящие генералы; все, что ослепляло и повелевало, очищает французскую землю, и остается эта земля только со своими чистыми подонками. Новый блеск — хотя и менее яркий; но на этот раз поднимается вихрь на собственной земле —

и опять бежит блестящая цивилизация, и опять остается только французская почва с ее темным народом. Еще новый поверхностный блеск, и опять та же история. Но этих уроков видно мало: нужно землетрясение, нужен разлив лавы, нужно, чтобы саранча все поела до черной земли; нужно, чтобы каменный дождь побил то, что оставила саранча; нужно, чтобы вместо рек воды потекли реки крови — и все это постигло страну. В три месяца Франция лишилась всего нового наполеоновского императорского блеска; лишилась не только своего императора и всех его маршалов, но лишилась даже последнего солдата императорской армии. Точно ветер сдул весь этот песок, обнажив каменную почву, на которой он лежал. Германия в настоящем столкновении с Францией является представительницей иной идеи: идеи прочности и силы, когда общая связь проникает всю страну. Я знаю, что против силы, связывающей теперь Германию, можно сказать многое. Можно оспаривать многие качества факта, но нельзя отрицать его действительного существования. Штейн, положивший начало народной армии, работал для другой идеи; но феодальный меч обоюдоострый, и прогрессивный фатализм истории показал, что только связь цивилизованного меньшинства с народом дает стране силу и создает ее несокрушимость. Теперь эта связь Германии пока чисто военная, но она должна перейти и перейдет в чисто общественную, и чем скорее это случится, тем скорее Германия превратится в страну могучего и несокрушимого прогресса. Какой народ станет скорее на этот путь, тот и поведет Европу.

V

Мы уже говорили о цене прогресса. «Дорого заплатило человечество за то, чтобы несколько мыслителей в своем кабинете могли говорить о его прогрессе»,— говорит Миртов. Если это больше ничего, как форма выражения, то нам нечего сказать против мысли Миртова. Но, как нам кажется, он думает другое, потому что возлагает на человечество ответственность за прошлое. Он старается определить и чуть ли не вычислить доли *необходимой* и *излишней* крови, пролитой человечеством за свой прогресс. Он ставит себе такие вопросы: «какая доля неизбежного естественного зла лежит в том процессе, который мы называем громким именем исторического процесса? На-

сколько наши предки, доставившие нам, цивилизованному меньшинству, возможность воспользоваться выгодами этого прогресса, без нужды увеличили и продолжили страдание большинства, выгодами прогресса никогда не пользовавшегося? В каком случае ответственность за это зло может пасть и на нас в глазах будущих поколений?» Миртов говорит дальше: «Необходимое естественное зло в прогрессе ограничивается предыдущим, и за пределами этих законов начинается ответственность человеческих поколений, в особенности же цивилизованного меньшинства. Вся кровь, пролитая в истории вне прямой борьбы за существование, в период более или менее ясного сознания жизни, есть кровь, преступно пролитая и лежащая на ответственности поколения, ее пролившего. Всякое цивилизованное меньшинство, которое не хотело быть цивилизующим в самом обширном смысле этого слова, несет ответственность за все страдания современников, которые оно могло устранить, если бы не ограничивалось ролью представителя и хранителя цивилизации, а взяло на себя роль ее двигателя».

Мы думаем, что такие вопросы делать истории неудобно и требовать от истории ответственности, по меньшей мере, безрезультатно. Кому спрашивать и кому отвечать? Вправе ли мы задаваться вопросом о цене в том смысле, как это делает Миртов? Дорога эта ценна или дешева — кто это может сказать? Мы можем только удивляться количеству жизней, которые погибли; можем, пожалуй, поражаться массой бедности, которую вынесло человечество. Но сколько бы мы ни поражались, сколько бы ни изумлялись — все это будет бесполезно. А ответственность? Кто эти виновные, когда никого из них нет в живых, и что прикажете делать с виноватыми тенями? Мы можем понимать ответственность за напрасно пролитую кровь, например за такую кровь, которая льется теперь во Франции, виноватый Бонапарт тут налицо и ответственность будет не нравственная, а фактическая. Мы понимаем, что подобная фактическая ответственность может быть уздой, что Наполеон, если бы пред ним не стояли только такие фиктивности, как нравственность и суд истории, вел бы себя иначе. При подобной ответственности и Базен не продавал бы порох мексиканцам, с которыми воевал, и не изменил бы теперешней Франции. Но нравственная ответственность и особенно целых поколений больше ничего, как фикция. Кто тут виноватые, когда все участвовали

в кутерьме и никто не ведал, что творил? Никто не делает с намерением скверное, чтобы только было скверно. Люди всегда руководствуются известными принципами, правилами, идеей блага. Ошибки действия, т. е. вредные результаты вместо полезных, суть ошибки мысли. Но как не быть ошибкам мысли, когда сам Миртов говорит, что число людей, критически мыслящих и свободных от предрассудка,— единицы.

Мы думаем, что *ответственность,* как ставит ее Миртов, есть просто плетка, которую он считает способной подгонять людей, чтобы они действовали прогрессивно и во благо большинства. Миртов ставит даже как бы обязательством, чтобы развитые личности спрашивали себя, что́ они делают и так ли они делают, и что́ и как им следует делать, чтобы не отвечать перед потомством за новые страдания человечества. Поставив такой вопрос, Миртов заставляет идеальных представителей разных групп идеальной прогрессивной лестницы давать самим себе ответы. Но увы! этого никогда не бывало даже с самыми развитыми личностями, и вовсе не по недостаточности их развития, а именно вследствие его.

В борьбе за существование — материальное, нравственное, как хотите — заключается вся сущность жизни. Но эта борьба совершается вовсе не по заранее написанной программе, которую человек вывесил у себя в кабинете и затем проверяет себя, насколько остался ей верен или отступил от неё. Такая жизнь была бы бесконечным педантством и прогрессисты превратились бы в гувернеров, надзирающих и за своим собственным, и за чужим поведением. В самой борьбе за существование — и средство для борьбы. Жизнь есть постоянное развитие к свободному развитию, к свободному пользованию своими силами и результатами их направления. На пути такого стремления мы на каждом шагу встречаем помехи и препятствия, и каждый человек без исключения старается их уничтожить, отдалить, обойти, вообще каким бы то ни было средством освободиться от них. Поэтому процесс жизни, в своей коренной сущности, есть стихийный, органический, и только выбор и изобретение средств, удаляющих помехи, есть работа головная. Как будто Мюнцер или Магомет действовали потому так, как они действовали, что, сообразив, какой ценой прогресса выработались они сами, хотели загладить несправедливость веков. Я думаю, что их головные и нравственные процессы совершались гораздо проще.

Если вы видите человека, умирающего с голода, неужели вы станете взвешивать на весах разные про и контра, определять цену прогресса, цену развитой личности и т. д. Если вы видите человека, погрязшего в невежестве, неужели вы не захотите просветить его? А если вы видите не одного, а массу голодающих и несчастных; если вы чувствуете в себе силу поставить их в иное положение; если вы видите массу невежественных людей и чувствуете в себе способность и силу просветить их,— скажите, разве вы, смотря по обстоятельствам, по времени действия и по своим внутренним средствам, не могли бы сделаться Магометом, Мюнцером, Лютером? Подобному поведению нет никаких школьных программ; все совершенно просто, без педантических натуг, без соображений об уплате цены прогресса или о заглаживании вины предыдущих поколений. Критикой, размышлением, сравнениями человек вырабатывает себе убеждение, проникается верой в безусловную его непогрешимость и затем, если владеет достаточной энергией и средствами для действия — действует. Все те, кого история величает великими и имена которых внесла в списки благодетелей человечества: все эти Виклефы, Гуссы, Галилеи, Джордано Бруно, Ньютоны и новейшие деятели на пути избавления человечества от страданий,— погибли ли эти люди на кострах, или умерли на своих постелях,— поступали совершенно так же просто и на основании тех же простых процессов. В них действовал просто органический процесс восприятия впечатлений и соответственных им рефлексов действия. И всякий человек поступает по тем же законам. В каждом живет живое чувство любви и сострадания, в каждом живет потребность оценить критически совершающиеся вокруг него явления природы и жизни. Внутренние процессы, совершающиеся в спасителях человечества и в таких громких деятелях, как Магомет, отличаются от будничных процессов обыкновенных маленьких людей только размером. Но и самый маленький и темненький человек проникнут теми же стремлениями: он тоже просвещает, тоже усиливается строить благо людей — ну хоть бы своей жены и своих детей. Зачем же людям плетка?

Миртов говорит, что уплата цены прогресса «есть посильное распространение удобств жизни, умственного и нравственного развития на большинство, внесение научного понимания и справедливости в общественные формы». Не ясно ли, что для этого необходимо только, чтобы

каждая личность располагала верными средствами быть полезной, чтобы она думала критически и была доброжелательна. Затем все сделается само собою без всякого внутреннего и внешнего обязательства *непременно творить прогресс,* из которого Миртов делает какую-то работу, какое-то служебное обязательство для всякого.

Становясь на точку обязательности, Миртов вешает над головою людей Дамоклов меч постоянной ответственности, если они не прогрессируют. Он предлагает каждому относиться непременно критически к самому себе, к своим знаниям, к своим силам, спросить себя, что он именно может сделать, и затем, поставив себе разумную жизненную задачу, идти к ее осуществлению. Он велит каждому, отнесшемуся к себе критически человеку, отплатить человечеству, отплатить непременно значительную цену, израсходованную па его развитие человечеством, и затем, возложив на себя нравственную обязанность, избрать такой широкий круг общественной деятельности, какой только ему доступен.

Но тут же мы находим у автора объяснение постепенного перехода человека из культурной жизни в историческую. Из этого объяснения мы видим, что потребности составляют неизбежную точку исхода для объяснения всякого исторического явления, что потребности и влечения составляют самый прочный, самый натуралистический элемент жизни, что из этих потребностей постепенно формируется сначала культурная жизнь, а потом, когда работа мысли на почве культуры обусловила общественную жизнь требованиями науки, искусства, нравственности или религии, то культура переходит в цивилизацию и начинается история. В этих переходах из одного фазиса развития в другой разве процесс развития раскладывается до того, чтобы в историческом периоде люди совершенно отрешились от своих органических или натуралистических процессов; чтобы они начали поступать не так, а иначе, потому что к ним со своими *требованиями* является то искусство, то наука, то религия? Все эти нескончаемые *требования,* право, в состоянии убить всякую энергию, привести только к колеблющейся рефлексии и к постоянному страху, что человек действует не так, как от него требуется, и что за это придется отвечать. Кажется, страхов и так много на свете, зачем к старым прибавлять еще новые, зачем прогрессивное поведение возводить в требование юридическое и рядом с ним ставить уголовный кодекс за

неисполнение? Не создаст ли такая теория требований и обязательств, напускную прогрессивность и напускных прогрессистов, превратив в них всех слабоголовых филистеров и глупцов, которые, насупившись и с важным глубокомысленным видом непогрешимости, являются только помехой делу? Разве история не учит, как глупые подражатели портят самые лучшие идеи и искажают самые лучшие дела? Впрочем, и сам Миртов не совсем уверен в действительности подгоняющей плетки, ибо признает, что не у всех людей равные силы. Он говорит, напр., что даже и те люди, которые кажутся доступными свежей мысли, в большинстве случаев, поддаются трусости и бывает иногда достаточно раздавить двух, трех передовых деятелей, чтобы псевдорыцари прогресса изменили знамени, отреклись от него и попрятались по углам. Зачем же возиться с такими ничтожными людьми и к чему поведут с ними все требования, все обязательства и нравственные ответственности?

Человек, вступая в исторический период из культурного, нисколько не сламывается в существе своих стремлений и не превращается в нечто новое. Исторический период отличается от культурного не переломом сил, а только большим кругом, в котором им приходится теперь действовать. В культурном периоде человечество смотрит ближе и борется лишь с самыми мелкими, так сказать, обыденными помехами; в историческом же оно глядит дальше и старается совершенствовать формы своей общественной жизни. Если народ, живя изо дня в день, погружен лишь в домашние заботы и совершенно чужд критики своих общественных форм — это народ культурный, и цивилизация его может быть даже застоем. Если народ понимает, что условия его лучшего и прогрессивного существования связаны тесно с условиями его политической жизни — это народ исторический. То же и с отдельными людьми: есть личности культурные, есть личности прогрессивно-исторические. Но так как историю ведет лишь умственный элемент человечества, а представителями умственного элемента являются те счастливцы, которые «куплены ценою прогресса», то ясно, что и будущий прогресс ведут они, и личность их является руководящей и двигающей силой.

VI

Я не думаю, чтобы после фактов, приведенных в предыдущих главах, нужно было еще доказывать значение личности в деле осуществления формулы прогресса.

Из прогрессивного поведения мы не делаем обязательства; ибо это значило бы привлекать под прогрессивное знамя мешающих людей. Они явятся сами и без приглашения. Мы верим больше в человеческие способности и в хорошие человеческие намерения, потому не станем рекомендовать настойчивых и принудительных мер. Мы не противоречим Миртову и не оспариваем справедливости его мысли о необходимости вербовки, но мы только говорим, что нет нужды прибегать к настойчивому преподаванию и разжевыванию учения о прогрессе людям безнадежным и что на свете гораздо больше хороших людей, чем это может казаться тем, кому, по несчастью, приходилось испытать на себе тупоумие прогрессирующих филистеров. В ком живо живое чувство, того одно живое слово наводит на путь и ставит на новую правильную точку, с которой он уже идет сам, куда нужно. Если же приходится употреблять прием настойчивого вдалбливания, то очевидно, что труд тратится непроизводительно и нет ручательства в прочности такого оранжерейного развития.

Современная прогрессивная мысль разделялась вполне с предыдущим культурным периодом. Это значит, что она твердо стала на ту высоту, с которой вполне ясно значение тех или других общественных форм для наивозможно всестороннего развития личности. Разве вся история западной Европы в XIX столетии и современный прусский погром не подтверждают этой мысли? Даже самые отчаянные филистеры признают могущество школьного учителя. А что это значит, как не то, что только масса сильных отдельных личностей создает коллективную силу. Но когда же наступает эта сила?

Мы начали статью с того, что сила таких деятелей, как Магомет, заключается в их критической мысли; что в критическом мышлении заключается физиологическое свойство человеческого ума, изыскивающего средства для борьбы за существование, но что думать критически, не выходя из пределов домашнего обихода, еще не значит думать прогрессивно, т. е. в направлении прочного личного блага и в направлении блага общественного. Прогрессивное

мышление наступает только с того момента, когда человек из культурного мировоззрения вступает в мировоззрение историческое.

Германия, которая почти на наших глазах вступила в период исторический и так громко напомнила теперь о своем существовании, дает случай проследить наш вопрос на близком живом примере. В прошедшем столетии мы видим в этой стране полный мрак и во мраке спящую мысль. Томазий приходит первым будить спящих, но он один. Потом, более сильный критический мыслитель — Лессинг; он будит крепче и сильнее, и под его знамя собирается уже целая толпа людей, делающая то же дело. Филистеры, с которыми приходится бороться этим новым людям, стоят за бесплодное искусство для искусства, за эстетику, за художественность и за старую мораль. Только глупцы думают таким образом, говорит Лессинг и доказывает это. Думайте о жизни и в художественных образах давайте эту жизнь, но жизнь, которою вы сами живете, которая у вас пред глазами и которая впереди, а не ту, которая лежит далеко позади. Все эстетики, педанты и глупцы, конечно, накидываются на Лессинга и на новых людей, но под новое знамя их встало уже так много, что педанты бесполезно противятся и спорят — их никто не слушает. Проснувшаяся критическая мысль от критики искусства, которое она сделала слугою жизни, постепенно перешла к оценке условий, помогающих развитию жизни и развитию лица. Небольшое ядро людей, старавшихся возбудить в народе энергию духа и самостоятельность мысли, разросталось все более и более; вместо одного Лессинга, который один заговорил некогда о патриотизме, величии, единстве, явилась целая говорящая Германия. Теперь этот клич создал несокрушимую народную армию, готовую создавать свое величие даже на счет порабощения других. Так филистеры портят всегда великие идеи, когда эти идеи становятся достоянием традиции.

У каждого народа есть свои эпохи пробуждения критической мысли, и эти эпохи обозначаются обыкновенно именем того человека, который взял первый в руки новое знамя и собрал вокруг себя первое ядро критически мыслящих людей. Таким например в Германии был Лессинг. Но откуда является в этих людях критическая мысль? Проследите жизнь Магомета, Мюнцера, Лютера, Лессинга, каких угодно новаторов, и вы увидите, что их мысль получила толчок из предыдущего. До корня этого преды-

дущего так же трудно добраться, как до начала мира. В начале XIV столетия является в Англии человек, который относится критически к католичеству. Откуда его критика? Он проповедник; читал библию и евангелие, читал и то, чего в них нет. Учеников его истребляют, но идею истребить нельзя. Сто лет спустя сочинения Виклефа дают толчок критической мысли Гусса. Гусс гибнет, но идея опять остается. Еще сто лет спустя являются Мюнцер и Лютер. Критическая мысль уже торжествует, и выросшая сила одерживает победу. Реформационное движение охватывает весь Запад и Англию, и критическая мысль идет дальше. Индепенденты, квакеры и вообще все протестующие люди уходят в Америку, ибо живущая в них критическая мысль хочет свободы. В Америке идея свободы создает республику. Но критическая мысль, по-видимому бежавшая в Америку, не бросила своей родины, Европы, и заявила свое существование в лице французских и английских мыслителей. Лессинг, развившийся на французских идеях, на Вольтере и Дидро, вносит критику в Германию; но это только первые шаги немецкой критической мысли, вращающейся преимущественно в области изящной литературы. Французское движение расширяет немецкую критическую мысль и превращает ее в народную силу. Эта народная сила торжествует теперь в прусских победах и в несокрушимости Франции. Прусские победы, точно гром небесный, будят многое множество спавших людей, и проснувшиеся люди хотят понять причины мощности пруссаков, т. е. готовы уже для критического мышления, ибо без него они ничего не поймут. Но победы пруссаков больше, чем кого-либо, должны заставить задуматься самую Германию. Как некогда живой протестантизм и новое слово Лютера закостенели наконец в современной протестантской рутине путем наследственной культурной передачи только внешней формы, учения, без его протестантского содержания; так и живые слова: «родина, единство, величие, свобода» превратились у немцев в такую же закостенелость, благодаря той же наследственной передаче рутинными средствами школьного педантизма. Германия заснула на той дороге, на которую ее поставили критически мыслящие люди. В рутину и мертвые слова превратила она их клич, и под старым знаменем нет его прежнего духа. Теперь для прогресса Германии нужны новые новаторы и на новом знамени критики должно быть напи-

сано новое слово. Германии предстоит большая внутренняя работа, предстоит трудная борьба, потому что нужно собирать новую армию, растить новую общественную силу. В этом новом процессе повторится старая история, поучительная для всех, кто может понять ее. Выскажусь словами г. Миртова: «Неокрепшая новая идея сначала будет находить сочувствие некоторых личностей, потом сочувствие это перейдет в нестройное их содействие, потом организуется партия, которая определит направление и даст личностям плотное единство, наконец начинается и борьба. Партия встретится с другими партиями, и вопрос о победе превратится в вопрос о числе и мире. Победа же будет на той стороне, где более силы, где больше ума, энергии, более искусства вести борьбу, где сумеют лучше воспользоваться обстоятельствами, одним словом, лучше отстоять своих и вернее побороть врагов. Когда борьба организуется в большие силы за новую спасительную прогрессивную идею, история Европы сконцентрируется на принципах, написанных на знаменах партий».

«Тут нет ничего нового, я это знал и прежде»,— скажет читатель.

И прекрасно, если ты знал это.

[ИЗ ПИСЕМ О ВОСПИТАНИИ]

ХАРАКТЕР

Если не на каждом шагу, то очень часто, если вы не слышали, то можете услышать, что создать характер значит создать человека и создать людей с превосходным характером значит — создать превосходное общество.

Во все времена характеру приписывалось громадное значение; во все времена приводили в пример людей с замечательным характером; цитировали их поступки, их слова и душевным величием замечательных людей старались возбуждать благородные чувства молодежи.

Но почему же все примеры преданности, благородства, самопожертвования, патриотизма пропадали даром и каждый шел своей дорогой, каждый поступал по-своему? Почему благородные примеры не исправляли никого, и у каждого слагается свой собственный характер? Что такое характер?

О характере писалось много, но полного исследования о нем не существует ни в одной литературе. У нас в по-

следнее время явился «Характер» Смайльса[1], книга, которая, как говорят, читается. Если эту книгу читают, ясно, что предмет ее представляет общий интерес. Но разрешает ли Смайльс те вопросы, которые придают интерес его книге? Нет.

Книга Смайльса есть не больше, как собрание поучительных примеров. Примеры его неоспоримо хороши и назидательны; они возбуждают ощущения какого-то смутного благородства и согревают чувства, но сознания не трогают и до него они не доходят, потому что не дают ничего ясного, определительного, точного.

Причина в том, что Смайльс только констатирует факты, но не углубляется в их душу; он является не больше, как представителем того общественного мнения, которое ограничивается одним внешним наблюдением человеческого поведения и ходячей моралью, каждому из нас знакомой.

Ходячая мораль есть единственный вывод, который делает общественное мнение из своих наблюдений, и потому если вам нужны поучения, нравственные анекдоты, изречения, максимы, афоризмы — вы найдете их у Смайльса неисчерпаемое количество. Но если вы ищете общего руководящего принципа, чтобы при воспитании своих детей стоять на твердом психологическом фундаменте, вы такого фундамента у Смайльса не найдете. Смайльс не психолог и не мыслитель — он моралист, отражающий собою общественное мнение среднего английского буржуазного общества.

Но мнение это все-таки важно, и к нему следует относиться почтительно. Оно — та крепко установившаяся сила, которая своим влиянием дает тон общественным требованиям и вместе с тем исходит из наблюдений весьма тонких, верных, многообразных. Наука не только не обходит этих наблюдений, как результата многовековой человеческой опытности, напротив, она ими дорожит, ими пользуется. Наука только идет дальше. Взяв факты, констатированные общественной наблюдательностью, наука их разъясняет, отыскивает в них общие начала и устанавливает принципы.

Мы в своем изложении будем держаться того же порядка. Сначала мы приведем факты в том виде, как их подметила жизнь, и затем попытаемся указать заключающиеся в них общие психологические принципы, которые должны служить основой воспитания.

Совершенно справедливо, что характер составляет одну из величайших движущих сил в мире. В своих благороднейших проявлениях он заявляет человеческую природу в ее лучшем виде, потому что показывает лучшую сторону человека. Только люди, истинно превосходные во всех положениях, поддерживают все хорошее и доброе в мире, и если бы их не было,— не стоило бы жить.

Гений вызывает удивление, но характер возбуждает уважение. Гений есть дело мозга, характер есть дело чувства; а в общем ходе жизнью управляет чувство. Гениальные люди действуют на разум, люди с характером — на совесть. И если перед первыми благоговеют, то за вторыми — идут.

Великие люди, большей частью — исключения, да и само величие есть нечто относительное. Положение же большинства так сжато, что очень немногим представляется случай выказать себя великими.

В жизни большинства нет ничего героического, и поведение его отличается очень мелочной, будничной повседневностью. Но именно потому, что жизнь большинства сосредоточена в сфере обыкновенных обязанностей, самыми влиятельными качествами оказываются те, которые наиболее требуются в обыкновенной жизни. Для домашнего обихода нужны не столько утонченные добродетели, сколько нравственные начала, стоящие на одном уровне с обыкновенной жизнью.

Ум не есть необходимая принадлежность высокого характера. «Горсть добрых дел стоит четверика учености»,— сказал Джордж Герберт, а Новый Завет почти не упоминает об уме и постоянно обращается к чувству. Умственные способности очень часто уживаются с самой низкой нравственностью, и быть умным еще не значит быть честным и благородным.

Богатство тоже не всегда уживается с благородным характером и нередко идет рука об руку с развратом. В руках людей слабых богатство только искушение и источник дурного.

Бедность — охотнее уживается с благородством. Человек может и не иметь ничего, кроме трудолюбия, воздержанности и честности, и одних этих качеств совершенно достаточно, чтобы занять почетное место в ряду лучших людей. Бернс говорит, что отец наказал ему вести себя с достоинством, если бы даже у него никогда и гроша не было, потому что без честной, мужественной души никто

и пинка не заслуживает. Совет действительно превосходный! Лучший человек, которого Смайльс встретил в свою жизнь, был работник одного из северных графств. Лютер [2], умирая, не оставил тоже ни гроша, а между тем его нравственное влияние было громадно и его уважали больше, чем всех взятых вместе современных ему немецких государей. Однажды известный своим богатством и роскошью оратор посетил философа Эпиктета [3]. Эпиктет принял его холодно. «Ты будешь только критиковать мой слог,— заметил философ,— так как в тебе нет искреннего желания познакомиться с нашим учением».— «Хорошо,— отвечал оратор,— но если я приму твое учение, то буду таким же бедняком, как ты».— «Да я и не нуждаюсь в богатстве,— ответил Эпиктет; — и в конце концов, ты все-таки беднее меня: патрон или не патрон,— что мне за дело! я не забочусь о том, что думает обо мне Цезарь, я никому не льщу, моя мысль для меня целое государство,— вот мои богатства».

Талант и гений не служат тоже ручательством характера, если у гения не достает добросовестности и правдивости. Только правдивость внушает доверие, и только на правдивого человека можно положиться. Вот почему не сила ума, а характер обнаруживает влияние на людей. Влияние людей с характером бывает нередко вовсе несоразмерно с их умственными дарованиями. Они действуют какой-то скрытой, чарующей силой, словно люди железного закала, являются орудием чего-то сверхъестественного. «Мне стоит ударить ногой по земле Италии,— сказал Помпей [4],— и передо мной станет армия». «Никогда,— говорит Мишле [5],— не был Цезарь более жив, более могущественен, не внушал более страха своим врагам, как в ту минуту, когда труп его лежал пронзенный ударами».

Деятельность великих людей останется прочным памятником человеческой энергии. Человек умирает, но дела его переживают его. Люди, идущие вперед по лучшему и благороднейшему направлению, являются маяками в деле человеческого прогресса. Благоговение и уважение к таким людям поэтому неизбежно. Моисей, Давид, Соломон, Платон, Сократ, Эпиктет до сих пор останавливают наше внимание и влияют на образование характера, не смотря на то, что прошли века после их смерти. Теодор Паркер сказал, что один человек, подобный Сократу, имеет для страны более значения, чем несколько штатов вроде штата Южной Каролины. Если бы этому штату привелось

в настоящее время прекратить свое существование, он оставил бы менее следов в мире, чем Сократ.

Великие деятели и великие мыслители создают историю, которая есть не что иное, как бесконечное развитие рода человеческого, под влиянием людей с характером, людей, из которых состоит настоящая аристократия человечества. Поэтому-то Карлейль[6] и сказал, что история человечества есть история великих людей. Другой мыслитель заметил, что на каждое историческое явление следует смотреть, как на удлиненную тень какого-либо великого человека. Исламизм — тень Магомета, пуританство — Кальвина, лютеранство — Лютера. На современную Италию наложил свою печать Данте. В течение многих столетий слова поэта служили сторожевыми огнями для всех истинно хороших людей между его соотечественниками. Он был пророком свободы и из любви к ней презирал гонения, ссылку и смерть.

В Англии целый ряд даровитых людей, появлявшихся в различные эпохи, своею жизнью и примером способствовали образованию многостороннего национального характера англичан. Подобные люди — настоящая жизненная сила той страны, которой они принадлежат. «Имена и память великих людей — приданое нации,— говорит один писатель.— Ни разорение, ни опустошение, ни рабство,— ничто не в силах лишить ее этого наследия. При каждом ускорении пульса народной жизни умершие герои встают в памяти людей и кажутся им величавыми зрителями, которых присутствие выражает одобрение. Чувствуя на себе взгляд таких знаменитых свидетелей, ни одна страна не погибнет. Такие люди — соль земли как при жизни, так и по смерти. Что делали они, то и после них во всякое время будут вправе делать их потомки. Пример их живет в стране и является постоянным поощрением и одобрением для тех, кто имеет мужество принять его за образец».

Те же самые качества, которые определяют характер отдельного лица, определяют и характер нации. Без правдивости, честности, благородства и мужества нация не приобретет уважения других наций и не будет иметь значения. В конституционном правлении, где все классы более или менее принимают участие в делах общественных, национальный характер обуславливается нравственными качествами большинства. Учреждения страны, как бы ни были они хороши и законны, как бы они ни были высоко нравственны, только в очень незначительной мере могут

способствовать поддержке национального характера. Учреждения оживляются духом отдельных лиц, которые и устанавливают нравственный уровень нации. Правительства в сущности бывают обыкновенно не лучше народа, которым управляют. Где масса нравственно здорова и добросовестна, там и нация управляется честно и добросовестно.

Если поведением людей управляет патриотизм высокий, благородный, то такие патриоты, правящие народом, дорожат памятью и примером великих людей прошлого времени и создают себе историческую славу, а народу — хорошие учреждения. Величие народа — только в величии его нравственных качеств, соответствующих величию его правителей. Афины были очень маленьким государством, но и до сих пор история не знает другой страны, которая в искусстве, литературе, философии и по своему патриотизму занимала бы равное с Афинами место.

Когда Людовик XIV спросил Кольбера[7], почему он, такой могущественный правитель, не мог покорить маленькой Голландии, Кольбер ответил: «потому, ваше величество, что величие страны зависит не от объема территории, а от характера народа. Энергия, трезвость и трудолюбие голландцев — вот настоящие причины, почему вашему величеству стоило так много труда победить их». В 1608 году посланники короля испанского, приехавшие в Гагу для переговоров о мире, увидели человек восемь или десять, которые, выйдя из маленькой лодки на берег, сели на траву и принялись закусывать. Завтрак их состоял из хлеба, сыра и пива. «Кто такие эти путешественники?» — спросили посланники одного поселянина. «Это наши благородные господа депутаты штатов»,— отвечал крестьянин. Тогда один из посланников шепнул другому: «Надо заключить мир, это не такие люди, которых можно было бы покорить».

Какие же нравственные элементы формируют характер? История делает такие указания, а наблюдения констатируют следующие факты.

Каждый шаг вперед в истории человечества совершался в виду препятствий и затруднений и был сделан людьми доблестными и неустрашимыми, вождями мысли, великими изобретателями, великими патриотами и великими тружениками на всех путях жизни. Нет той истины, нет того учения, которым бы не приходилось борьбою пробивать себе дорогу, подвергаясь поношению, клевете и

гонениям. «Где бы великая душа ни облекла своих мыслей в слово, там является для нее Галгофа»,— говорит Гейпе [8].

Сократ на 72-м году своей жизни должен был выпить отраву, потому что его учение было несогласно с духом господствующих партий. «Теперь настало время отправляться,— мне умирать, а вам жить; но кому из нас достался лучший удел, этого никто не знает, кроме бога»,— были последние слова Сократа его судьям. Джордано Бруно был сожжен живым за то, что изобличал ложную философию своего времени. Когда инквизиторы объявили ему приговор, Бруно с гордостью сказал им: «Вам страшнее произнести мой смертный приговор, чем мне выслушать его!» Слава Галилея как ученого почти затмилась славою его как мученика. Роджер Бэкон [9] за свои химические исследования был обвинеп в чародействе. Инквизиция обвинила Везаля [10] в еретичестве за то, что он стал изучать строение человеческого тела на трупах. Бэкона обвиняли в том, что его исследования, основанные на опытах, подрывают христианскую религию. Коперника преследовали как безбожника. Кеплера заклеймили названием еретика. Спинозу отлучили от общины.

Развитие религиозных идей представляет подобную же нескончаемую цепь мученичества и замечательных примеров мужества. Религиозных мучеников гораздо более, чем мучеников науки. И мужество этих людей тем более замечательно, что одному человеку приходилось бороться с легионом. «Добрый монах, будь осмотрителен в том, что делаешь, ты вступаешь в борьбу более жестокую и трудную, чем все сражения, в каких мы пребывали»,— сказал Лютеру один старый воип. И Лютер сам знал, насколько сильнее его противпики. «С одной стороны,— говорил он,— ученость, таланты, численность, величие, высокое общественное положение, власть, святость, чудеса, с другой — Виклеф [11], Лоренцо Валла [12], Августин [13] и Лютер — ничтожное существо, выскочка, стоящий почти одип с немногими друзьями». Напрасно друзья уговаривали его бежать и не ездить в Вормс. «Нет,— отвечал Лютер,— я отправляюсь, хотя бы мне пришлось там встретить втрое больше чертей, чем черепиц на крыше». Когда же ему грозили герцогом Георгом, он ответил: «Если бы девять дпей шел дождь герцогами Георгами, я бы все-таки отправился». Энергия и мужество Лютера росли по мере затруднений, которые являлись. «Никто из немцев,— говорил Гуттен [14],— не презирает так смерти, как Лютер». Джон Эл-

лион сказал: «Лучше десять тысяч смертей, чем осквернение моей совести и душевной чистоты, которую я ценю выше всего в мире».

Умственная неустрашимость есть одно из условий независимости. Всякий должен быть сам собою, действовать собственными силами, думать своей головой и выражать только свои собственные чувства. Кто-то сказал, что человек, не осмеливающийся иметь свое суждение, есть трус; тот, кто не хочет его иметь — лентяй, а тот, кто иметь его неспособен — дурак.

Решительный человек опирается на свое мужество, как на гранитную скалу. Вот почему люди, обладавшие даже и не вполне гениальными умственными средствами, достигали изумительных результатов. Такими людьми были: Магомет[15], Лютер, Нокс[16], Кальвин[17], Лойола[18]. Мужество идет обыкновенно рядом с мягкостью характера, и мужественный человек более других способен на великодушие. Рассказывают, что в Париже, при постройке одного дома, обрушились леса и все находившиеся на них люди упали на землю. Только двое работников — один молодой, другой средних лет, повисли, ухватившись за закраину. Доска сильно гнулась под их тяжестью и грозила каждую минуту обломиться. «Петр! — крикнул старший, — отпусти, не держись! Я отец семейства!» — «Да, правда!» — ответил Петр и, выпустив край, за который держался, упал и расшибся до смерти. В битве при Детингене эскадрон французской кавалерии налетел на английский отряд. Но когда командующий французским эскадроном офицер, наскакав на командира англичан, увидел, что у него только одна рука, которой он держал узду своей лошади, француз шпагой отдал ему честь и поскакал дальше.

Великодушный человек, по словам Аристотеля, поступает с уверенностью в счастии и несчастии. Он знает, чтó может его унизить и возвысить. Его не приведет в восторг успех и не огорчит неудача. Он не станет ни искать, ни избегать опасности; он молчалив и не особенно боек в разговорах, но, когда представляется необходимость, выражает свое мнение открыто и смело. Он способен восхищаться, потому что ничто не возбуждает его зависти; он не обращает внимания на оскорбления; он не говорит о себе и не осуждает других; он не плачет и не кричит о пустяках и ни у кого не просит помощи.

Мужество выражается в самообладании, которое есть

то же мужество, но в другой форме. Чтобы быть нравственно свободным, человек должен привыкнуть управлять собою. В преобладании власти над самим собою,— говорит Герберт Спенсер [19],— заключается одно из совершенств идеала человека. Не действовать по увлечению, не кидаться то в одну, то в другую сторону, повинуясь только желанию, стоящему в данную минуту выше всех других, но уметь сдерживать себя, сохранять равновесие, управляться совокупным решением всех чувств, собранных па совещание для всестороннего обсуждения поступка и для спокойного решения вопроса — вот цель, к которой должно стремиться нравственное воспитание.

Первой и лучшей школой нравственной дисциплины служит семья, и наилучше регулированная семья та, в которой дисциплина наиболее совершенна и в то же время наименее чувствительна. Любопытный факт в подтверждение важности строгой домашней дисциплины приводит одна английская писательница. Одна леди, посетившая вместе со своим мужем бо́льшую часть сумасшедших домов Англии и континента, заметила, что наибольший процент больных состоит из людей, которые были единственными детьми у своих родителей и потому в детстве редко встречали противоречия своим желаниям и никогда не знали дисциплины. Люди же, выросшие в многочисленной семье и приученные к самонаблюдению и к сдерживанию себя, нравственно реже сходят с ума. Когда в присутствии Питта кто-то спросил, какое качество наиболее необходимо для первого министра, один из собеседников ответил — красноречие, другой — знание, третий — труженичество. «Нет,— возразил Питт,— самое необходимое — терпение». Несмотря на общее мнение, что терпение есть ослиная добродетель, в Питте оно соединялось с необыкновенным присутствием духа, с силой и быстротой как в соображениях, так и в действиях.

Горячий характер — не всегда дурной характер. Но чем человек стремительней и горячей, тем он должен иметь больший навык к самообладанию. Горячий нрав есть запас необработанной энергии, которая непременно израсходуется на полезные дела, если только дорога к ним будет вполне открыта. Кромвель [20] в молодости был раздражителен, своеволен, сердит, неукротим и непокорен. Громадный запас его юношеской энергии шел на грубые выходки, и Кромвель составил себе репутацию буяна. Но когда энергия Кромвеля нашла себе дело на поприще об-

щественной жизни, он почти двадцать лет стоял во главе Англии.

О Вашингтоне говорят, что его власть над своими чувствами даже в минуты опасностей и сильных затруднений была так велика, что у людей, не знавших его близко, сложилось убеждение, что он человек спокойный и бесстрастный. Между тем, Вашингтон был горяч и порывист. Биограф говорит о нем: «Его темперамент был горячий, но ему удалось, наконец, после долгих и постоянных усилий, сдержать свой характер и обуздать свои страсти, несмотря на многие разные искушения, которым он подвергался». Профессор Тиндаль[21] говорит о Фарадее[22]: «Под его мягкостью и нежностью скрывалось пламя вулкана; он был человек нервный и вспыльчивый; но сумел с помощью высокого самовоспитания обратить этот огонь в центральное пламя, в движущую силу жизни, и не дать ему расточиться в бесполезных страстях».

Для личного счастья не менее необходимо наблюдать за словами, чем за поступками. «Да хранит вас бог,— говорит одна писательница,— от разрушительной силы слов! Есть слова, которые разлучают людей вернее острого меча. Есть слова, наносящие такие раны сердцу, которые не заживают во всю жизнь». «Какое-нибудь слово,— говорит Бентам,— сказанное так, а не иначе, часто решало судьбу дружеских отношений, а быть может и судьбу целых государств». «Язык мудрого,— сказал Соломон,— в сердце, сердце глупца — на языке». «Молчи,— сказал Пифагор,— или же говори что-нибудь, что было бы лучше молчания».

Но бывают времена и случаи, когда молчание становится преступлением. Человек с высокими чувствами не может не отдаться благородному негодованию при виде низости и подлости. «Я не желаю иметь никакого дела с человеком, которого ничто не может привести в негодование,— сказал Пертс; — дурных людей больше, чем хороших, и дурные берут всегда верх потому, что обладают большею смелостью. Нам не может не нравиться человек, действующий решительно, и только поэтому мы делаемся, нередко, его сторонниками. Я часто раскаивался, зачем я говорил, но еще чаще раскаивался в том, что молчал».

Рядом с самообладанием стоит долг и правдивость. На могиле барона Штейна написано: «Его *нет* было неизменное нет; его *да* было — да. То и другое имело одинаковую силу. Он давал свое согласие с тщательной осмотритель-

ностью; его слова и мысли были ясно определены; его слово было для него знаком и печатью».

Твердое сознание долга есть венец характера. «Долг,— говорит одна английская писательница,— есть цемент, связывающий все нравственное здание; без него ни власть, ни добродетель, ни правдивость, ни счастье, ни даже любовь не имеют прочности. Без долга все здание, на котором построено наше нравственное существование, распадается под нами, и мы останемся среди развалин, удивленные и пораженные при виде нашей собственной пустоты». Долг основан на чувстве справедливости, вдохновляемой любовью, которая есть совершеннейшая форма добродетели. Долг — не чувство, но принцип. «Будьте бедны и оставайтесь таким, молодой человек,— сказал Гейнцельман; — пусть вокруг вас другие богатеют с помощью обмана и вероломства; оставайтесь без должности и без власти, когда другие посредством искательств достигают высокого положения; переносите горесть неосуществившихся надежд, когда другие путем лести наслаждаются осуществлением своих; умейте обходиться без милостивого пожатия руки, ради которого другие ползают и раболепствуют; замкнитесь в собственную добродетель и постарайтесь сыскать себе друга и насущный хлеб. И если вам удастся, не запятнав своей чести, поседеть, трудясь над своим делом, воздайте хвалу господу и умрите».

Жить — значит действовать с энергией; жизнь — борьба, в которой надо драться храбро и честно. Серторий сказал: «Человек с достоинством должен побеждать честно и не употреблять дурных средств даже для спасения своей жизни». Эпиктет говорил: «Мы не выбираем себе ролей в жизни, и они от нас нисколько не зависят. Наш долг — ограничиваться их хорошим исполнением. Раб может быть так же свободен, как консул — а свобода есть высшее благо, перед ней принижаются все другие, все другие, кроме ее, ничтожны; с нею все другие не нужны, без нее — невозможны. Людям нужно внушать, что счастье не там, где они его ищут: оно не в силе, ибо Мирон и Офелий не были счастливы; не в богатстве, ибо Крез не был счастлив; не во власти, ибо консулы не были счастливы, и не во всем этом вместе, ибо Нерон, Сарданапал и Агамемнон вздыхали, плакали, рвали на себе волосы и были рабами обстоятельств и игрушкою призраков. Счастье в нас самих, в истинной свободе, в отсутствии низкого страха или в победе над ним, в полном самообладании, в возможности

пользоваться довольством и миром и вести невозмутимую жизнь в бедности, изгнании, болезни». Помпей, когда друзья уговаривали его не уезжать из Рима во время бури, ответил: «Ехать мне необходимо, а жить не необходимо». И, пренебрегая опаспостью, он исполнил то, что считал своим долгом.

Долг связан тесно с правдивостью. Человек долга прежде всего правдив в своих словах и действиях. Он говорит и делает только то, что должно, как должно и когда должно. «Правда обусловливает успех джентльмена»,— сказал Честерфильд. Кларендон сказал о Фалкленде: «Он так строго был предан правде, что скрыть что-нибудь для него было так же трудно, как украсть». Мистрис Гутчисон сделала такой отзыв о своем муже: «Он пикогда не говорил того, чего не думал; пикогда не обещал сделать того, что считал выше своих сил, и всегда исполнял то, что исполнить был в состоянии». Правда связывает общество, и без этой связи оно бы распалось и превратилось в анархию и хаос. Ни семья, ни общество, ни народ не могут быть управляемы ложью.

Но бывают люди до того бесчестные и узкие в своих взглядах, что они даже гордятся своим иезуитским искусством говорить двусмысленно и употребляют всевозможные увертки, чтобы скрыть свои настоящие мнения. Откровенное лганье, более смелое и даже порочное, внушает менее презрения, чем иезуитская двусмысленность и великосветское вилянье.

Не в одной этой форме может обнаруживаться лживость. Она заключается иногда и в умалчивании или в преувеличивании, в утаении или в искажении истины, в притворном согласии с чужим мнением, в обещаниях или в намеках на обещания, которых мы не имеем намерения исполнить, в перешимости сказать правду, когда сказать ее требует долг.

Для успеха в жизни есть еще одно необходимое условие — кротость нрава. «Да не подумает никто,— говорит Смайльс,— что кроткие люди слабы и нерассудительны; напротив, самые широкие и многообъемлющие натуры обыкновенно бывают самые добрые, самые любящие, самые доверчивые и самые сильные надеждою и упованием».

Хотя веселое расположение духа в сильной степени обусловливается прирожденным темпераментом, тем не менее, его можно приобрести и воспитать в себе не хуже

всякой другой привычки. Кто-то просил Лютера указать ему средство против меланхолии. «Веселость и мужество,— ответил Лютер.— Невинная веселость и разумное мужество лучшие лекарства как для молодых людей, так и для старых и вообще во всех возрастах против мрачных мыслей». «Этот великий и неотесанный человек,— говорит Смайльс про Лютера,— обладал всею нежностью, на какую способно только женское сердце. Лютер любил музыку, детей и цветы». Величайшие из гениальных людей были большей частью люди веселые, довольные, не искавшие ни денег, ни власти. Таковы были: Гомер, Гораций, Виргилий, Шекспир, Сервантес, Лютер, Бэкон, Рафаэль, Мильтон, Галилей, Декарт, Ньютон, Лаплас.

Про естествоиспытателя Абози рассказывают следующее: желая определить общие законы, регулирующие атмосферное давление, он в течение 27 лет делал ежедневно свои наблюдения и бумагу, на которой их записывал, клал подле барометра. Но вот к нему поступала раз новая горничная и, желая выказать свое усердие, начинает приводить все в порядок даже и в кабинете Абози. Раз Абози входит в кабинет и, не видя своих заметок, спрашивает горничную, что она сделала с бумагой, лежащей около барометра? «О сэр,— ответила горничная,— бумага эта была так грязна, что я взяла и сожгла ее, а вместо нее положила чистую». Абози скрестил руки на груди и после непродолжительного молчания сказал горничной: «Вы уничтожили результаты 27-летнего труда: вперед не дотрагивайтесь ни до чего в этой комнате».

Краткое и веселое расположение духа имеет своим источником любовь, и та же любовь служит источником хороших манер и внешнего изящества поведения. «Сама добродетель может оскорблять,— говорит епископ Мидльдон,— если она соединяется с отталкивающими манерами».

Манеры до некоторой степени указывают на характер человека и служат внешней оболочкой его внутренней природы. Они выказываются в вежливом и приветливом обхождении, но настоящая и лучшая вежливость та, которая основана на искренности. Она должна быть внушена сердцем, должна быть полна добродушия и проявляться в готовности способствовать счастью ближнего. Истинная вежливость неразлучна с уважением к личности другого и без нее невозможна.

Люди выказывают свое неуважение к другим разными способами, например небрежностью в одежде, неопрят-

ностью, дурными привычками, и все это будет невежливостью. Гугенотский проповедник Давид Ансильон имел обыкновение говорить, «что отсутствие старания в подготовке обличает неуважение к публике».

Но подобно тому, как под грубой оболочкой скрывается иногда самый сладкий плод, так и грубая внешность очень часто скрывает добрую и полную горячего сочувствия душу. Джона Нокса и Мартина Лютера уж никак нельзя назвать людьми, отличавшимися манерами и изяществом. Напротив, в своем обращении они были излишне строги и жестки. «Кто же вы такой,— спросила Мария Шотландская Нокса,— что смеете поучать владетельных особ этого королевства?» — «Подданный, рожденный в пределах того же государства»,— отвечал Нокс.

Впрочем, многие невежливы не потому, чтобы они хотели быть такими, а потому, что они не умеют лучше поступать. Многие кажутся жесткими, сосредоточенными и гордыми, тогда как, в сущности, они только застенчивы. Застенчивость есть черта англичан. Только застенчивостью объясняют манеру англичан сторониться в обществе, отворачиваться друг от друга и во время путешествия забираться в противоположные углы вагона. Покойный принц Альберт был одним из самых благосклонных и приветливых людей и в то же время — из наиболее застенчивых. Застенчивостью отличались Ньютон, Шекспир, Байрон, Вашингтон, а про Натаниэля Гоуторна рассказывают, что когда в комнату, где он был, входил чужой, он оборачивался спиною, чтобы его не узнали.

УСЛОВИЯ СОЛИДАРНОСТИ

Общественное мнение всегда строго относилось к людям, труд которых не имел общественного характера. Всякий эксплуататор, всякий человек, пользующийся чужими трудами, вызывал презрение. Честный и благородно мыслящий человек никогда не станет пользоваться чужим трудом, и свою нравственную независимость он видит именно в том, чтобы не одолжаться. Но что значит одолжаться? Это значит, брать от другого больше того, что мы ему возвращаем. Понятие о личной независимости зависит обыкновенно от строя общества и от его социальных условий. Наше крепостное право было построено на эксплуатации чужого труда, а потому наши понятия того времени о независимости были не такими, какими они теперь стано-

вятся. Было время, когда хлебосольство Москвы держало открытые столы для всех званых и незваных и поесть даром чужой обед не казалось никому оскорбительным; но теперь всякого порядочного человека возмутила бы мысль поесть даром или принять участие в пирушке и не заплатить своей доли. К сожалению, относительно других форм эксплуатации чужого труда мы менее щепетильны.

Нельзя сказать, чтобы наши воспитатели и родители не старались бы развивать привычки думать в направлении интересов ближнего. Так, мы приучаем малолетних детей делиться лакомствами, и наши матери уже очень хорошо знают, что лакомство, которым ребенок поделился, не должно быть ему возвращено. Но рядом с этим мы встречаем такую массу мелких противоречий, созданных баловством, что дети незаметно, шаг за шагом, получают эгоистическую привычку считать домашних своими рабами. Няня и мать первые рабы детей, которым не прощают и десятой доли того, что прощается другим. Ребенок легко прощает отказ постороннему, но не простит его никогда балующей его матери. В присутствии балующих матерей дети всегда капризнее и требовательнее, чем без них.

Привычка смотреть на свой дом и на ближних, как на предмет личной эксплуатации, вкореняется в нас с первою молодостью. И баловство есть, в сущности, воспитание ребенка в эгоцентрировании, в привычке брать все от других и пользоваться чужим трудом. Дом, семья — всегда наша деревня, то место, где мы даем полнейший простор своему личному произволу и где каждый из нас старается заставить за себя работать другого. Если общество поражает своим эксплуатирующим строем, если каждый бережет свой собственный труд и в то же время либерален на счет чужих труда, времени и средств, то причину этого нужно искать в том, что семья не воспитала детей в правильных понятиях о труде.

Посмотрите на мелочи семейных отношений, и вы увидите, как все они клонятся к тому, чтобы воспитывать из нас эксплуататоров. Разве ребенку говорит кто-нибудь когда-нибудь о чужом труде? Он никогда не слышит даже этого слова. Он десятки раз измажет свои руки и десятки раз будет мыть их, и заставит десятки раз принести себе воду, и десять раз вымыть его пачкотню. Дети наши знают только личные прихоти, и ни один из них никогда не бережет ни своего, ни чужого труда. Заучивая понятия о приличиях и благовоспитанности, дети никогда не слышат

того, что они должны беречь другого человека. Но не потому ли экономические понятия недоступны нашим детям, что они недоступны еще нам, воспитателям? Крепостное право уже миновало, а между тем домашних рабов вы найдете еще в каждом доме. И на них-то мы воспитываемся в старых понятиях, хотя формы жизни уже изменились.

Характер нашего домашнего воспитания и до сих пор нравственно-юридический, а не социально-экономический, каким бы он должен быть. Поэтому наше детское воспитание лишено реального, осязательного содержания и все наши воспитательные правила являются чем-то запутанным и лишенным твердой точки опоры. Мы требуем от детей манер и изящества, порядочности, чистоплотности, доброты и добродушия; мы учим их уступчивости, вежливости, придавая всем этим словам и понятиям исключительно моральный характер, делаем их неуловимыми для детского понятия. Если ребенок пачкает и рвет все вокруг себя, если он мажется и заставляет домашнюю прислугу целый день ходить только за ним, моральными объяснениями вы не докажете ребенку — почему это худо. И в самом деле, почему ему не вымыться, если он испачкался, и почему не убирать за ним, если он наделал беспорядков? Но встаньте раз на социально-экономическую точку зрения, и вы увидите, как много трудно объяснимых вещей сделаются легко объяснимыми. Поймите только сами, что значит труд и солидарность труда; поймите только сами, насколько человеческое общество терпит от того, что каждый старается уменьшить свой труд на счет труда другого, и насколько слабо развиты еще наши понятия об истинной взаимной солидарности. Человек, не способный понимать всего социально-экономического значения взаимной солидарности, никогда не будет истинно свободным, истинно честным и истинно благородным человеком.

Труд, как деятельность, знает только законы меры и числа, и отсюда возникает целая масса экономических условий его успешности. Если общеполезная деятельность есть единственный труд, удовлетворяющий человека, то конечно, труд этот будет тем удовлетворительнее, чем мы приносим больше общественной пользы. Мы будем тем счастливее, чем производим больше полезных результатов, и настолько же больше мы окажемся полезными и хорошими людьми. Ясно поэтому, какую роль в воспитании должны играть привычки, делающие человеческий труд наиболее успешным.

В этом случае английское воспитание и его деловое направление можно считать образцовыми. Никто лучше англичан не знаком с системой и методой в труде, с экономией во времени и умением организовать занятия так, чтобы с наименьшей потерею времени и сил получить наибольший полезный результат. Англичане справедливо ставят так высоко воспитание деловых привычек. Привычка к хорошо организованному труду предполагает энергию, усидчивость, настойчивость, предусмотрительность, благоразумие, практическое здравомыслие, способность быстрых и верных соображений, наблюдение над людскими характерами, самообладание и нравственную дисциплину.

У нас на систему и порядок в труде и занятиях сложилось воззрение диаметрально противоположное английскому. Крепостное право, приучив нас пользоваться даровыми силами, приучило и не быть расчетливыми с даровым трудом. Поэтому ни в домашней, ни в общественной жизни у нас никогда не бывало деловых привычек, и всякий порядок, расчет и систему мы считали годными только для немцев, а не для русской широкой натуры. Начало произвола, каприза и увлечения мы вносили повсюду и не давали почти никакой цены методу, знанию и энергическому преследованию мысли в одном направлении. Нам казалось, что мы слишком гениальны для того, чтобы быть деловитыми, и что деловые привычки несовместны с русским гением. Против этого мнения можно выставить целый ряд опровергающих его фактов. Люди, которых зовут гениальными, отличались всегда деловыми и точными привычками. Они потому и гениальны, что в данное время производили столько, сколько другие произвести были не в состоянии.

Правда, так называемые мыслители и чисто кабинетные труженики бывают не всегда деловыми, практическими людьми. Но это не больше, как недостаток их воспитания и следствие односторонних привычек. Мыслители обыкновенно бывают людьми нерешительными в действительной жизни, потому что ум их, привыкший к правильным, логическим построениям, старается взвесить все, что может служить за и против их мысли. Ум мыслителя, так сказать, зарывается в ненужных мелочах, которые для людей практических не представляются препятствиями. У кабинетных мыслителей недостает привычки к гибкой и быстрой работе мысли, которая является у практиков от постоянного сношения с людьми. Гиганты в кабинете,

как выразился про мыслителей один английский писатель, в свете оказываются обыкновенными детьми. Лаплас[1] был никуда негодный министр внутренних дел. Наполеон говорил о нем, что он ни на какой вопрос не смотрел с настоящей точки зрения. Во всем он отыскивал какие-то утонченности. Все мысли его оставались проблемами, и в управление делами своего министерства он вводил дух дифференциального исчисления. Но примеры таких людей, как Лаплас, следует считать не правилом, а исключением. Исаак Ньютон был прекрасным начальником монетного двора. Джон Гершель[2] тоже. Братья Гумбольдты[3] были одинаково способны к ученой, общественной и государственной деятельности. И потому Монтань справедливо замечает, что великие люди в науке были еще более великими в делах. Если им приходилось когда-нибудь подвергаться испытаниям, то они достигали такой высоты, на которой ясно выказывалась вся возвышенность их души и все богатство их сведений. Про мудреца Фалеса рассказывают, что когда он восставал однажды против того избытка труда, который употребляют люди для своего обогащения, то один из присутствующих заметил, что он похож на лисицу, находившую виноград кислым только потому, что она не могла его достать. Фалес задумал доказать противное — и принялся за торговлю. В один год он приобрел такие выгоды, какие другие, по-видимому, более опытные, не могли добыть во всю свою жизнь. Если в этом анекдоте есть преувеличение, то самая возможность преувеличения служит лишь доказательством верности основной мысли.

Конечно, только разностороннее развитие мысли, соединенное с практическим знанием жизни, создает пригодность человека для общеполезного труда. Тот не может был полезен, кто не знает ничего, и Бекон справедливо утверждал, что соединение образованного ума с практической мудростью, или начала созерцательного с деятельным, составляет высшую форму развития человеческой природы.

Если мы присмотримся к жизни, то увидим, что созерцательное и деятельное начала редко соединяются в людях. Громадную массу человечества составляют практики с очень ограниченными познаниями, с узкой наблюдательностью, никогда не познакомившиеся с теоретическим мышлением и потому лишенные созерцательности. Затем, самую ничтожную часть человечества составляют люди созерцательного начала, не знакомые, в свою очередь, с

практическою мудростью. Общий строй жизни, конечно, не благоприятствует соединению этих двух начал в каждом отдельном человеке. Для массы человечества, живущей механическим трудом, не делается почти ничего, чтобы дотянуть ее до высшей человеческой формы. Что же касается до так называемых образованных людей, то заботы об образовании их ума слишком далеко не достигают своей цели, и потому собирательная посредственность не обладает ни действительно образованным умом, ни практической мудростью, и до сих пор счастливое соединение того и другого в одном человеке бывало достоянием лишь отдельных, исключительных личностей и так называемых гениев.

Без соединения делового воспитания с теоретическим развитием мысли невозможно достигнуть ничего действительно выдающегося. Все великие социальные писатели соединили в себе знание жизни и деловитость с широко образованным умом. Давно уже сказано, что даже самый гениальный человек не напишет ничего путного о человеческих делах, если ему неизвестны повседневные вопросы жизни. И если мы это замечание применим к нашей русской жизни, то должны будем согласиться, что общее ничтожество наших литературных произведений, начиная с Кирши Данилова[4] и кончая теперешними романистами и повествователями, происходило от того, что наши писатели или вовсе не владели созерцательным началом, или же не имели никакого понятия о серьезных вопросах повседневной жизни. Громадные средства памяти и воображения пропали даром даже у таких даровитых личностей, как Державин, Пушкин и Лермонтов.

Моралисты из всех человеческих качеств делают что-то внешнее, тогда как всякий человек именно такой, а не другой, только потому, что в нем такая, а не другая душа. Создайте человеку гармоническое соединение твердо выработанной мысли с твердо выработанной практикой чувств, и перед вами будет человек, какого искал Диоген. Моралисты изумляются нравственному величию и мужеству таких людей, как Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Кеплер, Декарт, Спиноза, Гарвей. Но что такое их нравственное мужество, как не точно выработанная и законченная мысль, сформировавшая вполне установившееся сознание? Политическая жизнь Европы, конечно, представляет много случаев такого поведения людей, которое нельзя назвать героическим. Нам часто случалось слышать

об измене убеждениям, о политическом раскаянии и политическом хамелеонстве. Но политика такая же наука, как естествознание. Нельзя раскаяться в том, что березу считаешь березой, а лошадь лошадью. В том, что называют хамелеонством и раскаянием, нет в сущности ни раскаяния, ни хамелеонства. Перед нами или неустановившаяся мысль, или мысль, не прошедшая через чувства; в обоих случаях для человеческого поведения нет твердой точки отправления, а при отсутствии твердой мысли и практики чувств может ли быть человеческое поведение твердо и мужественно? Поэтому раскаиваются обыкновенно недоучившиеся дети и юнцы, либеральный порыв которых есть не больше, как душевная недоконченность. Зрелый человек будет всегда мужествен, и человек, твердо усвоивший известную идею, никогда от нее не откажется.

Мужество вовсе не такая редкая вещь, как кажется многим. Припомните религиозные гонения, припомните страшное количество войн, которые пережила Европа, припомните наш двенадцатый год, Севастополь и последнюю французско-немецкую войну. Перед вами десятки миллионов героев; но не изумляйтесь их мужеству. И вы, и каждый из нас был бы точно таким же героем; потому что идея, руководящая военными героями, и бесспорна, и проста, и общедоступна. Наш героизм спотыкается не в подвигах военной доблести, а только в подвигах мужества гражданского, потому что в наше время спорных и неустановившихся понятий мы владеем для гражданской деятельности гораздо меньшим числом вполне законченных, бесспорных идей. Вот откуда наша безразличность, наше вилянье, наша переметчивость. Мы уступаем посторонним убеждениям потому, что воспитание не дало нам никаких убеждений, и пока наше воспитание не будет делать из нас людей высшей формы, в которых спекулятивно-теоретическое мышление соединяется с практической деловитостью, т. е. хорошо воспитанным чувством, мы никогда не будем владеть гражданским мужеством и никогда не выставим людей с сильным характером.

Из твердого развития мысли вытекают и все остальные благородные качества, рекомендуемые моралистами, и особенно ими рекомендуемое самообладание, правдивость и долг. Самообладание больше ничего, как верное знание своей собственной меры. Люди, воспитанные в эгоцентрировании, в привычке считать себя иными и выскакивать из себя, не отличаются самообладанием потому, что толь-

ко себя считают непогрешимыми и в другом не хотят видеть такого же человека. Воспитывайте ребенка в понятиях и привычках равенства,— и вы создадите человека с самообладанием. Путем моральных внушений подобные понятия трудно усваиваются детьми, и легче всего они создаются простым приучением детей сдерживать свои порывы.

При обыкновенном нашем домашнем воспитании старшие дети, особенно мальчики, являются, большею частью, мучителями и деспотами по отношению к детям младшим. Вечное верховое отношение создает привычки умничанья и заносчивости, и таким образом обыкновенная семья портит детей с их раннего возраста и приучает не к миру, а напротив, к преувеличенному мнению о своих силах.

Правдивость точно так же неразлучна с гармоническим развитием чувства и мысли. Если в человеке сформировался цельный характер, то его слово никогда не разойдется с его поведением, а в этом только и заключается сущность правдивости. Только поэтому наименьшей правдивостью отличаются так называемые либералисты. Они должны вечно колебаться и подделываться под других, потому что у них нет своего. Правдивость вовсе не мужество, и, чтобы быть правдивым, не нужно быть героем. Выработайте себе убеждение, и вы не станете говорить «нет», когда «да», и «да», когда «нет».

Лживость воспитывается нередко в нас ложным пониманием наших отношений к людям. Воспитываясь в привычках себялюбия и эгоизма, мы хотели казаться лучше, чем мы есть, и отсюда та путаница великосветскости, которая, под привлекательною формою манер и изящества, скрывает самый грубый эгоизм. Измельчившийся человек, поглощенный только собою, скрывает свои настоящие мнения и, изолгавшись до последней степени, даже гордится своим иезуитизмом, искусством говорить двусмысленно и обманывать без цели и нужды всякого встречного и поперечного. Мы не отрицаем того, что с теперешними людьми, воспитанными в мелочном эгоизме и преувеличенном воззрении на свои силы и оттого самолюбивыми, раздражительными и не выносящими возражений, резкая правда не может быть особенно ценной монетой. Но справедливо сказал один англичанин, что ему гораздо чаще приходилось жалеть о том, что он молчал, чем о том, что он говорил. Бесчестный и узкий великосветский иезуитизм и привычки себялюбия убивают, наконец, всякую

способность возмущаться личными и общественными подлостями и мерзостями, и мы с раболепной улыбкой готовы жать руку всякому негодяю, который сильнее нас или от которого мы ждем подачки. Это рабство души есть остаток того рабства понятий и отсутствия идеи равноправности и равного человеческого достоинства, додуматься до которых русской мысли еще не удалось самостоятельно.

Мы знаем, что теоретическое понимание ошибок воспитания еще не двинет нас слишком вперед. Мы знаем, что, может быть, пройдут века, прежде чем воспитание сделает из каждого человека то, чтобы хотела сделать из него и недовольная существующим теория, и недовольная собою практика. Чем пристальнее всматриваешься в вопрос воспитания, тем видишь яснее всю необъятную трудность его задачи. Память человечества собрала громадную массу фактов, сотни тысяч лет прошли с появления первого человека па земле, и что же мы видим? Громадную массу человечества, подавленную убожеством умственным и материальным, бессильную связать факты идеей и потому беспомощную в своей жизни, и над этой массой — ничтожное меньшинство интеллектуальных представителей, почти настолько же бессильных и справедливо обозванных «собирательной посредственностью».

История в том виде, как она свершилась до сих пор, была бессознательной борьбой личности с обществом, в которой личности не удалось еще завоевать себе места. Поглощенная преследованием своих отдельных интересов, личность была тем более несчастною, чем она труднее находила свою связь с обществом. В последовательном ряду развития наук — наука, изучающая человеческую душу, явилась только самой последней, да и до сих пор она еще не сложилась вполне в законченное знание. А пока эта наука не станет твердо на свои ноги, пока она не даст нам законов человеческой души и пока мы, люди образованные, не усвоим ее оснований, нечего ожидать, чтобы наше общественное и частное воспитание давало обществу и жизни таких людей, которые сумели бы сделать счастливыми самих себя и знать, что нужно для счастья других.

Мы стоим только в начале того периода мысли, когда человек становится предметом наблюдения, и быстрота человеческого прогресса будет зависеть исключительно от того, насколько быстро пойдет это изучение. По отношению к русскому обществу нужно желать, чтобы распрост-

12 Заказ 1044

ранялись психологические знания, а пока психология не сделается у нас таким же обыденным знанием, как география и арифметика, нам не следует удивляться и слишком негодовать на то, что наша общественная и частная жизнь представляет аномалии и что человек не существует для нас как предмет мышления. Научите детей думать в направлении «человека», и вы создадите иных людей, иное общество, иную жизнь. Формула безошибочного воспитания только в слове «человек»...

А. П. Щапов

[РЕЧЬ ВО ВРЕМЯ ПАНИХИДЫ ПО УБИТЫМ КРЕСТЬЯНАМ В с. БЕЗДНЕ]

Други за народ убитые.

Демократ Христос, доселе мифически боготворимый европейским человечеством, стра[даниям] которого вот люди будут поклоняться на предстоящей страст[ной] неделе, возвестил миру общинно-демократическую свободу во времена ига Римской империи и рабства народов, и за то военно-пилатовским судом пригвожден был ко кресту, и явился всемирно-искупительной жертвой за свободу.

В России за полтораста лет стали являться среди горько страдавших темных масс народных, среди вас, мужичков, свои христы — демократические конспираты. С половины прошлого столетия они стали называться пророками, и народ верил в них как в своих искупителей, освободителей. Вот снова явился такой пророк, и вы, други, первые, по его воззванию пали искупительными жертвами деспотизма за давно ожидаемую всем народом свободу. Вы первые нарушили наш сон, разрушили своей инциативой наше несправедливое сомнение, будто народ наш не способен к инициативе политических движений. Вы громче царя и благороднее дворянина сказали Народу: ныне отпущаеши раба твоего... Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра — эта земля воззовет Народ к восстанию и к свободе... Мир праху вашему и вечная историческая память вашему самоотверженному подвигу. Да здравствует демократич[еская] Конституция!

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И НАРОДНАЯ ЭКОНОМИЯ

(Посвящается Д. И. Писареву и всем сотрудникам «Русского слова»)

I

Кто не испытал, тот не может и представить себе, чего стоит быть писателем в провинциальной глуши, где-нибудь в Дауро-Монголии или Якутске, где вокруг случайно заброшенного мыслящего человека все спит глубоким сном бессознательной жизни, где ничто не шевелит человеческой мысли и не возбуждает ее к деятельности. Ни притока новых впечатлений, ни обмена мыслей, ни книг, ни образованных людей — ничего нет для мыслящего человека в нашей мертвой и пассивно-неподвижной провинции.

При такой обстановке умственная работа — каторга, испытываемая ежеминутно тем, кто чувствует потребность в этой неугомонной работе.

А между тем, куда бы ни взглянул мыслящий человек — в этой провинциальной пустыне, в этом мертвом царстве снов и призраков, вместо действительных предметов, он везде встречает необходимость исследования и знания. Поедет ли он с пытливой мыслью по этим хребтам гор, загадочным по их геогностическому строению и минералогическим богатствам, по их флоре и фауне, осмотрит ли он естественные путеводные нити и сети речных систем — этих артерий в физико-географической и естественно-экономической организации провинций, осмотрит ли естественную экономию лесов, степей, вод, словом — куда ни заглянет он с внимательною думою,— везде почувствует, и больно почувствует вопиющую необходимость реального изучения природы, разнообразных и глубоких естественнонаучных знаний. А их-то и нет. Везде, напротив,— бессмыслие, невежество, суеверие и пассивное рабство перед природой. Все видят, созерцают внешнюю природу своей провинции, видят леса, горы, воды, топчут разные почвы, срубают разные деревья, ловят разных зверей, рыб, насекомых,— и никто не знает этой природы, никто не знает сил, законов и разнообразных свойств продуктов естественной экономии своей провинции. Есть только свои провинциальные суеверные травники и зеленщики, свои местные мифические сказки о зверях, свои провинциальные суеверные приметы о погоде и

т. п. Все бродят и копошатся по земле слепо и пассивно. Всюду бродят жалкие звероловы, не имеющие никакого понятия о силах и законах развития животной жизни. Всюду копошатся и роются в земле жалкие пахари, нисколько не понимающие сил и законов почвы и земледелия; в горах роются жалкие рудокопы, не имеющие никакого понятия о геогностическом строении гор, о химическом составе минералов и вообще о силах и законах развития и строения горной природы. Всякий физико-географический оазис, всякая природная форма, всякий физический тип в той или другой провинции ждет реалистов — теоретиков и практиков. Но их-то и нет. При одном проезде, например, через какую-нибудь степь Барабинскую или через леса и горы Нижнеудинска,— так и чувствуешь, и больно чувствуешь необходимость быть натуралистом; так и желаешь, чтобы тут, как и везде, в каждом физико-географическом провинциальном оазисе, неутомимо работали, подобно Палласу [1], Радде, Миддендорфу [2], естественники-реалисты, открывали, указывали народу ключи к сокровищам местной естественной экономии, научали его рациональному извлечению и употреблению местных естественных продуктов и сами насаждали тут новые починки новой, естественнонаучной культуры и промышленности. А этого-то ничего и нет. И видишь только — там степь громадную, богатую растительность, бесчисленные озера и болота, несметное множество и просторный разлет птиц разных, а здесь — только сплошные горы, сзади и кругом леса дремучие, непроходимые, непочатые, посещаемые только бродягами. Наконец, посмотрит ли мыслящий человек на эту жалкую, сонливую, ленивую, пассивную суеверно-невежественную, восточнообрядовую жизнь в провинциальных городишках, вроде Варнавиных, Семеновых, Ялуторовских, Каинских и т. п.; осмотрит ли он провинциальные фабрики и заводы, ремесленные и мастерские, которые, впрочем, едва где и встретит; взглянет ли на скотоводство в степях — в этих первосозданных оазисах стад и табунов, взглянет ли на хлебопашество в земледельческих провинциях, в черноземной полосе, в Южной России и Сибири,— опять везде увидит и почувствует он крайнюю, безотлагательную необходимость естественнонаучного миросозерцания и применения его к социально-экономической деятельности. А ее-то и нет. Везде печальная и страшная апатия мысли, торжество грубых сил природы над умом человека.

А между тем в литературе нашей одни идеалы сменяются другими, одно направление быстро чередуется с другим. Каждая новая книжка журнала приносит в провинцию разнообразные и глубокие идеи, которые так и остаются идеями, без всякого приложения к жизни. Жизнь тащится сама по себе, а надежды и стремления мыслящих людей — сами по себе. Отчего же весь этот провинциальный мир представляет такое тупое, повсеместное противоречие высоким идеалам науки и литературы? Отчего эти идеалы, как горох к стене, лепятся к провинциям и для всех огромнейших провинциальных масс проходят неуловимым голосом вопиющего в пустыне? Подумаешь да вглядишься в действительный омут провинциализма,— и невольно задаешься вопросами: да в идеалах ли, в теориях ли заключается та искомая сила, которая должна пробудить и обновить громадный мир русского народа? Бесспорно, что идеалы действуют благотворно на умственное направление и энергию образованных или учащихся молодых поколений. Да ведь пора же не забывать и ту черную рабочую массу, которая в истории так долго и так бессмысленно была забыта; а между тем она составляет главную громаду, почти все содержание России; меньшинство перед ней ничтожно. Пора же уничтожить этот вредный, неестественный дуализм умственный и бытовой, эту, так сказать, аристократию мысли, знания, просвещения — в меньшинстве, отрешенном от дела народного, и эту демократию невежества, суеверия и рутины — в громадных массах работящего люда, не знающего и не понимающего идей и теорий меньшинства. Если оставить это раздвоение в обществе и на будущее время, то светлой силе меньшинства будет постоянно противодействовать темная сила большинства, и всякое движение вперед сделается невозможным. Не даром же масса, чернь и в настоящее время так тупо, недоверчиво и даже насмешливо относится к великим идеям науки и литературы, не понимая прямой, осязательной пользы для себя. Следовательно, проповедуя свои теоретические идеи для развития меньшинства, мы должны, в то же время, скорее открывать и указывать и практические пути и способы для развития и распространения реального просвещения в рабочих массах. Для них он столько же насущный, животрепещущий вопрос, как и для лучшего, мыслящего меньшинства. Где же, в чем искать средств и способов для развития и распространения естественнонаучного реализма в провинциальном

большинстве? Об этом мы скажем подробно дальше. Теперь же заметим только, что не идеалы и, вообще, не теоретический путь, а экономический утилитаризм есть, на первой поре, лучший путь для того, чтобы мало-помалу ввести рабочие массы в естественнонаучную область реализма. Умственное развитие и просвещение масс может идти с успехом только параллельно, одновременно с реальным, экономическим развитием их, с улучшением их материального быта, с реальным, практическим показанием им пользы естественнонаучного просвещения на деле, в практической жизни, в ее действительных вопросах и потребностях. Для того, чтоб постепенно развить в массах любовь и стремление к естествознанию, им нужно на деле раскрывать практическую пользу знания природы и на опыте показывать применение ее к их экономическому быту. Идеалами и даже школами массы никогда или, по крайней мере, чрезвычайно долго не ввести в великий храм естественнонаучного реализма. Для рабочих масс лучшими проводниками и училищами реальных идей и знаний скорее могут быть: 1) фабрики и заводы: устроенные на рациональных, естественнонаучных основах, с возможными естественнонаучными училищами при них, с химическими лабораториями и проч. 2) Разнообразные экономические ассоциации, имеющие целью прилагать естественнонаучные знания, идеи и теории к усовершенствованию разнообразных отраслей народной экономии: ассоциации агрономические, акклиматизационные, скотоводческие, фабрично-заводские или технологические, ремесленные и проч. Только таким утилитарно-образовательным путем можно подновлять в массах провинциальных почву для полного, высшего реального образования, для водворения в их темном миру естественнонаучного реализма. Нет сомнения, что работы этой хватит на несколько веков, что для исполнения ее нужны во сто раз большие силы, чем какими располагает в настоящее время Россия, но без этой страдной работы мы не выйдем из этих болот, над которыми блестят блуждающие огоньки, освещая собою непроглядную тьму и тину, лежащую на дне... Я даже думаю, что нам надо отказаться от всякой роскоши образования и прямо приступить к тому, с чего начинается умственная деятельность всякого народа,— с изучения окружающей его природы и разработки экономического быта. Вот почему популяризировать науку для нас очень важно, потому что до сих пор все наши теории и

идеалы носятся вне действительного мира, вне рабочих масс, для которых знание есть реальная потребность и орудие полезного народного труда. Удаляя большинство от участия в нашем умственном прогрессе, мы будем заниматься бултыхо-болтательным либерализмом, на фразах творить чудеса, а на самом деле ничего путного не делать.

Желая поговорить в настоящих письмах о развитии естественнонаучного реализма вообще и, в частности, в России,— я считаю нелишним сначала бросить беглый взгляд на некоторые другие теории, наиболее ясно высказавшиеся в нашей литературе. Иногда ждешь-ждешь из Петербурга новых книг и журналов, новых материалов для работ и, не дождавшись ничего, невольно предаешься грустным воспоминаниям прочитанных прежде журналов, назад тому годов за пять. Переберешь все,— и в голове образуется хаос идей и теорий, знаменующих наши неопределенные литературные партии, большею частию даже сами для себя не обозначившиеся ясно-сознательно. Подумаешь, в самом деле, не мало же было выдумано и у нас разных теорий, и все они большею частью одна другую поглощают или уничтожают. Мы укажем на самые главные из них.

II

Первую теорию можно назвать *историко-юридическою*. Эта теория по преимуществу старалась развивать, с разных точек зрения, идею постепенного государственного развития и благоустройства русского общества. Исходной и основной идеей ее была та мысль, что благосостояние русского народа зависит от хороших или правильных государственных учреждений, от постепенных политических реформ — административных, юридических, гражданских, от либерально-преобразовательной деятельности и умеренной опеки правительства. Лучшими представителями этой теории в литературе можно назвать Кавелина [3], Калачева [4], Беляева [5], Лешкова, Чебышева-Дмитриева, Муллова и проч. Чичерин проявился, в этой категории писателей, типом ультрагосударственного фанатизма, рьяным проповедником строгой, систематической государственной унии и централизации, или централизационно-бюрократического государственного пантеизма: «государство и народ, по его метафизико-юридической доктрине,— одно и

то же, одно целое, государство в народе, народ в государстве» и т. п. Другие писатели историко-юридического направления пошли прямо вразрез с доктриной не о единстве государственном, не о слиянии народа с государством, а о земстве, о народе, о земском самоустройстве, саморазвитии самосуда и самоуправления, о децентрализации, о земских сборах и об областных земских собраниях, общинах сельских и городских и т. д. В том числе грешен был и я: на эти темы я писал статьи в «Веке», в «Отечественных Записках», даже в «Очерках». До издания «Очерков» земство и земское саморазвитие было моей idée fixe. Под земством и земским саморазвитием я разумел все сферы социального развития, всю массу народа со всеми ее этнографическими видоизменениями, всю совокупность сил народных — умственных и физических, все интересы и потребности народные — умственные и экономические. Я защищал инициативу и самодеятельность сил народа в деле его социального саморазвития. Только при свободном и равном праве инициативы и самодеятельности всех сил народных, думал я, возможно было и могло начаться прогрессивное, здоровое и всецелое саморазвитие народное — и умственное, и экономическое. Веря в инициативу, самодеятельность земства, земских, народных, социальных сил,— я верил не только в земские собрания, в земские банки и т. п., но и в земские реальные училища, в земские реальные гимназии, в земские реальные университеты, академии и т. д. Со времени издания «Очерков», после тяжелого сознания своего семинарского невежества и пустоты, после сознания в своей голове совершенного отсутствия естественных знаний и после болезненной работы и борьбы мыслей,— я стал думать, не по своим силам, о взаимодействии и взаимноотношении сил и законов внешней, физической природы и сил и законов природы человеческой, о законах этого взаимодействия внешней и человеческой природы, о проявлениях их в истории, о значении их в будущем социальном строе и развитии народов. Хотя я почувствовал все свое бессилие на этом новом пути мышления, но все же, сколько мог, понял тогда, что какая бы то ни была, хоть бы самая совершенная, абстрактная социально-юридическая теория не прочна, произвольна без единственно прочных основ — естественнонаучных, физико-антропологических; потому что она не что иное, как временный продукт изменяющейся — отстающей или развивающейся — человеческой мысли, вре-

менная и условная, следовательно, произвольная форма склада и настроения наших метафизических, абстрактно-философских идей и понятий о человеке, о его физиологических и общественных функциях и отношениях, об его соотношении с внешним физическим миром и проч. Все юридические теории, без теории строго реальной и экономической, почти ничего не значат, не имеют основы и почвы для своего осуществления и не могут вести общества прямо к главнейшей его цели — экономическому и умственному развитию и совершенствованию. Сколько бы ни придумывали наши либеральные публицисты самых красивых форм государственного устройства, самых стройных юридических систем,— они никогда не улучшат умственного и экономического быта народа, если он груб, неразвит, суеверен, невежествен от того, что не знает природы, и беден, неустроен, бессилен, пассивен тоже от того, что природы не знает — ни внешней, физической природы, ни природы своей земли. Только в области естествознания и естествоиспытующего разума, по мере того, как будут уясняться силы и законы человеческой природы и силы и законы природы внешней, только по мере того, как будет исследована и физиология отдельного человека и физиология социальная, только тогда будет развитие истинного, рационального или естественнонаучного права. Всегда будут грубые преступления в обществах, всегда будет страшный разлад социальный, борьба интересов и страстей, всегда будет хаос социально-юридический,— пока весь социальный строй общества не будет иметь единственно прочной основы — естественнонаучной разумности и законности, пока он не будет основан на всеобщем знании единственно точных и непреложных законов внешней, физической природы и законов природы человеческой. Для этого надобно, чтобы естествознание просветило общество, преобразовало все его миросозерцание и было для них центром всеобщего тяготения к одной, всеобщей цели социальной — к рационально-экономическому благоустройству и к интеллектуальному совершенствованию в борьбе с природой.

Надобно, чтобы рациональная, естественнонаучная экономия открывала всем равно все кладовые и мастерские, все фабрики, лаборатории и магазины естественной экономии, ее сил и продуктов.

Наконец, надобно, чтоб рациональная, естественнонаучная экономия здоровья, гигиена и медицина, по воз-

можности, энергично и разумно предвещала или ослабляла патологическое развитие и направление человеческого организма, также сильно выражающееся в разных формах и симптомах социального патологизма, в развитии преступлений, в гибельной трате человеческих сил и проч. Конечно, все эти требования в настоящее время могут еще казаться идеальными, мечтательными. Но ведь и метафизическая философия права или абстрактная юридическая теория тоже плодит свои идеалы, строит свои мечтательные, метафизико-юридические системы, быстро сменяющиеся одна другою. Да притом же у нее вовсе нет прочной, реальной основы, на которой бы она основывала свои выводы. Один юрист берет в основание английские идеи, другой — французские, третий — немецкие, четвертый — принципы римского права и т. д., и всякий, при этом, создает свои теории, свою философию или метафизику права. И все эти юридические системы, не имея прочной, всеобщей, естественнонаучно-реальной основы, быстро рушатся, сменяются новыми системами, а эти опять новыми и т. д. При виде такой шаткости и непрочности юридических основ социального развития, очевидно, лучше начать хоть медленную, но единственно надежную работу на самых прочных — естественнонаучных основах. Тут уж здание не рушится, хоть и медленно будет воздвигаться. Реальный, естественнонаучный путь, хотя и многотрудный, но единственно прямой и верный.

Другая теория, ясно высказанная в нашей журналистике — *экономическая*. По этой теории, сущность, цель и основа социального развития заключается в экономическом благосостоянии всех классов общества. Лучшим выразителем этой теории был — переводчик и критик «Политической экономии» Милля. Эта теория сразу подорвала десятки теорий юридических, органических, почвенных, славянофильских, классических и т. п. На разных языках — славянофильских, классически-англоманских, русско-летописных, шумными, трескучими, высокоглаголивыми и всякими фразами трещали и трактовали мы о самоуправлении, об английском Selfgovernment, о необходимости восстановления московской старины, излюбленного земского самоуправления времен Грозного, о почве, об органическом развитии, о самопроникновении русским духом, даже о воспитании детей по Нестеровой летописи и проч. и проч. И о чем мы не трещали и чего не словоизвергали? И где-то мы не искали счастья русского народа? Каких

потребностей и необходимостей не насчитали мы для него, когда он вопил: нет денег, не знаем ремесел и промыслов, нет работы, нет железа, нет соли, неурожай в Вологодской губернии, неурожай в Пермской губернии и т. п.! И вдруг светлая, здравая, рационально-экономическая критика и теория возвестила нам: Марфа, Марфа, печешься и молвишь о мнозе службе, едино же есть на потребу — прежде всего хлеб насущный, прежде всего нужно, чтобы все были сыты, обеспечены, довольны. Да, подумали мы,— и в самом деле вопрос хлеба есть вопрос жизни и следовательно мысли, литературы и науки. От разрешения его зависит разрешение всех других социальных вопросов. Великие реалисты-естественники, когда мы их стали читать, подтвердили нам эту истину. «Государственное устройство,— говорит Либих,— социальные и семейные связи, ремесла, промышленность, искусство и наука, одним словом, все, чем в настоящее время отличается человек, обуславливается фактом, что для поддержания своего существования человек ежедневно нуждается в пище, что он имеет желудок и подчинен закону природы, по которому должен необходимую для него пищу произвести из земли своими трудами и искусством, потому что природа сама собою не дает ему или дает в недостаточном количестве необходимые питательные вещества. Очевидно, что каждое обстоятельство, каким-нибудь образом действующее на этот закон, усиливая или ослабляя его, должно обратно иметь влияние на события человеческой жизни»... Да, пока существует голодное человечество, пролетариат, пауперизм,— возможно ли, мыслимо ли, чтобы желудочная машина человеческой природы не была тяжелым тормозом человечества на пути его высшего материального и умственного движения, а напротив служила беспрепятственным естественным локомотивом для живого, быстрого прогрессивного движения машины мозговой, для прогресса естествоиспытующего разума. Доколе существует голодное человечество, может ли каждый человек понять, что истинными типами его должны быть будущие Гумольдты, Дарвины, Либихи [6], Уатты и т. п. великие естествоиспытатели? А мыслимо ли, возможно ли, при теперешнем экономическом строе общества вообще и, в частности, нашего русского, возможно ли, чтобы не было бедных, голодных и, следовательно, неразвивающихся людей? Рациональная экономическая теория раскрыла нам, что невозможно никакими историко-юридическими или

административными мерами искоренить в мире голод и бедность, перестроить, преобразовать экономический склад общества без единственно могучей и преобразовательной силы — без рациональной, естественнонаучной экономии и организации рабочих и производительных сил народа, без естественнонаучных ключей и руководств к разнообразным кладовым и мастерским экономии природы. И в действительности все подтверждает эту простую истину. Посмотрите, например, на наш громадный провинциальный люд рабочий. Без света и силы естествознания, как жалкий червяк, копошится он по разнообразным областям естественной экономии русской земли, от Карпатов до Камчатки. Повсюду он хлопочет из всех сил только еще о первых потребностях организма — о пище, одежде, жилище,— и все-таки ест скудно, даже часто скверно и большею частию нездорово; пшеничный хлеб и мясо, и то большею частию вонючее, ест не всегда, а только по праздникам; живет в избах и домах большею частию деревянных, дрянных, полуразвалившихся, грязных и очень нездоровых; при огромности и просторе местностей изобильных и здоровых, весьма часто влачит жизнь бедственную и чахлую в местах скудных всеми жизненными дарами природы и заразительных; одежду носит из самодельщины грубой и непрочной, ходит большею частию в лаптях, босиком и в рубищах и только по праздникам одевается в чистые рубашки. В качестве жалкого пахаря, пастуха, охотника, рыболова, собирателя ягод, груздей и грибов, саранок, полевого лука, пучек и т. п. он в поте лица и с изнуренными силами остается вечно рабом окружающей его природы. И все-таки, при всех хлопотах, нет у него хорошего скота, а есть выродившиеся породы чахлой, тощей, слабосильной и паршивой животины и кляч, и то каждогодно истребляемых страшными падежами; нет хороших урожаев, и от неразумного расхищения почвы они становятся все хуже и хуже, так что большинству земледельческого населения далеко не хватает своего хлеба на год, до нового урожая; нет у него хорошего приготовления и запаса разного рода продуктов животных и растительных. А как часто он, как червь, исчезает под ударами физических сил, стихий и бедствий! После каждого неурожая смертность увеличивается почти вдвое против обыкновенной. В 30 лет последнего столетия в неурожайные года всегда умирало от 1 000 000 до 2 000 000 с лишним, тогда как обыкновенно умирало по губерниям от 80 000

до 900 000 человек. О разрушительных действиях эпидемий в России можно судить по 1848 году, когда, по отчету министра внутренних дел, больных холерою было 1 686 849, а умерших от нее 668 012 чел. Где же, после этого, искать помощи, спасения и улучшения народной жизни и деятельности в области экономии природы! Уже ли в области историко-юридических или чичеренских идей! Рациональная экономическая теория решительно отвечает: нет, помощь и спасение — единственно в области естественнонаучной экономии, в рациональной, естественнонаучной деятельности разнообразных технических и экономических ассоциаций, в усилении труда и его средств, в естественнонаучной экономии и гигиене рабочих физических и умственных сил народа и проч., и следовательно, в области естествознания. Да, в естествознании скрывается тот искомый ключ ко всем кладовым и мастерским, ко всем лабораториям и фабрикам продуктивной и динамической экономии природы, который ведет прямо в область рациональной народной экономии. Посмотрите далее на провинции: что это за экономический строй? Извековечная, гостомысловская и домостроевская *старина* и *пошлина, отчина* и *дедина*, отрицавшая естествознание, как бесовскую силу, пробавлявшаяся суеверным, чернокнижным, мифологическим миросозерцанием, везде положила и увековечила свои первобытные, палеозоические основы, слои и формы семейного, общественного и экономического строя, теперь достигшая до степени окаменелости. Повсюду, во всех рабочих массах эта гостомысловская и домостроевская старина и пошлина раз навсегда наметила свои допотопные привычки и потребности, свои допотопные пути и ухожаи промышленные, свои допотопные сферы, формы и обычаи труда, теперь закостеневшие до рутинной неподвижности в крестьянской, мещанской и купеческой практике ремесленной, промышленной и торговой. От времен родового быта, от Рюрика до последнего поворожденного в наших рабочих классах отчина и дедина только и сделала, что передавала и продолжает передавать грядущим поколениям этот допотопно-ветошный и жалконищенский навык труда; а между тем ленное все-таки идет вперед, растет, далеко непропорционально с приращением новых отраслей и способов труда, следовательно — новых, усиленных источников и условий обеспечения. Возможно ли тут, в этом неподвижном омуте старины, допотопных, рутинных работ, реме-

сел и промыслов, заколдованном отческим и дедовским благословением и обычаем, возможно ли тут живое экономическое движение, возможно ли развитие новых и мощных рабочих поколений, новых и могучих сил и средств труда, возможно ли тут развитие и распространение новых видов, новых сфер и отраслей труда? Бородатая старинковщина твердит молодым рабочим поколениям: «что старо, то есть». Защитники славянофильского и так называемого органического, историко-паутинного плетения народного развития в этом застое старины и пошлины видят жизненную силу и мощь России. Не то возвестила нам рациональная экономическая теория. Она сразу потребовала радикального возрождения рабочих классов и основала свою теорию на физиологических законах общества.

Далее, вот целая половина России, в лице женщин, нарождающихся, как известно, в наибольшей численности против мужчин, испокон века, целое тысячелетие, оставалась и остается праздною, дармоедною обузою и потребительным трутнем в ульях мужского труда. Женщина, обладающая могучей силой обаятельного и вдохновляющего влияния на умы и сердца мужчин, наделенная от природы такими же мозговыми и мускулярными силами, как и мужчина, только менее развивавшимися, вследствие векового неупотребления, неизощрения, эксплуатации,— какой жалкий тормоз в экономическом прогрессе представляла она в своем заколдованном кругу семейного очага и терема! Она служила, по древнерусскому выражению, только *хотью* мужчины, нарождала, плодила детей и не производила ничего для развития, обеспечения и совершенствования своего потомства. Если же в низших классах народа женщина была рабочей силой, то она была чисто рабочей скотиной, работала и страдала вовсе непропорционально с силами своей организации. Если таким образом в извековечной эксплуатации женщины и ее сил и дарований погибла, утратилась в течении веков огромная сумма рабочих сил и прогрессивной деятельности, то скажите, возможно ли тут цельное, всестороннее, разнообразное и гармоническое развитие экономического прогресса и благосостояния общества? Экономическая теория раскрыла нам всю громадную, вопиющую невыгоду женского безделья, всю эксплуатацию им мужского труда, подняла самые животрепещущие и настоятельные вопросы о женском труде, об обществе женского труда, о женских рабочих ассоциациях и т. п. ...

Столько и множество других вопросов затрагивает и может затрагивать рациональная экономическая теория. После нашего эстетического самоуслаждения и самоуспокоения в блестящих, но негреющих и непитающих стиховных вертоградах Пушкина, после нашего эстетического самозабвения и самоусыпления в темных безвоздушных сферах мистико-мифологических сновидений и галлюцинаций, среди романтических баллад, ундин, русалок и зефиров Жуковского да в Лермонтовских умственных и нравственных пустынях Демона и Печорина и т. п.,— экономическая теория сразу спустилась на землю, в реальный мир, заговорила нам тяжелые, но действительно — поучительные и действительно — нужные и полезные вещи, заговорила о хлебе, о работе, о рабочих классах, о производительном и непроизводительном труде, об организации труда, о рабочей плате и ренте, об ассоциациях рабочих, о капитале и богатстве, о пауперизме и пролетариате, об экономическом образовании и проч. и проч.

Но и абстрактная, философская экономическая теория сама по себе еще не может разрешить вопроса жизни и развития человеческих обществ. Она только раскрывает ложь, ненормальность современного экономического строя обществ и указывает более или менее истинные, рациональные начала нормального экономического развития народа. Переделать же настоящий экономический мир она не в силах. Главный недостаток этой теории, по нашему мнению, заключается в том, что она сама еще не имеет прочных или достаточных естественнонаучных основ. От того происходит главным образом шаткость и даже произвольность многих экономических теорий. Одни из них, вроде *В. Рошера*[7], поддерживают старое экономическое здание, на исторических, традиционных основах и подставках, нисколько не разбирая критически их внутренней подгнилости и шаткости. Другие, вроде буржуазной «Политической экономии» Милля, исполнены современных экономических предрассудков, лжи и даже самых несчастных тенденций и софизмов, порожденных аномалиями и уродливостями средневекового склада обществ, например — лордским аристократизмом, буржуазией, господски-лордским и буржуазным презрением к рабочим классам и разными формами и видами тунеядства. Третьи, вроде Мальтусовой теории, проповедуют аристократически-фаталистический взгляд на пропорциональное отношение естественной и народной экономии и производи-

тельности, проповедуют, во имя непонятных, неизведанных сил и законов экономии и продукции природы, вечный пауперизм, пролетариат и голодную смерть рабочим классам, как закон природы, а не как исторически-социальное нарушение его, не как историческую аномалию против законов естественной экономии и продукции. Во многих экономических теориях логический метод, метод абстрактного, отвлеченного рационального соображения и рассуждения без прочных естественнонаучных основ доходит нередко до пустых схоластических отвлеченностей, оставляя между тем без разрешения живые и существенные вопросы общественной экономии. Экономическая жизнь и деятельность, экономическое развитие личностей и обществ суть по преимуществу такие реально жизненные сферы, где деятельность, интересы и потребности человека и общества всего более и даже всецело связаны с силами, законами, продуктами и разными сферами физической экономии. Вещество в разных органических и неорганических комбинациях — есть материал для экономических процессов, операций и производств. Силы и законы природы суть могучие факторы в этих экономических функциях и актах. Следовательно, значение природы есть первый, главный, существеннейший экономический фактор и могучая сила, которой одной предстоит преобразовать социально-экономический мир. Бедность и богатство суть исторические аномалии умственного отношения людей к экономии природы, патологические явления интеллектуально-экономического развития человечества, обусловленные прежним, изначальным бессилием человеческого разума в области экономии природы, всеобщим и совершенным незнанием ее. Они не сообразны ни с нормальным развитием и естественным назначением интеллектуальных сил и способностей человеческого разума, ни с естественным назначением, содержанием и распределением экономии природы, открытой — равно для всех и даже открывающей самые пути и средства для всеобщего и повсеместного обмена своих богатств, например, в системе рек и морей, в силе пара. Бедность исторически развилась и утвердилась в мире оттого главным образом, что исторически господствовало и наказывало людей самое величайшее из зол — незнание природы и ее экономии. Чуть иссякал, издерживался один естественный источник жизненных средств, выбивались или убегали из охотничьего пространства звери, или истощался данный клочок почвы, а

новый разработать не было силы или уменья,— человек становился бедным, потому что не знал, чем воспользоваться в богатой и разнообразной экономии природы, кроме натурального звероловного леса или кроме данного клочка земли. Сильный отнимал у слабого последние средства жизни,— и слабосильный становился оттого бедным, потому что не знал ключа к другой кладовой физической экономии, откуда бы мог добыть новые средства обеспечения и даже обогащения и т. п. Так, если разобрать до основания,— бедность во всех отношениях является историческим результатом незнания экономии природы. И доселе мы терпим нищету, недостаток пищи, одежды и жилища оттого, что не умеем в достаточном количестве извлекать из экономии природы средства жизни и богатства, не умеем заставлять силы и законы физической экономии обеспечивать и обогащать нас, не знаем в обширной, богатой и разнообразной экономии природы ни разных сокровенных источников и материалов для пищи, одежды и жилища, ни тех секретов, кладов и сокровищ природы, который могли бы всех нас равно обогащать, если бы, например, химия, технология и другие естественные науки всем нам в одинаковой степени открывали их. Точно так же богатство, в историческом и современном его происхождении и виде, есть положительно исторический результат прежнего отсутствия естественных знаний. Сила, оружие, война, грабеж, обман, воровство и непосредственно натуральное расхищение экономии природы — земной, лесной и водной или растительной и животной — вот первоначальные источники богатств в обществах, как это всякий знает, кто следил за первоначальной историей народов. Силач, богатырь, воин-дружинник, конунг, предводитель воинственных племен постоянно больше других захватывали в экономии природы разных угодий — земельных, лесных, водных и проч. и кроме того постоянно отбирали жизненные средства у слабых, мирных или невоинственных людей, у пленных и т. п., точно так же вор, разбойник, обманщик, или обаянник, вроде ведуна, волхва, жреца, постоянно отбирали имущество у оплошных, беззащитных, слабоумных, легкомысленных, легковерных и простаков. А почему? Именно потому, что все эти сильные и хитрые люди сами не знали наиболее выгодных и богатых сокровищ в общей, никем незанятой и незнакомой экономии природы, не знали честных и мирных, естественнонаучных способов обогащения. Подобный принцип обогащения

или исторического развития богатств господствовал и у нас в течение всей нашей истории — и до крепостного права или помещичьего насилия, и до московского казенного правежа, и после... И появился и господствовал этот принцип в разных формах — и духовных, и военных, и приказных. История нашей экономической жизни даже как-то особенно [полна] поразительными фактами и доказательствами этого исторического принципа происхождения богатств. И доселе разве не господствует еще подобная система обогащения даже в самых первобытных, грубейших формах. Нам довелось слышать не раз от купцов-старожилов такое уверение, основанное на фактах, что большая часть наших купцов и богачей положили основание своему богатству какими-нибудь неправдами, даже воровством. Да кто же притом не знает, что большая часть богатств, обращающихся в современной нашей торговле и промышленности, суть вовсе не результат естественных знаний и открытий или рационального труда, а ловкий, утонченный обман, грабеж и обирательство публики, легко и пассивно поддающейся всякому обману, вследствие ее невежества. Богатство, например, русских невежественных и староверческих бородачей-купцов — это не что иное, как высшая степень грубого инстинктивного животного довольства, подобного довольству козла в богатом огороде. И способности накопления подобного богатства есть не что иное, как только высшая степень бессознательного животного экономического инстинкта. Элемент рассудочности и сообразительности, проявляющийся в экономических способностях такого наживалы-человека, еще нисколько не отличает этот экономический инстинкт человека от животного инстинкта материального самообеспечения. Потому что и животные не лишены силы сообразительности <...>.

«По выражению Петра Губерта,— говорит Дарвин,— малая доза рассудка или разума часть примешивается к действиям животных, даже низших. И у них есть самые дивные инстинкты, например — строительный инстинкт пчелы, труженический и рабовладельческий инстинкт многих муравьев. И у них есть прогресс в промышленном инстинкте. Всякие легкие уклонения и видоизменения в инстинкте, приносящие пользу виду, выгодные в его физиологической экономии, в труде самообеспечения, сохраняются действием естественного отбора и развиваются наследственно». Постоянное жизненное соприкосновение с разными физическими предметами, силами и условиями

и самые видоизменения физических отношений и жизненных условий невольно научают их поступать иначе, уклончиво против прежних привычек, и, таким образом, инстинкт их, с каждым новым выгодным видоизменением, мало-помалу приобретает новую способность жить и промышлять в определенной сфере естественной экономии. А многим ли отличается от этого наследственного, потомственного развития инстинктов животных историческое, рутинно-традиционное развитие экономического инстинкта человека, не руководимого естественнонаучным смыслом? Приобретательный инстинкт наших крестьян, мещан и купцов есть решительно инстинкт животно-промышленный, наследственно развитый и переданный от отчины и дедины домостроевских времен, от «гостей московских, от житьих людей и мужиков новгородских». Как животно-промышленный инстинкт, унаследованный от предков домостроевских времен, от отчины и дедины,— он и в нынешней приобретательной практике упорно сохраняет привычки старины, отчины и дедины. И в этом отношении он опять похож на инстинкт животных. «Как при повторении давно знакомой песни,— говорит Дарвин,— так и в инстинктивной деятельности одно действие следует за другим как бы ритмически; когда человека прерывают среди песни, или среди повторения речи, выученной наизусть, он часть принужден начать сызнова, чтобы снова попасть в привычную колею. П. Губерт наблюдал совершенно подобные явления над гусеницею, сооружавшею себе очень сложный гаймак. Когда гусеница была взята из гаймака, достроенного, например, до третьего стадия, и переносилась в гаймак, доведенный до шестого, так что избавлялась от значительной доли труда, то вместо того, чтобы сознавать это облегчение, она приходила в крайнее замешательство и для того, чтобы окончить гаймак, повидимому, принуждена была начать с третьего стадия, на котором ее прервали, и пыталась переделать то, что уже было окончено». Не точно ли такая машинальность господствует и в наших экономических операциях, основанных на рутинной традиции и застарелой, упорной привычке — держаться старины, несмотря ни на какие нововведения и улучшения. Да, наши рабочие, промышленные классы — крестьяне, мещане и купцы — также инстинктивно тяготеют к своему извековечному земскому строению, к первобытным, изстаринным стадиям своих гаймаков — к своей привычной, рутинной колее ремесленной и

промышленной, к своим обычным, старинным приемам промышленным, и с упорной привычкой — возвращаются к этим своим старым стадиям промышленным, в то время, когда естествоиспытующий ум европейский давно уже довел строение этих гаймаков — разных отраслей, процессов и способов промышленности — до высоких степеней совершенства и прогресса: например, машинность инстинктивную, традиционную, извековечно-рутинную давно он уже заменил, в облегчение рабочих классов, машинностью физической, динамической, механической. Возьмем два-три примера этой машинальной инстинктивности земского строения и экономических операций наших промышленных классов. Оторвите, например, русских промышленников — крестьян, ремесленников, торговцев от их старых пепелищ, от их отцовских и дедовских стадий гаймаков — домоустройства, ремесел и промыслов, и пересадите их куда-нибудь на новую землю, например, в Сибирь: они и там возвратятся к своим первобытным стадиям гаймаков, несмотря на различие климата и всех местных физических условий, и там будут так же, как и в старину, ставить свои починки на лесах, на нови, построят такие же избенки, дворы, амбары, бани, овины и проч., сделают такие же допотопные сохи и бороны, такие же домостроевские красна, такие же телеги и сани, словом, все то же, что испокон века, от времен гостомысловских или домостроевских делали их отцы и деды на их старом пепелище. Напрасно натуралисты будут указывать им на новые, наиболее выгодные, по местным условиям, стадии или отрасли промышленности, как, например, Радде указывал забайкальскому населению. Они не догадаются, не сознают, что на новом месте, в новой области естественной экономии было бы выгоднее и легче обработывать то, что в особенном изобилии дает местная природа, например — добывать и обработывать какие-нибудь минеральные, химические, растительные и животные продукты; или предпринять то, что особенно вызывают местные географические условия, например, разведение и улучшение пород скота для мяса и упряжи, или же, что особенно нужно по местным условиям и потребностям поселений народных, например — устройство мастерских всякого рода — столярных, слесарных, кузниц, фабрик и заводов стеклянных, фарфоровых и вообще гончарных, кожевенных, салотопенных, стеариновых или сально-свечных, полотняных, суконных и проч. и проч. Нет, они, как гусеницы, инстинк-

тивно будут достраивать и в своей новой колонии старые стадии гаймаков — свое старое, изстаринное, домостроевское здание. Оттого и выходит каждая русская колония в Сибири таким стереотипным слепком на примере великороссийских поселений, и вообще точным, неизменным продолжением и повторением допетровских, домостроевских типов и форм хозяйства. В частности, возьмем пример из практики промышленной. С XVI или XVII века некоторые местности, например, Ярославской губернии специально занимаются у нас льняною промышленностью, полотняными изделиями. Многие деревни только и заняты тканием: каждый ткач научил и научает ремеслу своего сына и, достигнув сам известных лет, перестает работать, и место его заступает сын. Как отцы и деды обрабатывали полотно, так же — и сыновья и внуки. Обработки самая первобытная и неудовлетворительная. Нет ни хороших ткацких станков, не знают ни процесса опаливания или проведения тканей по цилиндрам, сильно нагретым и стягающим ворс, ни процессов химического (спиртового) беления посредством хлора и т. п. Беленье и аппретура полотен производится допетровским и потому самым неудовлетворительным образом: для ускорения процесса беленья во многих местах употребляют, например, известь без всякого разбора, знания и без необходимых рациональных предосторожностей: известь съедает ткань, и полотно часто распадается в лоскутья. Зло и вред очевидные. Но извековечная, от отцов и дедов наследованная инстинктивная привычка к старым стадиям гаймака — к старинным приемам и обычаям льняной промышленности, при отсутствии необходимых, рациональных, технических знаний, до того сильна и упорна, что сколько ни показывали, например, крестьянам Ярославской губернии полотняные белильни, с заведениями для аппретуры полотен, устроенные по образцу бельфельдских, что в Вестфалии,— льнопромышленники и ткачи эти упорно возвращались к своим старым стадиям гаймаков — продолжали работать по своим старым рутинным приемам. «Это объясняется,— как замечает бывшая по этому поводу комиссия,— двумя обстоятельствами: во-первых, земледельческое народонаселение наше не любит вообще никаких улучшений, изменяющих старые обычаи и приемы, к которым оно привыкло с давних времен, а во-вторых, обыкновенное беление и аппретура производятся бабами, с помощью столь простых снарядов и способов, что операции эти не влекут за собою

почти никаких расходов. А расходы на усовершенствование беленья, хоть и самые ограниченные (Карнович — устроитель белилен в Ярославской губернии взялся было познакомить крестьян с выгодами рациональных приемов беления за самую ничтожную цену), составляют в глазах их все-таки новую издержку, на которую они не могут смотреть равнодушно. Что же касается до предстоящих им в будущем существенных выгод от выпуска в продажу полотен в более удовлетворительном виде, то, по недостатку предусмотрительности, они еще не в состоянии понять этих выгод» *. Возьмем другой пример из экономии питательных продуктов. Что, например, может быть нужнее и полезнее в сельском хозяйстве разведения картофеля, как необходимого суррогата во многих губерниях, терпящих недостаток в зерновом хлебе, как хорошего кормового средства для скота, как нужнейшего материала для многих отраслей промышленности, например — для курения водки, на приготовление патоки, крахмала и проч. Нет, однако ж, рутинная старина, предпочитавшая, по словам Олеария, даже мясной пище репу, редьку, капусту и другие овощи с тухлой, вонючей рыбой, привыкшая к огородничеству только в пределах «Домостроя», — эта седая старина подняла «картофельные бунты»: и семь или даже десять миллионов староверов доселе твердят, что картофель чертово прозябание, что разводить и есть его грех — отцы и деды не знали и не благословили, и доселе упорно продолжают сеять только репу, редьку, капусту и прочие овощи старинного, допетровского огородничества. А если мы заглянем на наши фабрики и заводы всех видов, взглянем на различные операции обработки продуктов минеральных, растительных и животных, то везде увидим то же преобладание инстинктивной, рутинной привычки над естественнонаучной изыскательностью. Везде, на всех фабриках и заводах доморощенных русских промышленников, издавна унаследованная привычка к старым рутинным приемам и способам фабричных операций мешает развитию промышленности и замедляет успехи нововведений и улучшений, основанных на естественнонаучных опытах и данных. Вот, например, при изобилии пастбищ и скота, при существовании особых скотоводческих народов, на русской земле, кое-как издавна устроились и распространились в России кожевенные фабрики и заводы. Им ли бы не научиться, например, рационально, по пра-

* Тенгоборский. О производит. силах, ч. II, отд. 2, с. 166.

вилам технологической науки, обработывать кожи — снимать, дубить и проч. Технологи, хоть вроде Кибера, показали, как нужно рационально вымачивать кожи в чанах, нагреваемых паром, в легком растворе извести. Относительно дубления самым лучшим из новейших средств найдено употребление дубильного вещества в растворенном виде, т. е. в виде щелоков, приготовляемых из смолистой коры, в которые погружаются шкуры и обработываются с помощью механического аппарата, облегчающего и ускоряющего эту операцию. Нет, однако ж: наши патриархальные доморощенные кожевники и доселе пробавляются старыми дряннейшими и вредными способами отделки кож. Например, для снятия волос со шкур мочат их в известковом растворе, что крайне вредит им; при дублении употребляют серную кислоту, которая тоже часто оставляет на них следы своего разрушительного влияния, и т. п. Деревенские же кожемяки и кожевники держатся еще более старых и рутинных приемов обработки кож, наследованных от хамовников и кожевников древней Москвы. Инстинктивно-рутинное, бессмысленное хозяйничанье наше в области экономии природы иногда доходит до крайней степени бессмыслия, недогадливости и несообразительности. Например, народ наш, в ущерб своим рабочим силам, весьма мало потребляет мяса: всего приходится на человека около 27 фунтов, тогда как в Англии больше 162 ф. Между тем на юге и юго-востоке России огромные, изобильные пастбища и обширное скотоводство: кочуют даже целые орды, специально скотоводческие. Почему бы не сознать экономической выгоды и не догадаться устроить там, в области скотоводства, заведений для соления мяса и для развития торговли солониной. Нет: скота разводят там множество, большею частью по азиатским рутинным обычаям, без всякой заботы об улучшении пород, скот бьют и продают на убой, а солить мясо для себя и на продажу не умеют и не хотят или не думают поучиться. Между тем ужасно представить, какую говядину ест наше простонародье летом там же, в южнорусских и сибирских скотоводческих областях — протухлую, гнилую, даже с червями. Долго ли и трудно ли бы достать и употребить в дело хоть североамериканские правила соления и сохранения мяса соленого. Нет, никто об этом не догадается, хотя тут не нужно никаких особенных издержек, а польза и выгода, между тем, очевидная. Наконец, в тех сферах промышленности, где требуются особенно трудные, специаль-

ные естественные знания, например, знание химии, там особенно обнаружилась пассивность и отсталость русского промышленного смысла. Так, например, в производстве химических продуктов. «Хотя это последнее,— замечает Тенгоборский,— и составляет вспомогательную фабрикацию для всех отраслей промышленности, успехи его не могли, однако ж, быть быстры, потому что оно требует от занимающихся им разнообразных теоретических и практических сведений и постоянного занятия ею, дабы иметь возможность следить за всеми ее успехами, а это не так легко. В течение последнего полустолетия наука эта подвергалась разнообразным изменениям, вследствие множества сделанных в ней открытий, которыми она продолжает обогащаться и поныне. Этим объясняется медленность успехов в России производства химических продуктов. Так, где особенно требуется естествоиспытательный ум, там особенно обнаруживается и малоразвитость, слабость, отсталость русского промышленного смысла. И тут старая, слепая привычка и близорукость мешает и противится полезнейшим и удобнейшим нововведениям. Например, добывание поташа, по старой допетровской привычке беспощадно жечь леса, доселе сопровождается у нас истреблением лесов, тогда как Гейман давно указал на способ сжигания у нас картофельной травы для поташа с большею выгодою и тогда как поташ с выгодою может быть заменен при мыловарении, белении тканей, крашении и набивании ситцев и в стеклянном производстве содою, составляющею у нас отброс при добывании соляной кислоты и содержащеюся в изобилии в растениях озерных, прикаспийских и солончаково-степных *. И тут сколько еще бывает борьбы с рутиной и невежеством. Например, когда заводчик Шипов открыл серный колчедан из Костромской губернии, в уездах: Галичском, Кологривском, Кинешемском и Макарьевском и, по случаю вздорожания серы, стал его употреблять на своих химических заводах, крестьяне обнаружили недоверие к его исследованиям. Он старался внушить крестьянам, чтобы они собирали серный колчедан, для чего давал им образцы, указывал, где и как собирать, и предлагал возить его на завод для продажи. Но все увещания его ни к чему не послужили: крестьянам странно казалось, что он ищет сам колчедан и учит их собирать его, и с каким-то недоверием смотрели на это.

* На которые указал еще Лепехин.

И только впоследствии выгода сбора и сбыта колчедана на химические заводы, наконец, научила их добывать его. Так, рутинные привычки непосредственно натурального приобретательного инстинкта чуть выводились из старой обычной колеи промышленной, то немедленно возвращались в эти колеи и крепко держались их, или обнаруживали слепую инстинктивность, рутинно-наследственную обычность и заведенность промышленных действий, с совершенным отсутствием экономической рациональности.

Так, все зло, весь источник или корень аномального, патологического развития и направления или рутинного застоя экономической жизни людей заключается в незнании сил, законов и данных великой экономии природы, в отсутствии истинных реальных знаний. Доколе господствует незнание природы, сил, законов и продуктивного содержания естественной экономии, дотоле экономические потребности человека ограничены, часто даже ложны и вредны для него самого, дотоле труд человека нерационален, ограничен в сферах и отраслях, непостоянен для самых рабочих классов, непроизводителен или мало, ложно и даже вредно производителен.

Незнание природы есть червь, невидимо, незаметно, а иногда и явно, но всегда и непременно подтачивающий основы, благосостояние и здоровое развитие обществ. Азиатские номадии, охотничьи племена, азиатские империи, Турция, Испания и т. п. наяву истории подтачивались и подтачиваются в самых основах своих этим неумолимосокрушительным червем — незнанием сил и законов природы. Незнание природы везде и всегда создавало только рабов — рабов самой природы и рабов всякой человеческой силы — силы мускулов, силы хитрости и ума, силы обмана и обаяния, силы богатства, силы власти и деспотизма, словом — силы политической, военной, экономической, буржуазной, религиозной и т. п. По незнанию сил, законов и экономии природы человек был бессознателен, невежествен, суеверен, беден, бессилен и потому легко поддавался силе и могуществу природного умственного превосходства, богатства, мускульного преимущества, хитросплетенного обмана и проч. Из рабов природы всегда легко было сделать рабов политического деспотизма,— стоило только, пользуясь их рабством, пассивностью и бессилием в области природы, покорить их силой мускулярной, вооруженной, из бедных и слабых сделать еще беднейшими и слабейшими, оторвать от самостоятельного труда и заставить

повиноваться, работать и служить себе. Равным образом, из рабов природы легко было сделать рабов каст,— стоило только, пользуясь их незнанием природы, страхом и рабством перед грозными и таинственными силами природы, устрашить, застращать грозными, необычайными и непонятными физическими явлениями — громом и молнией, затмением солнца, землетрясениями, неурожаями и т. п., толкуя их хитросплетение, обманчиво и устрашительно для массы.

В мутной воде легко было рыбу ловить. Сила обаятельного влияния ведуна, волхва и жреца и происходящая оттуда влиятельность, авторитетность и власть потому только были возможны, что все подобные обманщики масс, по незнанию сил, законов и экономии природы, не знали других источников доходов, кроме легкого обмана легковерных масс, не знали разумно-выгодной деятельности в области экономии природы. Они не знали и не понимали действительных тайн, секретов и чудес природы, и потому выдумывали свои тайны, чудеса и фокусы ради выгодного для них обмана масс. Вместо фокусов и обманов они не могли раскрывать и возвещать массам великие естественные истины, делать действительно дивные и могучие открытия в области сил и законов природы и, вследствие того, не могли иметь истинного и могучего умственного влияния на массы и прибегали к магии, к волшебству, к фокусам и мистериям разного рода. Сила богатства и происходящая оттуда влиятельность и власть также оттого только были возможны, что богатые классы, или случайно, или вследствие наибольшего практического ума и опытности, нахватавши больше других разных благ в готовой экономии природы, или силой награбивши их у бессильных, слабых и оплошных людей,— и потом употребляли свои богатства или на новое, дальнейшее расхищение экономии природы, или на дальнейший грабеж, эксплуатацию и закабаление классов бедных, слабых, рабочих. Не зная и не умея познавать экономию природы, они не могли иметь на массы интеллектуально-экономического влияния, не могли поучать их своим примером, как надо разумно открывать, извлекать и употреблять естественные материалы и данные для накопления богатства. А вследствие того, умея только безрассудно расхищать экономию природы, они богатым запасом произведений, необходимых для пищи, одежды и жилищ, умели только привлекать, закабалять и порабощать себе массу людей голод-

ных и бедных. Они не понимали богатства, как взятого в экономии природы займа, средства и силы для рациональной, естественнонаучной обработки и фабрикации сырых материалов и продуктов природы, для искусственного воспроизведения, усовершенствования и разнообразного применения естественных произведений, для открытия и разнообразного экономического применения сил и законов естественной экономии. И потому, не зная такой разумной деятельности, полезной и для себя и для масс, они только порабощали и эксплуатировали бедные классы, просившие у них работы, пищи, одежды и жилища. Наконец, мускулярная сила, сила воина опять потому только возможна была и возрастала в могущество и силу Фараонов, Тамерланов, Аттилы и Александров Македонских, в могущество и деспотизм Цезарей, Неронов, в силу и деспотизм разных сатрапов, конунгов, викингов, князей и т. п., что в темном царстве незнания природы сильные и воинственные люди не имели понятия о назначении силы мускулов, как факторов разнообразной и полезной работы в области экономии природы, не знали экономии физиологических сил, не находили исхода, не знали широкого поля природы для борьбы с физическими силами, не знали умственных, естественнонаучных занятий, не знали рационального и производительного экономического употребления своих сил в сфере естественной экономии. И вот поэтому так аттиловски, сатрапски и деспотически тратили свои силы на покорение и плен народов, на разорение человеческих обществ, на истребление человечества, на созданне темных царств рабов природы и фаронизма. Столько губительной траты сил производит, или лучше, так уродливо, безобразно извращает и зловредно-карательно направляет человеческие силы незнание природы. Да, при этой мысли, поймешь и почувствуешь всю глубокую справедливость следующих слов Либиха. «В ряду зол,— говорит он,— которыми страдает человечество, незнание есть бесспорно одно из главных и притом самое большое. Богатство, как бы оно велико ни было, не спасет от обеднения человека, которому не достает знания, а бедняк, обладающий знаниями, становится богатым при пособии их. Бессознательно, сам своими стараниями, своим прилежанием и заботами сельский хозяин, не обладающий знаниями, только ускоряет свое разорение, урожаи на его полях постоянно уменьшаются, и, наконец, его внуки и правнуки, столь же невежественные, не могут уже поддержать свое

существование на том участке земли, на котором родились; их земля переходит в руки того, кто обладает знанием, потому что в знании лежит сила, которою приобретается капитал и могущество, и эта сила, по неизбежному закону природы, изгоняет из наследия предков потомка, неспособного к сопротивлению. Животное лишено возможности собственною деятельностью обеспечить свое существование; оно подчинено закону природы, который управляет его существованием и обеспечивает его. Но для человека, который постигает законы природы, закон является не властелином его судьбы, а слугою, который служит ему беспрекословною и деятельною службою. Животное, появляясь на свете, уже владеет всем своим знанием и мощью, они развиваются в нем без его содействия; человек же одарен разумом и этим даром отдален от животных; разум его божественный талант, который человек должен пускать в дело и о котором скажется: «всякому имеющему дается, а у неимеющего возьмется и то, что имеет»; только то, что человек приобретает посредством этого таланта, дает ему власть над силами природы. Заблуждение, необходимое последствие незнания, должно когда-нибудь быть исправлено; кто сознал заблуждение, не остается на его стороне, и борьба заблуждения с юною истиною есть естественное стремление человека к познанию; в борьбе должна окрепнуть истина; и если заблуждение остается победителем, то это только признак, что истина должна расти, а не значит, что заблуждение есть истина. Сыздавна лучшее было врагом *хорошего*, но это не объясняет, почему так часто незнание бывает врагом разума!» *

[ПАМЯТИ М. В. ЛОМОНОСОВА]

Отрадный факт, что и мы, русские, стали наконец торжественно воспоминать не одни какие-нибудь военные подвиги, но и умственные заслуги наших замечательных общественных деятелей, двигателей нашего просвещения, хотя история умственной жизни нашей не приготовила нам ни юбилея своего Кеплера или Галилея, ни юбилея своего Шекспира. Радостно и то, что общество русское как

* Химия в прилож. к земледелию и физиологии растений, с. 191.

нельзя более кстати празднует в настоящий год юбилей нашего Декарта или Бэкона — бессмертного Ломоносова — преобразователя нашей умственной жизни и начинателя нашего реального образования. Нам, сибирякам, нельзя было не откликнуться на этот истинно народный праздник, между прочим и потому, что все первые пролагатели путей колонизации и культуры Сибири, все первые поселенцы ее — наши предки были земляки Ломоносова, и в нас есть значительная доля крови и наречия поморцев, холмогорцев, архангельцев. И память об Ломоносове в настоящее время особенно назидательна для всего русского общества и, в частности, для нас — сибиряков.

При одном воспоминании имени Ломоносова затрагиваются самые живейшие струны нашей социальной жизни, затрагиваются все высочайшие, первейшие умственные потребности нашего времени, насущнейшие вопросы о народном образовании.

Ломоносов был преобразователем нашей умственной жизни. Вспомните, что такое была древняя допетровская Россия, боявшаяся естественных наук, как ереси и волшебства, создавшая суевернейший раскол из-за бороды, из-за сложения перстов, из-за букв и проч. и теперь еще доживающая свой век в огромных массах народа? Это была полнейшая невежественная и суеверная раба природы. От незнания природы она не знала никакой интеллектуальной, разумной культуры, никаких рациональных искусств, ремесл и промыслов, никаких фабрик и заводов. От незнания, например, горной природы — богатой экономии минерального царства Урала и Сибири,— она не знала горных промыслов, и вследствие того, была не только бедна, безденежна, но и безоружна, отчего долго не могла свергнуть с себя тяготевшее над нею иго азиатских орд и сразу проложить себе морской и территориальный путь к Западу. От незнания горной, полезной производительности древняя Россия была крайне бедна даже самыми простыми земледельческими орудиями, так что московские цари должны были в XVII веке рассылать по областям сохи, сошники, серпы и проч. А какое миросозерцание тогда господствовало не только в массах народа, но и в высших классах общества? «Век тогдашний,— говорит Болтин [1],— благовременен был пустосвятству, обману и подлогам; ханжи и лицемеры чудесам не верили, но пользу свою в том обретали; народ верил и обманщиков обогащал. Сколько вещей обыкновенных, простых, ничего не значущих,

принято было за святыню». Даже двор царицы Параскевы Федоровны, по словам Татищева[2], «от набожности был госпиталь на уродов, ханжей, в роде сумасбродного подъячего Тимофея Архиповича, которого суеверы почитали за святого и пророка». И в то время, когда Ломоносов, увлеченный в раскол, с жаждой знания, бежал за рыбным обозом в Москву, слушал там схоластические науки и заиконоспасских монахов и потом отправился за границу изучать физику и философию у Вольфа,— и в то время было множество фанатиков Канитопов, которые «с четками в руках, читали часослов и ворчали — кричали, что семя науке вредно, что ехать за границу учиться — значит погублять свою душу, что физика, математика и геометрия — богоотречепные книги, что грех испытывать природу — тайны Божии» и т. п. И вот, в такое-то время, в этой темной туче облегших народ суеверий, прогремело очистительное, просветительное слово Петра Великого о западной науке. И Ломоносов, восторженно благоговевший перед гением Петра, воспевавший его в поэмах, превозносивший почти на каждой лекции, в каждом слове о природе, о физике, о химии,— Ломоносов был единственным, неутомимо энергическим продолжателем его просветительной реформы и деятельности, всю жизнь свою посвятивший специально на просвещение сынов российских, на наставление молодых людей. Он, во-первых, во всю жизнь свою старался разбивать народные суеверия и предубеждения относительно природы и естествознания и пропагандировал идею реального образования. Снисходя к умственным слабостям большинства массы — общественной,— он старался помирить народную веру с природой, великую книгу природы с книгой откровения. «Природа и вера,— говорил он,— суть две сестры родные и никогда не могут придти в распрю между собою. Создатель дал роду человеческому две книги: в одной показал свое величество, в другой свою волю. Первая книга — видимый сей мир. В этой книге сложения видимого мира физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных, в натуру влиянных действий суть тоже, что в книге священного писания пророки, апостолы и церковные учителя. Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерять циркулем. Также не здраво рассудителен и учитель богословия, если он думает, что по псалтыри можно научиться астрономии или химии». Какое бы явление природы ни рассматривал Ломоносов, го-

ворил ли, например, о прохождении Венеры через солнце, какое наблюдали в С.-Петербургской академии наук 26 мая 1761 года, он прямо метил, между прочим, на то, чтобы рассеять народные заблуждения и распространить истинное естественнонаучное понятие. «Такое редко случающееся явление,— говорил он,— требует двоякого объяснения. Во-первых, должно отводить от людей непросвещенных никаким учением всякие неосновательные сомнения и страхи, которые бывают иногда причиною нарушения общего покоя. Не редко легковерием наполненные головы слушают и с ужасом внимают, что при таких небесных явлениях пророчествуют бродящие по миру богаделенки, которые не только во весь свой долгий век о имени астрономии не слыхали, да и на небо едва взглянуть могут, ходя сугорбясь... Второе объяснение должно простираться до людей грамотных, до чтецов писания и ревнителей православия: кое дело само собою похвально, если бы иногда излишеством своим не препятствовало приращению высоких наук». Всецело проникнутый глубокою любовью и восторженным энтузиазмом к природе, сам испытавши высокое умственное наслаждение и великую пользу от естествознания, употреблявший, по собственным словам его,— каждый досужный час, вместо бильярда, на физические и химические опыты и считавший их «движением вместо лекарства»,— Ломоносов всячески старался вселить и в обществе любовь к природе, к естествознанию. Каждое его слово о природе, о физике, о химии, о металлургии и проч. начиналось энергическим и вдохновенно убедительным призывом — полюбить природу, полюбить изучение. Приступая к публичному чтению физики в 1750 году и в программе изобразивши высокое этическое, нравственное значение и великую реальную пользу естествознания,— Ломоносов публично призывал «желающих учиться натуральной философии в физические камеры Академии на публичные физические опыты, ничего иного от них не желая, как только постоянного слушания». «И смотреть только на роскошь преизобилующей натуры,— говорил он,— есть чудное и восхищающее дух увеселение, и приятно, и вожделенно, и полезно, и свято. Но это блаженство может быть приведено в несравненно высшее достоинство при подробном познании свойств и причин самих вещей. Кто знает свойства и смешение малейших частей, составляющих тела, исследовал расположение органов и движения законы, натуру видит как некоторую художницу, упраж-

няющуюся перед ним без закрытия в своем искусстве, видит, как она почти умерщвленные от зимнего холода деревья весною опять оживляет, как обогащает лето жатвою и плодами и готовит семена к будущему времени, как день и ночь, зной и стужу умаляет и умножает, движет и удерживает ветры, дождь ниспукает, зажигает молнии и громом смертных устрашает, управляет течение вод и прочие удивительные действия производит,— сколь высшее наслаждение имеет он перед тем, кто только почти на внешний вид вещей смотрит, и вместо самих, почти одну тень их видит. Кто такие мысленные рассуждения о натуральных вещах приводит в действие в гражданских или домостроительных предприятиях,— того надежда на окончание его дел тем тверже и увеселительнее, и по окончании их удовольствие тем полнее и безопаснее, чем яснее видит он сокровенные силы рачительной природы в произведении своих предприятий. Отсюда ясно, что блаженства человеческие могут быть увеличены и приведены в высшее достоинство только яснейшим и подробнейшим познанием физики». «Испытание натуры трудно, однако полезно, свято»,— так начал Ломоносов слово о происхождении света. В высшей степени драгоценно и многозначительно то, что Ломоносов деятельнейшим образом старался ввести в народное образование великую науку — химию, вполне понявши ее громадное значение для народной культуры. С этою целью он произнес 6 сентября 1751 г. свое замечательное слово о пользе химии. К сожалению, время не позволяет нам привести на память замечательнейших мест из этого слова.

И не словами только, но и своими физическими и химическими опытами и металлургическими исследованиями Ломоносов пролагал путь к новому, реальному образованию русского общества. Мы так близоруки были доселе, что по настоящее время не оценили надлежащим образом естественнонаучных работ и заслуг Ломоносова. Между тем лучшие знаменитые западные натуралисты того времени поняли и достойно оценили и гений, и труды Ломоносова. Знаменитый математик Эйлер, о котором Екатерина Великая говорила, призывая его вторично в Россию: «Я уверена, что Академия моя возродится из пепла от такого важного приобретения, как Эйлер, и заранее поздравляю себя с тем, что возвратила России великого человека». Этот Эйлер писал Ломоносову от 23 марта 1748 года: «Удивляюсь я многопроницательности и глубине ва-

шего остроумия в изъяснении крайне трудных химических вопросов. Из сочинений ваших с величайшим удовольствием увидел я, что вы в истолковании химических действий далеко отступили от принятого у химиков порядка и с обширным искусством в практике соединяете высокое знание. Поэтому не сомневаюсь, что вы доведете до совершенной достоверности не твердые еще и сомнительные основания этой науки, так что ей после и по справедливости дано будет место в ряду физических наук». Тот же Эйлер писал президенту Академии Разумовскому: «Все диссертации Ломоносова не только хороши, но и весьма превосходны; ибо он пишет о самых необходимых предметах физических и химических, которые поныне не знали и не могли объяснить самые остроумные люди. При этом случае я должен отдать справедливость Ломоносову, что он имеет превосходный гений к объяснению физических и химических явлений. Желательно, чтоб и другие академии в состоянии были сделать такие открытия, какие показывал Ломоносов». В самом деле, Ломоносов, при самых ничтожных тогдашних средствах, единственно силой своего гения и неутомимыми, рационально направленными опытами при помощи инструментов, большею частью им самим изобретенных, доходил до таких важнейших физических и химических открытий, которые после прославили знаменитые имена Лавуазье[3], Тиндаля, Грове[4] и других. Прочитайте, например, его слово о воздушных явлениях, происходящих от электрической силы, сказанное 26 ноября 1753 года,— из него увидите, что Ломоносов совершенно независимо от Франклина и раньше его открыл воздушное электричество и объяснил явление грома. Тут же он высказал много таких мыслей, которые мы теперь встречаем в сочинениях Тиндаля и Грове, как новость. Например, Ломоносов решительно отрицает существование особых, как он сам называет, теплотворных и всяких чудотворных материй, а видит только разные формы изменения в состояниях материи и прямо говорит о законе соотношения и превращения и о происхождении отсюда новых сил. И электрической силы,— замечает он,— суть те же причины: движение, трение или теплота. Прочитайте его слово о происхождении света, вы увидите, что и здесь гений его возвышается до тех выводов, какие после уже развивали Тиндаль и Грове. «Доказано мною,— говорит он,— в рассуждении о причине теплоты и стужи, что теплота происходит от коловратного движения частиц,

составляющих самые тела». Не то же ли это, что по учению новейших химиков и физиков, молекулярное движение частичек вещества. «Теплотворные и всякие чудотворные материи,— замечает Ломоносов,— приняты произвольно. Неоспоримо, что разные движения суть причины теплоты и света, свет есть зыблющееся движение». Не так ли же рассуждает Грове в своем замечательном сочинении о соотношении физических сил? А сколько новых и в высшей степени полезных в то время мыслей высказал Ломоносов в своем слове о происхождении металлов, в рассуждении о мореплавании, о магнитной теории и земном магнитизме, о теории морских течений, о метеорологии и предсказании погоды и т. п.— все это излагать в настоящие минуты, к сожалению, и не время, и не место, и я отлагаю это до особой статьи в одном из наших журналов. Теперь же спешу выразить хоть одно или два из тех желаний, какие невольно внушает воспоминание о бессмертном Ломоносове и которые, надеюсь, сочувственно разделит со мною всякий мыслящий.

Чем бы лучше всего можно было ознаменовать и увековечить память бессмертного Ломоносова? Думаю, тем, что всего более желал, к чему всю жизнь свою стремился и Ломоносов. Ломоносов, во-первых, возбудил мысль о первом русском университете, и его недаром называют родителем Московского университета. Шувалову он однажды писал: «Принимаю смелость, для общей пользы науке в отечестве, докучать, чтобы вашим сильным ходатайством дан был из высокой канцелярии формуляр университетской привилегии для ускорения инавгурации и порядочного течения учений. Сие будет конец моего попечения об успехах в науках сынов российских». При воспоминании одной этой великой энергии и настойчивости Ломоносова в деле основания первого русского университета,— чего бы лучшего, какой пирамиды нам, сибирякам, желать, в увековечении памяти Ломоносова, как не университета в Сибири. Да, университета ждут все молодые поколения сибирские, не только русские, но и инородческие, в массе которых гибнет множество Ломоносовых, Банзаровых. Университета ждет, в университете крайне нуждается наша мягкая, бездумная, обедненная, нарядолюбивая, карто-игривая, китайско-монгольская общественная жизнь сибирская; ибо, по крайней удаленности от всепросвещающего Запада, по крайне невыгодной заброшенности и замкнутости почти в самом полярном углу Азии,

среди полудиких звероловов и номадов в холодном климате, среди дикой, неизученной и некультированной экономии природы,— умственная жизнь сибирского общества требует живейших импульсов, самых могучих, динамически двигательных сил европейской науки, интеллигенции и мысли, какие могут развиваться и воспитываться только в университете. Университета требует, наконец — скажу смело, самая природа громадной и разнообразной сибирской земли, привлекавшая и занимавшая Палласов, Гумбольдта, Риттера и множество натуралистов, ибо ждет и требует университетски развитых естествоиспытателей, требует, для исследования каждой местности, каждой природной формы, каждого физического типа, всякой области и всякого предмета своей естественной экономии неотложно требует своих Шварцов, Бэров, Миддендорфов, Врангелей, Радде, своих Гумбольдтов, Розе, Ерманов и проч. Без университета ни Сибирский Отдел Географического Общества, ни Статистические Комитеты, ни гимназии и прогимназии не могут иметь живейшей сильной помощи и поддержки, высшего руководства и правильного корректива или регулятора в своей ученой и народообразовательной деятельности, лишаются живейших импульсов и многих вспомогательных сил и средств. Но знаю, что грифы, стерегущие злато сибирское, крезы сибирские, не понимающие или не ценящие невещественных благ наук — предпочтут лукулловские и всепокорнейшие обеды наукам университета, а обюрократившееся и исповесничавшееся поколение сибиряков, преуспевающее в картофилии и прочих подобных гражданских доблестях и ограничивающееся модными припадками либерального бултыхо-болтания, свысока скажет: pia desideria. Ломоносов старался рассеивать народные суеверия и предрассудки и опопуляризировать естественные истины, и желал поучительных для народа изданий. Но мы, и в этом отношении, не можем почтить память его изданием, например, для народа Ломоносовского естественнонаучного сборника и т. п. Так пусть же, по крайней мере, исполнится хоть одно желание Ломоносова — распространение реальных знаний в детях бедного рабочего населения. Пусть, во имя Ломоносова — хоть один или два сибирских самородка, подобно ему, по крайней мере, из ремесленной школы или прогимназии проложат себе путь в университет или другое какое-нибудь высшее реально-образовательное заведение, дабы,— скажем стихом Ломоносова:

Что в отечестве оставлено презренно,
Приобрело ему сокровище бесценно,
И чтоб из тяжкого для общества числа
Воздвигнуть с правами похвальны ремесла,
Внемлите с радостью полезному питомству,
Рачители добра грядущему потомству!
Похвально дело есть убогих призирать,
Сугуба похвала для пользы воспитать:
Натура то гласит, повелевает вера...
И божественных Платонов
И великих, славных истинно Невтонов
Может и российская земля рождать.

Может,— прибавим,— и сибирская земля рождать. Дадим возможность, средства, стипендии.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем издании собраны работы публицистов-шестидесятников — М. А. Антоновича, Г. Е. Благосветлова, В. А. Зайцева, Н. В. Соколова, Н. В. Шелгунова и А. П. Щапова, дающие представление об их политических, социальных и нравственных взглядах. В силу ограниченного объема сборник не может претендовать на полноту отражения творчества революционных демократов.

Тексты печатаются по следующим изданиям:

Антонович М. А. Литературно-критические статьи. М.— Л., 1961. *Благосветлов Г. Е.* Сочинения Благосветлова. Спб., 1882. *Зайцев В. А.* Избранные сочинения в 2-х т. М., 1934. *Соколов Н. В.* Отщепенцы. Спб., 1866. *Шелгунов Н. В.* Сочинения. Спб., 1904; *Шелгунов Н. В.* Избранные педагогические сочинения. М., 1954. *Щапов А. П.* Собрание сочинений. Т. I—III. Спб., 1906. Крестьянское движение в России в 1857—1861 гг. Сборник. М., 1963.

М. А. АНТОНОВИЧ

Максим Алексеевич Антонович (1835—1918) родился в семье дьячка в небольшом городке Белополье Харьковской губернии. Казалось, путь его предопределен и впереди — духовная карьера: мальчик был отдан в духовное училище, по окончании его переведен в Харьковскую семинарию, из которой выпущен с серебряной медалью — высшей наградой; затем — Петербургская академия... Но, видимо, время было такое, что талантливому человеку не по душе оказывалось все, что так или иначе не было связано с вопросами общественного развития. Еще в Харькове Антонович убегал из семинарии на лекции в университет. А в Петербурге уже принялся за сочинение статей, познакомился с Добролюбовым, в 1859 году начал сотрудничать в «Современнике», и с этого времени начинается большая, полная превратностей и напряженного труда,

литературно-общественная деятельность Антоновича. А с духовной карьерой, при активном вмешательстве Чернышевского, ему удалось распрощаться...

Поразительная работоспособность и широта научных интересов позволили Антоновичу в короткий срок стать заметной фигурой в литературной жизни России 60-х годов.

После смерти Добролюбова и ареста Чернышевского в 1862 году Антонович становится ведущим критиком «Современника». Особенности его личности наиболее выпукло проявились в полемических статьях, где были и яркий публицистический талант, и убежденность революционера-демократа, и вместе с тем прямолинейность и резкость в суждениях.

Первым серьезным литературно-критическим выступлением Антоновича была статья «Асмодей нашего времени» (Современник, 1862, № 3) — о романе Тургенева «Отцы и дети». Критик доказывал, что Тургенев написал пасквиль на «молодое поколение», в карикатурном виде изобразил его представителей. Эта точка зрения подверглась резкой критике со стороны всех крупных журналов и послужила отправным пунктом длительной полемики между «Современником» и «Русским словом».

После закрытия «Современника» в 1866 году интенсивность литературно-общественной деятельности Антоновича значительно снижается. С этого времени и до конца жизни основные занятия его лежат в области естествознания и философии.

В 1896 году выходит в свет большой научный труд Антоновича — итог многолетних разысканий и раздумий — «Чарлз Дарвин и его теория...»

В начале XX века он приступает к работе над воспоминаниями о Чернышевском, Добролюбове и Некрасове, с 1902 по 1915 год публикует их в различных журналах — «Былое», «Журнал для всех», «Минувшие годы», «Голос минувшего». Умер он в революционном Петрограде на 85-м году жизни.

О ПОЧВЕ

(Не в агрономическом смысле, а в духе «Времени»)

Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1861, № 12.

Статья положила начало длительной полемике между «Современником» и журналами М. М. Достоевского и Ф. М. Достоевского «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865). Ряд публикаций во «Времени» недвусмысленно нацелен был против общественно-политической и философской позиции «Современника»—можно указать на такие статьи, как «Г.-бов и вопрос об искусстве» Ф. Достоевского,

«Еще о петербургской литературе», «Об индюшках и о Гегеле», «Литературные законодатели» Н. Страхова.

Идейная программа «Времени» была кратко и выразительно резюмирована в объявлении о подписке на 1862 год, автором которого был Ф. Достоевский. В объявлении говорилось: «Движение вперед — явление нормальное, законное, и боже нас сохрани противоречить ему! Но отказавшись от того, что было бесплодного и губительного в явлениях нашей прежней жизни, мы унеслись на воздух и отказались чуть ли не от самой почвы. Без почвы ничего не вырастет и никакого плода не будет. А для всякого плода нужна *своя* почва, *свой* климат, *свое* воспитание. Без крепкой почвы под ногами и движение вперед невозможно: еще, пожалуй, поедешь назад или свалишься с облаков».

В своих взглядах на прогресс редакция «Времени» стояла на просвещенческо-моралистических позициях, чего, естественно, не могли оставить без внимания революционные демократы.

На статью Антоновича «Время» ответило выступлением Н. Страхова (Н. Косицы) в январской книжке журнала за 1862 год— «Пример апатии (Письмо в редакцию «Времени» по поводу статьи г. Антоновича «О почве»)». Затем появилась статья Ф. Достоевского «Два лагеря теоретиков» (1862, февраль). «Современник» (№ 4) отвечал статьей Антоновича «О духе «Времени» и о г. Косиц<е> как наилучшем его выражении». Полемика прервалась на статье Н. Страхова «Нечто об опальном журнале» (в майской книжке «Времени»), так как в июне 1862 года издание «Современника» было на восемь месяцев приостановлено.

Полемика возобновилась с выходом «Современника» в 1863 году статьями М. А. Антоновича — «Краткий обзор журналов за истекшие восемь месяцев» и М. Е. Салтыкова — «Литературная подпись» (в № 1—2), «Тревоги «Времени» М. Е. Салтыкова (в № 3) и статьями Ф. М. Достоевского «Молодое перо» в № 2 и «Опять молодое перо» в № 3 «Времени».

Прекратилась полемика лишь в 1864 году; последними «залпами» в ней были статьи Достоевского «Чтобы кончить» (Эпоха, № 9) и Страхова «Записки летописца» (Эпоха, № 10).

[1] «*Маяк* современного просвещения и образованности» (1840—1845) — ежемесячный петербургский журнал, редактор-издатель — С. А. Бурачек (1800—1876).

[2] *Мей* Лев Александрович (1822—1862) — поэт, драматург и переводчик. Автор исторических драм «Царская невеста» (1849) и «Псковитянка» (1859), на основе которых созданы одноименные оперы Н. А. Римского-Корсакова.

[3] Имеется в виду, в частности, высказанное Ап. Григорьевым в статье «Народность и литература» (Время, 1861, № 2) следующее

утверждение: «...в сущности, нет уже более теперь у нас двух направлений, лет за десять тому назад резко враждебно стоявших одно против другого,— *западного* и *восточного*. Факт этот пора засвидетельствовать для общего сознания».

[4] *Глубиная* книга («Глубинная», т. е. премудрая) — духовный стих, возникший предположительно в конце XV в. Содержит космогонические идеи, этические правила. *Толковые* книги — содержали объяснения юридических законов и правил.

[5] *Стоглавник* (Стоглав) — сборник постановлений церковного собора 1551 года. Состоял из 100 глав — отсюда название.

[6] *«Русская правда»* — древний юридический памятник эпохи Киевской Руси, представляющий собой свод древнерусского права, созданный на основе так называемого обычного права, княжеского законодательства и судебной практики.

[7] *Судебники* 1497 и 1550 гг.— сборники московского законодательства, источниками которых являлись прежние юридические сборники — «Русская Правда» и «Псковская судебная грамота». Судебник 1550 г. значительно обновлен по сравнению с первым — по указаниям Ивана Грозного.

[8] *Уложения* — различные гражданские и уголовные кодексы.

[9] *«Мономахово завещание»* — «Поучение Владимира Мономаха», написанное великим князем Киевским Владимиром (1053—1125) как наставление для его детей.

[10] *«Домострой»* — русский письменный памятник XV—XVI вв., в котором отражен уклад общественных, семейных и хозяйственных отношений горожанина. Домострой — перевод с греческого oikonomia (oikos — дом, nomos — закон).

[11] Имеется в виду «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI—XVIII веках» (Спб., 1860) историка Н. И. Костомарова (1817—1885).

[12] *«Русский вестник»* (1856—1906) — московский литературно-политический журнал, редактором-издателем которого был М. Н. Катков (1818—1887).

[13] *Гутенберг* Иоганн (ок. 1400—1468) — немецкий изобретатель европейского способа книгопечатания.

[14] *Даль* Владимир Иванович (1801—1872) — писатель, собиратель фольклора, лексикограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» (т. 1—4, 1863—1866). Лит. псевдоним — Казак Луганский.

[15] *Белюстин* — Иоанн Иоаннович Беллюстин (1820—1890), писатель, автор работ по церковным вопросам.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИЗИС

Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1863, № 1—2.

Появившаяся после восьмимесячного перерыва в издании журнала статья должна была показать читателю, что «Современник» не собирается сдавать свои позиции. Любопытно суждение о ней цензора, писавшего в своем заключении, что статья «главнейше имеет целью представить в самом невыгодном свете деятельность тех писателей, которые приняли направление, согласное с видами правительства, и защищают здравые начала порядка и рационального прогресса. Писатели эти, названные по именам, подвергаются со стороны автора ожесточенным нападкам и даже самым обидным намекам. Такими же мыслями и духом проникнута и другая статья «Краткий обзор журналов» (В. Е. Рудаков. Последние дни цензуры в министерстве народного просвещения.— Исторический вестник, 1911, сентябрь, с. 980).

[1] Имеется в виду петербургская газета «Северная пчела» (1825—1864), которую издавали Ф. В. Булгарин (1789—1859) и Н. И. Греч (1787—1867) — совместно с 1831 по 1859 г.

[2] См. драматическую сцену Гоголя «Утро делового человека».

[3] *Самарин* Юрий Федорович (1819—1876) — общественный деятель, историк, философ, публицист; один из идеологов славянофильства. Участвовал в подготовке проекта крестьянской реформы 1861 г.

[4] *«Атеней»* (1858—1859) — московский журнал. Выходил два раза в месяц. Редактор-издатель Е. Ф. Корш.

[5] *«Русская речь»* (1861—1862) — московская газета; издавалась Е. В. Салиас де Турнемир (лит. псевдоним — Евгения Тур).

[6] *Павлов* Николай Филиппович (1803—1864) — писатель и журналист, автор повестей «Именины», «Аукцион», «Ятаган» (сб. «Три повести», 1835).

[7] *Чичерин* Борис Николаевич (1828—1904) — юрист, философ, историк либерального направления. Создатель так называемой «государственной школы» в русской историографии.

[8] *Ржевский* Владимир Константинович (1811—1885) — публицист, чиновник министерства внутренних дел.

[9] *Громека* Степан Степанович (1823—1877) — публицист, бывший жандармский офицер. Выступал со статьями в «Отечественных записках» и «Петербургских ведомостях», направленными против революционно-демократической печати.

[10] *Скарятин* Владимир Дмитриевич — публицист, издатель газеты «Весть».

[11] *Розенгейм* Михаил Павлович (1820—1887) — поэт и журналист. «Стихотворения Михаила Розенгейма» (Спб., 1858) Н. А. Добролюбов подверг язвительной критике в ноябрьской книжке «Современника» за 1858 г.

[12] Цитата из сатирического стихотворения Конрада Лилиеншвагера (псевдоним Н. А. Добролюбова в «Свистке») — Современник, 1859, № 4.

[13] Имеется в виду заявление экономиста Е. И. Ламанского (1825—1902) на публичном диспуте (13 декабря 1859 г.) в петербургском Пассаже о том, что русское общество «не созрело» для публичного обсуждения спорных вопросов. По этому поводу Н. А. Добролюбов выступил со статьей «Любопытный пассаж в истории русской словесности» — Современник, 1859, № 12.

[14] *Расплюев* — персонаж комедии А. В. Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина».

[15] Имеется в виду выступление журнала «Иллюстрация» (1858, № 35), против предоставления евреям гражданских прав. Статья, автором которой был В. Зотов, вызвала многочисленные протесты со стороны виднейших литераторов и ученых.

[16] Очевидно, имеется в виду сатирическая «Элегия» М. Розенгейма (Русский вестник, 1859, № 5).

[17] *«Поярков»* — рассказ П. Мельникова-Печерского (Русский вестник, 1857, № 4).

[18] Речь идет о драматической поэме «Дон Жуан» и повести «Князь Серебряный» А. К. Толстого, опубликованных в «Русском вестнике».

[19] Имеется в виду статья С. Громеки «Современная хроника России» в «Отечественных записках» (1862, № 5).

[20] *Фихте* Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма; отвергал кантовскую «вещь в себе», выводя весь мир, все, что «не-я», из субъективной деятельности «я».

[21] Выражение М. Н. Каткова из его статьи «О нашем нигилизме. По поводу романа Тургенева (Русский вестник, 1862, № 7).

[22] Цитата из статьи «Принципы и ощущения» — об «Отцах и детях» Тургенева (Отечественные записки, 1862, № 3, отд. III, с. 109).

[23] Неточная цитата из статьи М. Каткова «О нашем нигилизме...»

[24] Неточная цитата из статьи С. Громеки в «Отечественных записках» (1862, № 5).

[25] В начале 1862 г. студенты и часть профессоров в знак протеста против высылки правительством историка профессора П. В. Павлова (эта мера была вызвана содержанием публичной лекции, прочитанной Павловым в ознаменование тысячелетия

России) приняли решение прекратить публичные лекции в здании Петербургской городской думы, куда они были перенесены после закрытия университета в связи со студенческими волнениями. Об этом решении студенты объявили 8 марта после лекции М. Н. Костомарова, который выразил свое несогласие с ним, что, в свою очередь, вызвало бурю негодования среди студентов.

[26] Цитата из статьи М. Каткова «О нашем нигилизме...» — Русский вестник, 1862, № 7, с. 411—412.

[27] Цитата из статьи С. Громеки (Отечественные записки, 1862, № 5).

[28] Цитата из статьи «Принципы и ощущения». (См. примеч. 22.)

[29] *Гайм* Рудольф (1821—1901) — немецкий историк философии и литературы.

[30] *Штейн* Генрих Фридрих Карл (1757—1831) — прусский государственный деятель, глава правительства Пруссии в 1807—1808 гг.

[31] *Фрис* — Фриз Якоб Фридрих (1773—1843) — немецкий философ-идеалист, последователь И. Канта и Ф. Якоби (1773—1819), развившего теорию чувства и веры.

[32] Цитата из статьи М. Каткова «О нашем нигилизме...»

[33] Возможно, что речь идет о полемике Ржевского (Русский вестник, 1862, № 12) с Н. Семеновым, опубликовавшем в № 8 «Русского вестника» статью «Освобождение крестьян в Пруссии».

Г. Е. БЛАГОСВЕТЛОВ

Григорий Евлампиевич Благосветлов (1824—1880) родился в семье полкового священника в г. Ставрополе-Кавказском. Образование получал сначала в духовном училище, затем в саратовской духовной семинарии.

Летом 1844 г. из Саратова он пешком отправился в Петербург, намереваясь поступить в университет, но опоздал. Поступил в Медико-хирургическую академию, а в 1846 г. перешел на юридический факультет Петербургского университета. Окончив университет со степенью кандидата прав, Благосветлов в течение ряда лет преподавал русский язык и словесность в военных учебных заведениях, затем в Мариинском институте благородных девиц. Но преподавательская карьера, как и духовная, не состоялась. Образ мыслей и аанятий молодого учителя не соответствовал полицейским идеалам. Сам Николай I распорядился: «Учителя Мариинского института Благосветлова уволить от занимаемой должности и впредь на службу по ученой части не определять». Вскоре он едет за границу (1857 г.), в Лондоне знакомится с Герценом и становится учителем его дочерей. В 1860 г. возвращается в Петербург

и активно включается в революционную работу — как легальную, так и подпольную. (В 1862 г. он входил в состав ЦК «Земли и воли»).

В июне 1860 г. издатель «Русского слова» Г. А. Кушелев-Безбородко приглашает Благосветлова заведовать редакцией, а ровно через два года передает ему право издания журнала. Благосветлов обнаруживает не только издательскую хватку, но и заметное дарование публициста. Достаточно посмотреть, каков диапазон тем, к которым обращался в своих работах Благосветлов, судя хотя бы по включенным в данный сборник статьям: здесь обстоятельный разговор о деяниях «мирного» Роберта Оуэна и воителя Джузеппе Гарибальди; вопросы, связанные с распространением грамотности среди народа; проблемы отношений между правительством и народом; исторические пути развития России... Что касается интеллектуального уровня этих статей, то можно из них выбрать немало примеров, свидетельствующих о точном и ясном понимании автором существа важнейших вопросов не только современности...

В 1866 г., после закрытия «Русского слова», Благосветлов принимается за издание нового журнала — «Дело», привлекает к сотрудничеству в нем писателей-демократов, в частности Н. В. Шелгунова, который опубликовал в «Деле» множество статей.

В 1870-е годы Благосветлов выступает в печати главным образом с библиографическими и полемическими статьями; литературная деятельность его в эти годы не столь значительна, как в предшествующее десятилетие, но суть ее оставалась прежней: это была деятельность просветителя-демократа, активного участника освободительной борьбы в России.

ГАРИБАЛЬДИ

Впервые опубликовано в журнале «Русское слово» — 1860, № 8.

[1] *Меттерних* Клеменс (1773—1859) — министр иностранных дел Австрии (1809—1821), канцлер (1821—1848). Организовал систему полицейских репрессий и разжигания национальной вражды в Австрийской империи.

[2] *Мадзини* (Mazzini) Джузеппе (1805—1872) — один из лидеров национально-освободительного движения (Рисорджименто) итальянского народа против иноземного господства, за объединение Италии. Основатель подпольной революционной организации «Молодая Италия» (1831—1834 и 1840—1848). Принимая активное участие в революции 1848—1849 гг., возглавлял правительство Римской республики в 1849 г.

[3] *Карл Альберт* (1798—1849), король Сардинского королевства с 1831 г. 4 марта 1848 г. ввел конституцию (так называемый Альбертинский статут), чем заслужил славу «либерального» короля. После поражения в австро-итальянской войне бежал из страны.

[4] *Фердинанд II* (1810—1859) — король неаполитанский, с 1830 г.— король обеих Сицилий. Прозван Бомбой — аа бомбардировку в 1848 г. восставших городов Сицилии.

[5] *Кавур* Камилле Бенсо (1810—1861) — лидер умеренно-либерального крыла итальянского Рисорджименто. После объединения Италии в 1861 г. возглавил новое правительство.

[6] *Виктор Эммануил II* (1820—1878) — с 1849 г. король Сардинии. В период Рисорджименто поддерживал партию Кавура и боролся с республиканцами, но в то же время стремился использовать победы Гарибальди в династических целях. В 1861 г. стал королем Италии под именем Виктора Эммануила II.

[7] *Макиавелли* Никколо (1469—1527) — итальянский политический мыслитель, писатель. Основное сочинение — трактат «Государь».

ПО ПОВОДУ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

Впервые опубликовано в журнале «Русское слово» — 1860, № 9.

В общественном движении 60-х годов идея народного просвещения была одной из самых популярных. Устройство воскресных школ для обучения грамоте — прежде всего рабочих — явилось следствием того общественного подъема, которым характеризуется начало 60-х годов, когда, по словам позднейших просветителей-демократов, «педагогическая мысль с небывалым доселе воодушевлением и широким размахом вырывается на свободу, волнует умы, захватывает все просвещенные круги общества и создает широкое просветительное движение, цель которого — возродить к духовной жизни спавший века народ, культурно поднять его и слить с другими слоями общества, также стремящимися к своему духовному перерождению». (Гольцев В. А. и Тихомиров Д. И. Народное образование в XIX веке.— Альманах «XIX век». Спб., 1901, с. 334). Реальное содержание этого патетического высказывания становится ясным, когда авторы названного очерка невольно признают, что за сорок лет ничего, в сущности, не сдвинулось с места: оказывается, и в 1901 г. «чтобы доставить всем и каждому возможность продолжать свое образование, необходимо нужно,— расширяя постепенно курс начальной школы до четырех и пяти лет,— устраивать одновременно с этим повсеместно общедоступные дополнительные классы и школы,— воскресные и вечерние,—

общедоступные чтения и беседы, читальни, библиотеки, книжные склады и прочее» (с. 336).

Революционный демократ Благосветлов сразу ухватил главный нерв проблемы: возможно ли, спрашивает он, образование для работников в современном обществе? «Есть ли какая-нибудь возможность человеку, занятому десять часов в сутки механической работой, к вечеру усталому и часто голодному, ежеминутно встревоженному одной заботой — обеспечения себя и своего семейства,— есть ли ему возможность не только уделить часы досуга умственному занятию, но даже подумать о нем?» При такой постановке вопроса читателю не трудно было догадаться, что без изменения существующих общественных отношений «народное образование» — несбыточная мечта.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДРАССУДКИ

(Дж. Ст. Милль. «Размышления о представительном правлении». Спб., 1863)

Печатается по изд.: Сочинения Г. В. Благосветлова. Спб., 1882, с. 143—157.

[1] *Милль* Джон Стюарт (1806—1873) — английский общественный деятель, философ, экономист, стоявший на позициях буржуазного реформизма.

[2] *Наполеон III* (Луи Наполеон Бонапарт) (1808—1873) — французский император в 1852—1870 гг. В 1848 г. при поддержке крупной буржуазии, военщины и реакционно настроенных слоев крестьянства добился своего избрания на пост президента, в 1851 г. совершил государственный переворот. В 1852 г. был провозглашен императором. Низложен революцией 1870 г.

[3] *Ришелье* Арман Жан де Плюсси (1585—1642) — кардинал (с 1622 г.), с 1642 г.— глава королевского совета, фактический правитель Франции. Способствовал укреплению абсолютизма.

[4] *Кольридж* Сэмюэл Тейлор (1772—1834) — английский поэт и литературный критик, представитель «озерной школы» поэтов — группы, куда, кроме него, входили У. Вордсворт и Р. Саути.

[5] *Пальмерстон* Генри Джон Темпл (1784—1865) — премьер-министр Великобритании в 1855—1858 гг. и с 1859 г.

УЧЕНОЕ САМООБОЛЬЩЕНИЕ

(«Об историческом значении царствования Бориса Годунова», соч. П. Павлова. Спб., 1863 г.— «Тысячелетие России», краткий очерк отечественной истории, соч. П. Павлова. Спб., 1863 г.)

Впервые опубликовано в журнале «Русское слово» — 1860, № 3.

[1] *Павлов* Платон Васильевич (1823—1895) — историк и общественный деятель, профессор Киевского университета с 1847 г. Один из организаторов первых воскресных школ в Киеве (1859 г.). В 1862 г., будучи приглашен как профессор на кафедру Петербургского университета, прочитал публичную лекцию о 1000-летии России, вызвавшую сочувственный общественный резонанс и недовольство властей. Был выслан в Ветлугу.

[2] *Карамзин* Николай Михайлович (1766—1826) — писатель, историк, основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и другие произведения). Редактор «Московского журнала» (1791—1792) и «Вестника Европы» (1802—1803). Автор 12-томной «Истории государства Российского».

[3] *Вашингтон* Джордж (1732—1799) — первый президент США (1789—1797), главнокомандующий армией колонистов в войне за независимость 1775—1783 гг., положившей конец английскому господству в Северной Америке.

[4] *Соловьев* Николай Федорович (1831—1874) — литературный критик, сотрудник «Отечественных записок», противник идей Добролюбова и Чернышевского.

[5] *Устрялов* Федор Николаевич (1836—1885) — журналист, драматург и переводчик.

[6] *Бокль* (Bockle) Генри Томас (1821—1862) — английский историк и социолог. Приобрел известность работой «История цивилизации в Англии» (1857—1861), русский перевод — 1861 г.

[7] *Щапов* Афанасий Прокопьевич — см. с. 424.

[8] *Кайданов* Иван Кузьмич (1784—1843) — историк, профессор Александровского лицея. Автор учебников истории.

[9] *Кавелин* Константин Дмитриевич (1818—1885) — историк «государственной школы», умеренно-либеральный публицист. Автор одного из первых проектов крестьянской реформы 1861 г.

[10] См. сцену «Царские палаты» в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».

КТО С НАМИ?

(«Образование человеческого характера». Перевод с английского. Спб., 1865 г.)

Печатается по изд.: Сочинения Г. Е. Благосветлова. Спб., 1882, с. 63—72.

[1] *Овен* — Оуэн Роберт (1771—1858), английский социалист-утопист. Интерес к учению и практической деятельности Оуэна со стороны русских революционеров-демократов обусловлен прежде всего тем обстоятельством, что Оуэн выдвинул конкретную программу общественного переустройства на основе создания самоуправляющихся «поселков общности и сотрудничества», где отсутствовали антагонистические противоречия и причины, их порождающие... Н. А. Добролюбов опубликовал в 1859 г. статью «Роберт Овен и его попытки общественных реформ»; А. И. Герцен в «Полярной звезде» (1861, кн. VI) напечатал очерк «Роберт Оуэн».

[2] *Мормоны* («Святые последнего дня») — религиозная секта, основанная Джозефом Смитом в США в 1-й половине XIX в.

[3] *Бентам* Иеремия (1748—1832) — английский философ, социолог, юрист. Основоположник философии утилитаризма.

[4] *Брамы* — Брахма, один из трех высших богов в индуизме, «творец» Вселенной.

[5] *Аркрайт* Ричард (1732—1792) — английский промышленник, устроитель первых прядилен. В 1769 г. получил патент на прядильную машину, использовав изобретение Т. Хайса, и с 1771 г. развернул прядильное дело.

В. А. ЗАЙЦЕВ

Варфоломей Александрович Зайцев (1842—1882) родился в семье мелкого чиновника в г. Костроме. Учился на юридическом факультете Петербургского университета (1858—1859), на медицинском факультете Московского университета (1859—1862), в Медико-хирургической академии в Петербурге. С апреля 1863 г. по ноябрь 1865 г.— сотрудник журнала «Русское слово», вел в нем «Библиографический листок».

По своим социально-политическим и эстетическим взглядам Зайцев был близок к позициям, которые занимал Писарев. Он выступал за интенсивное промышленное развитие России, полагая, что этот путь ведет к решению вопроса о «голодных и раздетых людях». Считал, что подготовка к социальной революции должна включать в себя как необходимое условие просвещение народных масс, распространение в них естественнонаучных знаний. Отсюда — громадная работа просветительского характера, которую

Зайцев вел на протяжении всей своей недолгой жизни (редактирование перевода «Всемирной истории» Ф. Шлоссера в 19 томах. Спб., 1861—1868; как редактор перевода заменил Чернышевского с 10-то тома; перевод «Истории крестьянской войны в Германии» В. Циммермана, 1865; сочинений Ф. Лассаля; составление руководств по всемирной истории: «Древняя история Востока». Спб., 1879; «Древняя история Запада». Спб., 1882).

В 1865 г. за В. Зайцевым был учрежден негласный полицейский надзор, а в апреле 1866 г., когда в связи с «делом Каракозова» в столице начались повальные аресты, Зайцев был на 4 месяца заключен в Петропавловскую крепость. Перед этим он только успел написать свою часть книги «Отщепенцы», над которой работал вместе с Н. В. Соколовым.

В 1869 г. Зайцев эмигрирует за границу и немедленно включается в революционную деятельность: вступает в I Интернационал, организует в Турине итальянскую секцию Интернационала. В 1877—1881 гг. сотрудничает в газете «Общее дело», где опубликовал около 80 статей. В эти годы он сближается с революционными народниками, в частности с Г. В. Плехановым, В. И. Засулич, С. М. Кравчинским...

Многих своих современников В. Зайцев шокировал отрицанием общепризнанного, безапелляционностью суждений. В своих выступлениях Зайцев допускал методологические ошибки вульгарно-материалистического толка. И вместе с тем это была яркая личность, человек неукротимого темперамента, большого трудолюбия, обширных знаний, твердых убеждений, борец за справедливое общественное устройство.

СТИХОТВОРЕНИЯ Н. НЕКРАСОВА

Часть III. Спб., 1864

Впервые опубликовано в журнале «Русское слово», 1864, № 10 — «Библиографический листок», с. 77—90. Подпись — В. З.

[1] Вероятно, имеются в виду статьи в «Русском инвалиде», 1861, № 289; «Санкт-Петербургских ведомостях», 1862, № 19; «Отечественных записках», 1861, № 12 и 1863, № 9; «Дне», 1864, № 43, где о стихотворениях Некрасова давались отрицательные отзывы.

[2] Для Зайцева, считавшего, что всякое искусство бесполезно и не нужно, относившегося негативно к творчеству Пушкина и Лермонтова, Фет, Тютчев и Майков тем более не представляли никакой ценности как поэты.

[3] Водкой потчует возлюбленного героиня «Коробейников»;

Не сама ли принесла
Полуштофик сладкой водочки?
А подарков не взяла!

[4] *Дудышкин* Степан Семенович (1820—1866) — журналист, литературный критик. С 1860 г. фактический редактор «Отечественных записок» (по договору с издателем — А. А. Краевским). Политическая ориентация — либерал-постепеновец. Статьи С. Дудышкина о Некрасове были напечатаны в «Отечественных записках» (см. примеч. 1).

[5] Булгарин относился к Гоголю резко враждебно: называл его «российским Поль де Коком», «живописцем мелочей», «грязи, пошлости» жизни.

[6] *Аксаков* Константин Сергеевич (1817—1860) — литературный критик, публицист, лингвист, драматург, поэт. Старший сын С. Т. Аксакова. Один из идеологов славянофильства.

[7] *Хомяков* Алексей Степанович (1804—1860) — философ, писатель, публицист, поэт. Один из родоначальников славянофильства.

[8] Имеется в виду поэт Н. М. Языков (1803—1846).

[9] Стихотворение А. С. Пушкина (1824).

[10] Имеются в виду «поваренные книги» Е. А. Авдеевой, весьма популярные в 60-е годы.

[11] О каком стихотворении идет речь — не ясно. Наиболее популярными, написанными на стихи Некрасова, в 60-е годы были песни «Огородник», «Тройка».

[12] Строки из стихотворения «Тишина» (Современник, 1857, № 9), где дан положительный отклик на реформы Александра II.

[13] Начальные строки стихотворения «Две славы» (Современник, 1859, № 10).

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Впервые опубликовано в газете русских политических эмигрантов «Общее дело», издававшейся в Женеве с 1877 по 1890 г.— 1879, № 25.

[1] *Демулен* Камиль (1760—1794) — один из вождей Великой французской революции.

[2] *Михайлов* Михаил Ларионович (1829—1865) — писатель, революционер-демократ. В 1861 г. вместе с Н. В. Шелгуновым составил и распространил прокламацию «К молодому поколению», за что был осужден на 6 лет каторжных работ.

[3] *Обручев* Владимир Александрович (1836—1912) — революционер, сотрудник «Современника». В 1862 г. осужден на каторгу.

[4] Имеется в виду Н. Г. Чернышевский.

[5] *Муравьев* Михаил Николаевич (1796—1866) — генерал от инфантерии, в 1863—1865 гг. генерал-губернатор Северо-Западного края. Прозван «вешателем» за жестокость при подавлении польского восстания 1863 г.

[6] *Лорис-Меликов* Михаил Тариелович (1825—1888) — граф; в 1880—1881 гг.— министр внутренних дел.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Впервые опубликовано в газете «Общее дело» — 1879, № 28.

[1] *Гольштейн-готторпская монархия* — Российская империя. В целях ее дискредитации Зайцев использует тот факт, что император Петр III был сыном голштейн-готторпского герцога Карла Фридриха, принадлежавшего к старинной немецкой герцогской династии Готторпов.

ЖУРНАЛИССИМУС ГРАФ СУВОРИН-НАДПОЛЬНЫЙ

Впервые опубликовано в газете «Общее дело» — 1880, № 31.

[1] *Тотлебен* Эдуард Иванович (1818—1884) — русский инженер, генерал. Руководил инженерными работами при обороне Севастополя (1854—1855). В русско-турецкую войну (1877—1878) руководил осадой Плевны.

[2] *Скриб* Эжен (1791—1861) — французский драматург: водевиль «Стакан воды» (1840), историческая драма «Адриенна Лекуврер» (1849) совместно с Э. Легуве.

[3] *«Набат»* — журнал русских и польских революционеров-эмигрантов, издававшийся в Женеве в 1875—1881 гг.

[4] *Гладстон* Уильям Юарт (1809—1898) — премьер-министр Великобритании в 1868—1874, 1880—1885, 1886, 1892—1894 гг. Правительство Гладстона подавляло национально-освободительное движение в Ирландии.

[5] *Лавров* Петр Лаврович (1823—1900) — русский философ, социолог и публицист, один из идеологов революционного народничества. В 1866—1869 гг. опубликовал «Исторические письма», пользовавшиеся большой популярностью среди революционной молодежи. С 1870 г. в эмиграции. В 1873—1876 гг. редактировал журнал «Вперед!», в 1883—1886 гг.— редактор «Вестника народной воли».

[6] *Ткачев* Петр Никитич (1844—1885/86) — русский публицист, один из идеологов революционного народничества. Участник революционного движения в 1860-х гг., сотрудник журналов «Русское

слово» и «Дело». С 1873 г. в эмиграции. В 1875 — 1881 гг. издавал журнал «Набат». Сторонник заговорщических методов борьбы.

[7] *Драгоманов* Михаил Петрович (1841—1895) — украинский историк, фольклорист, буржуазный либерал, сторонник националистической теории бесклассовости украинского народа. С 1876 г.— эмигрант. Автор трудов по истории Украины, украинскому и славянскому фольклору.

НОВАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ

Впервые опубликовано в журнале «Общее дело» — 1882, № 47.

[1] *Нана* — героиня одноименного романа Э. Золя.

[2] *Шейлок* — персонаж пьесы Шекспира «Венецианский купец», ростовщик.

[3] *Якоби* Павел Иванович (1842—1913) — революционер, публицист, врач. Член «Земли и воли», участник польского восстания 1863—1864 гг. В печати выступал со статьями по этнографии, общественной гигиене, психиатрии.

[4] *Потентаты* — властители (от латинского potentatus — верховная власть).

[5] *Андре Лео* — (настоящее имя Леони Шансе) (1829—1900) — французская писательница (романы «Скандальный брак», 1862 и «Развод», 1866). Участница Парижской Коммуны.

Н. В. СОКОЛОВ

Николай Васильевич Соколов (1832—1889) родился в дворянской семье; отец его был гвардейцем. В 1845—1853 гг. Николай Соколов — кадет сначала Александровского кадетского корпуса, а затем Дворянского полка в Брест-Литовске. Произведен в офицеры и определен в лейб-гвардии Волынский полк в 1853 г. В 1855—1858 гг. слушатель Академии Генерального штаба. В мае 1858 г. участвует в военных действиях против Шамиля на Кавказе. В следующем году назначается старшим адъютантом генерального штаба войск Восточной Сибири; в сентябре 1859 г. отправлен курьером в Пекин в распоряжение генерала Игнатьева.

Военная карьера Соколова складывается, кажется, самым блестящим образом.

Но вот в 1860 г. он получает шестимесячный отпуск и едет за границу. И в судьбе его происходит поворот от службы, направленной на укрепление государства, к деятельности, цель которой — разрушение государства. За границей он знакомится с Прудоном и становится убежденным последователем французского анархиста.

В 1862 г. Соколов выходит в отставку в чине подполковника и начинает сотрудничать с журналом «Русское слово». В 1863—1865 гг. он находится за границей: навещает Герцена, дает уроки его дочерям. Произносит речь на могиле Прудона. В 1864 г. пишет книгу «Социальная революция» (издана в 1868 г. в Берне).

Вернувшись в Россию, работает вместе с В. Зайцевым над книгой «Отщепенцы». Выход в свет книги совпал с «каракозовским делом».

В апреле Зайцев и Соколов подвергаются аресту и заключению в Петропавловскую крепость.

Во время следствия и на суде Соколов отвергает обвинения в призыве к неповиновению верховной власти и в порицании христианской веры, пытается убедить своих судей в том, что социалистические идеи не противоречат христианству. Его приговаривают к одному году и 4 месяцам содержания в крепости.

С 1868 г. Соколов отбывает ссылку в Мезени и Красном Яре Астраханской губернии; в 1872 г. бежит за границу, навещает М. Бакунина и В. Зайцева в Локарно. В 1881—1882 гг. живет в Женеве, потом — в Париже, где и умирает в больнице для бедных.

Литературная деятельность Соколова длилась, по существу, всего 5 лет — с 1862 по 1866 г. Написано им не много; его известность в истории русского освободительного движения связана главным образом с книгами «Отщепенцы» и «Социальная революция».

ОТЩЕПЕНЦЫ (LES RÉFRACTAIRES)

Существуют два издания книги: петербургское 1866 г. и цюрихское 1872 г. Печатается по изданию 1866 года с некоторыми сокращениями.

Соавтором Н. Соколова был В. Зайцев, написавший первую часть «Историческое отщепенство» (см. по этому поводу: Б. Козьмин. Н. В. Соколов. Его жизнь и литературная деятельность. В кн.: Литература и история, Изд. 2-е. М., Худож. лит., 1982; Ф. Кузнецов. Публицисты 1860-х годов. М., 1981).

Замысел книги возник у Соколова в феврале 1866 г. В одной из французских газет он прочитал объявление о выходе книги Ж. Валлеса «Les réfractaires» и решил перевести ее на русский язык. Однако, прочитав книгу Ж. Валлеса, Соколов увидел, что ошибся в ней: содержание ее было сугубо бытовое, а вовсе не идеологическое, как он предполагал.

В свою книгу Соколов и Зайцев включили введение к «Les réfractaires» Валлеса, отрывки из произведений западноевропейских писателей; глава о Тите Лабиене была переводом нашумевшего во

Франции памфлета Л.-О. Рожара против Наполеона III; глава «Развалины» взята из книги К. Ф. Вольнея «Руины или размышления о революциях империй»; в других главах содержатся цитаты из «Утопии» Т. Мора, из произведений Фурье и Прудона и т. д.

Таким образом, отличительной особенностью книги В. Зайцева и Н. Соколова является ее компилятивный характер. Авторы, очевидно, понимали, насколько важна в революционной агитации оперативность, и, торопясь выпустить сочинение, направленное против полицейского государства в защиту революционеров-«отщепенцев», не имели возможности провести сколько-нибудь подробный критический анализ тех произведений, которыми они пользовались. Поэтому книга «Отщепенцы» несет на себе тень идеалистической концепции исторического процесса — концепции, присущей буржуазной историографии и публицистике. Но — только тень. Книга составлена так, что ее революционный пафос, темпераментное изложение исторических фактов, яркость и убедительность примеров борьбы прогрессивных сил с реакционными — все это должно было оказывать на читателя сильнейшее эмоциональное воздействие и убеждать в необходимости революционных перемен.

5 апреля 1866 г. книга «Отщепенцы» поступила на рассмотрение в цензурный комитет.

В своем заключении цензор написал, что книга Н. Соколова «представляет сборник самых неистовых памфлетов, имеющих целью подкопать все основы цивилизованного общества. Вера, политика, власть, гражданское и судебное устройство, правила нравственности подвергаются в ней самым необузданным нападениям». (Цит. по указ. кн. Б. Козьмина, с. 379).

Исследователь творчества Н. В. Соколова, советский историк литературы Б. П. Козьмин так говорит об этой книге: «Отщепенцы» представляли собою первую на русском языке попытку дать нечто вроде истории социалистических идей. Ярая ненависть ко всякому угнетению и эксплуатации труда, пропитывавшая эту книгу, делала ее явлением небывалым в легальной русской литературе».

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОТЩЕПЕНСТВО

[1] *Стоики* — представители стоицизма, философского учения, возникшего в конце IV в. до н. э. на основе эллинистической культуры. Название — от греческого stoa — портик (галерея с колоннами в Афинах, где учил философ Зенон, родоначальник стоицизма). Проповедовали идеал мудреца, любящего свою судьбу, а не себя, следующего природе, а не людям... Работы философов-

стоиков в области этики и логики сделали стоицизм одним из самых влиятельных направлений в культуре древнего мира.

[2] *Децемвиры* — в Древнем Риме коллегия из 10 человек (decum — десять, vir — муж), выполнявшая специальные государственные поручения. Коллегии 451 и 450 г. до н. э. составили двенадцать таблиц (досок) законов — свод римского обычного права, легший в основу многих позднейших европейских законодательств.

[3] Река, на которой находится Рим; для Древнего Рима была «пограничной».

[4] *Тацит* (ок. 58 — ок. 117) — римский историк. Основные сочинения: «Анналы» и «История».

[5] *Тиберий* (42 до н. э.— 37 н. э.) — римский император с 14 г.

[6] *Август* (до 27 до н. э. Октавиан) (63 до н. э.— 14 н. э.) — римский император. Победой над римским полководцем Марком Антонием и египетской царицей Клеопатрой в 31 г. до н. э. положил конец гражданским войнам в римской империи. С 27 г. до н. э.— принцепс (первый в списке сенаторов); сохранил республиканские учреждения, но при этом всю власть сосредоточил в своих руках.

[7] *Клавдий* (10 до н. э.— 54 н. э.) — римский император с 41 г., заложил основы имперского бюрократизма. Раздавал права римского гражданства провинциалам.

[8] *Каракалла* (186—217) — римский император с 211 г. В 212 г. издал эдикт о предоставлении прав римского гражданства провинциалам. Деспотизм и жестокость его стали причиной заговора, в результате которого он был убит.

[9] *Плиний* Старший (23 или 24—79) — римский писатель, историк, ученый. Его «Естественная история» — энциклопедия естественнонаучных знаний античного мира.

[10] *Ливий* Тит (59 до н. э.— 17 н. э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города».

[11] Цитата из «Энеиды» Вергилия (книга шестая).

[12] *Брут* Марк Юний (85—42 до н. э.) — политический деятель древнего Рима, глава аристократической партии республиканцев. Организовал (вместе с Кассием) заговор против Юлия Цезаря.

[13] *Катон* Старший (234—149 до н. э.) — римский писатель. Консул в 195 г. Прославился непримиримостью к Карфагену; все выступления в сенате заканчивал фразой: «Карфаген должен быть разрушен». Сохранился трактат Катона «О земледелии».

[14] *Сенека* Луций Анней (ок. 4 до н. э.— 65 н. э.) — римский политический деятель, писатель, философ-стоик. Воспитатель Не-

рона (37—68), императора с 54 г. Покончил с собой, выразив этим поступком презрение к угрозам императора, человека болезненно подозрительного и садистски жестокого. Автор знаменитых «Писем к Луцилию».

[15] *Бентам* Иеремия (1748—1832) — английский философ, социолог, юрист. Положил начало философии утилитаризма — направления в этике, основным принципом которого является идея о пользе как основе нравственности и критерии человеческих поступков.

[16] *Торкват* Тит Манлий — победитель галлов, напавших на Рим. Известен также тем, что за невыполнение приказа казнил своего сына.

[17] *Галльское нашествие* — ок. 390 г. до н. э., окончилось взятием и разрушением Рима. Согласно римскому преданию, город был избавлен от галлов внезапно появившимся войском Камилла.

[18] *Битва при Каннах* — во время 2-й Пунической войны, 2 августа 216 г. до н. э., когда карфагенская армия Ганнибала в Юго-Восточной Италии (близ селения Канны) разбила 70-тысячное римское войско.

[19] *Цезарь* Гай Юлий (102 или 100 — 44 до н. э.) — римский полководец, участник 1-го триумвирата (с Г. Помпеем и М. Лицинием Крассом) в 60 г. до н. э. В 49 г. начал борьбу с триумвирами за единовластие. В 45 г. стал во главе государства, разгромив Помпея. Убит в результате республиканского заговора. Известны его «Записки о галльской войне» и «Записки о гражданских войнах». Ввел Юлианский календарь.

[20] *Калигула* (12—41) — римский император с 37 г. Вызвал недовольство сената и императорской гвардии (преторианцев) своим непомерным тщеславием и стремлением к неограниченной власти; был убит преторианцами.

[21] *Плиний* Младший (61 или 62 — ок. 114) — римский писатель. Консул в 100 г., императорский легат (уполномоченный сената) в провинциях Вифиния и Понт в 111—113 гг. Автор «Панегирика» императору Траяну (53—117), при котором римская империя достигла максимальных границ.

[22] *Марк Аврелий* (121—180) — римский император с 161 г. Представитель позднего стоицизма. Основное сочинение: «Наедине с собой».

[23] *Тразеа* (?—66 до н. э.) — римский сенатор, философ-стоик эпохи правления Нерона. Консул в 56 г.

[24] *Лабьен* Тит — при Августе был известен как оратор и публицист республиканского образа мыслей. Его непримиримость к

принципату Августа, неистовые нападки на существующий строй доставили ему прозвище Rabiès (ярость).

[25] *Эпиктет* (ок. 50 — ок. 140) — римский философ-стоик. В «Беседах», записанных его учеником Аррианом, развивал тему внутренней свободы человека, доказывал, что господин может быть рабом своих страстей, а раб свободным в своей духовной независимости от внешнего мира. Выражая пассивный протест угнетенных классов против рабовладельческого строя, философия Эпиктета оказала влияние на христианство.

[26] Вероятно, имеется в виду Антоний Великий (ок. 250—356) — основатель христианского монашества.

[27] Возможно, имеется в виду Пахомий Серб (Логофет) — русский писатель-монах XV в.

[28] *Шейлок* — персонаж пьесы Шекспира «Венецианский купец», ростовщик.

[29] *Всадники* — привилегированное сословие в ряде античных государств (Афинах, Риме, Фессалии и др.), к которому принадлежали землевладельцы, крупные торговцы, ростовщики, военные и др.

[30] То есть Л.-О. Рожар в памфлете «Les propos de Labienus» (1865).

[31] *Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский политический деятель, оратор, писатель.

[32] *Лабьен* Тит Атий — во время войны Цезаря с галлами был легатом, позже примкнул к Помпею, погиб в битве при Мунде в 45 г. до н. э.

[33] *Квинт* Лабьен — сподвижник Брута и Кассия.

[34] *Парфяне* — иранское племя, население Парфянского царства (250 до н. э.— 224 н. э.), соперничавшего с Римом на Востоке.

[35] *Микеланджело* Буонарроти (1475—1564) — итальянский скульптор, архитектор, живописец, поэт.

[36] *Коклес* — Гораций Коклит, герой войны с этрусками (508—507 до н. э.), известный тем, что переплыл Тибр в доспехах.

[37] *Гораций* — Квинт Гораций Флакк (65—8 до н. э.), римский поэт, величайший лирик античности.

[38] *Эпименид* — жрец, живший в VII—VI в. до н. э. на о. Крите. По словам Аристотеля, он не предсказывал будущего, но разъяснял темное прошлое. По одному из преданий, Эпименид заснул в зачарованной пещере и проснулся через 57 лет (эта легенда легла в основу «Пробуждения Эпименида» Гете).

[39] *Битва при Филиппах* — в Македонии осенью 42 г. до н. э., когда войска триумвиров Антония и Октавия разбили Брута и Кассия, которые покончили с собой, не желая быть плененными.

[40] *Фабриций* Гай — римский консул 476 и 472 г. до н. э., победи-

тель эпирского царя Пирра. Был известен аскетическим образом жизни.

[41] *Камилл* Марк Фурий (? — 365 до н. э.) — римский полководец, патриций, глава аристократической партии. В 367 г. разбил галлов на Альбе.

[42] *Агриппа* (ок. 63—12 до н. э.) — римский полководец, сподвижник Августа.

[43] *Галлион* — римский проконсул, брат Сенеки. Среди римских аристократов слыл образцом любезности, за что прозван был Сладким.

[44] *Меценат* Гай Цильний (ок. 70—8 до н. э.) — римский государственный деятель, близкий друг и помощник Августа, обладавший независимым характером. Покровительствовал Горацию и другим римским поэтам.

[45] *Цинна* (?—84 до н. э.) — римский консул 87 и 86 г. Вместе с Г. Марием совершил переворот в 87 г.

[46] *Проскрипции* — в древнем Риме списки лиц, объявленных вне закона.

[47] *Узурпация* — насильственный захват власти или присвоение чужих прав, полномочий.

[48] *Сцилла и Харибда* — в греческой мифологии два чудовища, жившие по сторонам узкого Мессинского пролива и губившие мореходов. «Из Харибды в Сциллу» — из одной опасности в другую.

[49] *Аристарх* — александрийский грамматик, живший в II веке до н. э. Занимался истолкованием и критикой греческих поэтов.

[50] От Вария до Атенодора перечислены римские писатели, прославлявшие в своих произведениях Августа.

[51] Имеется в виду известный по обличениям Цицерона римский всадник Кай Веррес, который, будучи квестором (помощником консула) в Цизальпинской Галлии, утаил доверенную ему кассу (84 г. до н. э.), а позднее, уже как наместник Сицилии, выжал из населения разными способами 40 млн. сестерций. Был приговорен к изгнанию и возврату похищенного.

[52] *Иоанн Златоуст* (ок. 350—407) — византийский церковный деятель, епископ Константинополя, обличитель общественных пороков.

[53] *Августин* Блаженный Аврелий (354—430) — христианский теолог и церковный деятель; родоначальник христианской философии истории («О граде божием»).

[54] *Св. Поликарп* (ок. 80 — ок. 170) — епископ г. Смирны; мученически погиб во время гонений на малоазийских христиан со стороны Марка Аврелия.

[55] *Назаряне* — по названию места, где провел детство Иисус Христос (г. Назарет), — христиане.

[56] *Соломон* — царь Израильско-иудейского царства в 965—928 гг. до н. э., славившийся, согласно христианской традиции, необычайной мудростью.

[57] *Платон* (428 или 427 — 348 или 347 до н. э.) — древнегреческий мыслитель, основоположник идеалистической философии. Главные сочинения — «диалоги»: «Апология Сократа», «Федон», «Пир», «Федр», «Государство», «Теэтет», «Парменид», «Софист».

[58] *Сократ* (470/469—399 до н. э.) — древнегреческий философ, один из основоположников диалектики как метода отыскания истины. Излагал свое учение устно. Главный источник учения Сократа — сочинения его учеников Ксенофонта и Платона.

[59] *Аристотель* (384—322 до н. э.) — древнегреческий мыслитель. Основоположник формальной логики. Сочинения Аристотеля охватывали все области тогдашнего знания и оказали огромное влияние на последующее развитие философии, теории искусства, естественных наук.

[60] *Ирод I* Великий (ок. 73—4 до н. э.) — царь Иудеи, овладел троном с помощью римских войск. Болезненно подозрительный и властолюбивый, уничтожал всех, в ком видел соперников. В христианской мифологии ему приписывается «избиение младенцев» при известии о рождении Христа.

[61] *Иоанн* — Предтеча (Креститель) — библейский пророк. Был казнен царем Иродом.

[62] *Илия* (Илья) — библейский пророк, деятельность которого относится к царствованию Ахава. Илия обличал Ахава за нечестивость, нарушение канонов религии Иеговы.

[63] *Ахав* (917—895 до н. э.) — царь израильский, ввел в царстве культ Ваала — Астарты.

[64] *Плиний* — см. примеч. 21.

[65] *Адриан* (76—138) — римский император с 117 г. Усилил императорскую власть и централизацию государственных учреждений.

[66] *Лукиан* Марк Анней (39—65) — римский поэт, автор исторической поэмы «Фарсалия, или О гражданской войне» (между Цезарем и Помпеем).

[67] *Диоклетиан* (243 — между 313 и 316) — римский император в 284—305 гг. Установил неограниченную монархию (доминат). В 303—304 гг. предпринял гонения на христиан.

[68] *Компиляторы* — лица, занимающиеся составлением произведений на основе чужих исследований без самостоятельной обработки источников и без ссылок на авторов.

[69] Имеется в виду «Декларация прав человека и гражданина», принятая Учредительным собранием Франции 26 августа 1789 г.

[70] Имеется в виду Григорий VII Гильдебранд (между 1015 и 1020—1085) — римский папа с 1073 г. Запретил продажу и покупку церковных должностей и духовного сана. Ввел обязательное безбрачие католического духовенства. Между ним и германским королем, императором «Священной Римской империи» Генрихом IV (1050—1106), шла упорная борьба.

[71] Возможно, имеется в виду Василий Великий (Кесарийский) (ок. 330—379) — церковный деятель, философ-платоник.

[72] *Тертуллиан* Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — после 220) — христианский писатель-богослов, в конце жизни порвавший с церковью, упрекая ее в недостаточном следовании принципам аскетизма и мученичества.

[73] *Пипин* Короткий (714—768) — франкский король с 751 г. Свергнув последнего короля из династии Меровингов, основал династию Каролингов.

[74] *Вилланы* — крестьяне во Франции, Италии, Германии, лично свободные, но зависимые от феодала, как пользующиеся его землей. В Англии до XVI в.— крепостные.

[75] *Кондотьеры* — в Италии XIV—XVI вв. предводители наемных военных отрядов, находившихся на службе у европейских правителей и римских пап.

[76] *Стюарты* — королевская династия в Шотландии (1371—1714) и в Англии (1603—1649, 1660—1714).

[77] *Гоббс* Томас (1588—1679) — английский философ, родоначальник механистического материализма. Главные труды: «Левиафан» (1651), «Основы философии».

[78] *Иннокентий III* (1160 или 1161—1216) — римский папа с 1198 г. По его инициативе был организован 4-й крестовый поход — против Византии.

[79] Имеется в виду Генрих IV (см. примеч. 70).

[80] *Иоанн XII* (?—964) — римский папа в 955—963 гг.

[81] *Александр VI* (Родриго Борджа) (1431—1503) — римский папа с 1492 г. Устранял политических противников с помощью тайных убийств. В 1497 г. отлучил от церкви Дж. Савонаролу, выступавшего против тирании Медичи и обличавшего папство, и способствовал его казни.

[82] *Донатисты* (от имени руководителя, епископа Доната) — в IV—V вв. религиозная секта в Северной Африке, выступавшая против римского господства и официальной христианской церкви, в основном городская беднота, рабы и колоны (мелкие земельные арендаторы).

[83] *Анабаптисты* (перекрещенцы) — участники сектантского движения эпохи Реформации XVI в. (главным образом, в Германии, Швейцарии, Нидерландах). Отрицали церковную иерархию,

осуждали богатство, проповедовали необходимость общности имущества.

[84] *Жаки* — участники Жакерии (крестьянского восстания во Франции в 1358 г.)

[85] *Санкюлоты* (от франц. sans — без и culotte — короткие штаны) — так аристократы называли городскую бедноту. В годы якобинской диктатуры (1793—1794) — самоназвание революционеров.

[86] *Солунский* Евстафий (ок. 1115 — ок. 1195) — византийский церковный писатель, автор нашумевшего памфлета о падении нравов монашества.

[87] *Манихеяне* — участники религиозного движения, возникшего в III в. и распространившегося от Китая до Испании. Проповедовали учение о борьбе добра и зла, света и тьмы как изначальных принципов бытия.

[88] *Катары* — приверженцы ереси XI—XIII вв., считавшие материальный мир порождением дьявола. Призывали к аскетизму, обличали католическое духовенство.

[89] *Вальденцы* — приверженцы ереси конца XII в., возникновение которой связывалось с именем лионского купца Пьера Вальдо. Призывали к аскетизму.

[90] *Альбигойцы* — участники еретического движения в Южной Франции в XII—XIII вв., в основном ремесленники и крестьяне. Выступали против догматов католической церкви и церковного землепользования. Осуждены Вселенским собором 1215 г. В так называемых Альбигойских войнах (1209—1229) были разгромлены.

[91] *Франциск* Ассизский (1181 или 1182—1226) — итальянский проповедник, автор религиозных поэтических произведений. Основал в 1207—1209 гг. так называемый нищенствующий орден (францисканцы).

[92] *Лолларды* — народные проповедники, участники антикатолического движения в Англии и других странах Западной Европы в XIV в. Сыграли важную роль в подготовке восстания Уота Тайлера и в целом Реформации.

[93] *Иоанниты* (госпитальеры) — члены духовно-рыцарского ордена, основанного в начале XII в. крестоносцами в Палестине. Название по месту первоначального расположения (госпиталь св. Иоанна в Иерусалиме).

[94] *Виклеф* — Уиклиф Джон (между 1320 и 1330—1384) — идеолог английской бюргерской ереси. Отвергал папство, обряды и таинства католицизма.

[95] *Табориты* — в Чехии революционное антифеодальное крыло последователей учения Яна Гуса — гуситов (1-я половина XV в.).

[96] *Уот Тайлор* (Тайлер) (?—1381) — вождь крестьянского вос-

стання в Англии в 1381 г. Был предательски убит во время переговоров с королем Ричардом II.

[97] *Ричард II* (1367—1400) — английский король в 1377—1399 гг.,— последний из династии Плантагенетов.

[98] *Генрих V* (1387—1422) — английский король с 1413 г., из династии Ланкастеров.

[99] *Гус Ян* (1371—1415) — национальный герой чешского народа, идеолог Реформации в Чехии. Вдохновитель борьбы чехов против немецкого засилья и католической церкви. Был осужден церковным собором в Констанце и приговорен к сожжению на костре.

[100] *Прокоп Великий* (ок. 1380—1434) — военный и политический вождь таборитов с 1426 г. Одержал победы над немецкими войсками (1426) и войсками феодально-католических сил (1427, 1431).

[101] *Самсон* (Самсон) — в библейской мифологии богатырь, огромная сила которого была заключена в его длинных волосах. Его возлюбленная, филистимлянка Далила остригла у спящего Самсона волосы, и вражеские воины ослепили его и заковали в цепи.

[102] *Филистимляне* — народ, населявший с XII в. до н. э. юго-восточное побережье Средиземного моря.

[103] *Мюнцер* Тома (Томас Мюнцер) (ок. 1490—1525) — идеолог и вождь крестьянско-плебейских масс в Реформации и Крестьянской войне 1524—1526 гг. в Германии. Проповедовал идеи народовластия и создания общества без эксплуатации и частной собственности. Потерпел поражение у г. Франкенхаузен, взят в плен и казнен.

[104] *Декреталии* — декреты.

[105] *Арманьяки* — феодальная группировка во Франции, которую возглавлял граф Арманьяк. Боролась за власть в годы правления слабоумного короля Карла VI (1368—1422; король с 1380 г.) с бургундскими герцогами — бургиньонами.

[106] *Ландскнехты* — немецкая наемная пехота в XV—XVII вв.

[107] *Франкония* — историческая область Германии (ныне в составе ФРГ).

[108] *Швабия* — в период раннего средневековья область расселения швабов (алеманнов), одно из герцогств королевства Германии.

[109] *Филипп IV* Красивый (1268—1314) — французский король с 1285 г. Поставил папство в зависимость от королевской власти.

[110] *Филипп Орлеанский* — Луи Филипп Жозеф (1747—1793), герцог Орлеанский, представитель младшей ветви династии Бурбонов. Во время Великой французской революции отказался от титула, приняв фамилию Эгалите (т. е. равенство). Будучи членом Конвента, проголосовал за казнь короля.

[111] *Моисей* — в библейской мифологии предводитель израиль-

ских племен; согласно преданию, вывел израильтян из египетского рабства через расступившиеся воды Красного моря.

[112] *Иезекииль* — древнееврейский пророк VII в. до н. э. Согласно христианской традиции, автор книги Ветхого завета.

[113] *Валаам* — библейский прорицатель.

[114] *Авраам* — мифический родоначальник евреев.

[115] *Сигизмунд I* (1368—1437) — император «Священной Римской империи» с 1410 г. Вместе с римским папой возглавлял борьбу европейских феодалов против гуситов.

[116] *Филипп II* (1527—1598) — испанский король с 1556 г. При нем происходило укрепление абсолютизма, усилился испанский гнет в Нидерландах. Известен также ревностной поддержкой инквизиции.

[117] *Людовик XIV* (1638—1715) — французский король с 1643 г. Абсолютизм во Франции при нем достиг предела (ему приписывается изречение: «Государство — это я»). Вел многочисленные войны, вызывая недовольство народных масс, часто поднимавших восстания.

[118] *Торквемада* Томас (ок. 1420—1498) — с 80-х годов великий инквизитор (глава испанской инквизиции).

[119] *Альба* Альварес де Толедо Фернандо (1507—1582) — герцог, испанский полководец, правитель Нидерландов в 1567—1573 гг. Пытался подавить Нидерландскую буржуазную революцию (1566—1609), завершившуюся освобождением от испанского господства северных провинций.

[120] *Гизы* — французский аристократический род. В данном случае, возможно, имеется в виду Генрих Гиз (1550—1580), один из организаторов Варфоломеевской ночи.

[121] *Антиох III* Великий (242—187 до н. э.) — царь государства Селевкидов с 223 г. В 212—205 гг. подчинил парфян и Бактрию. Потерпел поражение от римлян в Сирийской войне 192—188 гг. *Лициний* (ок. 250—325) — римский император в 303—324 гг. В 313 г. издал эдикт о свободном исповедании христианства. В борьбе с Константином I за власть над всей империей был побежден и казнен.

[122] *Монахи св. Доминика* (доминиканцы) — члены нищенствующего ордена, основанного в 215 г. испанским монахом Домиником.

[123] *Тамерлан* (Тимур) (1336—1405) — среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир с 1370 г. Основатель государства со столицей в Самарканде. Разгромил Золотую Орду; предпринимал грабительские походы в Закавказье, Иран, Индию, Малую Азию и др.

[124] auto de fé (аутодафе) — букв. акт веры (испанск. и португальск.) — торжественное оглашение приговора инквизиции в Ис-

пании и Португалии, а также само исполнение приговора, чаще всего — публичное сожжение осужденных.

[125] *Эшафоты Гревской площади* — имеется в виду площадь перед ратушей в Париже, которая до 1830 г. была местом казни.

[126] *Версаль* — пригород Парижа. В 1682—1789 гг. был резиденцией французских королей.

[127] *Эскуриал* (Эскориал) — город в Испании, близ Мадрида; резиденция испанских королей.

[128] *Столпники* — христиане, выполнявшие обет неподвижного стояния на колоннах (столбах, столпах).

[129] *Мартиролог* (от греч. mártyros — мученик и lógos — слово, сказание) — 1) В христианской церковной литературе сборник повествований о мучениках и святых; 2) Перечень жертв гонений, преследований, а также перечень перенесенных кем-либо страданий.

[130] *Гугеноты* — протестанты, последователи Кальвина во Франции XVI—XVIII вв. Борьба гугенотов с католиками вылилась в так называемые Религиозные войны.

[131] *Цвинглиане* (по имени основателя движения У. Цвингли) — протестанты в Швейцарии и Германии в XVI в.

[132] *Евхаристия* — в христианстве то же, что причащение.

[133] *Орден иезуитов* — католический монашеский орден, основанный в 1534 г. в Париже Игнатием Лойолой. Был главным орудием Контрреформации. Во имя «истинной веры» иезуиты готовы были пойти и действительно шли на любое преступление.

[134] *Карл V* Мудрый (1338—1380) — французский король с 1364 г.

[135] *Кампанелла* Томмазо (1568—1639) — итальянский философ, политический деятель, поэт. В 1598—1599 гг. возглавил в Калабрии заговор против испанского владычества, был схвачен и около 27 лет провел в тюрьмах, где написал десятки сочинений по философии, политике, медицине, астрономии, в том числе коммунистическую утопию «Город Солнца».

[136] *Морелли* — французский писатель, философ, один из ранних представителей утопического коммунизма. Основные сочинения: «Базилиада» и «Кодекс природы, или истинный дух ее законов» (1755). В коммунизме Морелли видел строй, соответствующий естественным свойствам человека.

[137] *Мабли* Габриель Бонно де (1709—1785) — французский политический писатель и философ, коммунист-утопист.

[138] *Бэкон* Фрэнсис (1561—1626) — английский философ, родоначальник английского материализма. Автор утопии «Новая Атлантида».

[139] *Гаррингтон* Джеймс (1611—1677) — английский публицист эпохи Английской буржуазной революции XVII в. В сочинении

«Республика Океания» (1656) предложил конституцию утопической буржуазно-дворянской республики.

[140] *Ману* — в индийской мифологии прародитель людей. Законы Ману — сборник предписаний о правилах поведения индийца в частной и общественной жизни, содержит также наставления по судопроизводству и управлению государством.

[141] *Бриссо* Жак Пьер (1754—1793) — деятель Великой французской революции, лидер жирондистов. В Конвенте с 1792 г. возглавлял борьбу против якобинцев. Казнен по приговору Революционного трибунала.

[142] *Генрих VIII* (1491—1547) — английский король с 1509 г., из династии Тюдоров. С 1534 г.— глава англиканской церкви.

[143] *Иосиф II* (1741—1790) — австрийский эрцгерцог, император «Священной Римской империи». Проводил политику так называемого просвещенного абсолютизма.

[144] *Пальмира* — древний город на территории северо-восточной Сирии, был крупным центром караванной торговли и ремесел.

СОВРЕМЕННОЕ ОТЩЕПЕНСТВО

[1] *Сен-Жюст* Луи (1767—1794) — выдающийся деятель Великой французской революции, сторонник М. Робеспьера. Один из организаторов побед революционной армии над интервентами в период якобинской диктатуры.

[2] *Неккер* Жак (1732—1804) — французский министр финансов в 1777—1781, 1788—1790 гг. Частичными реформами пытался спасти государство от финансового краха.

[3] *Тюрго* Анн Робер Жак (1727—1781) — французский государственный деятель, философ-просветитель, экономист.

[4] *Робеспьер* Максимильен (1758—1794) — выдающийся деятель Великой французской революции, был фактически главой якобинского правительства. Казнен после контрреволюционного переворота 27 июля (9 термидора) 1794 г.

[5] *Монтескье* Шарль Луи (1689—1755) — французский просветитель, правовед, философ, противник абсолютизма. Основные сочинения: «Персидские письма» (1721) и «О духе законов» (1748).

[6] *Минос* — легендарный царь Кноса, которому легенда приписывает первое на Крите законодательство.

[7] *Ликург* — легендарный спартанский законодатель (IX—VIII в. до н. э.).

[8] *Солон* (между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.) — афинский архонт, провел реформы, ускорившие ликвидацию пережитков родового строя.

[9] *Лациум* (Лацио) — область в центральной Италии, административным центром которой является Рим.

[10] *Нума* Помпилий — согласно античной традиции, второй царь древнего Рима в 715—673/672 гг. до н. э. Ввел религиозные культы, создал коллегии жрецов, ремесленников и проч.

[11] *Леру* Пьер (1797—1871) — французский философ, последователь А. Сен-Симона, считавший нравственное изменение общества основным условием социальных преобразований. Один из основателей христианского социализма (ввел само слово «социализм»).

[12] *Авгуры* — в древнем Риме коллегия жрецов, толковавшая волю богов по крику и полету птиц.

[13] *Альбион* — название Британских островов, известное еще древним грекам.

[14] *Тистлвуд* Артур (1774—1820) — английский революционный демократ. Организовал ряд заговоров, направленных на свержение буржуазного строя. Казнен.

[15] *Чартисты* — участники чартизма (от англ. charter — хартия), первого политически оформленного революционного движения пролетариата в Великобритании в 1830—1850-е годы. Требования чартистов были изложены в «Народной хартии» (1838) — своеобразном законопроекте.

ФУРЬЕ

Фурье Франсуа Мари Шарль (1772—1837) — французский утопический социалист. Разработал учение о гармоническом устройстве общества, основанного на творческом труде всех его членов и на справедливом распределении благ. Первой задачей построения такого общества Фурье считал создание материальной базы, которая гарантировала бы рост производительности труда и тем самым обеспечила бы всеобщее процветание. Система общественного воспитания Фурье предусматривала формирование человека как целостной личности, сознательного члена свободного трудового коллектива; соединение обучения с трудом, физическим и эстетическим развитием; широкий охват взрослого населения просветительскими мероприятиями; развитие науки, искусства, народного здравоохранения.

Идеи Фурье оказали влияние на развитие социальной психологии, психологии творчества, педагогики, медицины, архитектуры.

Маркс и Энгельс отмечали, что Фурье наряду с Сен-Симоном и Оуэном был одним из тех «...трех мыслителей, которые, несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежат к величайшим умам всех времен и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, правильность которых

мы доказываем теперь научно...» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 18, с. 498—499).

[1] *Декарт* Рене (1596—1650) — французский философ, математик, физик и физиолог. Основные сочинения: «Геометрия», «Рассуждение о методе», «Начала философии».

[2] *Буало* Никола (1636—1711) — французский поэт, теоретик классицизма.

ПРУДОН

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма. Мелкобуржуазно-реформаторские, экономические и социально-политические идеи Прудона объясняли капиталистическую эксплуатацию труда существующим в буржуазном обществе неэквивалентным обменом, нарушающим закон трудовой стоимости и ведущим к ограблению финансовыми капиталистами всех трудящихся классов, в том числе «трудящейся» буржуазии. Прудон предлагал организовать безденежный обмен товаров и беспроцентный кредит, учредить «Народный банк», осуществить так называемый «мютюэлизм» (взаимопомощь). В этой мелкобуржуазной утопии Прудон видел возможность совершения социальной революции мирным путем, на основе сотрудничества пролетариата и почти всей буржуазии, при условии уничтожения государства как главного источника раскола общества, паразитизма и различных форм угнетения. «Не уничтожить капитализм и его основу — товарное производство, а очистить эту основу от злоупотреблений, от наростов и т. п.; не уничтожить обмен и меновую стоимость, а, наоборот, «конституировать» ее, сделать ее всеобщей, абсолютной, «справедливой», лишенной колебаний, кризисов, злоупотреблений,— вот идея Прудона». (Ленин В. И. Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 24, с. 131).

Прудон приобрел известность книгой «Что такое собственность?», в которой утверждал, что всякая частная собственность на средства производства есть кража.

В книгах «Исповедь революционера» (1849) и «Общая идея революции XIX века...» (1851) выдвинул план «социальной ликвидации» — замены государства договорными отношениями между частными лицами, общинами и группами производителей, сотрудничающими в эквивалентном обмене. Позднее, в работе «О федеративном принципе» (1863) «ликвидацию государства» заменил планом федерального переустройства — разделения централизованного государства на автономные области и в связи с этой теорией «федерализма» выступал против национально-освободительных движений в Италии и Польше.

Идеи Прудона получили значительное распространение во Франции и некоторых других странах, где мелкая буржуазия представляла собой известную общественную силу. Прудонизм, с его революционной фразеологией, критикой буржуазной собственности и государства, проник и в рабочий класс. Первое время под руководством прудонистов оказались французские секции I Интернационала. Но в результате решительной борьбы против них Маркса, Энгельса и их сторонников прудонисты потерпели полное поражение.

Относительная популярность прудонизма в России связана прежде всего с тем, что социальной базой общественного движения в стране было крестьянство, отражавшее мелкобуржуазные тенденции экономического развития. Кроме того, следует сказать, что эклектические взгляды Прудона позволяли русской интеллигенции делать из них как реформистские, так и революционные выводы. Идеи прудонизма отразились в документах «Народной воли», где утверждалось, что ликвидация централизованного государства откроет перед народом широкие перспективы свободной деятельности.

Н. В. ШЕЛГУНОВ

Николай Васильевич Шелгунов (1824—1891) родился в Петербурге, в небогатой дворянской семье. Рано остался без отца; воспитывался в Александровском кадетском корпусе. С 1833 по 1841 г. учился в Лесном институте, по окончании которого поступил на службу в Лесной департамент. В 1850-х гг. публикует ряд серьезных научных работ по лесоводству. С 1857 г.— начальник отделения Лесного департамента при Министерстве государственных имуществ. При его одаренности и трудолюбии Шелгунов, без всякого сомнения, мог стать крупнейшим ученым и деятелем в области лесоводства. Но эпоха продиктовала ему другие цели. На формирование его мировоззрения огромное влияние оказало знакомство с работами Чернышевского, Добролюбова, Герцена. В 1858 г., во второй заграничной командировке (первая состоялась двумя годами ранее), Шелгунов лично знакомится с Герценом и Огаревым, по возвращении на родину сближается с Чернышевским и Добролюбовым, начинает публицистическую и литературно-критическую деятельность. Департамент лесных дел уже мешает ему. В 1862 г. Шелгунов выходит в отставку и едет в Сибирь, где отбывал каторгу М. Л. Михайлов, надеясь организовать его побег. От «Земли и воли» Шелгунову было поручено в случае крестьянского восстания в Сибири возглавить его.

Однако этим планам не суждено было осуществиться: Шелгунов был арестован и отправлен в Петербург. 15 апреля 1863 г. его заключили в Алексеевский равелин. Здесь он пишет для журнала «Русское слово» статьи просветительского характера, подспудно содержащие революционно-демократические идеи: «Условия прогресса», «Убыточность незнания», «Россия до Петра I», «Прошедшее и будущее европейской цивилизации» и др. В конце 1864 г. Шелгунова отправляют в ссылку, и до 1877 г. он живет в различных провинциальных городах. При этом он активно сотрудничает в журнале Г. Е. Благосветлова «Дело», где за шестнадцать лет поместил множество статей. Он пишет о безработице в России, об эксплуатации детского труда на фабриках, о нищете рабочих, разоблачает буржуазные «свободы». Взяв на себя руководство журналом после смерти Благосветлова в 1880 г., Шелгунов усиливает пропаганду экономических трудов К. Маркса, публикует статьи революционеров-народников, находящихся на нелегальном положении. В июне 1884 г. он опять арестован и сослан в Смоленскую губернию на 5 лет. Начинается новый этап литературно-политической деятельности Шелгунова. С 1886 по 1891 г. в журнале «Русская мысль» он публикует «Очерки русской жизни», уделяя основное внимание вопросам развития промышленности и рабочего движения, но обнаруживая при этом пристальный интерес ко всем без исключения сторонам российской действительности.

Шелгунов был прежде всего политическим борцом. Во всех своих работах он преследовал конкретные цели, продиктованные «текущим моментом». Но то несомненное обстоятельство, что он был глубоким мыслителем, не позволяет его трудам остаться заключенными в рамки известной эпохи. Литературно-критические статьи Шелгунова, его педагогические сочинения («Письма о воспитании»), его метод социологического анализа представляют собой живое наследие, являются ценностью непреходящей.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СИЛА КРИТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Впервые опубликовано в журнале «Дело» — 1870, № 11.

[1] *Меланхтон* Филипп (1497—1560) — немецкий богослов и педагог, сподвижник М. Лютера.

[2] *Миртов* — псевдоним Петра Лавровича Лаврова (1823—1900).

[3] *Гамбетта* Леон (1838—1882) — премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881—1882 гг.

[4] *Трошю* Луи (1815—1896) — французский генерал (с 1854), в 1870—1871 гг.— глава «Правительства национальной обороны». Проводил антинародную пораженческую политику.

[ИЗ ПИСЕМ О ВОСПИТАНИИ]

Печатается по изд.: Сочинения Н. В. Шелгунова. Изд. 3-е, Спб., т. I, с. 691—701.

ХАРАКТЕР

[1] Речь идет о книге английского писателя С. Смайлса (1812—1904), подробно разобранной в статье Н. В. Шелгунова «Характер».

[2] *Лютер* Мартин (1483—1546) — видный деятель Реформации в Германии, основатель протестантизма. Перевел на немецкий язык Библию, утвердив тем самым нормы общенемецкого литературного языка.

[3] *Эпиктет* (ок. 50 — ок. 138) — греческий философ-стоик.

[4] *Помпей* Великий, Гней (106—48 гг. до н. э.) — римский полководец.

[5] *Мишле* Жюль (1798—1874) — французский историк, автор книг «История Франции», «История французской революции».

[6] *Карлейль* Томас (1795—1881) — английский историк, философ, публицист. Выдвинул теорию «культа героев», согласно которой «герои» являются творцами истории.

[7] *Кольбер* Жан Батист (1619—1683) — министр финансов в правительстве Людовика XIV с 1665 г.

[8] *Гейне* Генрих (1797—1856) — немецкий поэт и публицист, выдающийся мастер лирической и политической поэзии.

[9] *Бэкон* Роджер (ок. 1214—1292) — английский философ, естествоиспытатель.

[10] *Везаль* — Везалий Андреас (1514—1564), основоположник анатомии. Главное сочинение «О строении человеческого тела» (кн. 1—7, 1543). Преследовался церковью.

[11] *Виклеф.* См. с. 414, примеч. 94.

[12] *Лоренцо* Валла (1405 или 1407—1457) — итальянский гуманист эпохи кватроченто. Христианскому аскетизму противопоставлял философию Эпикура.

[13] *Августин* Блаженный Аврелий (354—430) — христианский теолог, церковный деятель, родоначальник христианской философии, истории. Государству («земному граду») противопоставлял церковь («божий град»).

[14] *Гуттен* Ульрих фон (1488—1523) — немецкий писатель, гуманист.

[15] *Магомет* — Мухаммед (ок. 570—632), основатель ислама, в 630—631 гг. глава первого мусульманского теократического государства в Аравии.

[16] *Нокс* Джон (1505 или ок. 1514—1572) — пропагандист кальвинизма в Шотландии.

[17] *Кальвин* Жан (1509—1564) — деятель Реформации, основатель кальвинизма.

[18] *Лойола* Игнатий (1491?—1556) — основатель ордена иезуитов.

[19] *Спенсер* Герберт (1820—1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма. Внес значительный вклад в изучение первобытной культуры. Основное сочинение «Система синтетической философии» (1862—1896).

[20] *Кромвель* Оливер (1599—1658) — деятель английской буржуазной революции. По определению К. Маркса, Кромвель совмещал в одном лице Робеспьера и Наполеона английской революции.

[21] *Тиндаль* Джон (1820—1893) — английский физик. Изучал акустику, диамагнетизм, рассеяние света в мутных средах.

[22] *Фарадей* Майкл (1791—1867) — английский физик, основоположник учения об электромагнитном поле.

УСЛОВИЯ СОЛИДАРНОСТИ

Печатается по изд.: Сочинения Н. В. Шелгунова, т. I, с. 741—748.

[1] *Лаплас* Пьер Симон (1749—1827) — французский астроном, математик и физик.

[2] *Гершель Джон* Фредерик Уильям (1792—1871) — английский астроном.

[3] *Братья Гумбольдты* — Гумбольдт Александр (1769—1859) — немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник; Гумбольдт Вильгельм (1767—1835) — немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат.

[4] *Кирша Данилов* (Кирилл Данилович) (XVIII в.) — предполагаемый составитель первого сборника русских былин, исторических лирических несен, скоморошин. Изданы под названием «Древние российские стихотворения» (1804, 1818).

А. П. ЩАПОВ

Афанасий Прокофьевич Щапов (1830—1876) родился в селе Анга близ Иркутска, в семье дьячка и бурятской крестьянки. Окончил иркутскую семинарию, затем Казанскую духовную академию, где проявил необыкновенное трудолюбие и упорство в овладении ананиями.

В 1858 г. в Казани вышла книга Щапова «Русский раскол старообрядчества...», на которую откликнулся ряд столичных журна-

лов, в том числе «Современник» (1859, № 9 — статья «Что иногда открывается в либеральных фразах», написанная М. Антоновичем при содействии Добролюбова). Суровая критика «Современника» подействовала на Щапова отрезвляюще, и он «окончательно бросил приемы, усвоенные им и любимые духовным начальством», стал вырабатывать «точное научное направление». (Н. Я. Аристов. Афанасий Прокофьевич Щапов (Жизнь и сочинения). Спб., 1883, с. 46).

В 1859 г. Щапов приглашается на кафедру истории Казанского университета. Во вступительной лекции он излагает свою концепцию исторического развития России.

30 апреля 1861 г. за речь, произнесенную на панихиде по жертвам Безднинского восстания, Щапов был арестован и препровожден в Петербург. В тюрьме он пишет письмо Александру II, в котором просит царя создать Российскую федерацию самоуправляющихся областей, уничтожить «непомерную экономическую централизацию», осуществить «всенародное просвещение». Будущий строй видится Щапову как «народосоветие перед царем»...

На письме Щапова царь написал: «Все это доказывает, какие в нем преобладают мысли и что за ним придется зорко следить, когда сочтем возможным выпустить его на свободу» (Красный архив, 1926, № 6, с. 151, 161, 162).

Однако в октябре Щапов в письме П. П. Вяземскому заявляет, что земство «отрицает царя со всеми централизационно-бюрократическими учреждениями» (см.: «Литературное наследство», т. 67. М., 1959, с. 661).

По выходе из-под ареста Щапова назначают на должность чиновника по делам раскольников при Министерстве внутренних дел. Эта должность тяготит его, и вскоре он уходит в отставку, активно сотрудничает с журналом «Век», на страницах которого увидели свет такие статьи, как «Сельская община», «Земство», «Земские соборы XVII столетия».

Высланный в 1862 г. в Иркутск, Щапов находит для себя новое дело: он изучает Сибирь в социологическом, этнографическом, природоведческом отношениях, продолжает выступать в печати. С годами, однако, он все более обостренно ощущает свою оторванность от идейно близких людей. Постоянная нужда, смерть любимой жены — все это вместе сломило Щапова, и в 1876 г. он умер, уже почти забытый всеми, кроме близких друзей.

В историю русского освободительного движения Щапов вошел как один из крупнейших деятелей революционно-демократического лагеря, талантливый публицист и исследователь Сибири.

[РЕЧЬ ВО ВРЕМЯ ПАНИХИДЫ ПО УБИТЫМ КРЕСТЬЯНАМ В с. БЕЗДНЕ]

При жизни автора не публиковалась. Впервые опубликовано в журнале «Красный архив», т. IV, 1923, с. 409—410.

Панихида по жертвам Бezднинского восстания была отслужена в вербное воскресенье 16 апреля 1861 г. после вечерни в церкви Казанского городского кладбища, называемого Куртино (по старому названию места). Свою речь Щапов произнес после панихиды с амвона. *(П. В.* К биографии А. П. Щапова.— Древняя и новая Россия, 1876, № 9, с. 104).

За это выступление Щапова лишили университетской кафедры и права преподавать в духовной академии.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И НАРОДНАЯ ЭКОНОМИЯ

(Посвящается Д. И. Писареву и всем сотрудникам «Русского слова»)

Впервые опубликовано в журнале «Русское слово» — 1864, № 1.

[1] *Паллас* Петр Симон (1741—1811) — русский естествоиспытатель, академик Петербургской АН. Основные сочинения: «Путешествие по различным провинциям Российского государства» и «Флора России».

[2] *Миддендорф* Александр Федорович (1815—1894) — русский естествоиспытатель и путешественник, академик Петербургской АН. В 1842—1845 гг. исследовал природные условия Восточной и Северной Сибири и Дальнего Востока.

[3] *Кавелин* Константин Дмитриевич (1818—1885) — русский историк «государственной школы», либеральный общественный деятель и публицист.

[4] *Калачев* Николай Васильевич (1819—1885) — русский историк, правовед, архивист, археограф, академик Петербургской АН.

[5] *Беляев* Иван Дмитриевич (1810—1873) — русский историк, славянофил. Автор трудов по истории русского крестьянства, права, военного дела, летописания. Собрал коллекцию древнерусских рукописей.

[6] *Либих* Юстус (1803—1873) — немецкий химик, один из создателей агрохимии.

[7] *Рошер* Вильгельм Георг Фридрих (1817—1894) — немецкий экономист. С вульгарно-исторических позиций подходил к анализу экономических явлений, отрицая классовый характер политэкономии.

[ПАМЯТИ М. В. ЛОМОНОСОВА]

Впервые опубликовано в брошюре «Две речи, произнесенные при праздновании в Иркутске юбилея М. В. Ломоносова» — Иркутск, 1865.

Речь А. Щапова напечатана без заголовка, под цифрой II. Заглавие «Памяти М. В. Ломоносова» дано редактором собрания сочинений Щапова.

[1] *Болтин* Иван Никитич (1725—1792) — русский государственный деятель, историк. Первый издатель пространной редакции «Русской правды».

[2] *Татищев* Василий Никитич (1686—1750) — историк, государственный деятель. В 1741—1745 гг.— астраханский губернатор. Автор «Истории Российской с древнейших времен».

[3] *Лавуазье* Антуан Лоран (1743—1794) — французский химик, один из основоположников современной химии. Автор классического курса «Начального учебника химии» (1789).

[4] *Грове* — У. Р. Гров, английский физик, изобретатель гальванического элемента, получившего название «элемент Грове».

Содержание

Шестидесятники/Сост. и авт. вступ. ст. Ф. Ф. Куз-
Ш51 нецов; Примеч. В. С. Лысенко. — М.: Сов. Россия, 1984.— 432 с. (Б-ка рус. худож. публицистики).

В книгу включены произведения писателей-публицистов 60-х годов XIX века: М. Антоновича, Н. Благосветлова, В. Зайцева, Н. Соколова, Н. Шелгунова, А. Щапова.
Сборник воскрешает малоизвестные страницы в истории русской революционно-демократической печати.

Ш $\frac{4603010102-217}{М-105(03)84}$ 121-84 Р1

Составитель
Феликс Феодосьевич Кузнецов

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

Редактор **И. В. Ствбниковв**
Художествеииый редактор **М. В. Таирова**
Техиический редактор **И. И. Капитонова**
Корректоры **З. И. Шехмейстер, А. З. Лаауткина**

ИБ № 3287
Сдано в наб. 25.01.84. Подп. в печать 15.06.84. А03983. Формат 84×108/32.
Бумага типогр. № 1. Гарнитура обыкновенная иовая. Печать высокая. Усл. п. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 22,89. Уч.-изд. л. 24,95. Тираж 100 000 экз.
Закаа 1044 Цена 2 р. 20 к. Изд. иид. ХД-470

Ордеиа «Знак Почета» издательство «Советская Россия»
Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, проезд Сапуиова, 13/15

Отпечатано с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамсни Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова на книжной фабрике № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжиой торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В «Библиотеке русской художественной публицистики» вышли книги:

А. Пушкин. ИЗБРАННОЕ
Сборник. И ДУМ ВЫСОКОЕ СТРЕМЛЕНЬЕ...
М. Горький. ПРЕОБРАЖЕНИЕ МИРА
М. Шолохов. СЛОВО О РОДИНЕ
А. Фадеев. БЕССМЕРТИЕ
А. Радищев. ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ
А. Толстой. НОВЫЙ МАТЕРИК
Сборник. О, РУССКАЯ ЗЕМЛЯ
А. Герцен. ПИСЬМА В БУДУЩЕЕ
В. Белинский. СОВРЕМЕННЫЕ ЗАМЕТКИ
Ф. Достоевский. ИСКАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
Н. Карамзин. ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Л. Леонов. ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ
А. Чехов. ОСТРОВ САХАЛИН
Сборник. ФИЗИОЛОГИЯ ПЕТЕРБУРГА



